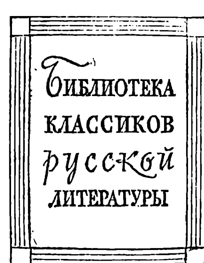
И. А. ГОНЧАРОВ

6

И. Гончаров


Библиотека
классиков
русской
литературы

И. А. ГОНЧАРОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ШЕСТИ ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Москва

И. А. ГОНЧАРОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 6

ОБРЫВ

Роман в пяти частях

МИЛЬОН ТЕРЗАНИЙ

Критический этюд



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1960

ОБРЫВ

Роман
в пяти частях

Части третья — пятая

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Райский считал себя не новейшим, то есть не молодым, но отнюдь не отсталым человеком. Он открыто заявлял, что, веря в прогресс, даже досадуя на его «черепаший» шаг, сам он не спешил укладывать себя всего в какое-нибудь, едва обозначившееся десятилетие, дешево отрекаясь и от завещанных историею, добытых наукой, и еще более от выработанных собственной жизнию убеждений, наблюдений и опытов, ввиду едва занявшейся зари quasi-новых [1] идей, более или менее блестящих или остроумных гипотез, на которые бросается жадная юность.

Он ссылался на свои лета, говоря, что для него наступила пора выжидания и осторожности: там, где не увлекала его фантазия, он терпеливо шел за веком.

Его занимал общий ход и развитие идей, победы науки, но он выжидал результатов, не делая pas de géants [2], не спеша креститься в новую веру, предлагающую всевозможные умозрения и часто невозможные опыты.

Он приветствовал смелые шаги искусства, рукоплескал новым откровениям и открытиям, видоизменяющим, но не ломающим жизнь, праздновал естественное, но не насильственное рождение новых ее требований, как праздновал весну с новой зеленью, не провожая бесплодной и неблагодарной враждой отходящего порядка и отживающих начал, веря в их историческую неизбежность и неопровержимую, преемственную связь с «новой весенней зеленью», как бы она нова и ярко-зелена ни была.

От этого, бросая в горячем споре бомбу в лагерь неуступчивой старины, в деспотизм своеволия, жадность плантаторов,

---

[1] Мнимо новых (*лат.*).
[2] Гигантских шагов (*франц.*).

отыскивая в людях людей, исповедуя и проповедуя человечность, он добродушно и снисходительно воевал с бабушкой, видя, что под старыми, заученными правилами таился здравый смысл и житейская мудрость и лежали семена тех начал, что безусловно присвоивала себе новая жизнь, но что было только завалено уродливыми формами и наростами в старой.

Открытие в Вере смелости ума, свободы духа, жажды чего-то нового — сначала изумило, потом ослепило двойной силой красоты — внешней и внутренней, а наконец отчасти напугало его, после отречения ее от «мудрости».

— Не мудрая дева! — сказала она и вздрогнула.

«Мудреная»,— решил он и задумался над этим.

Да, это не простодушный ребенок, как Марфенька, и не «барышня». Ей тесно и неловко в этой устаревшей, искусственной форме, в которую так долго отливался склад ума, нравы, образование и все воспитание девушки до замужества.

Она чувствовала условную ложь этой формы и отделалась от нее, добиваясь правды. В ней много именно того, чего он напрасно искал в Наташе, в Беловодовой: спирта, задатков самобытности, своеобразия ума, характера — всех тех сил, из которых должна сложиться самостоятельная, настоящая женщина и дать направление своей и чужой жизни, многим жизням, осветить и согреть целый круг, куда поставит ее судьба.

Она пока младенец, но с титанической силой: надо только, чтоб сила эта правильно развилась и разумно направилась.

Он положил бы всю свою силу, чтобы помочь ей найти искомое, бросил бы семена своих знаний, опытов и наблюдений на такую благодарную и богатую почву: это не мираж, опять это подвиг очеловечивания, долг, к которому мы все призваны и без которого немыслим никакой прогресс.

Но какие капитальные препятствия встретились ему? Одно — она отталкивает его, прячется, уходит в свои права, за свою девическую стену, стало быть... не хочет. А между тем она не довольна своим положением, рвется из него, стало быть нуждается в другом воздухе, другой пище, других людях. Кто же ей даст новую пищу и воздух? Где люди?

Он по родству — близкое ей лицо: он один и случайно, и по праву может и должен быть для нее этим авторитетом. И бабушка писала, что назначает ему эту роль.

Вера умна, но он опытнее ее и знает жизнь. Он может остеречь ее от грубых ошибок, научить распознавать ложь и истину, он будет работать, как мыслитель и как художник; этой жажде свободы даст пищу: идеи добра, правды, и как художник вызовет в ней внутреннюю красоту на свет! Он угадал бы ее судьбу, ее урок жизни и... и... вместе бы исполнил его!

Вот чего ему все хочется: «вместе»! От этого желания он не может отделаться, стало быть не может действовать бескорыстно: и это есть второе препятствие.

Третье препятствие еще, правда, в тумане, гадательное, но есть уже в виду, и оно самое капитальное: это — пока подозрение, что кто-нибудь уже предупредил его, кому-нибудь она вверила угадывать свою судьбу, исполнять урок жизни «вместе».

«Вот что скверно: это хуже всего!» — говорил он и решал, что ему даже, не дожидаясь объяснения и подтверждения догадки об этом третьем препятствии, о «двойнике», следует бежать без оглядки, а не набиваться ей на дружбу.

Простительно какому-нибудь Викентьеву напустить на себя обман, а ему ли, прожженному опытами, не знать, что все любовные мечты, слезы, все нежные чувства — суть только цветы, под которыми прячутся нимфа и сатир?..

Последствия всего этого известны, все это исчезает, не оставляя по себе следа, если нимфа и сатир не превращаются в людей, то есть в мужа и жену или в друзей на всю жизнь.

«Нимфа моя не хочет избрать меня сатиром,— заключил он со вздохом,— следовательно, нет надежды и на метаморфозу в мужа и жену, на счастье, на долгий путь! А с красотой ее я справлюсь: мне она все равно, что ничего...»

Утром он чувствовал себя всегда бодрее и мужественнее для всякой борьбы: утро приносит с собою силу, целый запас надежд, мыслей и намерений на весь день: человек упорнее налегает на труд, мужественнее несет тяжесть жизни.

И Райский развлекался от мысли о Вере, с утра его манили в разные стороны летучие мысли, свежесть утра, встречи в домашнем гнезде, новые лица, поле, газета, новая книга или глава из собственного романа. Вечером только начинает все прожитое днем сжиматься в один узел, и у кого сознательно, и у кого бессознательно, подводится итог «злобе дня».

Вот тут Райский поверял себя, что улетало из накопившегося в день запаса мыслей, желаний, ощущений, встреч и лиц. Оказывалось, что улетало все — и с ним оставалась только Вера. Он с досадой вертелся в постели и засыпал — все с одной мыслью и просыпался с нею же.

«Нужна деятельность»,— решил он,—и за неимением «дела» бросался в «миражи»: ездил с бабушкой на сенокос, в овсы, ходил по полям, посещал с Марфенькой деревню, вникал в нужды мужиков и развлекался также: был за Волгой, в Колчине, у матери Викентьева, ездил с Марком удить рыбу, оба поругались опять и надоели один другому, ходил на охоту — и в самом деле развлекся.

«Вот и хорошо: поработаю еще над собой и исполню данное Вере обещание»,— думал он и не видал ее дня по три.

Ей носили кофе в ее комнату; он иногда не обедал дома, и все шло как нельзя лучше.

Он даже заметил где-то в слободе хорошенькую женскую головку и мимоездом однажды поклонился ей, она засмеялась и спряталась. Он узнал, что она дочь какого-то смотрителя,

он и не добирался — смотрителя чего, так как у нас смотрителей множество.

Он заметил только, что этот смотритель не смотрел за своей дочерью, потому что головка, как он увидел потом, улыбалась и другим прохожим.

Он послал ей рукой поцелуй и получил в ответ милый поклон. Раза два он уже подъезжал верхом к ее окну и заговорил с ней, доложив ей, как она хороша, как он по уши влюблен в нее.

— Да вы все вре-те! — протяжно говорила она,— так я вам и поверила! Мужчины известно — подлецы!

— Будто все?

— Известное дело — мужчины! Сколько у меня перебывало — знаю я их! Не надуете! Проваливайте!

Долго развлекала его эта, опытом добытая, «мудрость» мещанки.

Чтобы уже довершить над собой победу, о которой он, надо правду сказать, хлопотал из всех сил, не спрашивая себя только, что кроется под этим рвением: искреннее ли намерение оставить Веру в покое и уехать, или угодить ей, принести «жертву», быть «великодушным»,— он обещал бабушке поехать с ней с визитами и даже согласился появиться среди ее городских гостей, которые приедут в воскресенье «на пирог».

II

В воскресенье он застал много народу в парадной гостиной Татьяны Марковны. Все сияло там. Чехлы с мебели, обитой малиновым штофом, были сняты; фамильным портретам Яков протер мокрой тряпкой глаза — и они смотрели острее, нежели в будни. Полы натерли воском.

Яков был в черном фраке и белом галстуке, а Егорка, Петрушка и новый, только что из деревни взятый в лакеи Степка, не умевший стоять прямо на ногах, одеты были в старые, не по росту каждому, ливрейные фраки, от которых несло затхлостью кладовой. Ровно в полдень в зале и гостиной накурили шипучим куревом, с запахом какого-то сладкого соуса.

Сама Бережкова, в шелковом платье, в чепце на затылке и в шали, сидела на диване. Около нее, полукружием в креслах, по порядку сидели гости.

На первом месте Нил Андреевич Тычков, во фраке, со звездой, важный старик, с сросшимися бровями, с большим расплывшимся лицом, с подбородком, глубоко уходившим в галстук, с величавой благосклонностью в речи, с чувством достоинства в каждом движении.

Потом неизменно скромный и вежливый Тит Никоныч, тоже во фраке, со взглядом обожания к бабушке, с улыбкой ко всем; священник, в шелковой рясе и с вышитым широким

поясом, советники палаты, гарнизонный полковник, толстый, коротенький, с налившимся кровью лицом и глазами, так что, глядя на него, делалось «за человека страшно»; две-три барыни из города, несколько шепчущихся в углу молодых чиновников и несколько неподросших девиц, знакомых Марфеньки, робко смотрящих, крепко жмущих друг у друга красные, вспотевшие от робости руки и беспрестанно краснеющих.

Наконец какой-то ближайший к городу помещик, с тремя сыновьями-подростками, приехавший с визитами в город. Эти сыновья — гордость и счастье отца — напоминали собой неrодовалых собак крупной породы, у которых уж лапы и голова выросли, а тело еще не сложилось, уши болтаются на лбу и хвостишко не дорос до полу. Скачут они везде без толку и сами не сладят с длинными, не по росту, безобразными лапами; не узнают своих от чужих, лают на родного отца и готовы сжевать брошенную мочалку или ухо родного брата, если попадется в зубы.

Отец всем вместе и каждому порознь из гостей рекомендовал этих четырнадцатилетних чад, млея от будущих своих надежд, рассказывал подробности о их рождении и воспитании, какие у кого способности, про остроту, проказы и просил проэкзаменовать их, поговорить с ними по-французски.

Их, как малолетних, усадили было в укромный уголок, и они, с юными и глупыми физиономиями, смотрели полуразиня рот на всех, как молодые желтоносые воронята, которые, сидя в гнезде, беспрестанно раскрывают рты, в ожидании корма.

Ноги не умещались под стулом, а хватали на середину комнаты, путались между собой и мешали ходить. Им велено быть скромными, говорить тихо, а из утробы четырнадцатилетнего птенца, вместо шепота, раздавался громовый бас; велел отец сидеть чинно, держать ручки на брюшке, а на этих, еще тоненьких, «ручках» уж отросли громадные, угловатые кулаки.

Не знали, бедные, куда деться, как сжаться, краснели, пыхтели и потели, пока Татьяна Марковна, частию из жалости, частию оттого, что от них в комнате было и тесно, и душно, и «пахло севрюгой», как тихонько выразилась она Марфеньке, не выпустила их в сад, где они, почувствовав себя на свободе, начали бегать и скакать, только прутья от кустов полетели в стороны, в ожидании, пока позовут завтракать.

Райский вошел в гостиную после всех, когда уже скушали пирог и приступили к какому-то соусу. Он почувствовал себя в том положении, в каком чувствует себя приезжий актер, первый раз являясь на провинциальную сцену, предшествуемый толками и слухами. Все вдруг смолкло и перестало жевать, и все устремило внимание на него.

— Внук мой, от племянницы моей, покойной Сонечки! — сказала Татьяна Марковна, рекомендуя его, хотя все очень хорошо знали, кто он такой.

Кое-кто привстал и поклонился, Нил Андреич благосклонно смотрел, ожидая, что он подойдет к нему, барыни жеманно начали передергиваться и мельком взглядывать в зеркало.

Молодые чиновники в углу, завтракавшие стоя, с тарелками в руках, переступили с ноги на ногу; девицы неистово покраснели и стиснули друг другу, как в большой опасности, руки; четырнадцатилетние птенцы, присмиревшие в ожидании корма, вдруг вытянули от стены до окон и быстро с шумом повезли назад свои скороспелые ноги и выронили из рук картузы.

Райский сделал всем полупоклон и сел подле бабушки, прямо на диван. Общее движение.

— Эк, плюхнул куда! — шепнул один молодой чиновник другому,— а его превосходительство глядит на него...

— Вот Нил Андреич,— сказала бабушка,— давно желал тебя видеть... он — *его превосходительство* — не забудь,— шепнула она.

— Кто эта барынька: какие славные зубы и пышная грудь?—тихо спросил Райский бабушку.

— Стыд, стыд, Борис Павлыч: горю! — шептала она.— Вот, Нил Андреич,— сказала она,— Борюшка давно желал представиться вам...

Райский открыл было рот, чтоб возразить, но Татьяна Марковна наступила ему на ногу.

— Что же не удостоили посетить старика: я добрым людям рад! — произнес добродушно Нил Андреич.— Да ведь с нами скучно, не любят нас нынешние: так ли? Вы ведь из новых? Скажите-ка правду.

— Я не разделяю людей ни на новых, ни на старых,— сказал Райский, принимаясь за пирог.

— А ты погоди есть, поговори с ним,— шептала бабушка,— успеешь!

— Я буду и есть, и говорить,— отвечал вслух Райский. Бабушка сконфузилась и сердито отвернула плечо.

— Не мешайте ему, матушка,— сказал Нил Андреич,— на здоровье, народ молодой! Так как же вы понимаете людей, батюшка? — обратился он к Райскому,— это любопытно!

— А смотря по тому, какое они впечатление на меня делают, так и принимаю!

— Похвально! Люблю за правду! Ну, как вы, например, меня понимаете?

— Я вас боюсь.

Нил Андреич с удовольствием засмеялся.

— Чего же, скажите? Я позволяю говорить откровенно! — сказал он.

— Чего боюсь? вот видите...

— «ваше превосходительство»,— подсказала бабушка, но Райский не слушал.

— Вы, говорят, журите всех: кому-то голову намылили, что у обедни не был, бабушка сказывала...

Татьяна Марковна так и не вспомнилась. Она даже сняла чепец и положила подле себя: ей вдруг стало жарко.

— Что ты, что ты, Борис Павлыч,— на меня!..— останавливала она.

— Не мешайте, не мешайте, матушка! Слава богу, что вы сказали про меня: я люблю, когда обо мне правду говорят! — вмешался Нил Андреич.

Но бабушка была уж сама не своя: она не рада была, что затеяла позвать гостей.

— Точно, журю: помнишь? — сказал он, обратясь к дверям, где толпились чиновники.

— Точно так, ваше превосходительство! — проворно отвечал один, выставив ногу вперед и заложив руки назад,— меня однажды...

— А за что?

— Был одет пестро...

— Да, в воскресенье пожаловал ко мне от обедни: за это спасибо — да уж одолжил! Вместо фрака какой-то сюртучок на отлете...

— Не этакий ли, что на мне? — спросил Райский.

— Да, почти: панталоны клетчатые, жилет полосатый — шут шутом!

— А тебя журил? — обратился он к другому.

— Был грех, ваше превосходительство,— говорил тот, скромно склоняя и гладя рукой голову.

— А за что?

— За папеньку тогда...

— Да, вздумал отца корить: у старика слабость — пьет. А он его усовещивать, отца-то! Деньги у него отобрал! Вот и пожурил; и что ж, спросите их: благодарны мне же!

Чиновники, при этой похвале, от удовольствия переступили с ноги на ногу и облизали языком губы.

— Я спрашиваю вас: к добру или к худу! А послушаешь: «Все старое нехорошо, и сами старики глупы, пора их долой!» — продолжал Тычков,— дай волю, они бы и того... готовы нас всех заживо похоронить, а сами сели бы на наше место,— вот ведь к чему все клонится! Как это по-французски есть и поговорка такая, Наталья Ивановна? — обратился он к одной барыне.

— Ote-toi de là pour que je m'y mette...[1] — сказала она.

— Ну да, вот чего им хочется, этим умникам в кургузых одеяниях! А как эти одеяния называются по-французски, Наталья Ивановна? — спросил он, обратясь опять к барыне и поглядывая на жакетку Райского.

---

[1] Уходи отсюда, я стану на твое место (*франц.*).

— Я не знаю! — сказала она с притворной скромностью.

— Ой, знаешь, матушка! — лукаво заметил Нил Андреич, погрозя пальцем,— только при всех стыдишься сказать. За это хвалю!

— Так изволите видеть: лишь замечу в молодом человеке этакую прыть,— продолжал он, обращаясь к Райскому,— дескать «я сам умен, никого и знать не хочу» — и пожурю, и пожурю, не прогневайтесь!

— Точно что не к добру это все новое ведет,— сказал помещик,— вот хоть бы венгерцы и поляки бунтуют:[1] отчего это? Все вот от этих новых правил!

— Вы думаете? — спросил Райский.

— Да-с, я так полагаю: желал бы знать ваше мнение...— сказал помещик, подсаживаясь поближе к Райскому,— мы век свой в деревне, ничего не знаем, поэтому и лестно послушать просвещенного человека...

Райский с иронией поклонился слегка.

— А то прочитаешь в газетах, например, вот хоть бы вчера читал я, что шведский король посетил город Христианию: и не знаешь, что этому за причина?

— А вам это интересно знать?

— Зачем же пишут об этом, если королю не было особой причины посетить Христианию?..

— Не было ли там большого пожара: этого не пишут? — спросил Райский.

Помещик, Иван Петрович, сделал большие глаза.

— Нет, о пожаре не пишут, а сказано только, что «его величество посетил народное собрание».

Тит Никоныч и советник палаты переглянулись и усмехнулись. После этого замолчали.

— Еще я хотел спросить вот что-с,— начал тот же гость,— теперь во Франции воцарился Наполеон...[2]

— Так что же?

— Ведь он насильно воцарился...

— Как насильно: его выбрали...

— Да что это за выборы! Говорят, подсылали солдат принуждать, подкупали... Помилуйте, какие это выборы: курам на смех!

— Если отчасти и насильно, так что же с ним делать? — с любопытством спросил Райский, заинтересовавшись этим деревенским политиком.

— Как же это терпят все, не вооружатся против него?

— Попробуй! — перебил Нил Андреич,— ну-ка: как?

---

[1] Имеется в виду венгерская революция 1848—1849 годов и польское революционное движение 1846—1848 годов.

[2] Речь идет о Наполеоне III (1808—1873).

— Собрать бы со всех государств армии, да и пойти, как на покойного Бонапарта... Тогда был Священный союз...[1]

— Вы бы представили план кампании,— заметил Райский,— может быть, и приняли бы...

— Куда мне! — скромно возразил гость,— я только так, из любопытства... Вот теперь я хотел спросить еще вас...— продолжал он, обращаясь к Райскому.

— Почему же меня?

— Вы столичный житель, там живете у источника, так сказать... не то, что мы, деревенские... Я хотел спросить: теперь турки издревле притесняют христиан, жгут, режут, а женщин того...

— Ну, смотри, Иван Петрович, ты договоришься до чего-нибудь... вон уж Настасья Петровна покраснела...— вмешался Нил Андреич.

— Что вы, ваше превосходительство... отчего мне краснеть? Я и не слыхала, что говорят...— сказала бойко одна барыня, жеманно поправляя шаль.

— Плутовка! — говорил Нил Андреич, грозя ей пальцем,— что, батюшка,— обратился он к священнику,— не жаловалась ли она вам на исповеди на мужа, что он...

— Ах, что вы, ваше превосходительство! — торопливо перебила дама.

— То-то, то-то! Ну что ж, Иван Петрович: как там турки женщин притесняют? Что ты прочитал об этом: вон Настасья Петровна хочет знать? Только смотри, не махни в Турцию, Настасья Петровна!

Иван Петрович с нетерпением ждал, когда кончит Нил Андреич, и опять обратился к Райскому, к которому, как с ножом, приступал с вопросами.

— Так я вот хотел спросить вас: отчего это не уймут турок?..

— Женщины-то за них очень заступаются! — шутил благосклонно Нил Андреич,— вон она — первая...

Он указал на ту же барыню.

— Ах, Татьяна Марковна... что это его превосходительство для праздника нынче?..

Она притворно конфузилась.

— Я вот хотел спросить вас, отчего это все не восстанут на турок,— приставал Иван Петрович к Райскому,— и не освободят гроба господня?

— Я, признаюсь вам, мало думал об этом,— сказал Райский,— но теперь обращу особенное внимание, и если вы мне сообщите ваши соображения, то я всячески готов содействовать к разрешению восточного вопроса...

---

[1] Реакционный союз европейских государств, заключенный в 1815 году для подавления освободительных движений в Европе.

— Вот позвольте к слову спросить,— живо возразил гость,— вы изволили сказать «*восточный вопрос*», и в газетах поминутно пишут *восточный вопрос*: какой это *восточный вопрос?*

— Да вот тот самый, что вы мне сделали сейчас о турках.

— Так...— задумчиво сказал он.— Да вопроса никакого нет!

— Теперь всё «вопросы» пошли! — сиплым голосом вмешался полнокровный полковник,— из Петербурга я получил письмо от нашего полкового адъютанта: и тот пишет, что теперь всех занимает «вопрос» о перемене формы в армии...

Замолчали.

— Или, например, Ирландия! — начал Иван Петрович с новым одушевлением, помолчав,— пишут, страна бедная, есть нечего, картофель один, и тот часто не годится для пищи...

— Ну-с, так что же?

— Ирландия в подданстве у Англии, а Англия страна богатая: таких помещиков, как там, нигде нет. Отчего теперича у них не взять хоть половину хлеба, скота, да и не отдать туда, в Ирландию?

— Что это, брат, ты проповедуешь: бунт? — вдруг сказал Нил Андреич.

— Какой бунт, ваше превосходительство... Я только из любопытства.

— Ну, если в Вятке или Перми голод, а у тебя возьмут половину хлеба даром, да туда?..

— Как это можно! Мы — совсем другое дело...

— Ну, как услышат тебя мужики? — напирал Нил Андреич,— а? тогда что?

— Ну, не дай боже! — сказал помещик.

— Сохрани боже! — сказала и Татьяна Марковна.

— Они и теперь, еще ничего не видя, навострили уши! — продолжал Нил Андреич.

— А что? — с испугом спросила Бережкова.

— Да вон, о воле иногда заговаривают. Губернатор получил донесение, что в селе у Мамыщева не покойно...

— Сохрани бог! — сказали опять и помещик и Татьяна Марковна.

— Правду, правду говорит его превосходительство! — заметил помещик.— Дай только волю, дай только им свободу, ну и пошли в кабак, да за балалайку: нарежется и прет мимо тебя и шапки не ломает!

— Начинается-то не с мужиков,— говорил Нил Андреич, косясь на Райского,— а потом зло, как эпидемия, разольется повсюду. Сначала молодец ко всенощной перестанет ходить: «скучно, дескать», а потом найдет, что по начальству в праздник ездить лишнее; это, говорит, «холопство», а после в неприличной одежде на службу явится, да еще бороду отрастит (он опять покосился на Райского) — и дальше, и даль-

ше,— и дай волю, он тебе втихомолку доложит потом, что и бога-то в небе нет, что и молиться-то некому!..

В зале сделалось общее движение.

— Да, да, это правда: был у соседа такой учитель, да еще подивитесь, батюшка, из семинарии! — сказал помещик, обратясь к священнику.— Смирно так шло все спачала: шептал, шептал, кто его знает что, старшим детям — только однажды девочка, сестра их, матери и проговорись: «Бога, говорит, нет, Никита Сергеич от кого-то слышал». Его к допросу: «Как бога нет: как так?» Отец к архиерею ездил: перебрали тогда всю семинарию...

— Да, помню,— сказал священник,— нашли запрещенные книги.

— Ну, вот видите!

— Скажите на милость,— обратился опять Иван Петрович к Райскому,— отчего это всё волнуются народы?

— Какие народы?

— Да вот хоть бы индейцы:[1] ведь это канальи всё, не христиане, сволочь, ходят голые, и пьяницы горькие, а страна, говорят, богатейшая, ананасы, как огурцы, растут... Чего им еще надо?

Райский молчал. На него находила уже хандра.

«Какой гнусный порок, эта славянская добродетель, гостеприимство! — подумал он,— каких уродов не встретишь у бабушки!»

И прочие молчали от лени говорить после сытного завтрака. Говорил за всех Иван Петрович.

— А вот теперь Амур там взяли у китайцев; тоже страна богатая — чай у нас будет свой, некупленный: выгодно и приятно...— начал он опять свое.

— Ну, брат, Иван Петрович: всю воду в решете не переносишь...— заметил Тычков.

— Я только из любопытства хотел с ними наговориться, они в столице живут... Теперь опять пишут, что римский папа...

В это время из залы с шумом появилась Полина Карповна, в кисейном платье, с широкими рукавами, так что ее полные, белые руки видны были почти до плеч. За ней шел кадет.

— Какая жара! Bon*jur*, bon*jur* [2],— говорила она, кивая на все стороны, и села на диван подле Райского.

— Тут нам тесно! — сказал Райский и пересел на стул рядом.

— Non, non, ne vous dérangez pas [3],— удерживала она, но не удержала.— Какая скука! — успела она шепнуть ему,— у вас так много гостей, а я хотела бы видеть вас одного...

---

[1] Речь идет об индейских племенах в США, неоднократно восстававших в XIX веке против американских колонизаторов.

[2] Здравствуйте, здравствуйте (*франц.*).

[3] Нет, нет, не беспокойтесь (*франц.*).

— Зачем? — спросил он вслух,— дело есть?

— Да, дело! — с улыбкой и шепотом старалась она говорить.

— Какое же?

— А портрет?

— Портрет, какой портрет?

— А мой! Вы обещали рисовать: забыли — ingrat! [1]

— А! Далила Карповна! — протяжно воскликнул Нил Андреич,— здравствуйте, как поживаете?

— Здравствуйте! — сухо сказала она, стараясь отвернуться от него.

— Что ж не подарите меня нежным взглядом? Дайте полюбоваться лебединой шейкой...

В толпе у дверей послышался смех, дамы тоже улыбались.

— Грубиян: сейчас глупость скажет!..— шептала она Райскому.

— Что брезгаешь старым, а как посватаюсь? Чем не жених — или стар? Генеральша будете...

— Не «льщусь» этой почестью...— сказала она, не глядя на него.— Bon*jur*, Наталья Ивановна: где вы купили такую миленькую шляпку: у m-me Pichet? [2]

— Это муж из Москвы выписал,— сказала Наталья Ивановна, робко взглянув на Райского,— сюрприз...

— Очень, очень мило!

— Да взгляните же на меня: право, посватаюсь,— приставал Нил Андреич,— мне нужна хозяйка в доме, скромная, не кокетка, не баловница, не охотница до нарядов... чтобы на другого мужчину, кроме меня, и глазом не повела... Ну, а вы у нас ведь пример...

Полина Карповна будто не слыхала, она обмахивалась веером и старалась заговорить с Райским.

— Вы у нас,— продолжал неумолимый Нил Андреич,— образец матерям и дочерям: в церкви стоите, с образа глаз не отводите, по сторонам не взглянете, молодых мужчин не замечаете...

Смех у дверей раздался громче, и дамы гримасничали, чтоб скрыть улыбку.

Татьяна Марковна постаралась было замять атаку Нила Андреича на ее гостью.

— Пирога скушайте, Полина Карповна,—я вам положу!— сказала она.

— Merci, merci, нет, я только что завтракала!

Но это не помогло. Нил Андреич возобновил нападение.

— А одеваетесь монахиней: напоказ плеч и рук не выставляете... ведете себя сообразно вашим почтенным летам...— говорил он.

---

[1] Неблагодарный! (*франц.*)
[2] У мадам Пише? (*франц.*)

— Что это вы ко мне привязались! — сказала Полина Карповна,— est-il bête, grossier? [1] — обратилась она к Райскому.

— Да, да, «парле ву франсе...» — перебил Тычков,— жениться, сударыня, хочу, вот и привязался: а мы с вами пара!

— Едва ли вам найдется кто под пару! — отозвалась Крицкая, не глядя на него.

— А как же не пара, позвольте-ка: я был еще коллежским асессором, когда вы выходили замуж за покойного Ивана Егорыча. А этому будет...

— Какая жара — on étouffe ici: allons au jardin![2] Мишель, дайте мантилью!..— обратилась она к кадету.

В эту минуту показалась Вера.

Все встали, окружили ее, и разговор принял другое направление. Райскому надоела вся эта сцена и эти люди, он собирался уже уйти, но с приходом Веры у него заговорила такая сильная «дружба», что он остался, как пригвожденный к стулу.

Вера мельком оглядела общество, кое-где сказала две-три фразы, пожала руки некоторым девицам, которые уперли глаза в ее платье и пелеринку, равнодушно улыбнулась дамам и села на стул у печки.

Чиновники охорашивались, Нил Андреич с удовольствием чмокнул ее в руку, девицы не спускали с нее глаз.

Марфенька не сидела на месте: она то нальет вина комунибудь, то попотчует закуской или старается занять разговором своих приятельниц.

— Вера Васильевна! — сказал Нил Андреич,— заступитесь вы, красавица моя, за меня!

— Разве вас обижают?

— Как же не обижают! Далила... нет — Пелагея Карповна.

— Impertinent! [3] — громким шепотом сказала Крицкая, поднимаясь с места и направляясь к двери.

— Куда, Полина Карповна: а пирога? Марфенька, удержи! Полина Карповна! — останавливала Татьяна Марковна.

— Нет, нет, Татьяна Марковна: я всегда рада и благодарна вам,— уже в зале говорила Крицкая,— но с таким грубияном никогда не буду, ни у вас, нигде... Если б покойный муж был жив, он бы не смел...

— Ну, не сердитесь на старика: он не от злого сердца; он почтенный такой...

— Нет, нет; про*шю*, пустите — я приеду в другой раз, без него...

Она уехала в слезах, глубоко обиженная.

---

[1] Он глуп, груб? (*франц.*)
[2] Здесь душно: пойдемте в сад! (*франц.*)
[3] Нахал! (*франц.*)

В гостиной все были в веселом расположении духа, и Нил Андреич, с величавою улыбкой, принимал общий смех одобрения. Не смеялся только Райский да Вера. Как ни комична была Полина Карповна, грубость нравов этой толпы и выходка старика возмутили его. Он угрюмо молчал, покачивая ногой.

— Что, прогневалась, уехала? — говорил Нил Андреич, когда Татьяна Марковна, видимо озабоченная этой сценой, воротилась и молча села на свое место.

— Ничего, скушает на здоровье! — продолжал старик,— не ходи раздетая при людях: здесь не баня!

Дамы потупили глаза, девицы сильно покраснели и свирепо стиснули друг другу руки.

— Да не вертись по сторонам в церкви, не таскай за собой молодых ребят... Что, Иван Иваныч: ты, бывало, у ней безвыходно жил! Как теперь: все еще ходишь? — строго спросил он у какого-то юноши.

— Отстал давно, ваше превосходительство: надоело комплименты говорить.

— То-то отстал! Какой пример для молодых женщин и девиц? А ведь ей давно за сорок! Ходит в розовом, бантики да ленточки... Как не пожурить! Видите ли,— обратился он к Райскому,— что я страшен только для порока, а вы боитесь меня! Кто это вам наговорил на меня страхи!

— Кто? Да Марк,— сказал Райский.

Общее движение. Некоторые вздрогнули.

— Какой такой Марк? — нахмурив брови, спросил Тычков.

— Марк Волохов, вот что прислан сюда на житье.

— Это тот разбойник? Да разве вы знаетесь с ним?

— Мы приятели.

— Приятели? — с изумлением произнес старик и посвистал.— Татьяна Марковна, что я слышу?

— Не верьте ему, Нил Андреич: он сам не знает, что говорит...— начала бабушка.— Какой он тебе приятель...

— Что вы, бабушка! Да не он ли у меня ужинал и ночевал? Не вы ли велели ему постлать мягкую постель...

— Борис Павлыч! помилосердуй, помолчи! — неистово шептала бабушка.

Но было уже поздно. Тычков вскинул изумленные очи на Татьяну Марковну, дамы глядели на нее с состраданием, мужчины разинули рты, девицы прижались друг к другу.

У Веры от улыбки задрожал подбородок. Она с наслаждением глядела на всех и дружеским взглядом благодарила Райского за это нечаянное наслаждение, а Марфенька спряталась за бабушку.

— Что я слышу! — с изумлением произнес Нил Андреич,— и вы впустили этого Варраву [1] под свой кров!

---

[1] Библейский разбойник.

— Не я, Нил Андреич, а Борюшка привел его ночью. Я и не знала, кто там у него спит!

— Так вы с ним по ночам шатаетесь! — обратился он к Райскому.— А знаете ли вы, что он подозрительный человек, враг правительства, отверженец церкви и общества?

— Какой ужас! — сказали дамы.

— Он-то и отрекомендовал вам меня? — допрашивал Нил Андреич.

— Да, он.

— Что же, он меня зверем изобразил: что я глотаю людей?..

— Нет, не глотаете, а позволяете себе по какому-то праву оскорблять их.

— И вы поверили?

— До нынешнего дня— нет.

— А нынче?

— А нынче верю.

Общий ужас и изумление. Некоторые чиновники тихонько вышли в залу и оттуда слушали, что будет дальше.

— Что так,— с изумлением и высокомерно спросил Тычков, нахмурив брови.— Почему?

— А потому что вы сейчас оскорбили женщину.

— Слышите, Татьяна Марковна!

— Борюшка! Борис Павлыч! — унимала она.

— Эту... эту старую модницу, прельстительницу, ветреницу...— говорил Нил Андреич.

— Что вам за дело до нее? и кто вам дал право быть судьей чужих пороков?

— А вы, молодой человек, по какому праву смеете мне делать выговоры? Вы знаете ли, что я пятьдесят лет на службе и ни один министр не сделал мне ни малейшего замечания?..

— По какому праву? А по такому, что вы оскорбили женщину в моем доме, и если б я допустил это, то был бы жалкая дрянь. Вы этого не понимаете, тем хуже для вас!..

— Если вы принимаете у себя такую женщину, про которую весь город знает, что она легкомысленна, ветрена, не по летам молодится, не исполняет обязанностей в отношении к семейству...

— Ну, так что же?

— А то, что и вы, вот и Татьяна Марковна, стоите того, чтоб пожурить вас обоих. Да, да, давно я хотел сказать вам, матушка... вы ее принимаете у себя...

— Ну, ветреность, легкомыслие, кокетство еще не важные преступления,— сказал Райский,— а вот про вас тоже весь город знает, что вы взятками награбили кучу денег да обобрали и заперли в сумасшедший дом родную племянницу,— однако же и бабушка, и я пустили вас, а ведь это важнее кокетства! Вот за это пожурите нас!

Сцена невообразимого ужаса между присутствующими! Дамы встали и кучей направились в залу, не простясь с хозяйкой; за ними толпой, как овцы, бросились девицы, и все уехали. Бабушка указала Марфеньке и Вере дверь.

Марфенька ушла, а Вера осталась.

Нил Андреич побледнел.

— Кто, кто передал *тебе* эти слухи, говори! Этот разбойник Марк? Сейчас еду к губернатору. Татьяна Марковна, или мы не знакомы с вами, или чтоб нога этого молодца (он указал на Райского) у вас в доме никогда не была! Не то я упеку и его, и весь дом, и вас в двадцать четыре часа куда ворон костей не занашивал...

Тычков задыхался от злости и не знал сам, что говорил.

— Кто, кто ему это сказал, я хочу знать? Кто... говори!..— хрипел он.

Татьяна Марковна вдруг встала с места.

— Полно тебе вздор молоть, Нил Андреич! Смотри, ты багровый совсем стал: того и гляди лопнешь от злости. Выпей лучше воды! Какой секрет, кто сказал? Да я сказала, и сказала правду! — прибавила она.— Весь город это знает.

— Татьяна Марковна! как!..— заревел было Нил Андреич.

— Меня шестьдесят пять лет Татьяной Марковной зовут. Ну, что — «как»? И поделом тебе! Что ты лаешься на всех: напал, в самом деле, в чужом доме на женщину — хозяин остановил тебя — не по-дворянски поступаешь!..

— Да как вы мне смеете это говорить! — заревел опять Тычков.

Райский бросился было к нему, но бабушка остановила его таким повелительным жестом, что он окаменел и ждал, что будет.

Она вдруг выпрямилась, надела чепец и, завернувшись в шаль, подступила к Нилу Андреичу.

Райский с удивлением глядел на бабушку. Она, а не Нил Андреич, приковала его внимание к себе. Она вдруг выросла в фигуру, полную величия, так что даже и на него напала робость.

— Ты кто? — сказала она,— ничтожный приказный, parvenu [1] — и ты смеешь кричать на женщину, и еще на столбовую дворянку! Зазнался: урока хочешь! Я дам тебе один раз навсегда: будешь помнить! Ты забыл, что, бывало, в молодости, когда ты приносил бумаги из палаты к моему отцу, ты при мне сесть не смел и по праздникам получал не раз из моих рук подарки. Да если б ты еще был честен, так никто бы тебя и не корил этим, а ты наворовал денег — внук мой правду

[1] Выскочка (*франц.*).

сказал — и тут, по слабости, терпели тебя, и молчать бы тебе да каяться под конец за темную жизнь. А ты не унимаешься, раздулся от гордости, а гордость — пьяный порок, наводит забвение. Отрезвись же, встань и поклонись: перед тобою стоит Татьяна Марковна Бережкова! Вот, видишь, здесь мой внук, Борис Павлыч Райский: не удержи я его, он сбросил бы тебя с крыльца, но я не хочу, чтоб он марал о тебя руки — с тебя довольно и лакеев! У меня есть защитник, а найди ты себе! — Люди! — крикнула она, хлопнув в ладони, выпрямившись во весь рост и сверкая глазами.

Она походила на портрет одной из величавых женщин в ее роде, висевший тут же на стене.

Тычков ворочал одурелыми глазами.

— Я в Петербург напишу... город в опасности...— торопливо говорил он, поспешно уходя и сгорбившись под ее сверкающим взглядом, не смея оглянуться назад.

Он ушел, а Татьяна Марковна все еще стояла в своей позе, с глазами, сверкающими гневом, передергивая на себе, от волнения, шаль. Райский очнулся от изумления и робко подошел к ней, как будто не узнавая ее, видя в ней не бабушку, а другую, незнакомую ему до тех пор женщину.

— Напрасно вы требовали должной вам дани, поклона, от этого пня,— сказал он,— он не понял вашего величия. Примите от меня этот поклон, не как бабушка от внука, а как женщина от мужчины. Я удивляюсь Татьяне Марковне, лучшей из женщин, и кланяюсь ее женскому достоинству!

Он поцеловал у ней руку.

— Принимаю, Борис Павлыч, твой поклон, как большую честь — и не даром принимаю — я его заслуживаю. А вот и тебе, за твой честный поступок, мой поцелуй — не от бабушки, а от женщины...

Она поцеловала в щеку.

В эту же минуту кто-то поцеловал его в другую щеку.

— А это от другой женщины! — тихо сказала Вера, целуя его, и быстро ускользнула в дверь.

— Ах! — страстно сделал Райский, протягивая вслед ей руку.

— Мы с ней не сговаривались, а обе поняли тебя. Мы с нею мало говорим, а похожи друг на друга! — сказала Татьяна Марковна.

— Бабушка! вы необыкновенная женщина! — сказал Райский, глядя на нее с восторгом, как будто в первый только раз увидел ее.

— А ты урод, только хороший урод! — заключила она, сильно трепля его по плечу.— Поди же, съезди к губернатору и расскажи по правде, как было дело, чтоб тот не наплел вздору, а я поеду к Полине Карповне и попрошу у ней извинения.

III

Нила Андреича почти сняли с дрожек, когда он воротился домой. Экономка его терла ему виски уксусом, на живот поставила горчичники и «ругательски ругала» Татьяну Марковну.

Но домашние средства не успокоили старика. Он ждал, что завтра завернет к нему губернатор, узнать, как было дело, и выразить участие, а он предложит ему выслать Райского из города, как беспокойного человека, а Бережкову обязать подпиской не принимать у себя Волохова.

Но прошло три дня: ни губернатор, ни вице-губернатор, ни советники не завернули к нему. Начать жалобу самому, раскапывать старые воспоминания — он почему-то не счел удобным.

Прежний губернатор, старик Пафнутьев, при котором даже дамы не садились в гостях, прежде нежели он не сядет сам, взыскал бы с виновных за одно неуважение к рангу; но нынешний губернатор к этому равнодушен. Он даже не замечает, как одеваются у него чиновники, сам ходит в старом сюртуке и заботится только, чтоб «в Петербург никаких историй не доходило».

Ждал Нил Андреич Тычков, что зайдет кто-нибудь из его бывших подчиненных, молодых чиновников, чтоб расспросить, что делается в неприятельском лагере. Но никто не являлся.

Он снизошел до того, что сам, будто гуляя, зашел дома в два и получил отказ. Лакеи смотрели на него как-то любопытно.

«Плохо дело», — думал он и засел дома.

В воскресенье он послал за доктором, который лечил и в губернаторском доме, и в Малиновке.

Доктор старался не смотреть на Нила Андреича, а если смотрел, то так же, как и лакеи, «любопытно». Он торопился, и когда Тычков предложил ему позавтракать, он сказал, что зван на «фриштик» к Бережковой, у которой будет и его превосходительство, и все, и что он видел, как архиерей прямо из собора уже поехал к ней, и потому спешит... И уехал, прописав Нилу Андреичу диету и покой.

— Суета сует! — произнес, вздохнув всем животом своим, Тычков и поникнул головой.

Он понял, что авторитет его провалился навсегда, что он был последний могикан, последний из генералов Тычковых!

И другие, прежние его подчиненные, еще недавно облизывавшиеся от его похвалы, вдруг будто прозрели и поняли «правду» в поступке Райского, краснея за напрасность своего долговременного поклонения фальшивому пугале-авторитету. Они все перебывали с визитом у Райского.

В кратком очерке изобразил и его Райский в программе своего романа, и сам не знал — зачем.

— Под руку попался, как Опенкин! — говорил он, дописывая последнюю строку и не предвидя ему более роли между своими героями.

Райский дня три был под влиянием воскресного завтрака. Внезапное превращение Татьяны Марковны из бабушки и гостеприимной хозяйки в львицу поразило его.

Ее сверкающие глаза, гордая поза, честность, прямота, здравый смысл, вдруг прорвавшиеся сквозь предрассудки и ленивые привычки,— не выходили у него из головы.

Он натянул холст и сделал удачный очерк ее фигуры, с намерением уловить на полотно ее позу, гнев, величавость и поставить в галерею фамильных портретов.

Он, если можно, полюбил ее еще больше. Она тоже ласковее прежнего поглядывала на него, хотя видно было, что внутренно она не мало озабочена была сама своей «прытью», как говорила она, и старалась молча переработать в себе это «противоречие с собой», как называл Райский.

Уважать человека сорок лет, называть его «серьезным», «почтенным», побаиваться его суда, пугать им других — и вдруг в одну минуту выгнать его вон! Она не раскаивалась в своем поступке, находя его справедливым, но задумывалась прежде всего о том, что сорок лет она добровольно терпела ложь и что внук ее... был... прав.

Этого она ни за что не скажет ему: молод он, пожалуй зазнается, а она покажет ему внимание иначе, по-своему, не ставя себя в затруднительное положение перед внуком и не давая ему торжества.

Вот отчего она ласковее смотрела на Райского и про себя уважала его больше прежнего.

Но все же ей было неловко — не от одного только внутреннего «противоречия с собой», а просто оттого, что вышла история у ней в доме, что выгнала человека старого, почтен... нет, «серьезного», «со звездой»...

Она вздыхала, но воротить прежнего не желала, а хотела бы только, чтоб это событие отодвинулось лет за десять назад, превратилось бы каким-нибудь чудом в давно прошедшее и забылось совсем.

Внезапный поцелуй Веры взволновал Райского больше всего. Он чуть не заплакал от умиления и основал было на нем дальние надежды, полагая, что простой случай, неприготовленная сцена, где он нечаянно высказался просто, со стороны честности и приличия, поведут к тому, чего он добивался медленным и трудным путем,— к сближению.

Но он ошибся. Поцелуй не повел ни к какому сближению. Это была такая же неожиданная искра сочувствия Веры к его поступку, как неожидан был сам поступок. Блеснула какая-то молния в ней и погасла.

Конечно, молнию эту вызвала хорошая черта, но она и не

сомневалась в достоинстве его характера, она только не хотела сближения теснее, как он желал, и не давала ему никаких других, кроме самых ограниченных, прав на свое внимание.

Он держал крепко слово: не ходил к ней, виделся с ней только за обедом, мало говорил и вовсе не преследовал.

«Поговорю с ней раза два, окончательно разрешу себе задачу, как было и с Беловодовой, и с Марфенькой, и, по обыкновению, разочаруюсь — потом уеду!» — решил он.

— Егор! — сказал он,— принеси и осмотри чемодан, цел ли замок и ремни: я недолго здесь останусь.

В доме было тихо, вот уж и две недели прошли со времени пари с Марком, а Борис Павлыч не влюблен, не беснуется, не делает глупостей и в течение дня решительно забывает о Вере, только вечером и утром она является в голове, как по зову.

Он старался, и успевал, не показывать ей, что еще занят ею. Ему даже хотелось бы стереть и память об увлечении, которое он неосторожно и смешно высказал.

«Вот уж до чего я дошел: стыжусь своего идола — значит, победа близка!» — радовался он про себя, хотя ловил и уличал себя в том, что припоминает малейшую подробность о ней, видит, не глядя, как она войдет, что скажет, почему молчит, как взглянет.

— Все это пустое, мираж, мираж! — говорил он,— анализ коснулся впечатления — и его нет!

Он занялся портретом Татьяны Марковны и программой романа, которая приняла значительный объем. Он набросал первую встречу с Верой, свое впечатление, вставил туда, в виде аксессуаров, все лица, пейзажи Волги, фотографию с своего имения — и мало-помалу оживлялся. Его «мираж» стал облекаться в плоть. Перед ним носилась тайна создания.

Он стал весел, развязен и раза два гулял с Верой, как с посторонней, милой, умной собеседницей, и сыпал перед ней, без умысла и желания добиваться чего-нибудь, весь свой запас мыслей, знаний, анекдотов, бурно играл фантазией, разливался в шутках или в задумчивых догадках развивал свое миросозерцание,— словом, жил тихою, но приятною жизнью, ничего не требуя, ничего ей не навязывая.

Он с удовольствием приметил, что она перестала бояться его, доверялась ему, не запиралась от него на ключ, не уходила из сада, видя, что он, пробыв с ней несколько минут, уходил сам; просила смело у него книг и даже приходила за ними сама к нему в комнату, а он, давая требуемую книгу, не удерживал ее, не напрашивался в «руководители мысли», не спрашивал о прочитанном, а она сама иногда говорила ему о своем впечатлении.

Они послеобеденные часы нередко просиживали вдвоем у бабушки — и Вера не скучала, слушая его, даже иногда улыбалась его шуткам. А иногда случалось, что она, вдруг

не дослушав конца страницы, не кончив разговора, слегка извинялась и уходила — неизвестно куда, и возвращалась через час, через два или вовсе не возвращалась к нему — он не спрашивал.

Его отвлекали, кроме его труда, некоторые знакомства в городе, которые он успел сделать. Иногда он обедывал у губернатора, даже был с Марфенькой и с Верой на загородном летнем празднике у откупщика, но, к сожалению Татьяны Марковны, не пленился его дочерью, сухо ответив на ее вопросы о ней, что она «барышня».

Вера была невозмутимо равнодушна к нему: вот в чем он убедился и чему покорялся, по необходимости. Хотя он сделал успехи в ее доверии и дружбе, но эта дружба была еще отрицательная, и доверие ее состояло только в том, что она не боялась больше неприличного шпионства его за собой.

У ней сильно задрожал от улыбки подбородок, когда он сам остроумно сравнил себя с выздоровевшим сумасшедшим, которого уже не боятся оставлять одного, не запирают окон в его комнате, дают ему нож и вилку за обедом, даже позволяют самому бриться,— но все еще у всех в доме памятны недавние сцены неистовства, и потому внутренно никто не поручится, что в одно прекрасное утро он не выскочит из окна или не перережет себе горла.

Дружба ее не дошла еще до того, чтоб она поверила ему, если не тайны свои, так хоть обратилась бы к его мнению, к авторитету его опытности в чем-нибудь, к его дружбе, наконец сказала бы ему, что ее занимает, кто ей нравится, кто нет.

Никакой искренней своей мысли не высказала она, не обнаружила желания, кроме одного, которое высказала категорически,— это быть свободной, то есть чтобы ее оставляли самой себе, не замечали за ней, забыли бы о ее существовании.

«Ну, вот — это исполнено теперь: что ж дальше? ужели так все и будет? — говорил он.— Надо поосторожнее справиться!..»

Он добился, что она стала звать его братом, а не кузеном, но на *ты* не переходила, говоря, что *ты*, само по себе, без всяких прав, уполномочивает на многое, чего той или другой стороне иногда не хочется, порождает короткость, даже иногда стесняет ненужной, и часто не разделенной другой стороной, дружбой.

— Ну, довольна ты мной? — сказал он однажды после чаю, когда они остались одни.

— Что такое, чем? — спросила она, взглянув на него с любопытством.

— Как чем? — с изумлением повторил он,— а переменой во мне?

— Переменой?

— Да! Прошу покорно! Я работал, смирял свои взгляды, желания, молчал, не замечал тебя: чего мне стоило! А она и не заметила! Ведь я испытываю себя, а она... Вот и награда!

— Я думала, вы и забыли об этом! — сказала она равнодушно.

— А ты забыла?

— Да, и это награда и есть.

Он с изумлением смотрел на нее.

— Хороша награда: забыла!

— Да, я забыла, что вы мне надоедали, и вижу в вас теперь то, чем вам следовало быть сначала, как вы приехали.

— И только?

— Чего же вы хотите?

— А дружба?

— Это дружба и есть. Я очень дружна с вами...

«Э! так нельзя, нет!..» — горячился он про себя — и тут же сам себя внутренно уличил, что он просит у Веры «на водку», за то, что поступал «справедливо».

— Хороша дружба: я ничего не знаю о тебе,— ты ничего мне не поверяешь, никакой сообщительности — как чужая...— заметил он.

— Я ничего никому не говорю: ни бабушке, ни Марфеньке...

— Это правда: бабушка, Марфенька — милые, добрые существа, но между ними и тобой целая бездна... а между мною и тобой много общего...

— Да, я забыла, что я «мудрая»,— сказала она насмешливо.

— Ты развитая: у тебя не молчит ум, и если сердце еще не заговорило, то уж трепещет ожиданием... Я это вижу...

— Что же вы видите?

— Что ты будто прячешься и прячешь что-то... Бог тебя знает!

— Пусть же он один и знает, что у меня!

— Ты — характер, Вера!

— Что ж, это порок?

— Редкое достоинство — если характер, а не претензия на него.

Она слегка пожала плечами, как бы не удостоивая отвечать.

— И у тебя нет потребности высказаться перед кем-нибудь, разделить свою мысль, проверить чужим умом или опытом какое-нибудь темное пятно в жизни, туманное явление, загадку? А ведь для тебя много нового...

— Нет, брат, пока нет желания, а если будет, может быть, я тогда и приду к вам...

— Помни же, Вера, что у тебя есть брат, друг, который готов все для тебя сделать, даже принести жертвы...

— За что вы будете приносить их?

— За то, что — ты так... «прекрасна»,— хотелось сказать, но она смотрела на него строго.— За то, что ты так... умна,

своеобразна... и притом мне так хочется! — договорил он.

— А если мне не хочется?

— Ну, значит, нет дружбы.

— Да неужели дружба такое корыстное чувство и друг только ценится потому, что сделал то или другое? Разве нельзя так любить друг друга, за характер, за ум? Если б я любила кого-нибудь, я бы даже избегала одолжать его или одолжаться...

— Отчего?

— Я уж сказала однажды, отчего: чтоб не испортить дружбы. Равенства не будет, друзья связаны будут не чувством, а одолжением, оно вмешается — и один станет выше, другой ниже: где же свобода?

— Какая ты красная, Вера: везде свобода! Кто это нажужжал тебе про эту свободу?.. Это, видно, какой-то дилетант свободы! Этак нельзя попросить друг у друга сигары или поднять тебе вот этот платок, что ты уронила под ноги, не сделавшись крепостным рабом! Берегись: от свободы до рабства, как от разумного до нелепого — один шаг! Кто это внушил тебе?

— Никто,— сказала она, зевая и вставая с места.

— Я не надоел тебе, Вера? — спросил он торопливо,— пожалуйста, не прими этого за допытыванье, за допрос; не ставь всякого лыка в строку. Это простой разговор...

— Я настолько «мудра», брат, чтоб отличить белое от черного, и я с удовольствием говорю с вами. Если вам не скучно, приходите сегодня вечером опять ко мне или в сад: мы будем продолжать...

Он чуть не вспрыгнул от радости.

— Милая Вера! — сказал он.

— Только, я боюсь, что не умею занять вас: я все молчу, вам приходится говорить одному...

— Нет, нет — будь такою, какая ты есть и какою хочешь быть...

— Вы позволяете, братец?

— Не смейся, ей-богу, я не шучу...

— Ну, и побожились еще, как Викентьев...Теперь уж надо помнить слово. До вечера!

IV

И вечером ничего больше не добился Райский. Он говорил, мечтал, вспыхивал в одно мгновение от ее бархатных, темнокарих глаз и тотчас же угасал от равнодушного их взгляда.

Перед ним было прекрасное явление, с задатками такого сильного, мучительного, безумного счастья, но оно было недоступно ему: он лишен был права не только выражать желания, даже глядеть на нее иначе, как на сестру, или как глядят на чужую, незнакомую женщину.

Оно так и должно быть: он уже согласился с этим. Если б это отчуждение налагалось на него только чистотой девической скромности, бессознательно, неведающею зла невинностью, как было с Марфенькой, он бы скорее успокоился, уважив безусловно святость неведения.

Но у Веры нет этой бессознательности: в ней проглядывает и проговаривается если не опыт (и конечно не опыт: он был убежден в этом), если не знание, то явное предчувствие опыта и знания, и она — не неведением, а гордостью отразила его нескромный взгляд и желание нравиться ей. Стало быть, она уже знает, что значит страстный взгляд, влечение к красоте, к чему это ведет, и когда и почему поклонение может быть оскорбительно.

Она как-нибудь угадала или уследила перспективу впечатлений, борьбу чувств, и предузнает ход и, может быть, драму страсти, и понимает, как глубоко входит эта драма в жизнь женщины.

Эта преждевременная чуткость не есть непременно плод опытности. Предвидения и предчувствия будущих шагов жизни даются острым и наблюдательным умам вообще, женским в особенности, часто без опыта, предтечей которому у тонких натур служит инстинкт.

Он готовит их к опыту по каким-то намекам, непонятным для наивных натур, но явным для открытых, острых глаз, которые способны, при блеске молнии, разрезавшей тучи, схватить весь рисунок освещенной местности и удержать в памяти.

А у Веры именно такие глаза: она бросит всего один взгляд на толпу, в церкви, на улице, и сейчас увидит кого ей нужно, также одним взглядом и на Волге она заметит и судно, и лодку в другом месте, и пасущихся лошадей на острове, и бурлаков на барке, и чайку, и дымок из трубы в дальней деревушке. И ум, кажется, у ней был такой же быстрый, ничего не пропускающий, как глаза.

Не все, конечно, знает Вера в игре или борьбе сердечных движений, но, однако же, она, как по всему видно, понимает, что там таится целая область радостей, горя, что ум, самолюбие, стыдливость, нега участвуют в этом вихре и волнуют человека. Инстинкт у ней шел далеко впереди опыта.

Вот об этом и хотелось бы поговорить Райскому с ней, допытаться, почему ей этот мир волнений как будто знаком, отчего она так сознательно, гордо и упрямо отвергает его поклонение.

Но она и вида не показывает, что замечает его желание проникнуть ее тайны, и если у него вырвется намек — она молчит, если в книге идет речь об этом, она слушает равнодушно, как Райский голосом ни напирает на том месте.

У него, от напряженных усилий разгадать и обратить Веру к жизни («а не от любви»,— думал он), накипало на сердце, нервы раздражались опять, он становился едок и зол. Тогда пропадала веселость, надоедал труд, не помогали развлечения.

— Это не опыт, а пытка! — говорил он в такие мрачные дни и боязливо спрашивал себя, к чему ведет вся эта тактика и откуда она у него проистекает?

И совестно было ему по временам, когда он трезво оглядывался вокруг, как это он довел себя до такой подчиненной роли перед девочкой, которая мудрит над ним, как над школьником, подсмеивается и платит за всю его дружбу безнадежным равнодушием?

Он опять подкарауливал в себе подозрительные взгляды, которые бросал на Веру, раз или два он спрашивал у Марины, дома ли барышня, и однажды, не заставши ее в доме, полдня просидел у обрыва и, не дождавшись, пошел к ней и спросил, где она была, стараясь сделать вопрос небрежно.

— Была там, на берегу, на Волге,— еще небрежнее отвечала она.

Он только хотел уличить ее, что он там караулил и что ее не было, но удержался, зато у него вырвался взгляд изумления и был ею замечен. Но она даже не дала себе труда объясниться, отчего вышло противоречие и каким путем она воротилась с берега.

Но она была там или где-нибудь далеко, потому что была немного утомлена, надела, воротясь, вместо ботинок туфли, вместо платья блузу, и руки у ней были несколько горячи.

Он, однако, продолжал работать над собой, чтобы окончательно завоевать спокойствие, опять ездил по городу, опять заговаривал с смотрительской дочерью и предавался необузданному веселью от ее ответов. Даже иногда вновь пытался возбудить в Марфеньке какую-нибудь искру поэтического, несколько мечтательного, несколько бурного чувства, не к себе, нет, а только повеять на нее каким-нибудь свежим и новым во́здухом жизни, но все отскакивало от этой ясной, чистой и тихой натуры.

Иногда он как будто и расшевелит ее, она согласится с ним, выслушает задумчиво, если он скажет ей что-нибудь «умное» или «мудреное», а через пять минут, он слышит, ее голос где-нибудь вверху уже поет: «Ненаглядный ты мой, как люблю я тебя», или рисует она букет цветов, семейство голубей, портрет с своего кота, а не то примолкнет, сидя где-нибудь, и читает книжку «с веселым окончанием» или же болтает неумолкаемо и спорит с Викентьевым.

Протянулась еще неделя, и скоро должен исполниться месяц глупому предсказанию Марка, а Райский чувствовал себя свободным «от любви». В любовь свою он не верил и относил все к раздражению воображения и любопытства.

Случалось даже, что по нескольку дней не бывало и раздражения, и Вера являлась ему безразлично с Марфенькой: обе казались парой прелестных институток на выпуске, с институтскими тайнами, обожанием, со всею мечтательною теорией и взглядами на жизнь, какие только устанавливаются в голове институтки — впредь до опыта, который и перевернет все вверх дном.

Вера приходила, уходила, он замечал это, но не вздрагивал, не волновался, не добивался ее взгляда, слова и, вставши однажды утром, почувствовал себя совершенно твердым, то есть равнодушным и свободным, не только от желания добиваться чего-нибудь от Веры, но даже от желания приобретать ее дружбу.

«Я совсем теперь холоден и покоен, и могу, по уговору, объявить, наконец, ей, что я готов, опыт кончен — я ей друг, такой, каких множество у всех. А на днях и уеду. Да: надо еще повидаться с «Варравой» и стащить с него последние панталоны: не держи пари!»

Он мимоходом подтвердил Егорке, чтобы тот принес чемодан с чердака и приготовил к отъезду.

Он пошел к Леонтью справиться, где в настоящую минуту витает Марк, и застал их обоих за завтраком.

— Знаете что,— сказал Марк, глядя на него,— вы могли бы сделаться порядочным человеком, если б были посмелее!

— То есть если б у меня хватило смелости подстрелить кого-нибудь или разбить ночью трактир! — отвечал Райский.

— Ну, где вам разбить ночью трактир! Да и не нужно — у бабушки вечный трактир. Нет, спасибо и на том, что выгнали из дома старую свинью. Говорят, вдвоем с бабушкой: молодцы!

— Почем вы знаете?

— Весь город говорит! Хорошо! Я уж хотел к вам с почтением идти, да вдруг, слышу, вы с губернатором связались, зазвали к себе и ходили перед ним с той же бабушкой на задних лапах! Вот это скверно! А я было думал, что вы и его затем позвали, чтоб спихнуть с крыльца.

— Это называется, кажется, «гражданским мужеством»? — сказал Райский.

— Да уж не знаю, какое, а только я вам как-нибудь покажу образчик этого мужества. Вот тут что-то часто стал ездить мимо наших огородов полицеймейстер: это, должно быть, его превосходительство изволит беспокоиться и посылает узнавать о моем здоровье, о моих удовольствиях. Ну, хорошо же!.. Теперь я воспитываю пару бульдогов: еще недели не прошло, как они у меня, а уж на огородах у нас ни одной кошки не осталось... Я их посажу теперь на чердак, в темноту, а когда полковник или его свита изволят пожаловать, так мои птенцы и вырвутся... нечаянно, конечно...

— Ну, я пришел с вами проститься — скоро еду! — сказал Райский.

— Вы едете? — с изумлением спросил Марк.

— А что?

— Мне нужно бы сказать вам несколько слов...— тихо и серьезно добавил он.

Райский, в свою очередь, с удивлением поглядел на него.

— Что вам? говорите! — сказал он,— не денег ли опять?

— Пожалуй, и денег опять — да теперь не о деньгах речь. После, я к вам зайду, теперь нельзя...

Он кивнул на жену Козлова, сидевшую тут, давая знать, что при ней не хочет говорить.

Леонтий всплеснул руками, услыхав об отъезде Райского; жена его надулась.

— Как же, кто вас пустит? — шептала она,— хороши; так-то помните свою Уленьку? Ни разу без мужа не пришли ко мне...

Она взяла его за руку и долго держала, глядя на него с печальной насмешкой.

— А деньги принесли? — вдруг спросил Марк,— триста рублей пари?

Райский иронически поглядывал на него.

— Ну, что же, панталоны где? — сказал он.

— Я не шучу, давайте триста рублей.

— За что? Я не влюблен, как видите.

— Нет, я вижу, что вы по уши влюблены.

— Как же это вы видите?

— Да так, по роже.

— Смотрите же: месяц прошел — и пари кончено. Мне ваших панталон не нужно — я их вам дарю, в придачу к пальто.

— Как же это ты... едешь! — с горестью говорил Козлов,— а книги?

— Какие книги?

— А эти, твои,— вот они, все целы, вот по каталогу, в порядке...

— Ведь я тебе подарил их.

— Да полно шутить, скажи, куда их?..

— Прощайте, мне некогда. С книгами не приставай, сожгу,— сказал Райский.— Ну, мудрец, по рожам узнающий влюбленных,— прощайте! Не знаю, встретимся ли опять...

— Деньги подайте — это бесчестно не отдавать,— говорил Марк,— я вижу любовь: она, как корь, еще не вышла наружу, но скоро высыпет... Вон, лицо уже красное! Какая досада, что я срок назначил! От собственной глупости потерял триста рублей!

— Прощайте!

— Вы не уедете,— сказал Марк.

— Я еще зайду к тебе, Козлов... я на той неделе еду,— обратился Райский к Леонтью.

— Ну, так не уедете! — повторил Марк.

— А что ж твой роман? — спросил Леонтий,— ведь ты хотел его кончить здесь.

— Я уж у конца — только привести в порядок, в Петербурге займусь.

— И романа не кончите, ни живого, ни бумажного! — заметил Марк.

Райский живо обернулся к нему, хотел что-то сказать, но отвернулся с досадой и ушел.

— Отчего же ты думаешь, что он романа не кончит? — спросил Леонтий Марка.

— Где ему! — с язвительным смехом отвечал Марк,— он неудачник!

V

Райский пошел домой, чтоб поскорее объясниться с Верой, но не в том уже смысле, как было положено между ними. Победа над собой была до того верна, что он стыдился прошедшей слабости, и ему хотелось немного отмстить Вере за то, что она поставила его в это положение.

Он дорогой придумал до десяти редакций последнего разговора с ней. И тут опять воображение стало рисовать ему, как он явится ей в новом, неожиданном образе, смелый, насмешливый, свободный от всяких надежд, нечувствительный к ее красоте, как она удивится, может быть... опечалится!

Наконец он остановился на одной редакции разговора, дружеской, но учтиво-покровительственной и, в результате, совершенно равнодушной. У него даже мелькнула мысль передать ей, конечно в приличной и доступной ей степени и форме, всю длинную исповедь своих увлечений, поставить на неведомую ей высоту Беловодову, облить ее блеском красоты, женской прелести, так, чтобы бедная Вера почувствовала себя просто Сандрильоной [1] перед ней, и потом поведать о том, как и эта красота жила только неделю в его воображении.

Он хотел осыпать жаркими похвалами Марфеньку и в заключение упомянуть вскользь и о Вере, благосклонно отозваться о ее красоте, о своем легком увлечении, и всех их поставить на одну доску, выдвинув наперед других, а Веру оставив в тени, на заднем плане.

Он трепетал от радости, создав в воображении целую картину — сцену ее и своего положения, ее смущения, сожалений, которые, может быть, он забросил ей в сердце и которых она еще теперь не сознает, но сознает, когда его не будет около.

---

[1] Золушкой (*франц.* Cendrillon).

Он так целиком и хотел внести эту картину-сцену в свой проект и ею закончить роман, набросав на свои отношения с Верой таинственный полупокров: он уезжает непонятый, неоцененный ею, с презрением к любви и ко всему тому, что нагромоздили на это простое и несложное дело люди, а она останется с жалом — не любви, а предчувствия ее в будущем, и с сожалением об утрате, с туманными тревогами сердца, со слезами, и потом вечной, тихой тоской до замужества — с советником палаты! Оно не совсем так, но ведь роман — не действительность, и эти отступления от истины он называл «литературными приемами».

У него даже дух занимался от предчувствия, как это будет эффектно и в действительности и в романе.

Он сделал гримасу, встретивши бабушку, уже слышавшую от Егорки, что барин велел осмотреть чемодан и приготовить к следующей неделе белье и платье.

Новость облетела весь дом. Все видели, как Егорка потащил чемодан в сарай смести с него пыль и паутину, но дорогой предварительно успел надеть его на голову мимошедшей Анютке, отчего та уронила кастрюльку со сливками, а он захихикал и скрылся.

Бабушка была поражена неожиданною вестью.

— Это ты что затеял, Борюшка? — приступила было она к нему и осыпала его упреками, закидала вопросами — но он отделался от нее и пошел к Вере.

Тихо, с замирающим от нетерпения сердцем предстать в новом виде, пробрался он до ее комнаты, неслышно дошел по ковру к ней.

Она сидела за столом, опершись на него локтями, и разбирала какое-то письмо, на простой синей бумаге, написанное, как он мельком заметил, беспорядочными строками, и запечатанное бурым сургучом.

— Вера! — сказал он тихо.

Она вздрогнула от испуга так, что и он задрожал. В это же мгновение рука ее с письмом быстро опустилась в карман.

Оба они неподвижно глядели друг на друга.

— Извини, ты занята? — сказал он, пятясь от нее, но не уходя.

Она молчала и мало-помалу приходила от испуга в себя, не спуская с него глаз и все стоя, как встала с места, не вынимая руки из кармана.

— Письмо? — говорил он, глядя на карман.

Она глубже опустила туда руку. У него в одну минуту возникли подозрения насчет Веры, мелькнуло в голове и то, как она недавно обманула его, сказав, что была на Волге, а сама очевидно там не была.

«Что это такое!» — со страхом подумал он.

— Должно быть, интересное письмо и большой секрет! — с принужденной улыбкой сказал он.— Ты так быстро спрятала.

Она села на диван и продолжала глядеть на него уже равнодушно.

«Нет, уж теперь не надуешь этим равнодушием!» — подумал он.

— Покажи письмо...— сказал он шутливо, нетвердым от волнения голосом.

Она с удивлением взглянула на него и плотнее прижала руку к карману.

— Не покажешь?

Она покачала головой.

— Зачем? — спросила потом.

— Разумеется, мне не нужно: что интересного в чужом письме? Но докажи, что ты доверяешь мне и что в самом деле дружна со мной. Ты видишь, я равнодушен к тебе. Я шел успокоить тебя, посмеяться над твоей осторожностью и над своим увлечением. Погляди на меня: таков ли я, как был?..— «Ах, черт возьми, это письмо из головы нейдет!» — думал между тем сам.

Она поглядела на него, точно ли он равнодушен. Лицо, пожалуй, и равнодушно, но голосом он как будто просит милостыню.

— Не покажешь? Ну, бог с тобой! — полупечально сказал он.— Я пойду.

Он обернулся к дверям.

— Постойте,— сказала она.

Потом пошарила немного рукой в кармане, вынула письмо и подала ему.

Он поглядел на обе стороны и взглянул на подпись: Pauline Kritzki[1].

— Это не то письмо,— сказал он, подавая его назад.

— А разве вы видели другое? — спросила она сухо.

Он боялся признаться, что видел, чтоб опять не уличила она его в шпионстве.

— Нет,— сказал он.

— Ну, так читайте.

«Ma belle, charmante, divine[2] Вера Васильевна! — начиналось письмо,— я в восторге, становлюсь на колени перед вашим милым, благородным, прекрасным братом! Он отмстил за меня, я торжествую и плачу от радости. Он был велик! Скажите ему, что он мой рыцарь и навсегда, что я его вечная, послушная раба! Ах, как я его уважаю... сказала бы... слово вертится на языке,— но не смею... Почему не сметь? Да, я его

[1] Полина Крицкая (*франц.*).
[2] Моя прекрасная, очаровательная, божественная (*франц.*).

люблю, нет, боготворю! Все мужчины должны пасть на колени перед ним!!»

Райский отдал было письмо назад.

— Нет, продолжайте,— сказала Вера,— там есть просьба до вас.

Райский пропустил несколько строк и читал дальше.

«Упросите, умолите вашего брата — он вас обожает, о, не защищайтесь — я заметила его страстные взгляды... Боже, зачем я не на вашем месте!.. Упросите его, душечка Вера Васильевна, сделать мой портрет — он обещал. Бог с ним — с портретом, но чтоб мне быть только с артистом, видеть его, любоваться им, говорить, дышать с ним одним воздухом! Я чувствую, ах, я чувствую... Ma pauvre tête, je deviens folle! Je compte sur vous, ma belle et bonne amie, et j'attends la réponse...»[1]

— Что ж отвечать ей? — спросила Вера, когда Райский положил письмо на стол.

Он молчал, не слыхав вопроса, все думая, от кого другое письмо и отчего она его прячет?

— Написать, что вы согласны?

— Боже сохрани — ни за что! — опомнившись, с досадой сказал Райский.

— Как же быть: она хочет «дышать с вами одним воздухом...»

У ней задрожал подбородок.

— Черт с ней, я задохнусь в этом воздухе.

— А если б я вас попросила? — сказала она грудным шепотом, кокетливо поглядев на него.

Сердце у него перевернулось.

— Ты? зачем тебе это нужно?

— Так, мне хочется сделать ей что-нибудь приятное...— сказала она, но не прибавила, что она хваталась за это средство, чтоб хоть немного отучить Райского от себя.

Она знала, что Полина Карповна вцепится в него и не скоро выпустит его из рук.

— Ты примешь за знак дружбы, если я исполню это?

Она кивнула головой.

— Но ведь это жертва?

— Вы напрашивались на них: вот одна...

— Ты требуешь! — сказал он, наступая на нее.

— Не надо, не надо, я ничего не требую! — торопливо прибавила она, испугавшись и отступая.

— Вот уж и испугалась моей жертвы! Хорошо, изволь: принеси и ты две маленькие жертвы, чтоб не обязываться мной. Ведь ты не допускаешь в дружбе одолжений: видишь, я вхожу в твою теорию, мы будем квиты.

---

[1] Бедная моя голова, я с ума схожу! Я рассчитываю на вас, мой добрый и прекрасный друг, и жду ответа (*франц.*).

Она вопросительно глядела на него.

— Первое, будь при сеансах и ты; а то я с первого же раза убегу от нее: согласна?

Она нехотя, задумчиво кивнула головой. Ей уж не хотелось от него этого одолжения, когда хитрость ее не удалась и ей самой приходилось сидеть вместе с ними.

— Во-вторых...— сказал он и остановился, а она ждала с любопытством.— Покажи другое письмо?

— Какое?

— Что быстро спрятала в карман.

— Там нет.

— Есть: вон, я вижу, оно оттопыривается!

Она опять опустила руку в карман.

— Вы сказали, что не видали другого письма: я вам показала одно.— Чего вам еще?

— Этого письма ты не спрятала бы с таким испугом. Покажешь?

— Вы опять за свое,— сказала она с упреком, перебирая рукой в кармане, где в самом деле шумела бумага.

— Ну, не надо — я пошутил: только, ради бога, не принимай этого за деспотизм, за шпионство, а просто за любопытство. А впрочем, бог с тобой и с твоими секретами! — сказал он, вставая, чтоб уйти.

— Никаких секретов нет,— сухо отвечала она.

— Знаешь ли, что я еду скоро? — вдруг сказал он.

— Знаю, слышала — только правда ли?

— Почему ж ты сомневаешься?

Она молчала, опустив глаза.

— Ты довольна?

— Да...— отвечала она тихо.

— Отчего же? — с унынием спросил он и подошел к ней.

— Отчего?..

Она подумала, подумала, потом опустила руку в карман, достала и другое письмо, пробежала его глазами, взяла перо, тщательно вымарала некоторые слова и строки в разных местах и подала ему.

— Я уж вам говорила — отчего: вот еще — прочтите! — сказала она и опустила руку опять в карман.

Он погрузился в чтение. А она стала смотреть в окно. Письмо было написано мелким женским почерком. Райский читал: «Я кругом виновата, милая Наташа...»

— Кто это Наташа?

— Жена священника, моя подруга по пансиону.

— А, попадья? Так это ты пишешь: ах, это любопытно! — сказал Райский и даже потер коленки одна о другую от предстоящего удовольствия, и погрузился в чтение.

«Я кругом виновата, милая Наташа, что не писала к тебе по возвращении домой: по обыкновению, ленилась, а кроме

того, были другие причины, о которых ты сейчас узнаешь. Главную из них ты знаешь — это... (тут три слова были зачеркнуты)... и что иногда не на шутку тревожит меня. Но об этом наговоримся при свидании.

Другая причина — приезд нашего родственника Бориса Павловича Райского. Он живет теперь с нами и, на беду мою, почти не выходит из дома, так что я недели две только и делала, что пряталась от него. Какую бездну ума, разных знаний, блеска, талантов и вместе шума, или «жизни», как говорит он, привез он с собой и всем этим взбудоражил весь дом, начиная с нас, то есть бабушки, Марфеньки, меня — и до Марфенькиных птиц! Может быть, это заняло бы и меня прежде, а теперь ты знаешь, как это для меня неловко, несносно...

А он, приехавши в свое поместье, вообразил, что не только оно, но и все, что в нем живет,— его собственность. На правах какого-то родства, которого и назвать даже нельзя, и еще потому, что он видел нас маленьких, он поступает с нами, как с детьми или как с пансионерками. Я прячусь, прячусь и едва достигла того, что он не видит, как я сплю, о чем мечтаю, чего надеюсь и жду.

Я от этого преследования чуть не захворала, не видалась *ни с кем*, не писала *ни к кому*, и даже к тебе, и чувствовала себя точно в тюрьме. Он как будто играет, может быть даже нехотя, со мной. Сегодня холоден, равнодушен, а завтра опять глаза у него блестят, и я его боюсь, как боятся сумасшедших. Хуже всего то, что он сам не знает себя, и потому нельзя положиться на его намерения и обещания: сегодня решится на одно, а завтра сделает другое.

Он «нервозен, впечатлителен и страстен»: так он говорит про себя — и это, кажется, верно. Он не актер, не притворяется: для этого он слишком умен и образован и притом честен. «Такая натура!» — оправдывается он.

Он какой-то артист: все рисует, пишет, фантазирует на фортепиано (и очень мило), бредит искусством, но, кажется, как и мы, грешные, ничего не делает и чуть ли не всю жизнь проводит в том, что «поклоняется красоте», как он говорит: просто влюбчив по-нашему, как, помнишь, Дашенька Семечкина, которая была однажды заочно влюблена в испанского принца, увидевши портрет его в немецком календаре, и не пропускала никого, даже настройщика Киша. Но у него есть доброта, благородство, справедливость, веселость, свобода мыслей: только все это выражается порывами, и оттого не знаешь, как с ним держать себя.

Теперь он ищет моей дружбы, но я и дружбы его боюсь, боюсь всего от него, боюсь... (тут было зачеркнуто целых три строки). Ах, если б он уехал отсюда! Страшно и подумать, если он когда-нибудь... (опять зачеркнуто несколько слов).

А мне одно нужно: покой! И доктор говорит, что я нервная, что меня надо беречь, не раздражать, и слава богу, что он натвердил это бабушке: меня оставляют в покое. Мне не хотелось бы выходить из моего круга, который я очертила около себя: никто не переходит за эту черту, я так поставила себя, и в этом весь мой покой, все мое счастие.

Если Райский как-нибудь перешагнет эту черту, тогда мне останется одно: бежать отсюда! Легко сказать — бежать, а куда? Мне вместе и совестно: он так мил, добр ко мне, к сестре — осыпает нас дружбой, ласками, еще хочет подарить этот уголок... этот рай, где я узнала, что живу, не прозябаю!.. Совестно, зачем он расточает эти незаслуженные ласки, зачем так старается блистать передо мною и хлопочет возбудить во мне нежное чувство, хотя я лишила его всякой надежды на это. Ах, если б он знал, как напрасно все!

Ну, теперь скажу тебе кое-что о том...»

Письмо оканчивалось этой строкой. Райский дочитал — и все глядел на строки, чего-то ожидая еще, стараясь прочесть за строками. В письме о самой Вере не было почти ничего: она оставалась в тени, а освещен один он — и как ярко!

Он все думал над письмом, оглядывая его со всех сторон. Потом вдруг очнулся.

— Это опять не то письмо: то на синей бумаге написано! — резко сказал он, обращаясь к Вере,— а это на белой...

Но Веры уж не было в комнате.

VI

Райский пришел к себе и начал с того, что списал письмо Веры слово в слово в свою программу, как материал для характеристики. Потом он погрузился в глубокое раздумье, не о том, что она писала о нем самом: он не обиделся ее строгими отзывами и сравнением его с какой-то влюбчивой Дашенькой. «Что она смыслит в художественной натуре!» — подумал он.

Его поглотили соображения о том, что письмо это было ответом на его вопрос: рада ли она его отъезду! Ему теперь дела не было, будет ли от этого хорошо Вере, или нет, что он уедет, и ему не хотелось уже приносить этой «жертвы».

Лишь только червь сомнения вполз к нему в душу, им овладел грубый эгоизм: *я* выступило вперед и требовало жертв себе.

И все раздумывал он: от кого другое письмо? Он задумчиво ходил целый день, машинально обедал, не говорил с бабушкой и Марфенькой, ушел от ее гостей, не сказавши ни слова, велел Егорке вынести чемодан опять на чердак и ничего не делал.

С мыслью о письме и сама Вера засияла опять и приняла в его воображении образ какого-то таинственного, могучего,

облеченного в красоту зла, и тем еще сильнее и язвительнее казалась эта красота. Он стал чувствовать в себе припадки ревности, перебирал всех, кто был вхож в дом, осведомлялся осторожно у Марфеньки и бабушки, к кому они все пишут и кто пишет к ним.

— Да кто пишет? Ко мне никто,— сказала бабушка,— а к Марфеньке недавно из лавки купец письмо прислал...

— Это, бабушка, не письмо, а счет за шерсть, за узоры: я забирала у него.

— А к Верочке купец не присылал? — спросил Райский.

— И к ней присылал: она для попадьи забирала...

— Не на синей ли бумаге?

— Да, на синей: вы почем знаете? Он всё на синей бумаге пишет.

Он не отвечал. Ему стало было легче.

«А зачем же прятать его?» — вдруг шевельнулось опять, и опять пошла на целый день грызть забота.

«Да что мне за дело, черт возьми, ведь не влюблен же я в эту статую!» — думал он, вдруг останавливаясь на дорожке и ворчая одурелыми глазами вокруг.

«Вон где гнездится змея!» — думал опять, глядя злобно на ее окно с отдувающейся занавеской.

— Пойду прочь, а то еще подумает, что занимаюсь ею... дрянь! — ворчал он вслух, а ноги сами направлялись уже к ее крыльцу. Но не хватило духу отворить дверь, и он торопливо вернулся к себе, облокотился на стол локтями и просидел так до вечера.

«Что я теперь буду делать с романом? — размышлял он,— хотел закончить, а вот теперь в сторону бросило, и опять не видать конца!»

Он швырнул тетради в угол.

Все прочее вылетело опять из головы: бабушкины гости, Марк, Леонтий, окружающая идиллия — пропали из глаз. Одна Вера стояла на пьедестале, освещаемая блеском солнца и сияющая в мраморном равнодушии, повелительным жестом запрещающая ему приближаться, и он закрывал глаза перед ней, клонил голову и мысленно говорил:

«Вера, Вера, пощади меня, смотри, я убит твоей ядовитой красотой. Никто никогда не язвил меня...» и т. д.

То являлась она в полумраке, как настоящая Ночь, с звездным блеском, с злой улыбкой, с таинственным, нежным шепотом к кому-то и с насмешливой угрозой ему, блещущая и исчезающая, то трепетная, робкая, то смелая и злая!

Ночью он не спал, днем ни с кем не говорил, мало ел и даже похудел немного — и все от таких пустяков, от ничтожного вопроса: от кого письмо?

Скажи она, вот от такого-то или от такой-то, и кончено дело, он и спокоен. Стало быть, в нем теперь неугомонное, раздражен-

ное любопытство — и больше ничего. Удовлетвори она этому любопытству, тревога и пройдет. В этом и вся тайна.

«Надо узнать, от кого письмо, во что бы то ни стало,— решил он,— а то меня лихорадка бьет. Только лишь узнаю, так успокоюсь и уеду!» — сказал он и пошел к ней тотчас после чаю.

Ее не было дома, Марина сказала, что барышня надела шляпку, мантилью, взяла зонтик и ушла.

— Куда?

— Бог их знает,— отвечала та,— гуляют где-нибудь, ведь они не говорят, куда идут.

— Никогда?

— Никогда, и спрашивать не велят: гневаются!

И за обедом ее не было. Новый ужас.

— Где Вера? — спросил Райский у бабушки.

Бабушка только нахмурилась, но ничего не сказала. Он к Марфеньке:

— Не знаю, братец. Я видела давеча из окна, что она в деревню пошла.

— Где же она обедает?

— Молока у мужиков спросит или после придет, у Марины чего-нибудь спросит поесть.

— Все не по-людски! — ворчала про себя бабушка, — своенравная: в мать! Дались им какие-то нервы! И доктор тоже все о нервах твердит. «Не трогайте, не перечьте, берегите!» А они от нерв и куралесят!

— Что же вы не спросите, куда она ходит одна? — спросил Райский.

— Как можно спросить: прогневаются! — иронически заметила Татьяна Марковна,— на три дня запрутся у себя. Бабушка не смей рта разинуть!

— Куда ж это она одна?..— тихо говорил Райский.

— Она у нас все одна ходит,— отвечала Марфенька.

— А ты?

— Как можно: я боюсь.

— Чего?

— Мало ли чего! змей, лягушек, собак, больших свиней, воров, мертвецов... Арины боюсь.

— Какой Арины?

— Дурочка у нас есть.

— А Вера?

— Ничего не боится: даже в церковь на ночь заприте ее, и то не боится.

— А ты бы спросила ее завтра, Марфенька, где она была.

— Рассердится!

— Все боятся, прошу покорно!

На другой день опять она ушла с утра и вернулась вечером. Райский просто не знал, что делать от тоски и неизвест-

ности. Он караулил ее в саду, в поле, ходил по деревне, спрашивал даже у мужиков, не видали ли ее, заглядывал к ним в избы, забыв об уговоре не следить за ней.

Уж становилось темно, когда он, блуждая между деревьями, вдруг увидел ее пробирающеюся сквозь чащу кустов и деревьев, росших по обрыву. Он весь задрожал и бросился к ней, так что и она вздрогнула и остановилась.

— Кто тут? — спросила она.

— Это... ты... Вера?..

— Да, я; а что?

— А тебя по всему дому искали, не знали, куда ты делась!

— Кто? — нахмурившись, спросила она.

— Бабушка и Марфенька очень беспокоились...

— Что это им вздумалось? Никогда не беспокоились, а сегодня?.. Вы бы им сказали, что напрасно, что я никого не прошу беспокоиться обо мне.

— И... я тоже сам...

— Вы? покорно благодарю: зачем?

— Но ведь легко может случиться что-нибудь...

— Например?

— Например... беда какая-нибудь: мало ли случаев? Пьяный народ шатается... змеи, воры, собаки, свиньи, мертвецы...— шутливо прибавил Райский, припомнив все страхи Марфеньки,— могут испугать...

— Вот я только вас испугалась теперь, а там ни воров, ни мертвецов нет.

Она указала на обрыв.

— До беды недалеко: иногда так легко погибнуть человеку... — заметил он.

— Ну, когда я стану погибать, так перед тем попрошу у вас или у бабушки позволения! — сказала она и пошла.

— Гордое творение! — прошептал он.

— На одну минуту, Вера,— вслух прибавил потом,— я виноват, не возвратил тебе письма к попадье. Вот оно. Все хотел сам отдать, да тебя не было.

Она взяла письмо и положила в карман.

— А то, другое, которое там?..— ласково, но с дрожью в голосе спросил он, наклоняясь к ней.

— Какое то и где там?

— Другое, синее письмо: в кармане?

У него сердце замирало, он ждал ответа.

Она выворотила наизнанку карман.

— Ах, уж нет! — сказал Райский,— от кого бы оно могло быть?

— То?.. А от попадьи ко мне,— сказала она, помолчав,— я на него и отвечала.

— От попадьи! — почти закричал он на весь сад.

— Да, конечно! — подтвердила она равнодушно и ушла.

— От попадьи! — повторил он, и у него гора с плеч свалилась.— А я бился, бился, а ларчик открывался просто! От попадьи! В самом деле: в одном кармане и письмо, и ответ на него! Это ясно! Не показывала она мне, тоже понятно: кто покажет чужое письмо, с чужими секретами?.. Разумеется, разумеется! И давно бы сказала: охота мучить! Какой мгновенный переход, однако, от этой глупой тоски, от раздражения к спокойствию! Вот и опять тишина во всем организме, гармония! Боже, какой чудный вечер! Какое блестящее небо, как воздух тепел, как хорошо! Как я здоров и глубоко покоен! Теперь все узнал, нечего мне больше делать: через два дня уеду!

— Егор! — закричал он по двору.

— Чего изволите? — из окна людской спросил голос.

— Завтра пораньше принеси чемодан с чердака!

— Слушаю-с.

Он мгновенно стал здоров, весел, побежал в дом, попросил есть, наговорил бабушке с три короба, рассмешил пять раз Марфеньку и обрадовал бабушку, наевшись за три дня.

— Ну, вот слава богу! три дня ходил, как убитый, а теперь опять дым коромыслом пошел!.. А что Вера: видел ты её?— спросила Татьяна Марковна.

— Письмо от попадьи! — вдруг брякнул Райский.

— Какое письмо? — сказали обе, Марфенька и бабушка.

— А то, что на синей бумаге, о котором я недавно спрашивал.

Он выспался за все три ночи, удивляясь, как просто было подобрать этот ключ, а он бился трое суток!

«Да ведь все простые догадки даются с трудом! Вон и Колумб просто открыл Америку...»

И остановился, сам дивясь своему сравнению.

Утром он встал бодрый, веселый, трепещущий силой, негой, надеждами — и отчего все это? Оттого, что письмо было от попадьи!

Он проворно сел за свои тетради, набросал свои мучения, сомнения и как они разрешились. У него лились заметки, эскизы, сцены, речи. Он вспомнил о письме Веры, хотел прочесть опять, что она писала о нем к попадье, и схватил снятую им копию с ее письма.

Он жадно пробегал его, с улыбкой задумался над нельстивым, крупным очерком под пером Веры самого себя, с легким вздохом перечел ту строку, где говорилось, что нет ему надежды на ее нежное чувство, с печалью читал о своей докучливости, но на сердце у него было покойно, тогда как вчера — боже мой! Какая тревога!

— Что ж, уеду,— сказал он,— дам ей покой, свободу. Это гордое, непобедимое сердце — и мне делать тут нечего: мы оба друг к другу равнодушны!

Он опять пробегал рассеянно строки — и вдруг глаза у него раскрылись широко, он побледнел, перечитав:

«Не видалась *ни с кем* и не писала *ни к кому*, даже к тебе...»

— *Ни с кем* и *ни к кому* — подчеркнуто,— шептал он, ворочая глазами вокруг, губы у него дрожали,— тут есть *кто-то*, с *кем* она видится, к *кому* пишет! Боже мой! Письмо на синей бумаге было — не от попадьи! — сказал он в ужасе.

Судорога опять прошла внутри его, он лег на диван, хватаясь за голову.

VII

На другой день, часов в десять утра, кто-то постучал к нему в комнату. Он, бледный, угрюмый, отворил дверь и остолбенел.

Перед ним стояли Вера и Полина Карповна, последняя в палевом, газовом платье, точно в тумане, с полуоткрытою грудью, с короткими рукавами, вся в цветах, в лентах, в кудрях. Она походила на тех беленьких, мелких пудельков, которых стригут, завивают и убирают в ленточки, ошейники и бантики их нежные хозяйки или собачьи фокусники.

Райский с ужасом поглядел на нее, потом мрачно взглянул на Веру, потом опять на нее. А Крицкая, с нежными до влажности губами, глядела на него молча, впустив в него глубокий взгляд, и от переполнявшего ее экстаза, а также отчасти от жара, оттаяла немного, как конфетка, называемая «помадой».

Все молчали.

— Я у ног ваших! — сказала, наконец, сдержанным шепотом Крицкая.

— Что вам угодно? — спросил он свирепо.

— У ног ваших! — повторяла она,— ваш рыцарский поступок... Я не могу вспомнить, не могу выразить...

Она поднесла платок к глазам.

— Вера, что это значит? — с нетерпением спросил он.

Вера — ни слова, только подбородок у ней дрожал.

— Ничего, ничего — простите...— торопливо заговорила Полина Карповна,— vos moments sont précieux:[1] я готова.

— Я писала к Полине Карповне, что вы согласны сделать ее портрет,— сказала, наконец, Вера.

— Ах! — вырвалось у Райского.

Он сильно потер лоб. «До того ли мне!» — проскрежетал он про себя.

— Пойдемте, сейчас начну! — решительно сказал потом,— там в зале подождите меня!

---

[1] Каждая ваша минута драгоценна (*франц.*).

— Хорошо, хорошо, прикажите — и мы... Allons, chère[1] Вера Васильевна! — торопливо говорила Крицкая, уводя Веру.

Он бы без церемонии отделался от Полины Карповны, если б при сеансах не присутствовала Вера. В этом тотчас же сознался себе Райский, как только они ушли.

Он хотя и был возмущен недоверием Веры, почти ее враждой к себе, взволнован загадочным письмом, опять будто ненавидел ее, между тем дорожил всякими пятью минутами, чтобы быть с ней. Теперь еще его жгло желание добиться, от кого письмо.

Он достал из угла натянутый на рамку холст, который готовил давно для портрета Веры, взял краски, палитру. Молча пришел он в залу, угрюмо, односложными словами, велел Василисе дать каких-нибудь занавесок, чтоб закрыть окна, и оставил только одно; мельком исподлобья взглянул раза два на Крицкую, поставил ей кресло и сел сам.

— Скажите, как мне сесть, посадите меня!..— говорила она с покорной нежностью.

— Как хотите, только сидите смирно, не говорите ничего, мешать будете! — отрывисто отвечал он.

— Не дышу!..— шепотом сказала она и склонила голову нежно набок, полузакрыла глаза и сделала сладкую улыбку.

«У, какая противная рожа! — шевельнулось у Райского в душе,— вот постой, я тебя изображу!»

Он без церемонии почти вывел бабушку и Марфеньку, которые пришли было поглядеть. Егорка, видя, что барин начал писать «патрет», пришел было спросить, не отнести ли чемодан опять на чердак. Райский молча показал ему кулак.

Борис начал чертить мелом контур головы, все злобнее и злобнее глядя на «противную рожу», и так крепко нажимал мел, что куски его летели в стороны.

Вера сидела у двери, тыкала иглой лоскуток какого-то кружева и частенько зевала, только когда взглядывала на лицо Полины Карповны, у ней дрожал подбородок и шевелились губы, чтобы сдержать улыбку.

— Suis-je bien comme-ça? [2] — шепотом спросила Крицкая у Веры.

— Oh, oui, tout-à-fait bien! [3]— сказала Вера.

Райский сделал движение досады.

— Не дышу! — пролепетала с испугом Полина Карповна и замерла в своей позе.

Райский сделал контур, взял палитру и, косясь неприязненно на Крицкую, начал подмалевывать глаза, нос...

«Все забыли твою красоту, черномазая старуха,— думал он,— кроме тебя: и в этом твоя мука!»

---

[1] Пойдемте, дорогая (*франц.*).
[2] Ну как, хороша я? (*франц.*)
[3] О да, очень хороши! (*франц.*)

Она, заметив, что он смотрит на нее, старалась слаще улыбнуться.

Минут через двадцать, от напряжения сидеть смирно и не дышать, что она почти буквально исполняла, у ней на лбу выступили крупные капли, как белая смородина, и на висках кудри немного подмокли.

— Жарко! — шепнула она.

Но Райский неумолимо мазал кистью, строго взглядывая на нее. Прошло еще четверть часа.

— Un verre d'eau![1] — шептала Крицкая едва слышно.

— Погодите, нельзя! — строго заметил Райский,— вот губы кончу.

Полина Карповна перемогла себя, услыхав, что рисуют ее улыбку. Она периодически, отрывисто и тяжело дышала, так что и грудь увлажилась у ней, а пошевельнуться она боялась. А Райский мазал да мазал, как будто не замечал.

— Полина Карповна устала! — заметила Вера.

Райский молчал. У Крицкой одна губа подалась немного вниз, как она ни старалась удержать ее на месте. Из груди стал исходить легкий свист.

Райский только знает, что мажет. Она уж раза два пошамкала губами, и две-три капли со лба у ней упали на руки.

— Погодите еще немного,— сказал Райский.

— Не дышу! — почти свистнула Полина Карповна.

Райский сам устал, но его терзала злоба, и он не чувствовал ни усталости, ни сострадания к своей жертве. Прошло пять минут.

— Ох, ох — je n'en puis plus[2] — ох, ох! — начала Крицкая, падая со стула.

Райский и Вера бросились к ней и посадили ее на диван. Принесли воды, веер, одеколону — и Вера помогала ей оправиться. Крицкая вышла в сад, а Райский остался с Верой. Он быстро и злобно взглянул на нее.

— Письмо не от попадьи! — прошипел он.

Вера отвечала ему тоже взглядом, быстрым, как молния, потом остановила на нем глаза, и взгляд изменился, стал прозрачный, точно стеклянный, «русалочный»...

— Вера, Вера! — сказал он тихо, с сухими губами, взяв ее за руки,— у тебя нет доверия ко мне!

— Ах, пустите меня! — с нетерпением говорила она, отнимая руки.— Какое доверие, в чем и зачем оно вам!

Она пошла к Полине Карповне.

«Да — она права: зачем ей доверять мне? А мне-то как оно нужно, боже мой! чтоб унять раздражение, узнать тайну (а тайна есть!) и уехать! Не узнавши, кто она, что она,— не могу ехать!»

---

[1] Стакан воды! (*франц.*)

[2] Я не могу больше (*франц.*).

— Егор! — сказал он, вышедши в переднюю,— отнеси пока чемодан опять на чердак!

Он порисовал еще с полчаса Крицкую, потом назначил следующий сеанс через день и предался с прежним жаром неотвязному вопросу все об одном: от кого письмо? Узнать и уехать — вот все, чего он добивался. Тут хуже всего тайна: от нее вся боль!

Он подозрительно смотрел на бабушку, на Марфеньку, на Тита Никоныча, на Марину, пуще всего на Марину, как на поверенную и ближайшую фрейлину Веры.

Но та пресмыкалась по двору взад и вперед, как ящерица, скользя бедром, то с юбками и утюгом, то спасаясь от побоев Савелья — с воем или с внезапной, широкой улыбкой во все лицо,— и как избегала брошенного мужем вслед ей кирпича или полена, так избегала и вопросов Райского. Она воротила лицо в сторону, завидя его, потупляла свои желтые, бесстыжие глаза и смотрела, как бы шмыгнуть мимо его подальше.

«Должно быть, эта бестия все знает!» — думал он, но расспросам боялся давать ход: гадко это ему самому было, и остерегался упрека в «шпионстве».

Он так торжественно дал слово работать над собой, быть другом в простом смысле слова. Взял две недели сроку! Боже! что делать! какую глупую муку нажил, без любви, без страсти: только одни какие-то добровольные страдания, без наслаждений! И вдруг окажется, что он, небрежный, свободный и гордый (он думал, что он гордый!), любит ее, что даже у него это и «по роже видно», как по-своему, цинически заметил это проницательная шельма, Марк!

И в то же время, среди этой борьбы, сердце у него замирало от предчувствия страсти: он вздрагивал от роскоши грядущих ощущений, с любовью прислушивался к отдаленному рокотанью грома и все думал, как бы хорошо разыгралась страсть в душе, каким бы огнем очистила застой жизни и каким благотворным дождем напоила бы это засохшее поле, все это былие, которым поросло его существование.

Что искусство, что самая слава перед этими сладкими бурями! Что все эти дымно-горькие, удушливые газы политических и социальных бурь, где бродят одни идеи, за которыми жадно гонится молодая толпа, укладывая туда силы, без огня, без трепета нерв? Это головные страсти — игра холодных самолюбий, идеи без красоты, без палящих наслаждений, без мук... часто не свои, а вычитанные, скопированные!

— Нет, я хочу обыкновенной, жизненной и животной страсти, со всей ее классической грозой. Да, страсти, страсти!..— орал он, несясь по саду и впивая свежий воздух.

Но Вера не дает ее ему: это не льстит даже ее самолюбию!

Надежда быть близким к Вере питалась в нем не одним только самолюбием: у него не было нахальной претензии на-

сильно втереться в сердце, как бывает у многих писаных красавцев, у крепких, тупоголовых мужчин — и чем бы ни было — добиться успеха. Была робкая, слепая надежда, что он может сделать на нее впечатление, и пропала.

Но когда он прочитал письмо Веры к приятельнице, у него, невидимо и незаметно даже для него самого, подогрелась эта надежда. Она там сознавалась, что в нем, в Райском, было что-то: «и ум, и много талантов, блеска, шума или жизни, что, *может быть*, в другое время заняло бы ее, а не теперь...»

Вот это *может быть*, никогда, ни в каком отчаянном положении нас не оставляющее, и ввергнуло Райского, если еще не в самую тучу страсти, то уже в ее жаркую атмосферу, из которой счастливо спасаются только сильные и в самом деле «гордые» характеры.

Да, надежда в нем была, надежда на взаимность, на сближение, на что-нибудь, чего еще он сам не знал хорошенько, но уже чувствовал, как с каждым днем ему все труднее становится вырваться из этой жаркой и обаятельной атмосферы.

Не неделю, а месяц назад, или перед приездом Веры, или тотчас после первого свидания с ней, надо было спасаться ему, уехать, а теперь уж едва ли придется Егорке стаскивать опять чемодан с чердака!

«Или страсть подай мне,— вопил он бессонный, ворочаясь в мягких пуховиках бабушки в жаркие летние ночи,— страсть полную, в которой я мог бы погибнуть,— я готов — но с тем, чтобы упиться и захлебнуться ею, или скажи решительно, от кого письмо и кого ты любишь, давно ли любишь, невозвратно ли любишь — тогда я и успокоюсь, и вылечусь. Вылечивает безнадежность!»

А пока глупая надежда слепо шепчет: «Не отчаивайся, не бойся ее суровости: она молода; если бы кто-нибудь и успел предупредить тебя, то разве недавно, чувство не могло упрочиться здесь, в доме, под десятками наблюдающих за ней глаз, при этих наростах предрассудков, страхов, старой бабушкиной морали. Погоди, ты вытеснишь впечатление, и тогда...» и т. д.— до тех пор недуг не пройдет!

«Пойду к ней, не могу больше! — решил он однажды в сумерки.— Скажу ей все, все... и что скажет она — так пусть и будет! Или вылечусь, или... погибну!»

VIII

На этот раз он постучался к ней в дверь.

— Кто там? — спросила она.

— Это я,— говорил он, робко просовывая голову в дверь,— можно войти?

Она сидела у окна с книгой, но книга, по-видимому, мало занимала ее: она была рассеянна или задумчива. Вместо ответа она подвинула Райскому стул.

— Сегодня не так жарко, хорошо! — сказал он.

— Да, я ходила на Волгу: там даже свежо,—заметила она.— Видно, погода хочет измениться.

И замолчали.

— Что это так трезвонили сегодня у Спаса? — спросил он,— праздник, что ли, завтра?

— Не знаю, а что?

— Так, звон не дал мне спать, и мухи тоже. Какая их пропасть у бабушки в доме: отчего это!

— Я думаю, оттого, что варенье варят.

— Да, в самом деле! То-то я все замечаю, что Пашутка поминутно бегает куда-то и облизывается... Да и у всех в девичьей, и у Марфеньки тоже, рты черные... Ты не любишь варенья, Вера?

Она покачала головой.

— Вчера Егор отнес ваш чемодан на чердак, я видела...— сказала она, помолчав.

— Да, а что?

— Так...

— Ты хочешь спросить, еду ли я, и скоро ли?..

— Нет, я так только...

— Не запирайся, Вера! что ж, это естественно. На этот вопрос я скажу тебе, что это от тебя зависит.

— Опять от меня?

— Да, от тебя: и ты это знаешь.

Она глядела равнодушно в окно.

— Вы мне приписываете много значения,— сказала она.

— Ну, а если это так, что бы ты сделала?

— Для меня собственно — я бы ничего не сделала, а если б это нужно было для вас, я бы сделала так, как вам счастливее, удобнее, покойнее, веселее...

— Постой, ты смешиваешь понятия; надо разделить по родам и категориям: «удобнее и покойнее», с одной стороны, и «веселее и счастливее» — с другой. Теперь и решай!

— Вам надо решать, что вам больше нравится.

— Я заметил, что ты уклончива, никогда сразу не выскажешь мысли или желания, а сначала обойдешь кругом. Я не волен в выборе, Вера: ты реши за меня, и что ты дашь, то и возьму. Обо мне забудь, говори только за себя и для себя.

— Вы не послушаетесь, поэтому нечего и говорить!

— Почему ты так думаешь?

— В который раз Егорка таскает чемодан с чердака вниз и обратно? — спросила она вместо ответа.

— Ну, так ты решительно хочешь, чтоб я уехал?

Она молчала.

— Скажи — да, и я завтра уеду.

Она посмотрела на него, потом отвернулась к окну.

— Я не верю вам,— сказала она.

— Попробуй, скажи — и, может быть, уверуешь.

— Ну, если так, уезжайте! — вдруг выговорила она.

— Изволь,— подавляя вздох, проговорил он.— Мне тяжело, почти невозможно уехать, но так как тебе тяжело, что я здесь...— «может быть, она скажет: *нет, не тяжело*», думал он и медлил,— то...

— То и уезжайте! — повторила она, встав с места и подойдя к окну.

— Уеду, не гони,— с принужденной улыбкой сказал он,— но ты можешь облегчить мне тяжесть, и даже ускорить этот отъезд...

— Как!

— Это от тебя зависит, повторяю опять.

— Говорите, что надо делать: «жертвы» приносить? Я даже готова сама принести ваш чемодан с чердака.

Он не отвечал на ее насмешку.

— Что же?

— Скажи, во-первых, любишь ли ты кого-нибудь?

Она живо обернулась к нему и с изумлением взглянула на него.

— И от кого, во-вторых, было письмо на синей бумаге: оно не от попадьи! — поспешил он договорить.

— Зачем это вам нужно знать для вашего отъезда? — спросила она, делая большие глаза.

— Я объясню тебе, Вера; но чтоб понять мое объяснение, не надо так удивляться, а терпеливо выслушать и потом призвать весь свой ум...

— Это что-нибудь очень умное, мудреное?

— Нужна доброта, участие, дружба, которою было ты так польстила мне и которую опять за что-то отняла...

— Я плачу дружбой за дружбу, брат,— сказала она мягче.

— А разве у меня нет дружбы к тебе?

Она отрицательно покачала головой.

— Что же такое во мне: ты видишь, что я тебе не чужой, не по одному родству...

— Это не дружба...

— Ну, так любовь?

— Мне ее не надо: я не разделяю ее...

— Знаю — и вот я и хочу объяснить, как ты одна можешь сделать, чтоб ее не было и во мне!

— Кажется, я все для этого сделала...

— Наоборот: ты не могла сделать лучше, если б хотела любви от меня. Ты гордо оттолкнула меня и этим раздражила самолюбие, потом окружила себя тайнами и раздражила любопытство. Красота твоя, ум, характер сделали остальное — и

вот перед тобой влюбленный в тебя до безумия! Я бы с наслаждением бросился в пучину страсти и отдался бы потоку: я искал этого, мечтал о страсти и заплатил бы за нее остальною жизнью, но ты не хотела, не хочешь... да?

Он сбоку заглядывал ей в лицо.

— Не хочу,— сказала она покойно и решительно.

— Ну, я боролся что было сил во мне,— ты сама видела,— хватался за всякое средство, чтоб переработать эту любовь в дружбу, но лишь пуще уверовал в невозможность дружбы к молодой, прекрасной женщине — и теперь только вижу два выхода из этого положения...

Он остановился на минуту.

— Один ты заперла мне: это взаимность,— продолжал он.— Страсть разрешается путем уступок, счастья, и обращается там, смотря по обстоятельствам, во что хочешь: в дружбу, пожалуй, в глубокую, святую, неизменную любовь — я ей не верю — но во что бы ни было, во всяком случае в удовлетворение, в покой... Ты отнимаешь у меня всякую надежду... на это счастье... да?

Он опять подвинулся к ее лицу, глядя ей пытливо в глаза. Она утвердительно кивнула головой.

— Да, всякую,— повторила она.

— Ну...— сказал он,— чтоб вынуть боль безнадежности или убить совсем надежду, надо...

— Что?

— Сделать то, что я сказал сейчас, то есть признаться, что ты любишь, и сказать, от кого письмо на синей бумаге! это — второй выход...

— А если я не сделаю ни того, ни другого? — спросила она гордо, обернувшись к нему от окна.

— Пуще всего — без гордости, без пренебрежения! — с живостью прибавил он,— это все противоречия, которые только раздражают страсть, а я пришел к тебе с надеждой, что если ты не можешь разделить моей сумасшедшей мечты, так по крайней мере не откажешь мне в простом дружеском участии, даже поможешь мне. Но я с ужасом замечаю, что ты зла, Вера...

— А вы эгоист, Борис Павлович! У вас вдруг родилась какая-то фантазия — и я должна делить ее, лечить, облегчать: да что мне за дело до вас, как вам до меня? Я требую у вас одного — покоя: я имею на него право, я свободна, как ветер, никому не принадлежу, никого не боюсь...

— И я был свободен и горд еще недели две назад,— а вот теперь и не горд, и не свободен, и боюсь — тебя!

Она с пренебрежением взглянула на него и слегка пожала плечами.

— Погоди казнить меня этими взглядами: не случилось бы с тобой того же! — говорил он почти про себя.

— Я не боюсь, не случится!

— И дети тоже не боятся, и на угрозы няньки «волком» храбро лепечут: «А я его убью!» И ты, как дитя, храбра, и, как дитя же, будешь беспомощна, когда придет твой час...

— Никого не боюсь,— повторила она,— и этого вашего волка — страсти, тоже! Не стращайте напрасно: вы напустили на себя, и мне даже вас не жаль!

— Ты злая! А если б я сделался болен горячкой? Бабушка и Марфенька пришли бы ко мне, ходили бы за мной, старались бы облегчить. Ужели бы ты осталась равнодушной и не заглянула бы ко мне, не спросила бы...

— Это другое дело: больной...

— А я разве здоров? разве я не болен, и болен еще тобой!..

— Виновата ли я в этом?

— Ты тоже бы не виновата была, если б меня прихватил холодный ветер на Волге и я бы слег в горячке!

— Там есть средства, лекарства...

— И тут есть, я тебе указываю одно, верное. Я не шучу: только безнадежность может задушить зародыш страсти.

— Разве я не отнимаю у вас всякую надежду? Я вас никогда не буду любить, я вам сказала!

— Может быть, но дело в том, что я не верю тебе: или если и поверю, так на один день, а там опять родятся надежды. Страсть умрет, когда самый предмет ее умрет, то есть перестанет раздражать...

— Не могу же я принести вам этой «жертвы», брат: умереть!

— И не надо! Ты скажи, любишь ли ты и от кого письмо: это будет все равно, что ты умерла для меня.

Он говорил горячо и серьезно. Она задумалась и боролась, по-видимому, с собой, оборачиваясь к окну и обратно от окна к нему.

— Хорошо...— сказала она, понижая голос, и медлила.— Я... люблю... другого...

— Кого? — вдруг вскрикнул он, вскочив со стула.

— Что же вы испугались? Вы сами этого хотели; успокойтесь и уезжайте: теперь вы знаете.

— Кого? — повторил он, не слушая ее.

— Что за дело до имени!

— Имя, имя? Кто писал письмо? — говорил он с дрожью в голосе.

— Никто! Я выдумала, я никого не люблю, письмо от попадьи! — равнодушно сказала она, глядя на него, как он в волнении глядел на нее воспаленными глазами, и ее глаза мало-помалу теряли свой темный бархатный отлив, светлели и, наконец, стали прозрачны. Из них пропала мысль, все, что в ней происходило, и прочесть в них было нечего.

— Говори, ради бога, не оставляй меня на этом обрыве: правду, одну правду — и я выкарабкаюсь, малейшая ложь — и я упаду!

— Послушайте, брат: не играете ли вы со мной в какую-то тонкую игру?..

— Ей-богу, не знаю: если это игра, так она похожа на ту, когда человек ставит последний грош на карту, а другой рукой щупает пистолет в кармане. Дай руку, тронь сердце, пульс и скажи, как называется эта игра? Хочешь прекратить пытку: скажи всю правду — и страсти нет, я покоен, буду сам смеяться с тобой и уезжаю завтра же. Я шел, чтоб сказать тебе это...

— Вы не только эгоист, но вы и деспот, брат: я лишь открыла рот, сказала, что люблю — чтоб испытать вас, а вы — посмотрите, что с вами сделалось: грозно сдвинули брови и приступили к допросу. Вы, развитой ум, homme blasé, grand coeur [1], рыцарь свободы — стыдитесь! Нет, я вижу, вы не годитесь и в друзья! Ну, если я люблю,— решительно прибавила она, понижая голос и закрывая окно,— тогда что?

— Ничего! — сказал он покойным голосом.

Она глядела на него с удивлением: в самом деле — ничего.

— Ты видишь действие доверия,— продолжал он,— я покоен, во мне все молчит, надежды все, как мухи, умирают...

— Ну, положим, я... люблю,— понизив еще голос, начала она.

— Возьми свое *положим* назад: под ним кроется сомнение, а под сомнением опять надежда.

— Ну, хорошо, я люблю...

— Кого? — сильным шепотом спросил он.

— Опять имя!

— Да, нужно имя — и тогда только я успокоюсь и уеду. Иначе я не поверю, до тех пор не поверю, пока будет тайна...

— Марфенька все пересказала мне, как вы проповедовали ей свободу любви, советовали не слушаться бабушки, а теперь сами хуже бабушки! Требуете чужих тайн...

— Я ничего не требую, Вера, я прошу только дать мне уехать спокойно: вот все! Будь проклят, кто стеснит твою свободу...

— Сами себя проклинаете: зачем вам имя? Если б бабушка стала беспокоиться об этом, это понятно: она боялась бы, чтоб я не полюбила какого-нибудь, «недостойного», по ее мнению, человека. А вы — проповедник!..

— Разве я запретил бы тебе любить кого-нибудь? если б ты выбрала хоть... Нила Андреича — мне все равно! Мне нужно имя, чтоб только убедиться в истине и охладеть. Я знаю, мне сейчас сделается скучно, и я уеду...

Она глубоко задумалась.

— Разве страсть оправдывает всякий выбор?..— тихо сказала она.

---

[1] Человек многоопытный, великодушный (*франц.*).

— Всякий, Вера. И тебе повторю то же, что сказал Марфеньке: люби, не спрашиваясь никого, достоин ли он, нет ли — смело иди...

— А недавно еще в саду вы остерегали меня от гибели!..

— От воров и от собак,— а не от страсти!

— И я могу любить, кого хочу? — будто шутя говорила она,— не спрашиваясь...

— Ни бабушки, ни общественного мнения...

— Ни вас?..

— Меня меньше всего: я готов способствовать, раздувать твою страсть... Видишь, ты ждала моего великодушия: вот оно! Выбери меня своим поверенным — и я толкну тебя сам в этот огонь...

Она украдкой взглянула на него.

— Имя, Вера,— того счастливца?..

— Хорошо, хорошо — после когда-нибудь, когда...

— Когда уеду? Ах, если б мне страсть! — сказал он, глядя жаркими глазами на Веру и взяв ее за руки. У него опять зашумело в голове, как у пьяного.— Послушай, Вера, есть еще выход из моего положения,— заговорил он горячо,— я боялся намекнуть на него— ты так строга: дай мне страсть! ты можешь это сделать. Забудь свою любовь... если она еще новая, недавняя любовь — и... Нет, нет, не качай головой — это вздор, знаю. Ну, просто не гони меня, дай мне иногда быть с тобой, слышать тебя, наслаждаться и мучиться, лишь бы не спать, а жить: я точно деревянный теперь! Везде сон, тупая тоска, цели нет, искусство не дается мне, я ничего для него не делаю. Всякое так называемое «серьезное дело» мне кажется до крайности пошло и мелко. Я бы хотел разыграть остальную жизнь во что-нибудь, в какой-нибудь необыкновенный громадный труд, но я на это не способен,— не приготовлен: нет у нас дела! Или чтоб она разлетелась фейерверком, страстью! В тебе все есть, чтоб зажечь бурю, ты уж зажгла ее: еще одна искра, признак кокетства, обман и... я начну жить...

— А я что же буду делать,— сказала она,— любоваться на эту горячку, не разделяя ее? Вы бредите, Борис Павлыч!

— Что тебе за дело, Вера? Не отвечай мне, но и не отталкивай, оставь меня. Я чувствую, что не только при взгляде твоем, но лишь — кто-нибудь случайно назовет тебя — меня бросает в жар и холод...

— Чем же это кончится? — не без любопытства спросила она.

— Не знаю. Может быть, с ума сойду, брошусь в Волгу или умру... Нет, я живуч — ничего не будет, но пройдет полгода, может быть, год — и я буду жить... Дай, Вера, дай мне страсть... дай это счастье!..

У него даже губы и язык пересохли.

— Странная просьба, брат, дать горячку! Я не верю страсти — что такое страсть? Счастье, говорят, в глубокой, сильной любви...

— Ложь, ложь! — перебил он.

— Любовь — ложь?

— Да, эта «святая, глубокая, возвышенная любовь» — ложь! Это сочиненный, придуманный призрак, который возникает на могиле страсти. Это люди придумали, как придумали казенную палату, питейные конторы, моды, карточную игру, балы! Возвышенная любовь — это мундир, в который хотят нарядить страсть, но она беспрестанно лезет вон и рвет его. Природа вложила только страсть в живые организмы, другого она ничего не дает. Любовь — одна, нет других любвей! Возьми самое вялое создание, студень какую-нибудь, вон купчиху из слободы, вон самого благонамеренного и приличного чиновника, председателя,— кого хочешь: все непременно чувствовали, кто раз, кто больше — смотря по темпераменту, кто тонко, кто грубо, животно — смотря по воспитанию, но все испытали раздражение страсти в жизни, судорогу, ее муки и боли, это самозабвение, эту другую жизнь среди жизни, эту хмельную игру сил... это блаженство!..

Он остановился.

— Ну? — с нетерпением сделала она.

— Ну,— продолжал он бурно, едва успевая говорить,— на остывший след этой огненной полосы, этой молнии жизни, ложится потом покой, улыбка отдыха от сладкой бури, благородное воспоминание к прошлому, тишина! И эту-то тишину, этот след люди и назвали — святой, возвышенной любовью, когда страсть сгорела и потухла... Видишь ли, Вера, как прекрасна страсть, что даже один след ее кладет яркую печать на всю жизнь, и люди не решаются сознаться в правде — то есть что любви уже нет, что они были в чаду, не заметили, прозевали ее, упиваясь, и что потом вся жизнь их окрашена в те великолепные цвета, которыми горела страсть!.. Это окраска — и есть и любовь, и дружба, и та крепкая связь, которая держит людей вместе иногда всю жизнь... Нет, ничто в жизни не дает такого блаженства, никакая слава, никакое щекотанье самолюбия, никакие богатства Шехерезады, ни даже творческая сила, ничто... одна страсть! Хотела ли бы ты испытать такую страсть, Вера?

Она задумчиво слушала.

— Да, если она такова, как вы ее описываете, если столько счастья в ней...

Она вздрогнула и быстро отворила окно.

— Страсть — это постоянный хмель, без грубой тяжести опьянения,— продолжал он,— это вечные цветы под ногами. Перед тобой — идол, которому хочется молиться, умирать за него. Тебе на голову валятся каменья, а ты в страсти ду-

маешь, что летят розы на тебя, скрежет зубов будешь принимать за музыку, удары от дорогой руки покажутся нежнее ласк матери. Заботы, дрязги жизни, все исчезнет — одно бесконечное торжество наполняет тебя — одно счастье глядеть вот так... на тебя... (он подошел к ней) — взять за руку (он взял за руку) и чувствовать огонь и силу, трепет в организме...

Она опять вздрогнула, и он тоже.

— Вера, мне не далеко до этого состояния: еще один ласковый взгляд, пожатие руки — и я живу, блаженствую... Скажи, что мне делать?

Она молчала.

— Вера!

Она медленно опомнилась от задумчивости, с которою слушала его, обернулась к нему, ласково, почти нежно взяла его за руку и грудным шепотом, с мольбой сказала:

— Уезжайте отсюда!

Он встал, как раненый.

— Ты злая, Вера. Хорошо — так скажи имя?

— Имя? Какое? — с удивлением, совсем очнувшись, повторила она.

— И от кого письмо на синей бумаге? — прибавил он.

Она оглядела его насмешливо с ног до головы.

— Я никого не люблю,— сказала она громко,— я выдумала, так, от скуки...

— А письмо?

— От попадьи! — проговорила она с иронией.

— И больше ничего не скажешь?

— Скажу все то же.

— Что?

— Уезжайте!

— Так не уеду же! — холодно сказал он.

Она продолжительно поглядела на него.

— Ваша воля: вы у себя! — отвечала она и с покорной иронией склонила голову.— А теперь, извините меня, мне хочется пораньше встать! — ласково, почти с улыбкой, прибавила она.

«Гонит!» — с горечью подумал он и не знал, что сказать, как вдруг кто-то взялся за ручку замка снаружи.

IX

— Кто там? — спросили оба.

Дверь отворилась, и показалось задумчивое лицо Василисы.

— Это я,— тихо сказала она,— вы здесь, Борис Павлович? Вас спрашивают, пожалуйте поскорей, людей в прихожей никого нет. Яков ко всенощной пошел, а Егорку за рыбой на Волгу послали... Я одна там с Пашуткой.

— Кто меня спрашивает?

— Жандар от губернатора: просит губернатор пожаловать, если можно, теперь к нему, а если нельзя, так завтра пораньше: нужно, говорит, очень!

— Что такое там? — с удивлением сказал Райский,— ну, хорошо, скажи — буду...

— Пожалуйте поскорее,— упрашивала Василиса,— там еще вот этот гость пришел...

— Кто еще?

— Да вот... взлызастый такой...

— Какой «взлызастый»?

— Вот что, слышь, плетьми будут сечь... В зале расселся, ждет вас, а барыня с Марфой Васильевной еще не воротились из города...

— Что это, Василиса, ты не спросила, как его зовут?..

— Сказывал он, да забыла.

Райский и Вера с недоумением поглядели друг на друга.

— Черт знает! какой-нибудь гость из города — какая тоска!

— Нет, это вот этот, что ночевал пьяный у вас...

— Марк Волохов, что ли?

Вера сделала движение.

— Подите скорей — узнайте, зачем он? — сказала она.

— Чего ты испугалась? Ведь он не собака, не мертвец, не вор, а так, беспутный бродяга...

— Идите, идите,— торопила Вера, не слушая его.— Это любопытно...

— Скорее, Борис Павлыч, пожалуйте! — торопила и Василиса,— мы с Пашуткой заперлись от него на ключ.

— Это зачем?

— Боимся.

— Чего?

— Так, боимся. Я уж из окна вылезла на дворик и перелезла сюда. Как бы он там не стянул чего-нибудь?

Райский засмеялся и пошел с ней. Он отпустил жандарма, сказавши, что приедет через час, потом пошел к Марку и привел его в свою комнату.

— Что, ночевать пришли? — спросил он Волохова.

Он уж с ним говорил не иначе, как иронически. Но на этот раз у Марка было озабоченное лицо. Однако когда принесли свечи и он взглянул на взволнованное лицо Райского, то засмеялся, по-своему, с холодной злостью.

— Ну, вот, а я думал, что вы уж уехали! — сказал он насмешливо.

— Еще успею,— небрежно заметил Райский.

— Нет, уж теперь поздно: вот какие у вас глаза!

— А что глаза, ничего! — говорил Райский, глядясь в зеркало.

— И похудели: корь уж выступает.

— Полноте вздор говорить,— отвечал Райский, стараясь не глядеть на него,— скажите лучше, зачем вы пришли опять к ночи?

— Ведь я ночная птица: днем за мной уж очень ухаживают. Меньше позора на дом бабушки. Славная старуха — выгнала Тычкова!

Он опять вдруг сделался серьезен.

— Я к вам за делом,— сказал он.

— У вас дело? — заметил Райский,— это любопытно.

— Да, больше, нежели у вас. Вот видите: я был нынче в полиции, то есть не сам конечно, с визитом, частный пристав пригласил, и даже подвез на паре серых лошадей.

— Это зачем: случилось что-нибудь?

— Пустяки: я тут кое-кому книги раздавал...

— Какие книги? Мои, что у Леонтья брали?

— И их, и другие еще — вот тут написано, какие.

Он подал ему бумажку.

— Кому же вы раздавали?

— Всем, больше всего молодежи: из семинарии брали, из гимназии — учитель один...

— Разве у них нечего читать?

— Как нечего! Вот Козлов читает пятый год Саллюстия, Ксенофонта да Гомера с Горацием: один год с начала до конца, а другой от конца до начала — все прокисли было здесь... В гимназии плесень завелась.

— Разве новых книг нет у них?

— Есть: вон другой осел, словесник, угощает то Карамзиным, то Пушкиным. Мозги-то у них у всех пресные...

— Так вы посолить захотели — чем же, посмотрим!

— Ох, как важно произнесли: «посмотрим»! живой Нил Андреич!

Райский пробежал бумажку и уставил на Марка глаза.

— Ну, что вы выпучили на меня глаза?

— Вы им давали эти книги?

— Да, а что?

Райский продолжал с изумлением глядеть на Марка.

— Эти книги молодым людям! — прошептал он.

— Да вы, кажется, в бога веруете? — спросил Марк.

Райский все глядел на него.

— Не были ли вы сегодня у всенощной? — спросил опять холодно Марк.

— А если был?

— Ну, так не мудрено, что вы можете влюбиться и плакать... Зачем же вы выгнали Тычкова: он тоже — верующий!

— Я не спрашиваю вас, веруете ли вы: если вы уж не уверовали в полкового командира в полку, в ректора в университете, а теперь отрицаете губернатора и полицию — такие очевидности, то где вам уверовать в бога! — сказал Райский.—

Обратимся к предмету вашего посещения; какое вы дело имеете до меня?

— Вот видите, один мальчишка, стряпчего сын, не понял чего-то по-французски в одной книге и показал матери, та отцу, а отец к прокурору. Тот слыхал имя автора и поднял бунт — донес губернатору. Мальчишка было заперся, его выпороли: он под розгой и сказал, что книгу взял у меня. Ну, меня сегодня к допросу...

— Что же вы?

— Что я? — сказал он, с улыбкой глядя на Райского.— Меня спросили, чьи книги, откуда я взял...

— Ну?

— Ну, я сказал, что... у вас: что одни вы привезли с собой, а другие я нашел в вашей библиотеке — вон Вольтера...

— Покорно благодарю: зачем же вы мне сделали эту честь?

— Потому что с тех пор, как вы вытолкали Тычкова, я считаю вас не совсем пропащим человеком.

— Вы бы прежде спросили, позволю ли я — и честно ли это?

— Я — без позволения. А честно ли это, или нет — об этом после. Что такое честность, по-вашему? — спросил он, нахмурившись.

— Об этом тоже — после, а только я не позволю этого.

— Это ни честно, ни нечестно, а полезно для меня...

— И вредно мне: славная логика!

— Вот я до логики-то и добираюсь,— сказал Марк,— только боюсь, не две ли логики у нас?..

— И не две ли честности? — прибавил Райский.

— Вам ничего не сделают: вы в милости у его превосходительства,— продолжал Марк,— да и притом не высланы сюда на житье. А меня за это упекут куда-нибудь в третье место: в двух уж я был. Мне бы все равно в другое время, а теперь...— задумчиво прибавил он,— мне бы хотелось остаться здесь... на неопределенное время...

— Ну-с? — холодно сделал Райский.— Еще что?

— Еще ничего. Я хотел только рассказать вам, что я сделал, и спросить, хотите взять на себя или нет?

— А если не хочу? И не хочу!

— Ну, нечего делать: скажу на Козлова. Он совсем заплесневел: пусть посидит на гауптвахте, а потом опять примется за греков...

— Нет, уж не примется, когда лишат места и куска хлеба.

— Пожалуй, что и так... не логично! Так уж лучше скажите вы на себя.

— Во имя чего вы требуете от меня этой услуги? Что вы мне?

— Во имя того же, во имя чего занял у вас деньги, то есть мне нужны они, а у вас есть. И тут тоже: вы возьмете на себя, вам ничего не сделают, а меня упекут — надеюсь, это логика!

— А если на меня упадет неприятность?

— Какая? Нил Андреич разбойником назовет, губернатор донесет, и вас возьмут на замечание?.. Перестанемте холопствовать: пока будем бояться, до тех пор не вразумим губернаторов...

— Однако сами боитесь сказать на себя!

— Не боюсь, а теперь не хочу уехать отсюда.

— Отчего?

— Ну так, не хочу. После я пойду сам и скажу, что книги мои. Если потом вы какое-нибудь преступление сделаете, скажите на меня: я возьму на себя...

— Как же это брать на себя: странной услуги требуете вы! — говорил Райский в раздумье.

— А вы вот что: попробуйте. Если дело примет очень серьезный оборот, чего, сознайтесь сами, быть не может, тогда уж нечего делать — скажите на меня. Экая досада! — ворчал Марк.— Этот мальчик все испортил. А уж тут было принялись шевелиться...

— Я сейчас к губернатору еду,— сказал Райский,— он присылал. Прощайте!

— А! присылал!

— Что же мне делать, что говорить?

— Губернатор замнет историю, если вы назоветесь героем: он не любит ничего доводить до Петербурга. А со мной нельзя, я под надзором, и он обязан каждый месяц доносить туда, здоров ли я и каково поживаю? Ему все хочется сбыть меня отсюда, чтобы мне дали разрешение уехать; я у него, как бельмо на глазу! Он уж недавно донес, что я «обнаруживаю раскаяние»: если история с книгами пройдет мимо меня, он донесет, что я стал таким благонадежным и доблестным гражданином, какого ни Рим, ни Спарта не производили: меня и выпустят из-под надзора! Следовательно, взявши на себя историю, вы угодите и ему... А впрочем, делайте, как хотите! — равнодушно заключил Марк.— Пойдемте, и мне пора!

— Куда же вы — вот двери...

— Нет, дойдемте до вашего сада, я там по горе сойду, мне надо туда... Я подожду на острове у рыбака, чем это кончится.

У обрыва Марк исчез в кустах, а Райский поехал к губернатору и воротился от него часу во втором ночи. Хотя он поздно лег, но встал рано, чтобы передать Вере о случившемся. Окна ее были плотно закрыты занавесками.

«Спит»,— подумал он и пошел в сад.

Он целый час ходил взад и вперед по дорожке, ожидая, когда отдернется лиловая занавеска. Но прошло полчаса, час, а занавеска не отдергивалась. Он ждал, не пройдет ли Марина по двору, но и Марины не видать.

Вскоре у бабушки в спальне поднялась штора, зашипел в сенях самовар, голуби и воробьи начали слетаться к тому месту, где привыкли получать от Марфеньки корм. Захлопали

двери, пошли по двору кучера, лакеи, а занавеска все не шевелилась.

Наконец Улита показалась в подвалах, бабы и девки поползли по двору, только Марины нет. Бледный и мрачный Савелий показался на пороге своей каморки и тупо смотрел на двор.

— Савелий! — кликнул Райский.

Савелий расстановистыми шагами подошел к нему.

— Скажи Марине, чтоб она сейчас дала мне знать, когда встанет и оденется Вера Васильевна.

— Марины нет! — несколько поживее обыкновенного сказал Савелий.

— Как нет, где она?

— Уехала еще на заре проводить барышню за Волгу, к попадье.

— Какую барышню: Веру Васильевну?

— Точно так.

Он остолбенел и почти с ужасом глядел на Савелья.

— На чем же они поехали, с кем? — спросил он, помолчав.

— Прохор их завсегда возит в бричке, на буланой лошади.

Райский молчал.

— К вечеру вернутся,— прибавил Савелий.

— Вернутся, ты думаешь, сегодня? — живо спросил Райский.

— Точно так-с, Прохор с лошадью, и Марина тоже. Они проводят барышню, а сами в тот же день назад.

Райский смотрел во все глаза на Савелья и не видал его. Долго еще стояли они друг против друга.

— Еще ничего не прикажете? — медленно спросил Савелий.

— А? что? да,— очнулся Райский,— ты... тоже ждешь Марину?

— Сгинуть бы ей, проклятой! — мрачно сказал Савелий.

— Зачем ты бьешь ее? Я давно хотел посоветовать, чтоб ты перестал, Савелий.

— Я не бью теперь больше.

— Давно ли?

— Вот теперь, как смирно эту неделю живет, так и...

Складки стали прилежно работать у него на лбу, помогая мысли.

— Ступай, мне больше ничего не надо — только не бей, пожалуйста, Марину — дай ей полную свободу: и тебе, и ей лучше будет...— сказал Райский.

Он пошел с поникшей головой домой, с тоской глядя на окна Веры, а Савелий потупился, не надевая шапку, дивясь последним словам Райского.

«Тоже страсть!— думал Райский.— Бедный Савелий! бедный — и я!»

X

С отъездом Веры Райского охватил ужас одиночества. Он чувствовал себя сиротой, как будто целый мир опустел, и он очутился в какой-то бесплодной пустыне, не замечая, что эта пустыня вся в зелени, в цветах, не чувствуя, что его лелеет и греет природа, блистающая лучшей, жаркой порой лета.

Домовитость Татьяны Марковны и порханье Марфеньки, ее пение, живая болтовня с веселым, бодрым, скачущим Викентьевым, иногда приезд гостей, появление карикатурной Полины Карповны, бурливого Опенкина, визиты хорошо одетых и причесанных барынь, молодых щеголей — он не замечал ничего. Ни весело, ни скучно, ни тепло, ни холодно ему было от всех этих лиц и явлений.

Он видел только одно, что лиловая занавеска не колышется, что шторы спущены в окнах, что любимая скамья стоит пустая, что нет Веры — и как будто ничего и никого нет: точно весь дом, вся окрестность вымерли.

Он не хотел любить Веру, да и нельзя, если б хотел: у него отняты все права, все надежды. Ее нежнейшая мольба, обращенная к нему — была — «уехать поскорей», а он был занят, полон ею, одною ею, и ничем больше!

Даже красота ее, кажется, потеряла свою силу над ним: его влекла к ней какая-то другая сила. Он чувствовал, что связан с ней не теплыми и многообещающими надеждами, не трепетом нерв, а какою-то враждебною, разжигающею мозг болью, какими-то посторонними, даже противоречащими любви связями.

Его мучила теперь тайна: как она, пропадая куда-то на глазах у всех, в виду, из дома, из сада, потом появляется вновь, будто со дна Волги, вынырнувшей русалкой, с светлыми, прозрачными глазами, с печатью непроницаемости и обмана на лице, с ложью на языке, чуть не в венке из водяных порослей на голове, как настоящая русалка!

И какой опасной, безотрадной красотой блестит тогда ему в глаза эта сияющая, таинственная ночь!

Но если б еще только одно это: а она вполовину открыла ему, что любит, что есть кто-то тут около, кем полна ее жизнь, и этот уголок, кем прекрасны эти деревья, это небо, эта Волга.

Но открыв на минуту заветную дверь, она вдруг своенравно захлопнула ее и неожиданно исчезла, увезя с собой ключи от всех тайн: и от своего характера, и от своей любви, и от всей сферы своих понятий, чувств, от всей жизни, которою живет, — всё увезла! Перед ним опять одна замкнутая дверь!

— Все ключи увезла! — с досадой сказал он в разговоре о Вере с бабушкой про себя.

Но Татьяна Марковна услыхала и вся встрепенулась.

— Какие ключи увезла? — в тревоге спросила она.

Он молчал.

— Говори,— приставала она и начала шарить в карманах у себя, потом в шкатулке.— Какие такие ключи: кажется, у меня все! Марфенька, поди сюда: какие ключи изволила увезти с собой Вера Васильевна?

— Я не знаю, бабушка: она никаких никогда не увозит, разве от своего письменного стола.

— Вот Борюшка говорит, что увезла. Посмотри-ка у себя и у Василисы спроси: все ли ключи дома, не захватили ли как-нибудь с той вертушкой, Мариной, от которой-нибудь кладовой — поди скорей! Да что ты таишься, Борис Павлович, говори, какие ключи увезла она: видел, что ли, ты их?

— Да,— с злостью сказал он,— видел! показала, да и спрятала опять...

— Да какие они: с бородкой или вот этакие?..

Она показала ему ключ.

— Ключи от своего ума, сердца, характера, от мыслей и тайн — вот какие!

У бабушки отлегло от сердца.

— Вон оно что! — сказала она и задумалась, потом вздохнула.— Да, в этой твоей аллегории есть и правда. Этих ключей она не оставляет никому. А лучше, если б и они висели на поясе у бабушки!

— А что?

— Да так.

— Скажите мне, бабушка, что такое Вера? — вдруг спросил Райский, подсевши к Татьяне Марковне.

— Ты сам видишь: что тебе еще говорить? Что видишь, то и есть.

— Да я ничего не вижу.

— И никто не видит: свой ум, видишь ли, и своя воля выше всего! И бабушка не смей спросить ни о чем: «Нет, да нет ничего, не знаю, да не ведаю». На руках у меня родилась, век со мной, а я не знаю, что у ней на уме, что она любит, что нет. Если и больна, так не узнаешь ее: ни пожалуется, ни лекарства не спросит, а только пуще молчит. Не ленива, а ничего не делает: ни шить, ни по канве, ни музыки не любит, ни в гости не ездит — так, уродилась такая! Я не видала, чтобы она засмеялась от души или заплакала бы. Если и рассмеется, так прячет улыбку, точно грех какой. А чуть что не по ней, расстроена чем-нибудь, сейчас в свою башню спрячется и переживет там и горе, и радость — одна. Вот что!

— Что ж, это хорошо: свой характер, своя воля — это самостоятельность. Дай бог!

— Вот, «дай бог!» девушке — своя воля! Ты не натолкуй ей еще этого, Борис Павлыч, серьезно прошу тебя! Умен ты,

и добрый, и честный, ты девочкам, конечно, желаешь добра, а иногда брякнешь вдруг — бог тебя ведает что!

— Что же такое и кому я брякал, бабушка?

— Как кому? Марфеньке советовал любить, не спросясь бабушки: сам посуди, хорошо ли это? Я даже не ожидала от тебя! Если ты сам вышел из повиновения у меня, зачем же смущать бедную девушку?

— Ах, бабушка, какая вы самовластная женщина: все свое! Мало ли я спорил с вами о том, что любить по приказу нельзя!..

— Вот, Борюшка, мы выгнали Нила Андреича, а он бы тебе на это отвечал как следует. Я не сумею. Я знаю только, что ты дичь городишь, да: не погневайся! Это новые правила, что ли?

— Да, бабушка, новые; старый век проходит. Нельзя ему длиться два века. Нужно же и новому прийти!

— Да все ли хорошо в твоем новом веке?

— Вы рассудите, бабушка: раз в жизни девушки расцветает весна — и эта весна — любовь. И вдруг не дать свободы ей расцвесть, заглушить, отнять свежий воздух, оборвать цветы... За что же и по какому праву вы хотите заставить, например, Марфеньку быть счастливой по вашей мудрости, а не по ее склонности и влечениям?

— А ты спроси Марфеньку, будет ли она счастлива и захочет ли счастья, если бабушка не благословит ее на него?

— Я уж спрашивал.

— Ну, что же?

— Без вас, говорит, ни шагу.

— Вот видишь!

— Да разве это разумно: где же свобода, где права? Ведь она мыслящее существо, человек, зачем же навязывать ей свою волю и свое счастье?..

— Кто навязывал: спроси ее? Если б они у меня были запуганные или забитые, какие-нибудь несчастные, а ты видишь, что они живут у меня, как птички, делают, что хотят...

— Да, это правда, бабушка,— чистосердечно сказал Райский,— в этом вы правы. Вас связывает с ними не страх, не цепи, не молот авторитета, а нежность голубиного гнезда... Они обожают вас — так... Но ведь все дело в воспитании: зачем наматывать им старые понятия, воспитывать по-птичьи? Дайте им самим извлечь немного соку из жизни... Птицу запрут в клетку, и когда она отвыкнет от воли, после отворяй двери настежь — не летит вон! Я это и нашей кузине Беловодовой говорил: там одна неволя, здесь другая...

— Ничего я ни Марфеньке, ни Верочке не наматывала; о любви и не заикалась никогда,— боюсь и пикнуть, а вижу и знаю, что Марфенька без моего совета и благословения не полюбила бы никого.

— Пожалуй, что и так,— задумчиво сказал Райский.

— И что, если б ты или другой успели натолковать ей про эту твою свободу и она бы послушала, так...

— Была бы несчастнейшее создание — верю, бабушка,— и потому, если Марфенька пересказала вам мой разговор, то она должна была также сказать, что я понял ее и что последний мой совет был — не выходить из вашей воли и слушаться отца Василья...

— Знаю и это: все выведала и вижу, что ты ей хочешь добра. Оставь же, не трогай ее, а то выйдет, что не я, а ты навязываешь ей счастье, которого она сама не хочет, значит, ты сам и будешь виноват в том, в чем упрекал меня: в деспотизме.— Ты как понимаешь бабушку,— помолчав, начала она,— если б богач посватался за Марфеньку, с породой, с именем, с заслугами, да не понравился ей — я бы стала уговаривать ее?

— Хорошо, бабушка, я уступаю вам Марфеньку, но не трогайте Веру. Марфенька одно, а Вера другое. Если с Верой примете ту же систему, то сделаете ее несчастной!

— Кто, я? — спросила бабушка.— Пусть бы она оставила свою гордость и доверилась бабушке: может быть, хватило бы ума и на другую систему.

— Не стесняйте только ее, дайте волю. Одни птицы родились для клетки, а другие для свободы... Она сумеет управить своей судьбой одна...

— А разве я мешаю ей? стесняю ее? Она не доверяется мне, прячется, молчит, живет своим умом. Я даже не прошу у ней «ключей», а вот ты, кажется, беспокоишься!

Она пристально взглянула на него.

Райский покраснел, когда бабушка вдруг так ясно и просто доказала ему, что весь ее «деспотизм» построен на почве нежнейшей материнской симпатии и неутомимого попечения о счастье любимых ею сирот.

— Я только, как полицеймейстер, смотрю, чтоб снаружи все шло своим порядком, а в дома не вхожу, пока не позовут,— прибавила Татьяна Марковна.

— Каково: это идеал, венец свободы! Бабушка! Татьяна Марковна! Вы стоите на вершинах развития, умственного, нравственного и социального! Вы совсем готовый, выработанный человек! И как это вам далось даром, когда мы хлопочем, хлопочем! Я кланялся вам раз, как женщине, кланяюсь опять и горжусь вами: вы велики!

Оба замолчали.

— Скажите, бабушка, что это за попадья и что за связь у них с Верой? — спросил Райский.

— Наталья Ивановна, жена священника. Она училась вместе с Верой в пансионе, там и подружились. Она часто гостит у нас. Она добрая, хорошая женщина, скромная такая...

— За что же любит ее Вера? Она умная, замечательная женщина, с характером должна быть?

— И! нет, какой характер! Не глупа, училась хорошо, читает много книг и приодеться любит. Поп-то не бедный: своя земля есть. Михайло Иваныч, помещик, любит его — у него там полная чаша! Хлеба, всякого добра — вволю; лошадей ему подарил, экипаж, даже деревьями из оранжерей комнаты у него убирает. Поп умный, из молодых — только уж очень по-светски ведет себя: привык там в помещичьем кругу. Даже французские книжки читает и покуривает — это уж и не пристало бы к рясе...

— Ну, а попадья что? Скажите мне про нее: за что любит ее Вера, если у ней, как вы говорите, даже характера нет?

— А за то и любит, что характера нет.

— Как за то любит? Да разве это можно?

— И очень. Еще учить собирался меня, а не заметил, что иначе-то и не бывает...

— Как так?

— Да так: сильный сильного никогда не полюбит; такие, как козлы, лишь сойдутся, сейчас и бодаться начнут! А сильный и слабый — только и ладят. Один любит другого за силу, а тот...

— За слабость, что ли?

— Да, за гибкость, за податливость, за то, что тот не выходит из его воли.

— Ведь это верно, бабушка: вы мудрец. Да здесь, я вижу,— непочатый угол мудрости! Бабушка, я отказываюсь перевоспитывать вас и отныне ваш послушный ученик, только прошу об одном — не жените меня. Во всем остальном буду слушаться вас. Ну, так что же попадья?

— Ну, попадья — добрая, смирная курица, лепечет без умолку, поет, охотница шептаться, особенно с Верой: так и щебечет, и все на ухо. А та только слушает да молчит, редко кивнет головой или скажет слово. Верочкин взгляд, даже каприз — для нее святы. Что та сказала, то только и умно, и хорошо. Ну, Вере этого и надо; ей не друг нужен, а послушная раба. Вот она и есть: от этого она так и любит ее. Зато как и струсит Наталья Ивановна, чуть что-нибудь не угодит: «Прости меня, душечка, милая», начнет целовать глаза, шею — и та ничего!

«Так вот что! — сказал Райский про себя,— гордый и независимый характер — рабов любит! А все твердит о свободе, о равенстве и моего поклонения не удостоила принять. Погоди же ты!»

— А ведь она любит вас, бабушка, Вера-то? — спросил Райский, желая узнать, любит ли она кого-нибудь еще, кроме Натальи Ивановны.

— Любит! — с уверенностью отвечала бабушка,— только

по-своему. Никогда не показывает и не покажет! А любит,— пожалуй, хоть умереть готова.

«А что, может быть, она и меня любит, да только не показывает!» — утешил было себя Райский, но сам же и разрушил эту надежду, как несбыточную.

— Почему же вы знаете, если она не показывает?

— Не знаю и сама почему, а только любит.

— А вы ее?

— Люблю,— вполголоса сказала бабушка,— ох, как люблю! — прибавила она со вздохом, и даже слезы было показались у нее, — она и не знает: авось, узнает когда-нибудь...

— А заметили ли вы, что Вера с некоторых пор как будто... задумчива? — нерешительно спросил Райский, в надежде, не допытается ли как-нибудь от бабушки разрешения своего мучительного «вопроса» о синем письме.

— А ты заметил?

— Нет... так... она что-то... Ведь я не знаю, какая она вообще, только как будто того...

— Что ж это за любовь, если б я не заметила! Уж не одну ночь не спала я и думаю, отчего она с весны такая странная стала? То повеселеет, то задумается; часто капризничает, иногда вспылит. Замуж пора ей — вот что! — почти про себя прибавила Татьяна Марковна.— Я спрашивала доктора, тот все на нервы: дались им эти нервы — и что это за нервы такие? Бывало, и доктора никаких нерв не знали. Поясница — так и говорили, что поясница болит или под ложечкой: от этого и лечили. А теперь всё пошли нервы! Вон, бывало, кто с ума сойдет: спятил, говорят, сердечный — с горя, что ли, или из ума выжил, или спился, а нынче говорят: мозги как-то размягчились...

— Не влюблена ли? — вполголоса сказал Райский — и раскаялся; хотелось бы назад взять слово, да поздно.

В бабушку точно камнем попало.

— Господи спаси и помилуй! — произнесла она, перекрестившись, точно молния блеснула перед ней,— этого горя только недоставало!

— Вот нашли горе: ей счастье, а вам горе!

— Не шути этим, Борюшка; сам сказал сейчас, что она не Марфенька! Пока Вера капризничает без причины, молчит, мечтает одна — бог с ней! А как эта змея, любовь, заберется в нее, тогда с ней не сладишь! Этого «рожна» я и тебе, не только девочкам моим, не пожелаю. Да ты это с чего взял: говорил, что ли, с ней, заметил что-нибудь? Ты скажи мне, родной, всю правду! — умоляющим голосом прибавила она, положив ему на плечо руку.

— Ничего, бабушка, бог с вами, успокойтесь, я так, просто «брякнул», как вы говорите, а вы уж и встревожились, как давеча о ключах...

— Да, «ключи»,— вдруг ухватилась за слово бабушка и даже изменилась в лице,— эта аллегория — что она значит? Ты проговорился про какой-то ключ от сердца: что это такое, Борис Павлыч,— ты не мути моего покоя, скажи, как на духу, если знаешь что-нибудь?

Райскому досадно стало на себя, и он всеми силами старался успокоить бабушку, и отчасти успел.

— Я заметил то же, что и вы,— говорил он,— не больше. Ну скажет ли она мне, если от всех вас таится? Я даже, видите, не знал, куда она ездит, что это за попадья такая — спрашивал, спрашивал — ни слова! Вы же мне рассказали.

— Да, да, не скажет, это правда — от нее не добьешься! — прибавила успокоенная бабушка,— не скажет! Вот та шептунья, попадья, все знает, что у ней на уме: да и та скорей умрет, а не скажет ее секретов. Свои сейчас разроняет, только подбирай, а ее — боже сохрани!

Оба замолчали.

— Да и в кого бы тут влюбиться? — рассуждала бабушка,— не в кого.

— Не в кого? — живо спросил Райский.— Никого нет такого?..

Татьяна Марковна покачала головой.

— Разве лесничий...— сказала она задумчиво,— хороший человек! Он, кажется, не прочь, я замечаю... Славная бы партия Вере... да...

— Да что?

— Да она-то мудреная такая — бог знает — как приступиться к ней, как посвататься! А славный, солидный и богатый: одного лесу будет тысяч...

— Лесничий! — повторил Райский,— какой лесничий? Что он за человек? молодой, образованный, замечательный?..

Вошла Василиса и доложила, что Полина Карповна приехала и спрашивает, расположен ли Борис Павлович рисовать ее портрет.

— И поговорить не даст — принесла нелегкая! — ворчала бабушка.— Проси, да завтрак чтоб был готов.

— Откажите, бабушка, зачем? Потрудись, Василиса, сказать,что я до приезда Веры Васильевны портрета писать не стану.

Василиса пошла и воротилась.

— Требует вас туда: нейдет из коляски,— сказала она.

XI

Неизвестно, что говорила Райскому Полина Карповна, но через пять минут он взял шляпу, тросточку, и Крицкая, глядя торжественно по сторонам, помчала его, сначала по глав-

ным улицам, гордясь своей победой, и потом, как военную добычу, привезла домой.

Райский с любопытством шел за Полиной Карповной в комнаты, любезно отвечал на ее нежный шепот, страстные взгляды. Она молила его признаться, что он неравнодушен к ней, на что он в ту же минуту согласился, и с любопытством ждал, что из этого будет.

— О, я знала, я знала — видите! Не я ли предсказывала? — ликуя, говорила она.

Она начала с того, что сейчас опустила шторы, сделала полумрак в комнате и полусела или полулегла на кушетке, к свету спиной.

— Да, я знала это: о, с первой минуты я видела, que nous nous convenons — да, cher m-r Boris[1],— не правда ли?

Она пришла в экстаз, не знала, где его посадить, велела подать прекрасный завтрак, холодного шампанского, чокалась с ним и сама цедила по капле в рот вино, вздыхала, отдувалась, обмахивалась веером. Потом позвала горничную и хвастливо сказала, что она никого не принимает; вошел человек в комнату, она повторила то же и велела опустить шторы даже в зале.

Она сидела в своей красивой позе, напротив большого зеркала, и молча улыбалась своему гостю, млея от удовольствия. Она не старалась ни приблизиться, ни взять Райского за руку, не приглашала сесть ближе, а только играла и блистала перед ним своей интересной особой, нечаянно показывала «ножки» и с улыбкой смотрела, как действуют на него эти маневры. Если он подходил к ней, она прилично отодвигалась и давала ему подле себя место.

Он с любопытством смотрел на нее и хотел окончательно решить, что она такое. Он было испугался приготовлений, какими она обстановила его посещение, но с каждым ее движением опасения его рассеивались. По-видимому, добродетели его не угрожала никакая опасность.

«Чего же она хочет от меня?» — догадывался он, глядя на нее с любопытством.

— Скажите мне что-нибудь про Петербург, про ваши победы: о, их много у вас? да? Скажите, что тамошние женщины — лучше здешних? (она взглянула на себя в зеркало) одеваются с бо́льшим вкусом? (и обдернула на себе платье и сбросила с плеча кружевную мантилью).

А плечи у ней были белы и круглы, так что Райский находил их не совсем недостойными кисти.

— Что ж вы молчите: скажите что-нибудь? — продолжала она, дрыгнув не без приятности «ножкой» и спрятав ее под платье.

Потом плутовски взглянула на него, наблюдая, действует ли?

[1] Что мы подходим друг к другу — да, дорогой Борис (*франц.*).

«Что ж она такое: постой, сейчас скажется!..» — подумал он.

— Я все сказал! — с комическим экстазом произнес он, — мне остается только... поцеловать вас!

Он встал со своего места и подошел к ней решительно.

— M-r Boris! de grâce — oh! oh! — с натянутым смущением сказала она, — que voulez-vous [1] — нет, ради бога, нет, пощадите, пощадите!

Он наклонился к ней и, по-видимому, хотел привести свое намерение в исполнение. Она замахала руками в непритворном страхе, встала с кушетки, подняла штору, оправилась и села прямо, но лицо у ней горело лучами торжества. Она была озарена каким-то блеском — и, опустив томно голову на плечо, шептала сладостно:

— Pitié, pitié! [2]

— Grâ-ce, grâ-ce! — запел Райский, едва сдерживая смех. — Я пошутил: не бойтесь, Полина Карповна, — вы безопасны, клянусь вам...

— О, не клянитесь! — вдруг встав с места, сказала она с пафосом и зажмуриваясь, — есть минуты, страшные в жизни женщины... Но вы великодушны!.. — прибавила, опять томно млея и клоня голову на сторону, — вы не погубите меня...

— Нет, нет, — говорил он, наслаждаясь этой сценой, — как можно губить мать семейства!.. Ведь у вас есть дети — а где ваши дети? — спросил он, оглядываясь вокруг. — Что вы мне не покажете их?

Она сейчас же отрезвилась.

— Их нет... они... — заговорила она.

— Познакомьте меня с ними: я так люблю малюток.

— Нет, pardon, m-r Boris [3], — их в городе нет...

— Где же они?

— Они... гостят в деревне у знакомых.

Дело в том, что одному «малютке» было шестнадцать, а другому четырнадцать лет, и Крицкая отправила их к дяде на воспитание, подальше от себя, чтоб они возрастом своим не обличали ее лет.

Райскому стало скучно, и он собрался домой. Полина Карповна не только не удерживала его, но, по-видимому, была довольна, что он уходит. Она велела подавать коляску и непременно хотела ехать с ним.

— И прекрасно, — сказал Райский, — завезите меня в одно место!

Полина Карповна обрадовалась, и они покатили опять по улицам.

---

[1] Борис! помилосердствуйте — о! о! — что вы от меня хотите (*франц.*).
[2] Сжальтесь, сжальтесь! (*франц.*)
[3] Извините, Борис (*франц.*).

К вечеру весь город знал, что Райский провел утро наедине с Полиной Карповной, что не только шторы были опущены, даже ставни закрыты, что он объяснился в любви, умолял о поцелуе, плакал — и теперь страдает муками любви.

Долго кружили по городу Райский и Полина Карповна. Она старалась провезти его мимо всех знакомых, наконец он указал один переулок и велел остановиться у квартиры Козлова. Крицкая увидела у окна жену Леонтья, которая делала знаки Райскому. Полина Карповна пришла в ужас.

— Вы ездите к этой женщине — возможно ли? Я компрометирована! — сказала она.— Что скажут, когда узнают, что я завезла вас сюда? Allons, de grâce, montez vite et partons! Cette femme: quelle horreur![1]

Но Райский махнул рукой и вошел в дом.

«Вот сучок заметила в чужом глазу!» — думал он.

XII

Свидание наедине с Крицкой напомнило ему о его «обязанности к другу», на которую он так торжественно готовился недавно и от которой отвлекла его Вера. У него даже забилось сердце, когда он оживил в памяти свои намерения оградить домашнее счастье этого друга.

Леонтья не было дома, и Ульяна Андреевна встретила Райского с распростертыми объятиями, от которых он сухо уклонился. Она называла его старым другом, «шалуном», слегка взяла его за ухо, посадила на диван, села к нему близко, держа его за руку.

Райский едва терпел эту прямую атаку и растерялся в первую минуту от быстрого и неожиданного натиска, который вдруг перенес его в эпоху старого знакомства с Ульяной Андреевной и студенческих шалостей: но это было так давно!

— Что вы, Ульяна Андреевна, опомнитесь — я не студент, а вы не девочка!..— упрекнул он ее.

— Для меня вы все тот же милый студент, шалун, а я для вас та же послушная девочка...

Она вскочила с места, схватила его за руки и три раза повернулась с ним по комнате, как в вальсе.

— А кто мне платье разорвал, помните?..

Он смотрел на нее, стараясь вспомнить.

— Забыли, как ловили за талию, когда я хотела уйти!.. Кто на коленях стоял? Кто ручки целовал! Нате, поцелуйте, неблагодарный! А я для вас та же Уленька!

---

[1] Ах, умоляю вас, садитесь скорей и поедемте! Эта женщина: какой ужас! (*франц.*)

— Жаль! — сказал он со вздохом,— ужели вы не забыли старые шалости?

— Нет, нет,— всё помню, всё помню! — И она вертела его за руки по комнате.

Ему легче казалось сносить тупое, бесплодное и карикатурное кокетничанье седеющей Калипсо, все ищущей своего Телемака[1], нежели этой простодушной нимфы, ищущей встречи с сатиром...

А она, с блеском на рыжеватой маковке и бровях, с огнистым румянцем, ярко проступавшим сквозь веснушки, смотрела ему прямо в лицо лучистыми, горячими глазами, с беспечной радостью, отважной решимостью и затаенным смехом.

Он отворачивался от нее, старался заговорить о Леонтье, о его занятиях, ходил из угла в угол и десять раз подходил к двери, чтоб уйти, но чувствовал, что это не легко сделать.

Он попал будто в клетку тигрицы, которая, сидя в углу, следит за своей жертвой: и только он брался за ручку двери, она уже стояла перед ним, прижавшись спиной к замку и глядя на него своим смеющимся взглядом, без улыбки.

Куда он ни оборачивался, он чувствовал, что не мог уйти из-под этого взгляда, который, как взгляд портретов, всюду следил за ним.

Он сел и погрузился в свою задачу о «долге», думал, с чего начать. Он видел, что мягкость тут не поможет: надо бросить «гром» на эту играющую позором женщину, назвать по имени стыд, который она так щедро льет на голову его друга.

Он молча, холодно осматривал ее с ног до головы, даже позволил себе легкую улыбку презрения.

А она, отворотясь от этого сухого взгляда, обойдет сзади стула и вдруг нагнется к нему и близко взглянет ему в лицо, положит на плечо руки или нежно щипнет его за ухо — и вдруг остановится на месте, оцепенеет, смотрит в сторону глубоко-задумчиво, или в землю, точно перемогает себя, или — может быть — вспоминает лучшие дни, Райского-юношу, потом вздохнет, очнется — и опять к нему...

Он зорко наблюдал ее.

— Что вы так смотрите на меня, не по-прежнему, старый друг? — говорила она тихо, точно пела,— разве ничего не осталось на мою долю в этом сердце? А помните, когда липы цвели?

— Я ничего не помню,— сухо говорил он,— все забыл!

— Неблагодарный! — шептала она и прикладывала руку к его сердцу, потом щипала опять за ухо или за щеку и быстро переходила на другую сторону.

— Разве все отдали Вере: да? — шептала она.

---

[1] Действующие лица романа Ф. Фенелона «Похождения Телемака, сына Уллиса» (1699).

— Вере? — вдруг спросил он, отталкивая ее.

— Тс-тс — все знаю — молчите. Забудьте на минуту свою милую...

«Нет,— думал он,— в другой раз, когда Леонтий будет дома, я где-нибудь в углу, в саду, дам ей урок, назову ей по имени и ее поведение, а теперь...»

Он встал.

— Пустите, Ульяна Андреевна: я в другой раз приду, когда Леонтий будет дома,— сухо сказал он, стараясь отстранить ее от двери.

— А вот этого я и не хочу,— отвечала она,— очень мне весело, что вы придете при нем — я хочу видеть вас одного: хоть на час будьте мой — весь мой... чтоб никому ничего не досталось! И я хочу быть — вся ваша... вся! — страстно шепнула она, кладя голову ему на грудь.— Я ждала этого, видела вас во сне, бредила вами, не знала, как заманить. Случай помог мне — вы мой, мой, мой! — говорила она, охватывая его руками за шею и целуя воздух.

«Ну, это — не Полина Карповна, с ней надо принять решительные меры!» — подумал Райский и энергически, обняв за талию, отвел ее в сторону и отворил дверь.

— Прощайте,— сказал он, махнув шляпой,— до свидания! Я завтра...

Шляпа очутилась у ней в руке — и она, нагнув голову, подняла шляпу вверх и насмешливо махала ею над головой.

Он хотел схватить шляпу, но Ульяна Андреевна была уже в другой комнате и протягивала шляпу к нему, маня за собой.

— Возьмите! — дразнила она.

Он молча наблюдал ее.

— Дайте шляпу! — сказал он после некоторого молчания.

— Возьмите.

— Отдайте.

— Вот она.

— Поставьте на пол.

Она поставила и отошла к окну. Он вошел к ней в комнату и бросился к шляпе, а она бросилась к двери, заперла и положила ключ в карман.

Они смотрели друг на друга: Райский с холодным любопытством, она — с дерзким торжеством, сверкая смеющимися глазами. Он молча дивился красоте ее римского профиля.

«Да, Леонтий прав: это — камея; какой профиль, какая строгая, чистая линия затылка, шеи! И эти волосы так же густы, как бывало...»

Он вдруг вспомнил, зачем пришел, и сделал строгое лицо.

— Понимаете ли вы сами, какую сцену играете? — с холодной важностью произнес он.

— Милый Борис! — нежно говорила она, протягивая руки и маня к себе,— помните сад и беседку? Разве эта сцена —

новость для вас? Подите сюда! — прибавила скороговоркой, шепотом, садясь на диван и указывая ему место возле себя.

— А муж? — вдруг сказал он.

— Что муж? Все такой же дурак, как и был!

— Дурак! — с упреком, возвысив голос, повторил он.— И вы так платите ему за его доброту, за доверие!

— Да разве его можно любить?

— Отчего же не любить?

— Таких не любят... Подите сюда!..— шептала опять.

— Но вы любили же когда-нибудь?

Она отрицательно покачала головой.

— Зачем же вы шли замуж?

— Это совсем другое дело: он взял, я и вышла. Куда ж мне было деться!

— И обманываете целую жизнь, каждый день, уверяете его в любви...

— Никогда не уверяю, да он и не спрашивает. Видите, и не обманываю!

— Но помилуйте, что вы делаете!! — говорил он, стараясь придать ужас голосу.

Она, с затаенным смехом, отважно смотрела на него; глаза у ней искрились.

— Что я делаю!!! — с комическим ужасом передразнила она,— все люблю вас, неблагодарный, все верна милому студенту Райскому... Подите сюда!

— Если б он знал! — говорил Райский, боязливо ворочая глазами вокруг и останавливая их на ее профиле.

— Не узнает, а если б и узнал — так ничего. Он дурак.

— Нет, не дурак, а слабый, любящий до слепоты. И вот — его семейное счастье!

— А чем он несчастлив? — вспыхнув, сказала Ульяна Андреевна,— поищите ему другую такую жену. Если не посмотреть за ним, он мимо рта ложку пронесет. Он одет, обут, ест вкусно, спит покойно, знает свою латынь: чего ему еще больше? И будет с него! А любовь не про таких!

— Про каких же?

— Про таких, как вы... Подите сюда!

— Но он вам верит, он поклоняется вам...

— Я ему не мешаю: он муж — чего ж ему еще?

— Ваша ласка, попечения — все это должно принадлежать ему!

— Все и принадлежит — разве его не ласкают, противного урода этакого! Попробовали бы вы...

— Зачем же эта распущенность, этот Шарль!..

Она опять вспыхнула.

— Какой вздор — Шарль! кто это вам напел? противная бабушка ваша — вздор, вздор!

— Я сам слышал...

— Что вы слышали?

— В саду, как вы шептались, как...

— Это все пустое, вам померещилось! M-r Шарль придет, спросит сухарь, стакан красного вина — выпьет и уйдет.

Она отошла к окну и в досаде начала ощипывать листья и цветы в горшках. И у ней лицо стало как маска, и глаза перестали искриться, а сделались прозрачны, бесцветны — «как у Веры тогда... — думал он. — Да, да, да — вот он, этот взгляд, один и тот же у всех женщин, когда они лгут, обманывают, таятся... Русалки!»

— Ваше сердце, Ульяна Андреевна, ваше внутреннее чувство... — говорил он.

— Еще что!

— Словом — совесть не угрызает вас, не шепчет вам, как глубоко оскорбляете вы бедного моего друга...

— Какой вздор вы говорите — тошно слушать! — сказала она, вдруг обернувшись к нему и взяв его за руки.— Ну, кто его оскорбляет? Что вы мне мораль читаете! Леонтий не жалуется, ничего не говорит... Я ему отдала всю жизнь, пожертвовала собой: ему покойно, больше ничего не надо, а мне-то каково без любви! Какая бы другая связалась с ним!..

— Он так вас любит!

— Куда ему? Умеет он любить! Он даже и слова о любви не умеет сказать: выпучит глаза на меня — вот и вся любовь! точно пень! Дались ему книги, уткнет нос в них и возится с ними. Пусть же они и любят его! Я буду для него исправной женой, а любовницей (она сильно потрясла головой) — никогда!

— Да вы новейший философ, — весело заметил Райский,— не смешиваете любви с браком: мужу...

— Мужу — щи, чистую рубашку, мягкую подушку и покой...

— А любовь?

— А любовь... вот кому! — сказала она — и вдруг обвилась руками около шеи Райского, затворила ему рот крепким и продолжительным поцелуем.

Он остолбенел и даже зашатался на месте. А она не выпускала его шеи из объятий, обдавала искрами глаз, любуясь действием поцелуя.

— Постойте... постойте,— говорил он, озадаченный,— вспомните... я друг Леонтья, моя обязанность...

Она затворила ему рот маленькой рукой — и он... поцеловал руку.

«Нет! — говорил он, стараясь не глядеть на ее профиль и жмурясь от ее искристых, широко открытых глаз,— момент настал, брошу камень в эту холодную, бессердечную статую...»

Он освободился из ее объятий, поправил смятые волосы, отступил на шаг и выпрямился.

— А стыд — куда вы дели его, Ульяна Андреевна? — сказал он резко.

— Стыд... стыд...— шептала она, обливаясь румянцем и пряча голову на его груди, — стыд я топлю в поцелуях...

Она опять прильнула к его щеке губами.

— Опомнитесь и оставьте меня! — строго сказал он,— если в доме моего друга поселился демон, я хочу быть ангелом-хранителем его покоя...

— Не говорите, ах, не говорите мне страшных слов...— почти простонала она.— Вам ли стыдить меня? Я постыдилась бы другого... А вы! Помните?.. Мне страшно, больно, я захвораю, умру... Мне тошно жить, здесь такая скука...

— Оправьтесь, встаньте, вспомните, что вы женщина...— говорил он.

Она судорожно, еще сильнее прижалась к нему, пряча голову у него на груди.

— Ах,— сказала она,— зачем, зачем вы... это говорите?.. Борис — милый Борис... вы ли это...

— Пустите меня! Я задыхаюсь в ваших объятиях! — сказал он,— я изменяю самому святому чувству — доверию друга... Стыд да падет на вашу голову!..

Она вздрогнула, потом вдруг вынула из кармана ключ, которым заперла дверь, и бросила ему в ноги. После этого руки у ней упали неподвижно, она взглянула на Райского мутно, сильно оттолкнула его, повела глазами вокруг себя, схватила себя обеими руками за голову — и испустила крик, так что Райский испугался и не рад был, что вздумал будить женское заснувшее чувство.

— Ульяна Андреевна! опомнитесь, придите в себя! — говорил он, стараясь удержать ее за руки.— Я нарочно, пошутил, виноват!..

Но она не слушала, качала в отчаянии головой, рвала волосы, сжимала руки, вонзая ногти в ладони, и рыдала без слез.

— Что я, где я? — говорила она, ворочая вокруг себя изумленными глазами.— Стыд... стыд...— отрывисто вскрикивала она,— боже мой, стыд... да, жжет — вот здесь!

Она рвала манишку на себе.

Он расстегнул или скорее разорвал ей платье и положил ее на диван. Она металась, как в горячке, испуская вопли, так что слышно было на улице.

— Ульяна Андреевна, опомнитесь! — говорил он, ставши на колени, целуя ей руки, лоб, глаза.

Она взглядывала мельком на него, делая большие глаза, как будто удивляясь, что он тут, потом вдруг судорожно прижимала его к груди и опять отталкивала, твердя: «стыд! стыд! жжет... вот здесь... душно...»

Он понял в ту минуту, что будить давно уснувший стыд следовало исподволь, с пощадой, если он не умер совсем, а только заглох: «Все равно,— подумал он,— как пьяницу нельзя вдруг оторвать от чарки — горячка будет!»

Он не знал, что делать, отпер дверь, бросился в столовую, забежал с отчаяния в какой-то темный угол, выбежал в сад,— чтоб позвать кухарку, зашел в кухню, хлопая дверьми,— нигде ни души.

Он захватил ковш воды, прибежал назад: одну минуту колебался, не уйти ли ему, но оставить ее одну в этом положении — казалось ему жестокостью.

Она все металась и стонала, волосы у ней густой косой рассыпались по плечам и груди. Он стал на колени, поцелуями зажимал ей рот, унимал стоны, целовал руки, глаза.

Мало-помалу она ослабела, потом оставалась минут пять в забытьи, наконец пришла в себя, остановила на нем томный взгляд и — вдруг дико, бешено стиснула его руками за шею, прижала к груди и прошептала:

— Вы мой... мой!.. не говорите мне страшных слов... «*Оставь угрозы, свою Тамару не брани*»,— повторила она лермонтовский стих — с томной улыбкой.

«Господи! — застонало внутри его,— что мне делать!»

— Не станете? — шепотом прибавила она, крепко держа его за голову,— вы мой?

Райский не мог в ее руках повернуть головы, он поддерживал ее затылок и шею: римская камея лежала у него на ладони во всей прелести этих молящих глаз, полуоткрытых, горячих губ...

Он не отводил глаз от ее профиля, у него закружилась голова... Румяные и жаркие щеки ее запылали ярче и жгли ему лицо. Она поцеловала его, он отдал поцелуй. Она прижала его крепче, прошептала чуть слышно:

— Вы мой теперь: никому не отдам вас!..

Он не бранил, не сказал больше ни одного «страшного» слова... «Громы» умолкли...

XIII

Исполнив «дружескую обязанность», Райский медленно, почти бессознательно шел по переулку, поднимаясь в гору и тупо глядя на крапиву в канаве, на пасущуюся корову на пригорке, на роющуюся около плетня свинью, на пустой, длинный забор. Оборотившись назад, к домику Козлова, он увидел, что Ульяна Андреевна стоит еще у окна и машет ему платком.

«Я сделал все, что мог, все!» — говорил он, отворачиваясь от окна с содроганием, и прибавил шагу.

Взойдя на гору, он остановился и в непритворном ужасе произнес: «Боже, боже мой!»

Гамлет и Офелия! вдруг пришло ему в голову, и он закатился смехом от этого сравнения, так что даже ухватился за решетку церковной ограды. Ульяна Андреевна — Офелия! Над сравнением себя с Гамлетом он не смеялся: «Всякий,—казалось ему,— бывает Гамлетом иногда!» Так называемая «воля» подшучивает над всеми! «Нет воли у человека,— говорил он,— а есть паралич воли: это к его услугам! А то, что называют волей — эту мнимую силу, так она вовсе не в распоряжении господина, «царя природы», а подлежит каким-то посторонним законам и действует по ним, не спрашивая его согласия. Она, как совесть, только и напоминает о себе, когда человек уже сделал не то, что надо, или если он и бывает тверд волей, так разве случайно, или там, где он равнодушен».

«Леонтий! — вдруг произнес он, хватаясь за голову,— в каких руках его счастье! Какими глазами взгляну я на него! А как тверда была моя воля!»

Как он искренно готовился к своей благородной роли, как улыбалась ему идея долга, какую награду нашел бы он в своем сознании, если б...

«А что было мне делать?» — заключил он вопросом и мало-помалу поднимал голову, выпрямлялся, морщины разглаживались, лицо становилось покойнее.

«Я сделал все, что мог, все, что мог! — твердил он,— но вышло не то, что нужно...» — шепнул он со вздохом.

И с этим *но*, и с этим вздохом пришел к себе домой, мало-помалу оправданный в собственных глазах, и, к большому удовольствию бабушки, весело и с аппетитом пообедал с нею и с Марфенькой.

«Эту главу в романе надо выпустить...— подумал он, принимаясь вечером за тетради, чтобы дополнить очерк Ульяны Андреевны...— А зачем: лгать, притворяться, становиться на ходули? Не хочу, оставлю, как есть, смягчу только это свидание... прикрою нимфу и сатира гирляндой...»

Райский прилежно углубился в свой роман. Перед ним как будто проходила его собственная жизнь, разорванная на какие-то клочки.

«Но ведь иной недогадливый читатель подумает, что я сам такой, и только такой! — сказал он, перебирая свои тетради,— он не сообразит, что это не я, не Карп, не Сидор, а тип; что в организме художника совмещаются многие эпохи, многие разнородные лица... Что я стану делать с ними? Куда дену еще десять, двадцать типов?..»

«Надо также выделить из себя и слепить и те десять, двадцать типов в статуи,— шепнул кто-то внутри его,— это и есть задача художника, его «дело», а не «мираж»!»

Он вздохнул.

«Где мне, неудачнику!» — подумал он уныло.

Прошло несколько дней после свидания с Ульяной Андреев-

ной. Однажды к вечеру собралась гроза, за Волгой небо обложилось черными тучами, на дворе парило, как в бане; по полю и по дороге кое-где вихрь крутил пыль.

Все примолкло. Татьяна Марковна подняла на ноги весь дом. Везде закрывались трубы, окна, двери. Она не только сама боялась грозы, но даже не жаловала тех, кто ее не боялся, считая это за вольнодумство. Все набожно крестились в доме при блеске молнии, а кто не перекрестится, того называли «пнем». Егорку выгоняла из передней в людскую, потому что он не переставал хихикать с горничными и в грозу.

Гроза приближалась величественно; издали доносился глухой рокот грома, пыль неслась столбом. Вдруг блеснула молния, и над деревней раздался резкий удар грома.

Райский схватил фуражку, зонтик и пошел проворно в сад, с тем, чтобы поближе наблюдать картину, поместиться самому в нее, списать детали и наблюдать свои ощущения.

Татьяна Марковна увидела его из окна и постучала ему в стекло.

— Куда это ты, Борис Павлович? — спросила она, подозвав его к окну.

— На Волгу, бабушка, грозу посмотреть.

— В уме ли ты? Воротись!

— Нет, я пойду...

— Говорят, не ходи! — повелительно прибавила она.

Опять блеснула молния и раздался продолжительный раскат грома. Бабушка в испуге спряталась, а Райский сошел с обрыва и пошел между кустов едва заметной извилистой тропинкой.

Дождь лил как из ведра, молния сверкала за молнией, гром ревел. И сумерки, и тучи погрузили все в глубокий мрак.

Райский стал раскаиваться в своем артистическом намерении посмотреть грозу, потому что от ливня намокший зонтик пропускал воду ему на лицо и на платье, ноги вязли в мокрой глине, и он, забывши подробности местности, беспрестанно натыкался в роще на бугры, на пни или скакал в ямы.

Он поминутно останавливался и только при блеске молнии делал несколько шагов вперед. Он знал, что тут была где-то, на дне обрыва, беседка, когда еще кусты и деревья, росшие по обрыву, составляли часть сада.

Недавно еще, пробираясь к берегу Волги, мимоходом он видел ее в чаще, но теперь не знал, как пройти к ней, чтобы укрыться там и оттуда, пожалуй, наблюдать грозу.

Назад идти опять между сплошных кустов, по кочкам и ямам подниматься вверх, он тоже не хотел и потому решил протащиться еще несколько десятков сажен до проезжей горы, перелезть там через плетень и добраться по дороге до деревни.

Сапоги у него размокли совсем: он едва вытаскивал ноги из грязи и разросшегося лопуха и крапивы и, кроме того, не совсем равнодушен был к этому нестерпимому блеску молнии и треску грома над головой.

«Можно бы любоваться грозой из комнаты!» — сознавался он про себя.

Наконец он уткнулся в плетень, ощупал его рукой, хотел поставить ногу в траву — поскользнулся и провалился в канаву. С большим трудом выкарабкался он из нее, перелез через плетень и вышел на дорогу. По этой крутой и опасной горе ездили мало, больше мужики, порожняком, чтобы не делать большого объезда, в телегах, на своих смирных, запаленных, маленьких лошадях в одиночку.

Райский, мокрый, свернув зонтик под мышкой, как бесполезное орудие, жмурясь от ослепительной молнии, медленно и тяжело шел в гору по скользкой грязи, беспрестанно останавливаясь, как вдруг послышался ему стук колес.

Он прислушался: шум опять раздался невдалеке. Он остановился, стук все ближе и ближе, слышалось торопливое и напряженное шаганье конских копыт в гору, фырканье лошадей и понукающий окрик человека. Молния блистала уже пореже, и потому, при блеске ее, Райский не мог еще различить экипажа.

Он только посторонился с дороги и уцепился за плетень, чтоб дать экипажу проехать, когда тот поравняется, так как дорога была узка.

Наконец молния блеснула ярко и осветила экипаж, вроде крытой линейки или шарабана, запряженного парой сытых и, как кажется, отличных коней, и группу людей в шарабане.

Опять молния — и Райский остолбенел, узнавши в группе — Веру.

— Вера! — закричал он во весь голос.

Экипаж остановился.

— Кто тут? — спросил ее голос.

— Я.

— Брат! Что вы тут делаете? — с изумлением спросила она.

— А ты что?

— Я возвращаюсь домой.

— И я тоже.

— Вы откуда?

— Да вот тут бродил в обрыве и потерял дорогу в кустах. Иду по горе. А ты как это решилась по такой крутизне? С кем ты? Чьи это лошади? Нельзя ли меня довезти?

— Прошу покорно, места много. Дайте руку, я помогу вам влезть! — сказал мужской голос.

Райский протянул руку, и кто-то сильно втащил его под навес шарабана. Там, кроме Веры, он нашел еще Марину.

Обе они, как мокрые курицы, жались друг к другу, стараясь защититься кожаным фартуком от хлеставшего сбоку ливня.

— Кто это с тобой? Чьи лошади, кто правит ими? — спрашивал тихо Райский у Веры.

— Иван Иваныч.

— Какой Иван Иваныч?

— Лесничий! — тихо шепнула она в ответ.

— Лесничий?.. — заговорил Райский, но Вера слегка толкнула его в бок, чтобы он молчал, потому что голова и уши лесничего были у них под носом.

— После! — шепнула она.

«Лесничий!» — думал Райский и припомнил разговор с бабушкой, ее похвалы, намеки на «славную партию».

«Так вот кто герой романа: лесничий — лесничий!» — не помня себя, твердил Райский.

Он старался взглянуть на лесничего. Но перед носом у него тряслась только низенькая шляпа с большими круглыми полями да широкие плечи рослого человека, покрытые макинтошем. Сбоку он видел лишь силуэт носа и — как казалось ему, бороду.

Лесничий ловко правил лошадьми, карабкавшимися на крутую гору, подстегивал то ту, то другую, посвистывал, забирал круто вожжи, когда кони вдруг вздрагивали от блеска молнии, и потом оборачивался к сидящим под навесом.

— Что, Вера Васильевна, каково вам, не озябли ли, не промокли ли вы? — осведомлялся он заботливо.

— Нет, нет, мне хорошо, Иван Иванович, дождь не достает меня.

— Взяли бы вы макинтош мой... — предлагал Иван Иванович. — Боже сохрани, простудитесь: век себе не прощу, что взялся везти вас...

— Ах, какие вы — надоели! — с дружеской досадой сказала Вера, — знайте свое дело, правьте лошадьми!

— Как угодно! — с торопливой покорностью говорил Иван Иванович и обращался к лошадям.

Но, посвистав и покричав на них, он, по временам, будто украдкой, оборачивался к Вере посмотреть, что она.

Объехавши Малиновку, они подъехали к воротам дома Татьяны Марковны.

Лесничий соскочил и начал стучать рукояткой бича в ворота. У крыльца он предоставил лошадей на попечение подоспевшим Прохору, Тараске, Егорке, а сам бросился к Вере, встал на подножку экипажа, взял ее на руки, и, как драгоценную ношу, бережно и почтительно внес на крыльцо, прошел мимо лакеев и девок, со свечами вышедших навстречу и выпучивших на них глаза, донес до дивана в зале и тихо посадил ее.

Райский, мокрый, как был в грязи, бросился за ними и не пропустил ни одного его движения, ни ее взгляда.

Потом лесничий воротился в переднюю, снял с себя всю мокрую амуницию, длинные охотничьи сапоги, оправился, отряхнулся, всеми пятью пальцами руки, как граблями, провел по густым волосам и спросил у людей веничка или щетку.

Бабушка между тем здоровалась с Верой и вместе осыпала ее упреками, что она пускается на «такие страсти», в такую ночь, по такой горе, не бережет себя, не жалеет ее, бабушки, не дорожит ничьим покоем и что когда-нибудь она этак «уложит ее в гроб».

За этим, разумеется, последовало приказание поскорей переменить платье и белье, обсушиться, обогреться, подавать самовар, собирать ужин.

— Ах, бабушка, как мне всего хочется! — говорила Вера, ласкаясь, как кошка, около бабушки,— и чаю, и супу, и жаркого, и вина. И Ивану Иванычу тоже. Скорее, милая бабушка!

Она знала, чем бабушку успокоить.

— Сейчас, сейчас — вот и прекрасно: все, все — будет! — А где ж Иван Иваныч? — Иван Иваныч! — обратилась бабушка к лесничему,— подите сюда, что вы там делаете? — Марфенька, где Марфенька? Что она забилась там к себе?

— Вот сейчас оправлюсь да почищусь, Татьяна Марковна,— говорил голос из передней. Егор, Яков, Степан чистили, терли, чуть не скребли лесничего в передней, как доброго коня.

Он вошел в комнату, почтительно поцеловал руку у бабушки и у Марфеньки, которая теперь только решилась освободить свою голову из-под подушки и вылезть из постели, куда запряталась от грозы.

— Марфенька, иди скорей,— сказала бабушка,— не прятаться надо, а богу молиться, гром и не убьет!

— Я этого не боюсь,— сказала Марфенька,— гром бьет все больше мужиков,— а так, просто страшно!

Райский между тем, мокрый, стоя у окна, устремил на гостя жадный взгляд.

Иван Иванович Тушин был молодец собой. Высокий, плечистый, хорошо сложенный мужчина, лет тридцати осьми, с темными густыми волосами, с крупными чертами лица, с большими серыми глазами, простым и скромным, даже немного застенчивым взглядом и с густой темной бородой. У него были большие загорелые руки, пропорциональные росту, с широкими ногтями.

Одет он был в серое пальто, с глухим жилетом, из-за которого на галстук падал широкий отложной воротник рубашки домашнего полотна. Перчатки белые замшевые, в руках длинный бич, с серебряной рукояткой.

«Молодец, красивый мужчина: но какая простота... чтоб не сказать больше... во взгляде, в манерах! Ужели он — герой Веры?..» — думал Райский, глядя на него и с любопытством ожидая, что покажет дальнейшее наблюдение.

«А почему ж нет? — ревниво думал опять,— женщины любят эти рослые фигуры, эти открытые лица, большие здоровые руки — всю эту рабочую силу мышц... Но ужели Вера?..»

— Ты, мой батюшка, что!— вдруг всплеснув руками, сказала бабушка, теперь только заметившая Райского.— В каком виде! Люди, Егорка! — да как это вы угораздились сойтись? Из какой тьмы кромешной! Посмотри, с тебя течет, лужа на полу! Борюшка! ведь ты уходишь себя! Они домой ехали, а тебя кто толкал из дома? Вот — охота пуще неволи! Поди, поди переоденься,— да рому к чаю! — Иван Иваныч! — вот и вы пошли бы с ним... Да знакомы ли вы? Внук мой, Борис Павлыч Райский — Иван Иваныч Тушин!..

— Мы уж познакомились,— сказал, кланяясь, Тушин, — на дороге подобрали вашего внука и вместе приехали. Благодарю покорно, мне ничего не нужно. А вот вы, Борис Павлыч, переоделись бы: у вас ноги мокрые!

— Вы уж меня извините, старуху, а вы все, кажется, полоумные,— заговорила бабушка,— в такую грозу и зверь не выползет из своей берлоги!.. Вон, господи, как сверкает еще до сих пор! Яков, притвори поди ставню поплотнее. А вы — в такой вечер через Волгу!

— Ведь у меня свой крепкий паром,— сказал Тушин,— с крытой беседкой. Вера Васильевна были там, как в своей комнате: ни капли дождя не упало на них.

— Да страсть-то какая, гроза!

— Что ж, гроза, помилуйте, это только старым бабам...

— Покорно благодарю: а я-то кто же? — вдруг сказала бабушка.

Тушин переконфузился.

— Извините, я не нарочно, с языка сорвалось! Я про простых баб...

— Ну, бог вас простит! — смеясь, сказала бабушка.— Вам — ничего, я знаю. Вон вас каким господь создал — да Вера-то: как на нее нет страха! Ты что у меня за богатырь такой!

— С Иваном Ивановичем как-то не страшно, бабушка.

— Иван Иваныч медведей бьет, и ты бы пошла?

— Пошла бы, бабушка, посмотреть. Возьмите меня когда-нибудь, Иван Иваныч... Это очень интересно...

— Я с удовольствием... Вера Васильевна: вот зимой, как соберусь — прикажите только... Это заманчиво.

— Видите, какая! — сказала Татьяна Марковна.— А до бабушки тебе дела нет?..

— Я пошутила, бабушка.

— Ты готова, я знаю! И как это тебе не совестно было беспокоить Ивана Ивановича? Такую даль — провожать тебя!

— Это уж не они, а я виноват,— сказал Тушин,— я только лишь узнал от Натальи Ивановны, что Вера Васильевна собираются домой, так и стал просить сделать мне это счастье...

Он скромно, с примесью почти благоговения, взглянул на Веру.

— Хорошо счастье — в этакую грозу...

— Ничего, светлее ехать... И Вера Васильевна не боялись.

— А что Анна Ивановна, здорова ли?

— Слава богу, кланяется вам — прислала вам от своих плодов: персиков из оранжереи, ягод, грибов — там в шарабане...

— На что это? своих много! Вот за персики большое спасибо — у нас нет,— сказала бабушка.— А я ей какого чаю приготовила! Борюшка привез — я уделила и ей.

— Покорно благодарю!

— И как это в этакую темнять по Заиконоспасской горе на ваших лошадях взбираться! Как вас бог помиловал! — опять заговорила Татьяна Марковна.— Испугались бы грозы, понесли — боже сохрани!

— Мои лошади — как собаки — слушаются меня... Повез ли бы я Веру Васильевну, если б предвидел опасность?

— Вы надежный друг,— сказала она,— зато как я и полагаюсь на вас, и даже на ваших лошадей!..

В это время вошел Райский, в изящном неглиже, совсем оправившийся от прогулки. Он видел взгляд Веры, обращенный к Тушину, и слышал ее последние слова.

«Полагаюсь на вас и на лошадей! — повторил он про себя,— вот как: рядом!»

— Покорно вас благодарю, Вера Васильевна,— отвечал Тушин.— Не забудьте же, что сказали теперь. Если понадобится что-нибудь, когда...

— Когда опять загремит вот этакий гром...— сказала бабушка.

— Всякий! — прибавил он.

— Да, бывают и не этакие грозы в жизни! — с старческим вздохом заметила Татьяна Марковна.

— Какие бы ни были,— сказал Тушин,— когда у вас загремит гроза, Вера Васильевна,— спасайтесь за Волгу, в лес: там живет медведь, который вам послужит... как в сказках сказывают.

— Хорошо, буду помнить! — смеясь, отвечала Вера,— и когда меня, как в сказке, будет уносить какой-нибудь колдун — я сейчас за вами!

XIV

Райский видел этот постоянный взгляд глубокого умиления и почтительной сдержанности, слушал эти тихие, с примесью невольно прорывавшейся нежности, речи Тушина, обращаемые к Вере.

И не одному только ревниво-наблюдательному взгляду Райского или заботливому вниманию бабушки, но и равнодушному свидетелю нельзя было не заметить, что и лицо, и фигура, и движения «лесничего» были исполнены глубокой симпатии к Вере, сдерживаемой каким-то трогательным уважением.

Этот атлет по росту и силе, по-видимому не ведающий никаких страхов и опасностей здоровяк, робел перед красивой, слабой девочкой, жался от ее взглядов в угол, взвешивал свои слова при ней, очевидно сдерживал движения, караулил ее взгляд, не прочтет ли в нем какого-нибудь желания, боялся, не сказать бы чего-нибудь неловко, не промахнуться, не показаться неуклюжим.

«И это, должно быть, тоже раб!» — подумал Райский и следил за ней, что она.

Он думал, что она тоже выкажет смущение, не сумеет укрыть от многих глаз своего сочувствия к этому герою; он уже решил наверное, что лесничий — герой ее романа и той тайны, которую Вера укрывала.

«И кому, как не ему, писать на синей бумаге!» — думал он.

Ему любопытно было наблюдать, как она скажется: трепетом, мерцанием взгляда или окаменелым безмолвием.

А ничего этого не было. Вера явилась тут еще в новом свете. В каждом ее взгляде и слове, обращенном к Тушину, Райский заметил прежде всего простоту, доверие, ласку, теплоту, какой он не заметил у ней в обращении ни с кем, даже с бабушкой и Марфенькой.

Бабушки она как будто остерегалась, Марфенькой немного пренебрегала, а когда глядела на Тушина, говорила с ним, подавала руку — видно было, что они друзья.

В ней открыто высказывалась та дружба, на которую намекала она и ему, Райскому, и которой он добивался и не успел добиться.

Чем же добился ее этот лесничий? Что их связывает друг с другом? Как они сошлись? Сознательно ли, то есть отыскав и полюбив один в другом известную сумму приятных каждому свойств, или просто угадали взаимно характеры, и бессознательно, без всякого анализа, привязались один к другому?

Три дня прожил лесничий по делам в городе и в доме Татьяны Марковны, и три дня Райский прилежно искал ключа к этому новому характеру, к его положению в жизни и к его роли в сердце Веры.

Ивана Ивановича «лесничим» прозвали потому, что он жил в самой чаще леса, в собственной усадьбе, сам занимался с любовью этим лесом, растил, холил, берег его, с одной стороны, а с другой — рубил, продавал и сплавлял по Волге. Лесу было несколько тысяч десятин, и лесное хозяйство устроено и ведено

было с редкою аккуратностью; у него одного в той стороне устроен был паровой пильный завод, и всем заведовал, над всем наблюдал сам Тушин.

В промежутках он ходил на охоту, удил рыбу, с удовольствием посещал холостых соседей, принимал иногда у себя и любил изредка покутить, то есть заложить несколько троек, большею частию горячих лошадей, понестись с ватагой приятелей верст за сорок, к дальнему соседу, и там пропировать суток трое, а потом с ними вернуться к себе или поехать в город, возмутить тишину сонного города такой громадной пирушкой, что дрогнет все в городе, потом пропасть месяца на три у себя, так что о нем ни слуху, ни духу.

Там он опять рубит и сплавляет лес или с двумя егерями разрезывает его вдоль и поперек, не то объезжает тройки купленных на ярмарке новых лошадей или залезет зимой в трущобу леса и выжидает медведя, колотит волков.

Не раз от этих потех Тушин недели по три лежал с завязанной рукой, с попорченным ухарской тройкой плечом, а иногда с исцарапанным медвежьей лапой лбом.

Но ему нравилась эта жизнь, и он не покидал ее. Дома он читал увражи по агрономической и вообще по хозяйственной части, держал сведущего немца, специалиста по лесному хозяйству, но не отдавался ему в опеку, требовал его советов, а распоряжался сам, с помощию двух приказчиков и артелью своих и нанятых рабочих. В свободное время он любил читать французские романы: это был единственный оттенок изнеженности в этой, впрочем, обыкновенной жизни многих обитателей наших отдаленных углов.

Райский узнал, что Тушин встречал Веру у священника, и даже приезжал всякий раз нарочно туда, когда узнавал, что Вера гостит у попадьи. Это сама Вера сказывала ему. И Вера с попадьей бывали у него в усадьбе, прозванной *Дымок*, потому что издали, с горы, в чаще леса, она только и подавала знак своего существования выходившим из труб дымом.

Тушин жил с сестрой, старой девушкой, Анной Ивановной — и к ней ездили Вера с попадьей. Эту же Анну Ивановну любила и бабушка; и когда она являлась в город, то Татьяна Марковна была счастлива.

Ни с кем она так охотно не пила кофе, ни с кем не говорила так охотно секретов, находя, может быть, в Анне Ивановне сходство с собой в склонности к хозяйству, а больше всего глубокое уважение к своей особе, к своему роду, фамильным преданиям.

О Тушине с первого раза нечего больше сказать. Эта простая фигура как будто вдруг вылилась в свою форму и так и осталась цельною, с крупными чертами лица, как и характера, с неразбавленным на тонкие оттенки складом ума, чувств.

В нем все открыто, все сразу видно для наблюдателя, все слишком просто, не заманчиво, не таинственно, не романтично. Про него нельзя было сказать «умный человек» в том смысле, как обыкновенно говорят о людях, замечательно наделенных этою силою; ни остроумием, ни находчивостью его тоже упрекнуть было нельзя.

У него был тот ум, который дается одинаково как тонко развитому, так и мужику, ум, который, не тратясь на роскошь, прямо обращается в житейскую потребность. Это больше, нежели здравый смысл, который иногда не мешает хозяину его, мысля здраво, уклоняться от здравых путей жизни.

Это ум — не одной головы, но и сердца, и воли. Такие люди не видны в толпе, они редко бывают на первом плане. Острые и тонкие умы, с бойким словом, часто затмевают блеском такие личности, но эти личности большею частию бывают невидимыми вождями или регуляторами деятельности и вообще жизни целого круга, в который поставит их судьба.

В обхождении его с Верой Райский заметил уже постоянное монотонное обожание, высказывавшееся во взглядах, словах, даже до робости, а с ее стороны — монотонное доверие, открытое, теплое обращение.

И только. Как ни ловил он какой-нибудь знак, какой-нибудь намек, знаменательное слово, обмененный особый взгляд,— ничего! Та же простота, свобода и доверенность с ее стороны, то же проникнутое нежностию уважение и готовность послужить ей, «как медведь»,— со стороны Тушина, и больше ничего!

Опять не он! От кого же письмо на синей бумаге?

— Что это за лесничий? — спросил на другой же день Райский, забравшись пораньше к Вере,— и что он тебе?

— Друг,— отвечала Вера.

— Это слишком общее, родовое понятие. В каком смысле — друг?

— В лучшем и тесном смысле.

— Вот как! Не тот ли это счастливец, на которого ты намекала и которого имя обещала сказать?

— Когда?

— А до твоего отъезда!

— Что-то не помню. Какой счастливец, какое имя? Что я обещала?

— Какая же у тебя дурная память! Ты забыла и письмо на синей бумаге?

— Да, да, помню. Нет, брат, память у меня не дурна, я помню всякую мелочь, если она касается или занимает меня. Но, признаюсь вам, что на этот раз я ни о чем этом не думала, мне в голову не приходил ни разговор наш, ни письмо на синей бумаге...

— Ни я сам, может быть?

Она улыбнулась и кивнула в знак согласия головой.

— Весело же, должно быть, тебе там...

— Да, мне там было хорошо,— сказала она, глядя в сторону рассеянно,— никто меня не допрашивал, не подозревал... так тихо, покойно...

— И притом друг был подле?

Она опять кивнула утвердительно головой.

— Да, он, этот лесничий? — скороговоркой спросил Райский и поглядел на Веру.

Она не слушала его.

За ее обыкновенной, вседневной миной крылась другая. Она усиливалась, и притом с трудом, скрадывать какое-то ликование, будто прятала блиставшую в глазах, в улыбке зарю внутреннего удовлетворения, которым, по-видимому, не хотела делиться ни с кем.

Трепет и мерцание проявлялись реже, недоверчивых и недовольных взглядов незаметно, а в лице, во всей ее фигуре была тишина, невозмутимый покой, в глазах появлялся иногда луч экстаза, будто она черпнула счастья. Райский заметил это.

«Что это за счастье, какое и откуда? Ужели от этого лесного «друга»? — терялся он в догадках.— Но она не прячется, сама трубит об этой дружбе: где же тайна?»

— Ты счастлива, Вера? — сказал он.

— Чем? — спросила она.

— Не знаю: но как ты ни прячешь свое счастье, оно выглядывает из твоих глаз.

— В самом деле? — с улыбкой спросила она и с улыбкой глядела на Райского, и все задумчиво молчала.

Ей не хотелось говорить. Он взял ее за руку и пожал; она отвечала на пожатие; он поцеловал ее в щеку, она обернулась к нему, губы их встретились, и она поцеловала его — и все не выходя из задумчивости. И этот, так долго ожидаемый поцелуй не обрадовал его. Она дала его машинально.

— Вера! ты под наитием какого-то счастливого чувства, ты в экстазе!.. — сказал он.

— А что?—вдруг спросила она, очнувшись от рассеянности.

— Ничего, но ты будто... одолела какое-то препятствие: не то победила, не то отдалась победе сама, и этим счастлива... Не знаю что: но ты торжествуешь! Ты, должно быть, вступила в самый счастливый момент...

— Ах, как еще далеко до него! — прошептала она про себя.— Нет, ничего особенного не случилось! — прибавила она вслух, рассеянно, стараясь казаться беззаботной, и смотрела на него ласково, дружески.

— Так ты очень любишь этого...

— Лесничего? Да, очень! — сказала она,— таких людей немного; он из лучших, даже лучший здесь.

Опять ревность укусила Райского.

— То есть лучший мужчина: рослый, здоровый, буря ему нипочем, медведей бьет, лошадьми правит, как сам Феб,— и красота, красота!

— Гадко, Борис Павлович!

— Тебе досадно, что низводят с пьедестала любимого человека?

— Какого любимого человека?

— Ведь он — герой тайны и синего письма! Скажи — ты обещала...

— Обещала? Ах, да — да, вы все о том... Да, он; так что же?

— Ничего! — сильно покрасневши, сказал Райский, не ожидавший такого скорого сюрприза.— Сила-то, мышцы-то, рост!..— говорил он.

— А вы сказали, что страсть все оправдывает!..

— Я и ничего!— с судорогой в плечах произнес Райский,— видишь, покоен! Ты выйдешь за него замуж?

— Может быть.

— У него, говорят, лесу на сколько-то тысяч...

— Гадко, Борис Павлович!

— Ну, теперь я могу и уехать.

Он высунулся из окна, кликнул какую-то бабу и велел вызвать Егорку.

— Принеси чемодан с чердака ко мне в комнату: я завтра еду! — сказал он, не замечая улыбки Веры.

— Что ж, я очень рад! — злым голосом говорил он, стараясь не глядеть на нее.— Теперь у тебя есть защитник, настоящий герой, с ног до головы!..

— Человек с ног до головы,— повторила Вера,— а не герой романа!

— Да вяжутся ли у него человеческие идеи в голове? Нимврод[1], этот прототип всех спортсменов, и Гумбольдт[2] — оба люди... но между ними...

— Я не знаю, какие они были люди. А Иван Иванович — человек, какими должны быть все и всегда. Он что скажет, что задумает, то и исполнит. У него мысли верные, сердце твердое — и есть характер. Я доверяюсь ему во всем, с ним не страшно ничто, даже сама жизнь!

— Вот как! особенно в грозу, и с его лошадьми! — насмешливо добавил Райский.— И весело с ним?

— Да, и весело: у него много природного ума и юмор есть — только он не блестит, не сорит этим везде...

---

[1] Библейский охотник.

[2] Выдающийся немецкий естествоиспытатель (1769—1859).

— Словом, молодец-мужчина! Ну, что же, поздравляю, Вера,— и затем прощай!

— Куда вы?

— Я завтра рано уеду и не зайду проститься с тобой.

— Почему же?

— Ты знаешь почему: не могу же я быть равнодушен — я не дерево...

Она положила свою руку — ему на руку и, как кошечка, лукаво, с дрожащим от смеха подбородком взглянула ему в глаза.

— А если я не хочу, чтоб вы уезжали?

— Ты?

— Да, я.

— Зачем?

Он жадным взглядом ждал объяснения.

— Угадайте!

— Что же ты хочешь, чтоб я на свадьбе твоей был?

Она все глядела на него с улыбкой и не снимая с его руки своей.

— Хочу,— сказала она.

— А когда это будет? — сухо спросил он.

Она молчала.

— Вера?

Вдруг она громко засмеялась. Он взглянул на нее: она, против обыкновения, почти хохочет.

«Не он, не он, не лесничий — ее герой! Тайна осталась в синем письме!» — заключил он.

У него отлегло от сердца. Он стал весел, запел, заговорил, посыпалась соль, послышался смех...

— Велите же Егору убрать чемодан,— сказала она.

— Зачем ты остановила меня, Вера? — спросил он.— Скажи правду. Помни, что я покоряюсь всему...

— Всему?

— Да, безусловно. Что бы ты ни сделала со мной, какую бы роль ни дала мне — только не гони с глаз — я всё принимаю...

— Всё?

— Всё! — подтвердил он в слепом увлечении.

— Смотрите, брат, теперь и вы в экстазе! Не раскайтесь после, если я приму...

— Клянусь тебе, Вера,— начал он, вскочив,— нет желания, нет каприза, нет унижения, которого бы я не принял и не выпил до капли, если оно может хоть одну минуту...

— Довольно. Я принимаю — и вы теперь...

— Твой раб? Да, скажи, скажи...

— Хорошо,— сказала она, поглядев на него «русалочным» взглядом.

— Так мне остаться?..

— Оставайтесь...

— Что за перемена! — говорил он, ликуя,— зачем вдруг ты захотела этого?

— Зачем?..

Она глядела на него, а он упивался этим бархатным, неторопливо смотревшим в его глаза взглядом, полным какого-то непонятного ему значения.

— Затем... чтобы... вам завтра не совестно было самим велеть убрать чемодан на чердак,— скороговоркой добавила она.— Ведь вы бы не уехали!

— Нет, уехал бы.

Она отрицательно покачала головой.

— Даю тебе слово...

— Не уехали бы.

— Отчего так?

— Оттого, что я не хочу.

— Ты, ты, ты — Вера! хорошо ли я слышу, не ошибаюсь ли я?

— Нет.

— Повтори еще.

— Я не хочу, чтоб вы уехали,— и вы останетесь...

— Зачем? — страстным шепотом спросил он.

— Хочу! — повелительным шепотом подтвердила она.

— Вера — молчи, ни слова больше! Если ты мне скажешь теперь, что ты любишь меня, что я твой идол, твой бог, что ты умираешь, сходишь с ума по мне — я всему поверю, всему — и тогда...

— Что тогда?

— Тогда не будет в мире дурака глупее меня... Я надоем тебе жестоко.

— Нужды нет, я не боюсь.

— Ты... ты сама позволяешь мне любить тебя — блаженствовать, безумствовать, жить... Вера, Вера!

Он поцеловал у ней руку.

— Вы этого хотели, просили сами, я и сжалилась! — с улыбкой сказала она.

— С тобой случилось что-нибудь, ты счастлива и захотела брызнуть счастьем на другого: что бы ни было за этим, я все принимаю, все вынесу — но только позволь мне быть с тобой, не гони, дай остаться...

— Останьтесь, повелеваю! — подтвердила она с ласковой иронией.

Счастье, как думал он, вдруг упало на него!

«Правду бабушка говорит,— радовался он про себя,— когда меньше всего ждешь, оно и дается! «За смирение», утверждает она: и я отказался совсем от него, смирился — и вот! О благодетельная судьба!»

Он вышел от Веры опьяневший, в сенях встретил Егорку с чемоданом.

— Назад, назад неси,— сказал он, прибежал в свою комнату, лег на постель и в нервных слезах растопил внезапный порыв волнения.

— Это она — страсть, страсть! — шептал он, рыдая.

Лесничий уехал, все пришло в порядок. Райский стал глубоко счастлив; его страсть обратилась почти в такое же безмолвное и почтительное обожание, как у лесничего.

Он так же боязливо караулил взгляд Веры, стал бояться ее голоса, заслышав ее шаги, начинал оправляться, переменял две-три позы и в разговоре взвешивал слова, соображая, понравится ли ей то, другое, или нет.

Она была тоже в каком-то ненарушимо-тихом торжественном покое счастья или удовлетворения, молча чем-то наслаждалась, была добра, ласкова с бабушкой и Марфенькой и только в некоторые дни приходила в беспокойство, уходила к себе, или в сад, или с обрыва в рощу, и тогда лишь нахмуривалась, когда Райский или Марфенька тревожили ее уединение в старом доме или напрашивались ей в товарищи в прогулке. А потом опять была ровна, покойна, за обедом и по вечерам была сообщительна, входила даже в мелочи хозяйства, разбирала с Марфенькой узоры, подбирала цвета шерсти, поверяла некоторые счеты бабушки, наконец поехала с визитами к городским дамам. С Райским говорила о литературе; он заметил из ее разговоров, что она должна была много читать, стал завлекать ее дальше в разговор, они читали некоторые книги вместе, но непостоянно.

Она часто отвлекалась то в ту, то в другую сторону. В ней даже вспыхивал минутами не только экстаз, но какой-то хмель порывистого веселья. Когда она, в один вечер, в таком настроении исчезла из комнаты, Татьяна Марковна и Райский устремили друг на друга вопросительный и продолжительный взгляд.

— Что это с Верой? — спросила бабушка,— кажется, выздоровела!

— Боюсь, бабушка, не пуще ли захворала...

— Что ты, Борюшка, видишь, как она весела, совсем другая стала: живая, говорливая, ласковая...

— Да прежняя ли, такая ли она, как всегда была?.. Я боюсь, что это не веселье, а раздражение, хмель...

— Правда, она никогда такой не была— а что?

— Она в экстазе, разве не видите?

— В экстазе! — со страхом повторила Татьяна Марковна.— Зачем ты мне на ночь говоришь: я не усну. Это беда — экстаз в девушке? Да не ты ли чего-нибудь нагородил ей? От чего ей приходить в экстаз?— Что же делать?

— Поглядим, что дальше будет!

Бабушка поглядела на Райского тревожными глазами; он засмеялся.

— Тебе все смешно! — сказала она,— послушай,— строго прибавила потом,— ты там с Савельем и с Мариной, с Полиной Карповной или с Ульяной Андреевной сочиняй какие хочешь стихи или комедии, а с ней не смей! Тебе— комедия, а мне трагедия!

XV

Не только Райский, но и сама бабушка вышла из своей пассивной роли и стала исподтишка пристально следить за Верой. Она задумывалась не на шутку, бросила почти хозяйство, забывала всякие ключи на столах, не толковала с Савельем, не сводила счетов и не выезжала в поле. Пашутка не спускала с нее, по обыкновению, глаз, а на вопрос Василисы, что делает барыня, отвечала: «Шепчет».

Татьяна Марковна печально поникала головой и не знала, чем и как вызвать Веру на откровенность. Сознавши, что это почти невозможно, она ломала голову, как бы, хоть стороной, узнать и отвратить беду.

«Влюблена! в экстазе!» Это казалось ей страшнее всякой оспы, кори, лихорадки и даже горячки. И в кого бы это было? Дай бог, чтоб в Ивана Ивановича! Она умерла бы покойно, если б Вера вышла за него замуж.

Но бабушка, по-женски, проникла в секрет их взаимных отношений и со вздохом заключила, что если тут и есть что-нибудь, то с одной только стороны, то есть со стороны лесничего, а Вера платила ему просто дружбой или благодарностью, как еще вернее догадалась Татьяна Марковна, за «баловство».

— Обожает ее,— говорила она,— а это всегда нравится.

Кто же, кто? Из окрестных помещиков, кроме Тушина, никого нет — с кем бы она видалась, говорила. С городскими молодыми людьми она видится только на бале у откупщика, у вице-губернатора, раза два в зиму, и они мало посещают дом. Офицеры, советники — давно потеряли надежду понравиться ей, и она с ними почти никогда не говорит.

— Не в попа же влюбилась! Ах! ты боже мой, какое горе! — заключила она.

Так она волновалась, смотрела пристально и подозрительно на Веру, когда та приходила к обеду и к чаю, пробовала было последить за ней по саду, но та, заметив бабушку издали, прибавляла шагу и была такова!

— Вот так в глазах исчезла, как дух! — пересказывала она Райскому,— хотела было за ней, да куда со старыми ногами! Она, как птица, в рощу, и точно упала с обрыва в кусты.

Райский пошел после этого рассказа в рощу, прошел ее насквозь, выбрался до деревни и, встретив Якова, спросил, не видал ли он барышню?

— Вон оне там у часовни, сию минуту видел,— сказал Яков.

— Что она там делает?

— Молятся богу.

Райский пошел к часовне.

— Молиться начала! — в раздумье шептал он.

Между рощей и проезжей дорогой стояла в стороне, на лугу, уединенная деревянная часовня, почерневшая и полуразвалившаяся, с образом спасителя, византийской живописи, в бронзовой оправе. Икона почернела от времени, краски местами облупились; едва можно было рассмотреть черты Христа: только веки были полуоткрыты, и из-под них задумчиво глядели глаза на молящегося, да видны были сложенные в благословение персты.

Райский подошел по траве к часовне. Вера не слыхала. Она стояла к нему спиной, устремив сосредоточенный и глубокий взгляд на образ. На траве у часовни лежала соломенная шляпа и зонтик. Ни креста не слагали пальцы ее, ни молитвы не шептали губы, но вся фигура ее, сжавшаяся неподвижно, затаенное дыхание и немигающий, устремленный на образ взгляд — все было молитва.

Райский боялся дохнуть.

«О чем молится? — думал он в страхе.— Просит радости или слагает горе у креста, или внезапно застиг ее тут порыв бескорыстного излияния души перед всеутешительным духом? Но какие излияния: души, испытующей силы в борьбе, или благодарной, плачущей за луч счастья?..»

Вера вдруг будто проснулась от молитвы. Она оглянулась и вздрогнула, заметив Райского.

— Что вы здесь делаете? — спросила она строго.

— Ничего. Я встретил Якова, он сказал, что ты здесь, я и пришел... Бабушка...

— Кстати о бабушке,— перебила она,— я замечаю, что она с некоторых пор начала следить за мною; не знаете ли, что этому за причина?

Она зорко глядела на него. Он покраснел. Они шли в это время к роще, через луг.

— Я думаю, она всегда...— начал он.

— Нет не всегда... Ей и в голову не пришло бы следить. Послушайте, «раб мой»,— полунасмешливо продолжала она,— без всяких уверток скажите, вы сообщили ей ваши догадки обо мне, то есть о любви, о синем письме?

— Нет, о синем письме, кажется, ничего не говорил...

— Стало быть, только о любви. Что же сказали вы ей?

Он молчал и даже начал поглядывать к лесу.

— Мне нужно это знать — и потому говорите! — настаивала она.— Вы ведь обещали исполнять даже капризы, а это не каприз. Вы сказали ей? Да? Конечно, вы не скажете «нет» ...

— Зачем столько слов? Прикажи — и я выдам тебе все тайны. Был разговор о тебе. Бабушка стала догадываться, отчего ты была задумчива, а потом стала вдруг весела...

— Ну?

— Ну, я и сказал только... «не влюблена ли, мол, она?..» Это уж давно.

— Что же бабушка?

— Испугалась!

— Чего?

— Экстаза больше всего.

— А вы и об экстазе сказали?

— Она сама заметила, что ты стала очень весела, и даже обрадовалась было этому...

— А вы испугали ее!

— Нет — я только назвал по имени твое состояние, она испугалась слова «экстаз».

— Послушайте,— сказала она серьезно,— покой бабушки мне дорог, дороже, нежели, может быть, она думает...

— Нет,— живо перебил Райский,— бабушка верит в твою безграничную к ней любовь, только сама не знает почему. Она мне это говорила.

— Слава богу! благодарю вас, что вы мне это передали! Теперь послушайте, что я вам скажу, и исполните слепо. Подите к ней и разрушьте в ней всякие догадки о любви, об экстазе, всё, всё. Вам это не трудно сделать — и вы сделаете, если любите меня.

— Чего бы я не сделал, чтобы доказать это! Я ужо вечером...

— Нет, сию минуту. Когда я ворочусь к обеду, чтоб глаза ее смотрели на меня, как прежде... Слышите?

— Хорошо, я пойду...— говорил Райский, не двигаясь с места.

— Бегите, сию минуту!

— А ты... домой?

Она указала ему почти повелительно рукой к дому, чтоб он шел.

— Еще одно слово,— остановила она,— никогда с бабушкой не говорите обо мне, слышите?

— Слушаю, сестрица,— сказал он и засмеялся.

— Честное слово?

Он замялся.

— А если она станет...— возразил было он.

— Вы только молчите — честное слово?

— Хорошо.

— Merci [1], и бегите теперь к ней.

— Хорошо, бегу...— сказал он и еле-еле шел, оглядываясь.

---

[1] Спасибо (*франц.*).

Она махала ему, чтобы шел скорее, и ждала на месте, следя, идет ли он. А когда он повернул за угол аллеи и потом проворно вернулся назад, чтобы еще сказать ей что-то, ее уже не было.

— Да, правду бабушка говорит: как «дух» пропала! — шепнул он.

В эту минуту вдали, внизу обрыва, раздался выстрел.

«Это кто забавляется?» — спрашивал себя Райский, идучи к дому.

Вера явилась своевременно к обеду, и как ни вонзались в нее пытливые взгляды Райского,— никакой перемены в ней не было. Ни экстаза, ни задумчивости. Она была такою, какою была всегда.

Бабушка раза два покосилась на нее, но, не заметив ничего особенного, по-видимому, успокоилась. Райский исполнил поручение Веры и рассеял ее живые опасения, но искоренить подозрения не мог. И все трое, поговорив о неважных предметах, погрузились в задумчивость.

Вера даже взяла какую-то работу, на которую и устремила внимание, но бабушка замечала, что она продевает только взад и вперед шелковинку, а от Райского не укрылось, что она в иные минуты вздрагивает или боязливо поводит глазами вокруг себя, поглядывая в свою очередь подозрительно на каждого.

Но через день, через два прошло и это, и когда Вера являлась к бабушке, она была равнодушна, даже умеренно весела, только чаще прежнего запиралась у себя и долее обыкновенного горел у ней огонь в комнате по ночам.

«Что она делает? — вертелось у бабушки в голове,— читать не читает — у ней там нет книг (бабушка это уже знала), разве пишет: бумага и чернильница есть».

Всего обиднее и грустнее для Татьяны Марковны была таинственность; «тайком от нее девушка переписывается, может быть переглядывается с каким-нибудь вертопрахом из окна — и кто же? внучка, дочь ее, ее милое дитя, вверенное ей матерью: ужас, ужас! Даже руки и ноги холодеют...» — шептала она, не подозревая, что это от нерв, в которые она не верила.

Она ждала, не откроет ли чего-нибудь случай, не проговорится ли Марина? Не проболтается ли Райский? Нет. Как ни ходила она по ночам, как ни подозрительно оглядывала и спрашивала Марину, как ни подсылала Марфеньку спросить, что делает Вера: ничего из этого не выходило.

Вдруг у бабушки мелькнула счастливая мысль — доведаться о том, что так ее беспокоило, попытать вывести на свежую воду внучку — стороной, или «аллегорией», как она выразилась Райскому, то есть примером.

Она вспомнила, что у ней где-то есть нравоучительный

роман, который еще она сама в молодости читывала и даже плакала над ним.

Тема его состояла в изображении гибельных последствий страсти от неповиновения родителям. Молодой человек и девушка любили друга друга, но, разлученные родителями, виделись с балкона издали, перешептывались, переписывались.

Сношения эти были замечены посторонними, девушка потеряла репутацию и должна была идти в монастырь, а молодой человек послан отцом в изгнание, куда-то в Америку.

Татьяна Марковна разделяла со многими другими веру в печатное слово вообще, когда это слово было назидательно, а на этот раз, в столь близком ее сердцу деле, она поддалась и некоторой суеверной надежде на книгу, как на какую-нибудь ладонку или нашептыванье.

Она вытащила из сундука, из-под хлама книгу и положила у себя на столе, подле рабочего ящика. За обедом она изъявила обеим сестрам желание, чтоб они читали ей вслух попеременно, по вечерам,особенно в дурную погоду, так как глаза у ней плохи и сама она читать не может.

Это случалось иногда, что Марфенька прочтет ей что-нибудь, но бабушка к литературе была довольно холодна и только охотно слушала, когда Тит Никоныч приносил что-нибудь любопытное по части хозяйства, каких-нибудь событий вроде убийств, больших пожаров или гигиенических наставлений.

Вера ничего не сказала в ответ на предложение Татьяны Марковны, а Марфенька спросила:

— А конец счастливый, бабушка?

— Дойдешь до конца, так узнаешь,— отвечала та.

— Что это за книга? — спросил Райский вечером. Потом взял, посмотрел и засмеялся.

— Вы лучше «Сонник» купите да читайте! Какую старину выкопали! Это вы, бабушка, должно быть, читали, когда были влюблены в Тита Никоныча...

Бабушка покраснела и рассердилась.

— Оставь глупые шутки, Борис Павлович!— сказала она,— я тебя не приглашаю читать, а им не мешай!

— Да это допотопное сочинение...

— Ну, ты после потопа родился и сочиняй свои драмы и романы, а нам не мешай! Начни ты, Марфенька, а ты, Вера, послушай! Потом, когда Марфенька устанет, ты почитай. Книга хорошая, занимательная!

Вера равнодушно покорилась, а Марфенька старалась заглянуть на последнюю страницу, не говорится ли там о свадьбе. Но бабушка не дала ей.

— Читай с начала — дойдешь: какая нетерпеливая! — сказала она.

Райский ушел, и бабушкина комната обратилась в кабинет чтения. Вере было невыносимо скучно, но она никогда не

протестовала, когда бабушка выражала ей положительно свою волю.

Началось длинное описание, сначала родителей молодого человека, потом родителей девицы, потом история раздора двух фамилий, вроде Монтекки и Капулетти[1], потом наружности и свойств молодых людей, давно росших и воспитанных вместе, а потом разлученных.

Вечера через три-четыре терпеливого чтения дошли наконец до взаимных чувств молодых людей, до объяснений их, до первого свидания наедине. Вся эта история была безукоризненно нравственна, чиста и до нестерпимости скучна.

Вера задумывалась. А бабушка, при каждом слове о любви, исподтишка глядела на нее — что она: волнуется, краснеет, бледнеет? Нет: вон зевнула. А потом прилежно отмахивается от назойливой мухи и следит, куда та полетела. Опять зевнула до слез.

На третий день Вера совсем не пришла к чаю, а потребовала его к себе. Когда же бабушка прислала за ней «послушать книжку», Веры не было дома: она ушла гулять.

Вера думала, что отделалась от книжки, но неумолимая бабушка без нее не велела читать дальше и сказала, что на другой день вечером чтение должно быть возобновлено. Вера с тоской взглянула на Райского. Он понял ее взгляд и предложил лучше погулять.

— А после прогулки почитаем,— сказала Татьяна Марковна, подозрительно поглядев на Веру, потому что заметила ее тоскливый взгляд.

Нечего делать, Вера покорилась вполне. Ни усталости, ни скуки она уже не обнаруживала, а мужественно и сосредоточенно слушала вялый рассказ. Райский послушал, послушал и ушел.

— Точно мочалку во сне жует,— сказал он, уходя, про автора и рассмешил надолго Марфеньку.

Вера не зевала, не следила за полетом мух, сидела, не разжимая губ, и сама читала внятно, когда приходила ее очередь читать. Бабушка радовалась ее вниманию.

«Слава богу, вслушивается, замечает, мотает на ус: авось...» — думала она.

Длинный рассказ все тянулся о том, как разгорались чувства молодых людей и как родители усугубляли над ними надзор, придумывали нравственные истязания, чтоб разлучить их. У Марфеньки навертывались слезы, а Вера улыбалась изредка, а иногда и задумывалась или хмурилась.

«Забирает за живое,— думала Татьяна Марковна.— Слава тебе, господи!»

---

[1] Враждующие семейства в трагедии В. Шекспира «Ромео и Джульетта».

Наконец — всему бывает конец. В книге оставалось несколько глав; настал последний вечер. И Райский не ушел к себе, когда убрали чай и уселись около стола оканчивать чтение.

Тут был и Викентьев. Ему не сиделось на месте, он вскакивал, подбегал к Марфеньке, просил дать и ему почитать вслух, а когда ему давали, то он вставлял в роман от себя целые тирады или читал разными голосами. Когда говорила угнетенная героиня, он читал тоненьким, жалобным голосом, а за героя читал своим голосом, обращаясь к Марфеньке, отчего та поминутно краснела и делала ему сердитое лицо.

В лице грозного родителя Викентьев представлял Нила Андреича. У него отняли книгу и велели сидеть смирно. Тогда он, за спиной бабушки, сопровождал чтение одной Марфеньке видимой мимикой.

Марфенька предательски указала на него тихонько бабушке. Татьяна Марковна выпроводила его в сад погулять до ужина — и чтение продолжалось. Марфенька огорчалась тем, что книги осталось немного, а все еще рассказывается «жалкое» и свадьбы не предвидится.

— Что тебе за дело,— спросил Райский,— как бы ни кончилось, счастливо или несчастливо...

— Ах, как это можно, я плакать буду, не усну! — сказала она.

Драма гонений была в полном разгаре, родительские увещания, в длиннейших и нестерпимо скучных сентенциях, гремели над головой любящихся.

— Замечай за Верой,— шепнула бабушка Райскому,— как она слушает! История попадает — не в бровь, а прямо в глаз. Смотри, морщится, поджимает губы!..

Дошли до катастрофы: любящихся застали в саду. Герой свил из полотенец и носовых платков лестницу, героиня сошла по ней к нему. Они плакали в объятиях друг друга, как вдруг их осветили факелы гонителей, крики ужаса, негодования, проклятия отца! Героиня в обмороке, герой на коленях перед безжалостным отцом. Потом заточение. Любящимся не дали проститься, взглянуть друг на друга. Через месяц печальный колокол возвещал обряд пострижения в монастыре, а героя мчал корабль из Гамбурга в Америку. Родители остались одни, и потом, скукой и одиночеством, всю жизнь платили за свое жестокосердие. Последнее слово было прочтено, книга закрыта, и между слушателями водворилось глубокое молчание.

— Экая дичь! — сказал Райский немного погодя.

Марфенька утирала слезы.

— А ты что скажешь, Верочка? — спросила бабушка.

Та молчала.

— Гадкая книга, бабушка,— сказала Марфенька,— что они вытерпели, бедные!..

— А что ж делать? Вот, чтоб этого не терпеть,— говорила бабушка, стороной глядя на Веру,— и надо бы было этой Кунигунде спроситься у тех, кто уже пожил и знает, что значат страсти.

Райский насмешливо кивнул ей с одобрением головой.

— А то вот и довели себя до добра,— продолжала бабушка,— если б она спросила отца или матери, так до этого бы не дошло. Ты что скажешь, Верочка?

Вера пошла вон, но на пороге остановилась.

— Бабушка! за что вы мучили меня целую неделю, заставивши слушать такую глупую книгу? — спросила она, держась за дверь, и, не дождавшись ответа, перешагнула, как кошка, вон.

Бабушка воротила ее.

— Как — за что? — сказала она.— Я хотела тебе удовольствие сделать...

— Нет, вы хотели за что-то наказать меня. Если я провинюсь в чем-нибудь, вы вперед лучше посадите меня на неделю на хлеб и на воду.

Она оперлась коленом на скамеечку, у ног бабушки.

— Прощайте, бабушка, покойной ночи! — сказала она.

Татьяна Марковна нагнулась поцеловать ее и шепнула на ухо:

— Не наказать, а остеречь хотела я тебя, чтоб ты... не провинилась когда-нибудь...

— А если б я провинилась...— шептала в ответ Вера,— вы заперли бы меня в монастырь, как Кунигунду?

— Разве я зверь,— обидчиво отвечала Татьяна Марковна,— такая же, как эти злые родители, изверги?.. Грех, Вера, думать это о бабушке...

— Знаю, бабушка, что грех, и не думаю... Так зачем же глупой книгой остерегать?

— Чем же я остерегу, уберегу, укрою тебя, дитя мое?.. Скажи, успокой!..

Вера хотела что-то ответить, но остановилась и поглядела с минуту в сторону.

— Перекрестите меня! — сказала потом, и когда бабушка перекрестила ее, она поцеловала у ней руку и ушла.

Райский взял книгу со стола.

— Мудрая книга! Что ж, как подействовала прекрасная Кунигунда? — спросил он с улыбкой.

Бабушка болезненно вздохнула в ответ. Ей было не до шуток. Она взяла у него книгу и велела Пашутке отдать в людскую.

— Ну, бабушка,— заметил Райский,— Веру вы уже наставили на путь. Теперь если Егорка с Мариной прочитают эту «аллегорию» — тогда от добродетели некуда будет деваться в доме!

XVI

Викентьев вызвал Марфеньку в сад, Райский ушел к себе, а бабушка долго молчала, сидела на своем канапе, погруженная в задумчивость. Уже книга не занимала ее; она отрезвилась от печатной морали и сама внутренно стыдила себя за пошлое средство. Взгляд ее смотрел уже умнее и сознательнее. Она что-то обдумывала, может быть перебирала старые, уснувшие воспоминания. На лице ее появлялось, для тех, кто умеет читать лица, и проницательная догадка, и умиление, и страх, и жалость. Между тем Марина, Яков и Василиса по очереди приходили напоминать ей, что ужин подан.

— Не хочу! — отвечала она задумчиво.

Марина пошла звать к ужину барышень.

— Не хочу! — сказала и Вера.

— Не хочу! — сказала, к изумлению ее, и Марфенька, никогда без ужина не ложившаяся.

— Я в постель подам,— предложила она.

— Не хочу! — был ответ.

— Что за чудо! Этого никогда не бывало! Надо барыне доложить,— сказала Марина.

Но, к изумлению ее, Татьяна Марковна не удивилась и в ответ сказала только: «Убирайте!»

Марина ушла, а Василиса молча стала делать барыне постель.

Пока Марина ходила спрашивать, что делать с ужином, Егорка, узнав, что никто ужинать не будет, открыл крышку соусника, понюхал и пальцами вытащил какую-то «штучку» — «попробовать», как объяснил он заставшему его Якову, которого также пригласил отведать.

Яков покачал головой, однако перекрестился, по обыкновению, и тоже пальцами вытащил «штучку» и стал медленно жевать, пробуя.

— Тут, должно быть, есть лавровой лист,— заметил он.

— А вот отведайте этого, Яков Петрович,— говорил Егорка, запуская пальцы в заливных стерлядей.

— Смотри, как бы барыня не спросила! — говорил Яков, вытаскивая другую стерлядь,— и когда Марина вошла, они уже доедали цыпленка.

— Слопали! — с изумлением произнесла она, ударив себя по бедрам и глядя, как проворно уходили Яков и Егорка, оглядываясь на нее, как волки.— Что я утром к завтраку подам?!

И постель сделана, все затихло в доме, Татьяна Марковна наконец очнулась от задумчивости, взглянула на образ, и не стала, как всегда, на колени перед ним, и не молилась, а только перекрестилась. Тревога превозмогала молитву. Она села на постель и опять задумалась.

«Как остеречь тебя? «Перекрестите!» говорит,— вспоминала она со страхом свой шепот с Верой.— Как узнать, что у ней в душе? Утро вечера мудренее, а теперь лягу...» — подумала потом.

Но ей не суждено было уснуть в ту ночь. Только что она хотела лечь, как кто-то поцарапался к ней в дверь.

— Кто там? — спросила она с испугом.

— Я, бабушка,— отворите! — говорил голос Марфеньки. Татьяна Марковна отворила.

— Что ты, дитя мое? Проститься пришла — бог благословит тебя! Отчего ты не ужинала? Где Николай Андреич? — сказала она. Но, взглянув на Марфеньку, испугалась.

— Что ты, Марфенька? Что случилось? На тебе лица нет: вся дрожишь? Здорова ли? Испугалась чего-нибудь? — посыпались вопросы.

— Нет, нет, бабушка, ничего, ничего... я пришла... Мне нужно сказать вам...— говорила она, прижимаясь к бабушке в страхе.

— Сядь, сядь... на кресло.

— Нет, бабушка,— я сяду к вам, а вы лягте. Я все расскажу — и свечку потушите...

— Да что случилось — ты меня пугаешь...

— Ничего, бабушка,— ляжем поскорей, я все вам на ушко расскажу.

Бабушка поспешила исполнить ее требование, и Марфенька рассказала ей, что случилось с ней, после чтения, в саду. А случилось вот что.

Когда Викентьев, после чтения, вызвал Марфеньку в сад, между ними нечаянно произошла следующая сцена. Он звал ее в рощу слушать соловья.

— Пока вы там читали — я все слушал: ах, как поет, как поет,— пойдемте! — говорил он.

— Теперь темно, Николай Андреевич,— сказала она.

— Разве вы боитесь?

— Одна боюсь, а с вами нет.

— Так пойдемте! А как хорошо поет — слышите, слышите? отсюда слышно! Тут филин было в дупле начал кричать — и тот замолчал. Пойдемте.

Она стояла на крыльце и сошла в аллею нерешительно. Он подал ей руку. Она шла медленно, будто нехотя.

— Какая темнота; дальше не пойду, не трогайте меня за руку! — почти сердито говорила она, а сама все подвигалась невольно, как будто ее вели насильно, хотя Викентьев выпустил ее руку.

— Поближе, сюда! — шептал он.

Она делала два шага, точно ощупью, и останавливалась.

— Еще, еще, не бойтесь!

Она подвигалась еще шаг; сердце у ней билось и от темноты, и от страха.

— Темно, я боюсь...— говорила она.

— Да полноте, чего бояться — здесь никого нет. Вот сюда, еще; смотрите, здесь канава, обопритесь на меня — вот так!

— Что вы, оставьте, я сама!..— говорила она в испуге, но не успела договорить, как он, обняв ее за талию, перенес через канаву.

Они вошли в рощу.

— Я дальше не пойду ни шагу...

А сама понемногу подвигалась, пугаясь треска сучьев под ногой.

— Вот станемте здесь — тише...— шептал он,— слышите?

Соловей лил свои трели. Марфеньку обняло обаяние теплой ночи. Мгла, легкий шелест листьев и щелканье соловья наводили на нее дрожь. Она оцепенела в молчании и по временам от страха ловила руку Викентьева. А когда он сам брал ее за руку, она ее отдергивала.

— Как хорошо, Марфа Васильевна, какая ночь! — говорил он.

Она махнула ему рукой, чтоб он не мешал слушать. В ней только что начинала разыгрываться сладость нервного раздражения.

— Марфа Васильевна,— шептал он чуть слышно,— со мной делается что-то такое хорошее, такое приятное, чего я никогда не испытывал... точно все шевелится во мне...

Она молчала.

— Я теперь вскочил бы на лошадь и поскакал бы во всю мочь, чтоб дух захватывало... Или бросился бы в Волгу и переплыл на ту сторону... А с вами, ничего?

Она вздрогнула.

— Что вы, испугались?

— Уйдемте отсюда! Послушали и довольно, а то бабушка рассердится...

— Ах, нет — еще минуту, ради бога...— умолял он.

Она остановилась как вкопанная. Соловей все заливался.

— О чем он поет? — спросил он.

— Не знаю!

— А ведь что-нибудь да высказывает: не на ветер же он свищет! Кто-нибудь его слушает...

— Мы — слушаем...— шепнула Марфенька — и слушала.

— Боже мой, какая прелесть!.. Марфа Васильевна...— шепнул Викентьев и задумался.

— Где вы, Николай Андреич? — спросила она.— Что вы молчите? Точно вас нет: тут ли вы?

— Я думаю, соловей поет то самое, что мне хотелось бы сказать теперь, да не умею...

— Ну, говорите по-соловьиному...— сказала она, смеясь.— Почем вы знаете, что он поет?

— Знаю.

— Ну, говорите.

— Он поет о любви.

— О какой любви? Кого ему любить?

— Он поет о моей любви... к вам.

Он и сам было испугался своих слов, но вдруг прижал ее руку к губам и осыпал ее поцелуями.

В одну минуту она вырвала руку, бросилась опрометью назад, сама перескочила канаву и, едва дыша, пробежала аллею сада, вбежала на ступени крыльца и остановилась на минуту перевести дух.

Он бросился за ней.

— Ни шагу дальше — не смейте! — сказала она, едва переводя дух и держась за ручку двери.— Идите домой!

— Марфа Васильевна! ангел, друг...

— Как вы смеете меня так называть: что — я сестра вам или кузина!

— Ангел!.. Прелесть... вы все для меня! Ей-богу...

— Я закричу, Николай Андреич. Подите домой! — повелительно прибавила она, не переставая дрожать.

— Послушайте, скажите, отчего вы стали не такие... с некоторых пор дичитесь меня, не ходите одни со мной?..

— Мы не дети, пора перестать шалить,— говорила она,— и то бабушка...

— Что бабушка?

— Ничего. Вы слышали, что сейчас читали в книге о Ричарде и Кунигунде: что им за это было? Как же вы позволили себе...

— Этого ничего не было, Марфа Васильевна! Эту книгу сочинил, должно быть, Нил Андреич...

— Идите домой! Бог знает, что люди говорят о нас...

— Вы разлюбили меня, Марфа Васильевна? — уныло сказал он и даже не поерошил против обыкновения волос.

— А разве я вас любила? — с бессознательным кокетством спросила она.— Кто вам сказал, какие глупости! С чего вы взяли, я вот бабушке скажу!

— Я и сам скажу!

— Что вы скажете? Ничего вы не можете сказать про меня! — задорно, и отчасти с беспокойством, говорила она.— Что вы это сегодня выдумали! Нашло на вас?..

— Да, нашло. Выслушайте меня, ангел Марфа Васильевна... На коленях прошу...

Он встал на колени.

— Уйду, если станете говорить. Дайте мне только оправиться, а то я перепугаю всех; я вся дрожу..., Сейчас же к бабушке!

Он встал, решительно подошел к ней, взял ее за руку и почти насильно увел в аллею.

— Я не хочу, не пойду... вы дерзкий! забываетесь...— говорила она, стараясь нейти за ним и вырывая у него руку, и против воли шла.— Что вы делаете, как смеете! Пустите, я закричу!.. Не хочу слушать вашего соловья!

— Не соловья, а меня слушайте! — сказал он нежно, но решительно.— Я не мальчик теперь — я тоже взрослый, выслушайте меня, Марфа Васильевна!

Она вдруг перестала вырываться, оставила ему свою руку, которую он продолжал держать, и с бьющимся сердцем и напряженным любопытством послушно окаменела на месте.

— Вы или бабушка правду сказали: мы больше не дети, и я виноват только тем, что не хотел замечать этого, хоть сердце мое давно заметило, что вы не дитя...

Она было рванула опять свою руку, но он с тихой силой удержал ее.

— Вы взрослая и потому не бойтесь выслушать меня: я говорю не ребенку. Вы были так резвы, молоды, так милы, что я забывал с вами мои лета и думал, что еще мне рано — да мне, по летам, может быть, рано говорить, что я...

— Я уйду: вы что-то опять страшное хотите сказать, как в роще... Пустите! — говорила шепотом Марфенька и дрожала, и рука ее дрожала.— Уйду, не стану слушать, я скажу бабушке все...

— Непременно, Марфа Васильевна, и сегодня же вечером. Поэтому не бойтесь выслушать меня. Я так сроднился, сблизился с вами, что если нас вдруг разлучить теперь... Вы хотите этого, скажите?

Она молчала.

— Марфа Васильевна, хотите расстаться?

Она молчала, только сделала какое-то движение в темноте.

— Если хотите, расстанемтесь, вот теперь же...— уныло говорил он.— Я знаю, что будет со мной: я попрошусь куда-нибудь в другое место, уеду в Петербург, на край света, если мне скажут это — не Татьяна Марковна, не маменька моя — они, пожалуй, наскажут, но я их не послушаю,— а если скажете вы. Я сейчас же с этого места уйду и никогда не ворочусь сюда! Я знаю, что уж любить больше в жизни никогда не буду... ей-богу, не буду... Марфа Васильевна!

Она молчала.

— Вы скажите только слово, можно мне любить вас? Если нет — я уеду — вот прямо из сада и никогда...

Вдруг Марфенька заплакала навзрыд и крепко схватила его за руку, когда он сделал шаг от нее.

— Видите, видите! разве вы не ангел! Не правду я говорил, что вы любите меня? Да, любите, любите, любите! — кричал он, ликуя,— только не так, как я вас... нет!

— Как вы смеете... говорить мне это? — сказала она, обливаясь слезами,— это ничего, что я плачу. Я и о котенке плачу, и о птичке плачу. Теперь плачу от соловья: он растревожил меня да темнота. При свечке или днем — я умерла бы, а не заплакала бы... Я вас любила, может быть, да не знала этого...

— И я почти не знал, что люблю вас... Все соловей наделал: он открыл наш секрет. Мы так и скажем на него, Марфа Васильевна... И я бы днем ни за какие сокровища не сказал вам... ей-богу,— не сказал бы...

— А теперь я вас ненавижу, презираю,— сказала она.— Вы противный, вы заставили меня плакать, а сами рады, что я плачу; вам весело...

— Весело? и вам весело, ей-богу весело — вы так только... Дай бог здоровья соловью!

— Вы гадкий, нечестный!

— Нет, нет,— перебил он и торопливо поерошил голову,— не говорите этого. Лучше назовите меня дураком, но я честный, честный, честный! Я никому не позволю усомниться... Никто не смеет!

— А я смею! — задорно сказала Марфенька.— Вы нечестный: вы заставили бедную девушку высказать поневоле, чего она никому, даже богу, отцу Василью, не высказала бы... А теперь, боже мой, какой срам!

И этот «божий младенец», по выражению Татьяны Марковны, опять залился искренними слезами раскаяния.

— Нечестно, нечестно! — твердила она в тоске,— я вас уже теперь не люблю. Что скажут, что подумают обо мне? я пропала...

— Друг мой, ангел!..

— Опять вы за свое?

— Вспомните, что вы не дитя! — уговаривал ее Викентьев.

— Как вы странно говорите! — вдруг остановила она его, перестав плакать,— вы никогда не были таким, я вас никогда таким не видала! Разве вы такой, как давеча были, когда с головой ушли в рожь, перепела передразнивали, а вчера за моим котенком на крышу лазили? Давно ли на мельнице нарочно выпачкались в муке, чтоб рассмешить меня?.. Отчего вы вдруг не такой стали?

— Какой же я стал, Марфа Васильевна?

— Дерзкий — смеете говорить мне такие глупости в глаза...

— А вы сами разве такая, какие были недавно, еще сегодня вечером? Разве вам приходило в голову стыдиться или бояться меня? приходили вам на язык такие слова, как теперь? И вы тоже изменились!

— Отчего же это вдруг случилось?

— Соловей все объяснил нам: мы оба выросли и созрели сию минуту, вот там, в роще... Мы уж не дети...

— Оттого и нечестно было говорить мне, что вы сказали. Вы поступили как ветреник,— нечестно дразнить девушку, вырвать у ней секрет...

— Не век же ему оставаться секретом: когда-нибудь и кому-нибудь сказали бы его...

Она подумала.

— Да, сказала бы, бабушке на ушко, и потом спрятала бы голову под подушку на целый день. А здесь... один — боже мой! — досказала она, кидая взгляд ужаса на небо.— Я боюсь теперь показаться в комнату; какое у меня лицо — бабушка сейчас заметит.

— Ангел! прелесть! — говорил он, нагибаясь к ее руке,— да будет благословенна темнота, роща и соловей!

— Прочь, прочь! — повторила она, убегая снова на крыльцо,— вы опять за дерзости! А я думала, что честнее и скромнее вас нет в свете, и бабушка думала то же. А вы...

— Как же было честно поступить мне? Кому мне сказать свой секрет?

— На другое ушко бабушке, и у ней спросить, люблю ли я вас?

— Вы ей нынче все скажите.

— Это все не то будет. Я уж виновата перед ней, что слушала вас, расплакалась. Она огорчится, не простит мне никогда,— а все вы...

— Простит, Марфа Васильевна! обоих простит. Она любит меня...

— Вам кажется, что все вас любят: какое сокровище!

— Она даже говорит, что любит меня, как сына...

— Это она так, оттого что вы кушаете много, а она всех таких любит, даже и Опенкина!

— Нет, я знаю, что она меня любит — и если только простит мне мою молодость, так позволит нам жениться!..

— Какой ужас! До чего вы договорились!

Она хотела уйти.

— Марфа Васильевна! сойдите сюда, не бойтесь меня, я буду, как статуя...

Она медлила, потом вдруг сама сошла к нему со ступеней крыльца, взяла его за руку и поглядела ему в лицо с строгой важностью.

— Ваша маменька знает о том, что вы мне говорите теперь здесь? — спросила она,— а? знает? — говорите, да или нет?

— Нет еще...— тихо сказал он.

— Нет! — со страхом повторила она.

Несколько минут они молчали.

— Как же вы смели говорить мне это? — спросила она потом.— Даже до свадьбы договорились, а maman ваша не знает! Честно ли это, сами скажите!

— Узнает завтра.

— А если не благословит?

— Я не послушаюсь!

— А я послушаюсь — и без ее согласия не сделаю ни шагу, как без согласия бабушки. И если не будет этого согласия, ваша нога не будет в доме здесь, помните это, m-r Викентьев,— вот что!

Она быстро отвернулась от него плечом и пошла прочь.

— Я уверен в ней, как в себе... в ее согласии.

— И надо было после ее согласия заставить меня плакать!..

— Ужели вы так уйдете, не простите меня за это увлечение?..

— Мы не дети, чтоб увлекаться и прощать. Грех сделан...

— Все грешны: простите — сегодня в ночь я буду в Колчине, а к обеду завтра здесь — и с согласием. Простите... дайте руку!

— Тогда... может быть...— сказала она, подумавши, потом поглядела на него и подала было руку.

И только он потянулся к ней, она в ужасе отдернула.

— Боже мой! Что еще скажет бабушка! Ступайте прочь, прочь — и помните, что если maman ваша будет вас бранить, а меня бабушка не простит, вы и глаз не кажите — я умру со стыда, а вы на всю жизнь останетесь нечестны!

Она ушла, и он проворно бросился вон из сада.

«Господи! Господи! что скажет бабушка! — думала Марфенька, запершись в своей комнате и трясясь, как в лихорадке.— Что мы наделали! — мучилась она мысленно.— И как я перескажу... что мне будет за это... Не сказать ли прежде Верочке... Нет, нет — бабушке! Кто там теперь у ней?..»

Она волновалась, крестилась, глядя на образ, пока Яков пришел звать ее к ужину.

— Не хочу! — сказала она из-за двери.

Марина пришла:

— Не хочу! — с тоской повторила она.— Что бабушка делает?

— Барыня не ужинали, спать ложатся,— сказала Марина.

Марфенька едва дождалась, пока затихло все в доме, и, как мышь, прокралась к бабушке.

Долго шептали они, много раз бабушка крестила и целовала Марфеньку, пока, наконец, та заснула на ее плече. Бабушка тихо сложила ее голову на подушку, потом уже встала и молилась в слезах, призывая благословение на новое счастье и новую жизнь своей внучки. Но еще жарче молилась она о Вере. С мыслью о ней она подолгу склоняла седую голову к подножию креста и шептала горячую молитву.

Ложась осторожно подле спящей Марфеньки, бабушка перекрестила ее опять, а сама подумала:

«Добро бы Вера, а то Марфенька, как Кунигунда... тоже в саду!.. Точно на смех вышло: это «судьба» забавляется!..»

XVII

Викентьев сдержал слово. На другой день он привез к Татьяне Марковне свою мать и, впустив ее в двери, сам дал «стречка», как он говорил, не зная, что будет, и сидел, как на иголках, в канцелярии.

Мать его, еще почти молодая женщина, лет сорока с небольшим, была такая же живая и веселая, как он, но с большим запасом практического смысла. Между ею и сыном была вечная комическая война на словах.

Они спорили на каждом шагу, за всякие пустяки,— и только за пустяки. А когда доходило до серьезного дела, она другим голосом и другими глазами, нежели как обыкновенно, предъявляла свой авторитет,— и он хотя сначала протестовал, но потом сдавался, если требование ее было благоразумно.

Между ними происходил видимый разлад и существовала невидимая гармония. Таков был наружный образ их отношений.

— Надень это,— скажет Марья Егоровна.

— Как это можно — лучше это,— переговорит он.

— Съезди к Михайлу Андреичу.

— Помилуйте, maman, у него непроходимая скука,— отвечал он.

— Вздор, ты поедешь.

— Нет, maman, ни за что, хоть убейте!

— Николка, будешь ты слушаться?

— Всегда, maman, только не теперь.

Но, однако, если ей в самом деле захочется, он поедет с упреками, жалобами и протестами до тех пор, пока потеряется из вида.

Этот вечный спор шел с утра до вечера между ними, с промежутками громкого смеха. А когда они были уж очень дружны, то молчали как убитые, пока тот или другой не прервет молчания каким-нибудь замечанием, вызывающим непременно противоречие с другой стороны. И пошло опять.

Любовь его к матери наружно выражалась также бурно и неистово, до экстаза. В припадке нежности он вдруг бросится к ней, обеими руками обовьет шею и облепит горячими поцелуями: тут уже между ними произойдет буквально драка.

Она ловит его за уши, дерет, щиплет за щеки, отталкивает, наконец кликнет толсторукую и толстобедрую ключницу Мавру и велит оттащить прочь «волчонка».

После разговора с Марфенькой Викентьев в ту же ночь укатил за Волгу и, ворвавшись к матери, бросился обнимать и целовать ее по-своему, потом, когда она, собрав все силы, оттолкнула его прочь, он стал перед ней на колени и торжественно произнес:

— Мать! бей, но выслушай: решительная минута жизни настала — я...

— С ума сошел! — досказала она.— Откуда взялся, точно с цепи сорвался! Как смел без спросу приехать? Испугал меня, взбудоражил весь дом: что с тобой? — спрашивала она, оглядывая его с изумлением с ног до головы и оправляя растрепанные им волосы.

— Не угадываешь, мать? — спрашивал он, не без внутреннего страха от каких-нибудь, еще неведомых ему препятствий и опровержений.

— Напроказничал что-нибудь, верно опять под арест хотят посадить? — говорила она, зорко глядя ему в глаза.

Он покачал отрицательно головой.

— За сто верст — не отгадала.

— Ну, говори!

— Скажу, только противоречить не моги!

Она с недоумением, и тоже не без страха, глядела на него, стараясь угадать.

— Задолжал?

Он качал головой.

— Опять не в гусары ли затеял пойти?

— Нет, нет!

— Почем я знаю, какая блажь забралась в тебя? От тебя все станется! Говори — что?

— Не станешь спорить?

— Стану, потому что, верно, вздор затеял. Сейчас говори.

— Жениться хочу! — чуть слышно сказал он.

— Что? — спросила она, не вслушавшись.

— Жениться хочу!

Она взглянула на него быстро.

— Мавра, Антон, Иван, Кузьма! — закричала она,— все идите скорей сюда — скорей!

Мавра одна пришла.

— Зови всех людей: Николай Андреич помешался!

— Христос с ним — что вы, матушка, испужали до смерти!— говорила Мавра, тыча рукой в воздух.

Викентьев махнул Мавре, чтоб шла вон.

— Я не шучу, мать! — сказал он, удерживая ее за руку, когда она встала.

— Поди прочь, не трогай! — сердито перебила она и начала в волнении ходить взад и вперед по комнате.

— Я не шучу! — подтвердил он резко,— завтра я должен ответ дать. Что ты скажешь?

— Велю запереть тебя... знаешь куда! — шепнула она, видимо озабоченная.

Он вскочил, и между ними начался один из самых бурных разговоров. Долго ночью слышали люди горячий спор, до крика, почти до визга, по временам смех, скаканье его, потом поцелуи, гневный крик барыни, веселый ответ его — и потом гробовое молчание, признак совершенной гармонии.

Викентьев одержал, по-видимому, победу — впрочем, уже подготовленную. Если обманывались насчет своих чувств Марфенька и Викентьев, то бабушка и Марья Егоровна давно поняли, к чему это ведет, но вида друг другу и им не показывали, а сами молча, каждая про себя, давно все обдумали, взвесили, рассчитали — и решили, что эта свадьба — дело подходящее.

Но Марья Егоровна, по свойству своих отношений к сыну, не могла, как и он, с своей стороны, тоже уступить, а он взять ее согласие иначе, как с бою, и притом самого упорного и горячего.

— Еще что Татьяна Марковна скажет! — говорила раздражительно, как будто с досадой уступая, Марья Егоровна, когда уже лошади были поданы, чтобы ехать в город.— Если она не согласится, я тебе никогда не прощу этого срама! Слышишь?

— Не беспокойся, она любит меня больше родной матери!

— Я вовсе тебя не люблю, отстань, волчонок! — крикнула она, сбоку посмотрев на него.

Он хотел было загрести ее за шею рукой и обнять, но она грозно замахнулась на него зонтиком.

— Только смей! Если изомнешь шляпку, я не поеду! — прибавила она.

Он присмирел от этой угрозы.

— Туда же, с этих пор жениться! — ворчала она.

Он, не слушая ее, перелез из коляски на козлы и, отняв у кучера вожжи, погнал что есть мочи лошадей.

XVIII

Марья Егоровна разрядилась в шелковое платье, в кружевную мантилью, надела желтые перчатки, взяла веер — и так кокетливо и хорошо оделась, что сама смотрела невестой.

Лишь только Татьяне Марковне доложили о приезде Викентьевой, старуха, принимавшая ее всегда запросто, радушно-дружески, тут вдруг, догадываясь, конечно, после признания Марфеньки, зачем она приехала, приняла другой тон и манеры.

Она велела просить ее подождать в гостиной, а сама бросилась одеваться, приказав Василисе посмотреть в щелочку и сказать ей, как одета гостья. И Татьяна Марковна надела шумящее шелковое с серебристым отливом платье, турецкую шаль, пробовала было надеть массивные брильянтовые серьги, но с досадой бросила их.

— Нейдут, уши заросли! — сказала она.

Велела одеваться Марфеньке, Верочке и приказала мимоходом Василисе достать парадное столовое белье, старинное серебро и хрусталь к завтраку и обеду. Повару, кроме множества блюд, велела еще варить шоколад, послала за конфектами, за шампанским.

Одевшись, сложив руки на руки, украшенные на этот раз старыми, дорогими перстнями, торжественной поступью вошла она в гостиную и, обрадовавшись, что увидела любимое лицо доброй гостьи, чуть не испортила своей важности, но тотчас оправилась и стала серьезна. Та тоже обрадовалась и проворно встала со стула и пошла ей навстречу.

— А мой-то сумасшедший, что затеял!..— начала она и остановилась, поглядев на Бережкову, оробела и стояла в недоумении.

Обе они церемонно раскланялись, и Татьяна Марковна посадила гостью на диван и села подле нее.

— Какова нынче погода?— спросила Татьяна Марковна, поджимая губы,— на Волге нет ветру?

— Нет, тихо.

— Вы на пароме?

— Нет, в лодке с гребцами, а коляска на пароме.

— Да, кстати! Яков, Егорка, Петрушка, кто там? Что это вас не дозовешься? — сказала Бережкова, когда все трое вошли.— Велите отложить лошадей из коляски Марьи Егоровны, дать им овса и накормить кучера.

Все бросились исполнять приказание, хотя и без того коляска была уже отложена, пока Татьяна Марковна наряжалась, подвезена под сарай, а кучер балагурил в людской за бутылкой пива.

— Нет, нет, Татьяна Марковна,— говорила гостья,— я на полчаса. Ради бога, не удерживайте меня: я за делом...

— Кто ж вас пустит? — сказала Татьяна Марковна голосом, не требующим возражения.— Если б вы были здешняя, другое дело, а то из-за Волги! Что мы, первый год знакомы с вами?.. Или обидеть меня хотите?..

— Ах, Татьяна Марковна, я вам так благодарна, так благодарна! Вы лучше родной — и Николая моего избаловали до того, что этот поросенок сегодня мне вдруг до́рогой слил пулю: «Татьяна Марковна, говорит, любит меня больше родной матери!» Хотела я ему уши надрать, да на козлы ушел от меня и так гнал лошадей, что я всю дорогу дрожала от страху.

У Татьяны Марковны вся важность опять сбежала с лица.

— А ведь он чуть-чуть не правду сказал,— начала она,— ведь он у меня как свой! Наградил бог вас сынком...

— Помилуйте, он мне житья не дает: ни шагу без спора и без ссоры не ступит...

— Милые бранятся — только тешатся!

— Вот вы его избаловали, Татьяна Марковна, он и забрал себе в голову...

Марья Егоровна замялась и начала топать ботинкой об пол, оглядывать и обдергивать на себе мантилью. Татьяна Марковна вдруг выпрямилась и опять напустила на себя важность.

— Что такое? — осведомилась она с притворным равнодушием.

— Жениться вздумал, чуть не убил меня до смерти вчера! Валяется по ковру, хватает за ноги... Я браниться, а он поцелуями зажимает рот, и смеется, и плачет...

— В чем же дело? — спросила Бережкова церемонно, едва выслушав эти подробности.

— Просит, молит поехать к вам, просить руки Марфы Васильевны...— конфузливо досказала Марья Егоровна.

Татьяна Марковна, с несвойственным ей жеманством, слегка поклонилась.

— Что я ему скажу теперь? — добавила Викентьева.

— Это такое важное дело, Марья Егоровна,— подумавши, с достоинством сказала Татьяна Марковна, потупив глаза в пол,— что вдруг решить я ничего не могу. Надо подумать и поговорить тоже с Марфенькой. Хотя девочки мои из повиновения моего не выходят, но все я принуждать их не могу...

— Марфа Васильевна согласна: она любит Николеньку...

Марья Егоровна чуть не погубила дело своего сына.

— А почем он это знает? — вдруг, вспыхнув, сказала Татьяна Марковна.— Кто ему сказал?

— Кажется, он объяснился с Марфой Васильевной...— пробормотала сконфуженная барыня.

— За то, что Марфенька отвечала на его объяснение, она сидит теперь взаперти в своей комнате в одной юбке, без башмаков! — солгала бабушка для пущей важности.— А чтоб ваш сын не смущал бедную девушку, я не велела принимать его в дом! — опять солгала она для окончательной важности и с достоинством поглядела на гостью, откинувшись к спинке дивана.

Та тоже вспыхнула.

— Если б я предвидела,— сказала она глубоко обиженным голосом,— что он впутает меня в неприятное дело, я бы отвечала вчера ему иначе. Но он так уверил меня, да и я сама до этой минуты была уверена — в вашем добром расположении к нему и ко мне! Извините, Татьяна Марковна, и поспешите освободить из заключения Марфу Васильевну... Виноват во всем *мой*: он и должен быть наказан... А теперь прощайте, и опять прошу извинить меня... Прикажите человеку подавать коляску!..

Она даже потянулась к звонку. Но Татьяна Марковна остановила ее за руку.

— Коляска ваша отложена, кучера, я думаю, мои люди напоили пьяным, и вы, милая Марья Егоровна, останетесь у меня и сегодня, и завтра, и целую неделю...

— Помилуйте, после того, что вы сказали, после гнева вашего на Марфу Васильевну и на моего Колю? Он действительно заслуживает наказания... Я понимаю...

У Татьяны Марковны пропала вся важность. Морщины раз-

гладились, и радость засияла в глазах. Она сбросила на диван шаль и чепчик.

— Мо́чи нет — жарко! Извините, душечка, скиньте мантилью — вот так, и шляпку тоже. Видите, какая жара! Ну... мы их накажем вместе, Марья Егоровна: женим — у меня будет еще внук, а у вас дочь. Обнимите меня, душенька! Ведь я только старый обычай хотела поддержать. Да, видно, не везде пригожи они, эти старые обычаи! Вон я хотела остеречь их моралью— и даже нравоучительную книгу в подмогу взяла: целую неделю читали-читали, и только кончили, а они в ту же минуту почти все это и проделали в саду, что в книге написано!.. Вот вам и мораль! Какое сватовство и церемония между нами! Обе мы знали, к чему дело идет, и если б не хотели этого — так не допустили бы их слушать соловья.

— Ах, как вы напугали меня, Татьяна Марковна, не грех ли вам? — сказала гостья, обнимая старушку.

— Не вас бы следовало, а его напугать! — заметила Татьяна Марковна,— вы уж не погневайтесь, а я пожурю Николая Андреича. Послушайте, помолчите — я его постращаю. Каков затейник!

— Как я вам буду благодарна! Ведь я бы не поехала ни за что к вам так скоро, если б он не напугал меня вчера тем, что уж говорил с Марфой Васильевной. Я знаю, как она вас любит и слушается, и притом она дитя. Сердце мое чуяло беду. «Что он ей там наговорил?» — думала я всю ночь — и со страху не спала, не знала, как показаться к вам на глаза. От него не добьешься ничего. Скачет, прыгает, как ртуть, по комнате. Я, признаюсь, и согласилась больше для того, чтоб он отстал, не мучил меня; думаю, после дам ему нагоняй и назад возьму слово. Даже хотела подучить вас отказать, что будто не я, а вы... Не поверите, всю истрепал, измял! крику что у нас было, шуму — ах ты, господи, какое наказание с ним!

— И я не спала. Моя-то смиренница ночью приползла ко мне, вся дрожит, лепечет: «Что я наделала, бабушка, простите, простите, беда вышла!» Я испугалась, не знала, что и подумать... Насилу она могла пересказать: раз пять принималась, пока кончила.

— Что же у них было? что ей *мой* наговорил?

Татьяна Марковна с усмешкой махнула рукой.

— Уж и не знаю, кто из них лучше — он или она? Как голуби!

Татьяна Марковна пересказала сцену, переданную Марфенькой с стенографической верностью. И обе засмеялись сквозь слезы.

— Давно я думаю, что они пара, Марья Егоровна,— говорила Бережкова,— боялась только, что молоды уж очень оба. А как погляжу на них да подумаю, так вижу, что они никогда старше и не будут.

— С летами придет и ум, будут заботы — и созреют,— договорила Марья Егоровна.— Оба они росли у нас на глазах: где им было занимать мудрости, ведь не жили совсем!

Викентьев пришел, но не в комнату, а в сад, и выжидал, не выглянет ли из окна его мать. Сам он выглядывал из-за кустов. Но в доме — тишина.

Мать его и бабушка уж ускакали в это время за сто верст вперед. Они слегка и прежде всего порешили вопрос о приданом, потом перешли к участи детей, где и как им жить; служить ли молодому человеку и зимой жить в городе, а летом в деревне — так настаивала Татьяна Марковна и ни за что не соглашалась на предложение Марьи Егоровны — отпустить детей в Москву, в Петербург и даже за границу.

— Испортить хотите их,— говорила она,— чтоб они нагляделись там «всякого нового распутства», нет дайте мне прежде умереть. Я не пущу Марфеньку, пока она не приучится быть хозяйкой и матерью!

И, рассуждая так, они дошли чуть не до третьего ребенка, когда вдруг Марья Егоровна увидела, что из-за куста то высунется, то спрячется чья-то голова. Она узнала сына и указала Татьяне Марковне.

Обе позвали его, и он решился войти, но прежде долго возился в передней, будто чистился, оправлялся.

— Милости просим, Николай Андреич! — ядовито поздоровалась с ним Татьяна Марковна, а мать смотрела на него иронически.

Он быстро взглядывал то на ту, то на другую и ерошил голову.

— Здравствуйте, Татьяна Марковна,— сунулся он поцеловать у ней руку,— я вам привез *концерты* в *билет*...— начал он скороговоркой.

— Что ты мелешь, опомнись...— остановила его мать.

— Ох, билеты в концерт, благотворительный. Я взял и вам, маменька, и Вере Васильевне, и Марфе Васильевне, и Борису Павлычу... Отличный концерт: первая певица из Москвы...

— Зачем нам в концерт? — сказала бабушка, глядя на него искоса,— у нас соловьи в роще хорошо поют. Вот ужо пойдем их слушать даром.

Марья Егоровна закусила от смеха губу. Викентьев сконфузился, потом засмеялся, потом вскочил.

— Я в канцелярию теперь пойду,— сказал он, но Татьяна Марковна удержала его.

— Сядьте, Николай Андреич, да послушайте, что я вам скажу,— серьезно заговорила она.

Он видел, что собирается гроза, и начал метаться в беспокойстве, не зная, чем отвратить ее! Он поджимал под себя ноги и клал церемонно шляпу на колени или вдруг вскакивал, подходил к окну и высовывался из него почти до колен.

— Сиди же смирно, когда Татьяна Марковна с тобою говорить хочет,— сказала мать.

— Что ваша совесть говорит вам? — начала пилить Бережкова,— как вы оправдали мое доверие? А еще говорите, что любите меня и что я люблю вас — как сына! А разве добрые дети так поступают? Я считала вас скромным, послушным, думала, что вы сбивать с толку бедную девочку не станете, пустяков ей не будете болтать...

Она остановилась. Он мрачно посмотрел на мать.

— Что! — сказала она,— поделом тебе!

— Татьяна Марковна, я не успел нынче позавтракать, нет ли чего? — вдруг попросил он,— я голоден...

— Видите, какой хитрый!— сказала Бережкова, обращаясь к его матери.— Он знает мою слабость, а мы думали, что он дитя! Не поддели, не удалось, хоть и проситесь в женихи!

Викентьев обернул шляпу вверх дном и забарабанил по ней пальцами.

— Не треплите шляпу; она не виновата, а лучше скажите, с чего это вы вздумали, что за вас отдадут Марфеньку?

Вдруг у него краска сбежала с лица — он с горестным изумлением взглянул на Татьяну Марковну, потом на мать.

— Послушайте, не шутите со мной,— сказал он в тревоге,— если это шутка, так она жестока. Шутите вы, Татьяна Марковна, или нет?

— А вы как думаете?

— Думаю, что шутите: вы добрая, не то что...

Он поглядел на мать.

— Каков волчонок, Татьяна Марковна!

— Нет, не шутя скажу, что не хорошо сделал, батюшка, что заговорил с Марфенькой, а не со мной. Она дитя, как бывают дети, и без моего согласия ничего бы не сказала. Ну, а если б я не согласилась?

— Так вы согласились! — вдруг вспрыгнув, сказал он.

— Погоди, погоди — сядь, сядь! — обе закричали на него.

— С другой бы, может быть, так и надо сделать, а не с ней,— продолжала Татьяна Марковна.— Тебе, сударь, надо было тихонько сказать мне, а я бы сумела, лучше тебя, допытаться у нее, любит она или нет? А ты сам вздумал...

— Ей-богу, нечаянно... Татьяна Марковна...

— Да не божитесь, даже слушать тошно...

— Все проклятый соловей наделал...

— Вот теперь «проклятый», а вчера так не знал цены ему!

— Я и не думал, и в голову не приходило — ей-богу... Однако позвольте доложить, в свое оправдание, вот что,— торопился высказать Викентьев, ерошил голову и смело смотрел в глаза им обеим.— Вы хотите, чтоб я поступил, как послушный благонравный мальчик, то есть съездил бы к тебе, маменька, и спросил твоего благословения, потом обратился бы к вам, Та-

тьяна Марковна, и просил бы быть истолковательницей моих чувств, потом через вас получил бы *да* и при свидетелях выслушал бы признание невесты, с глупой рожей поцеловал бы у ней руку, и оба, не смея взглянуть друг на друга, играли бы комедию, любя с позволения старших... Разве это счастье?

— А по-твоему, лучше ночью в саду нашептывать девушке...— перебила мать.

— Лучше, maman, вспомни себя...

— Каков, ах ты! — обе закричали на него,— откуда это у него берется? Соловей, что ли, сказал тебе?

— Да, соловей, он пел, а мы росли: он нам все рассказал, и пока мы с Марфой Васильевной будем живы — мы забудем многое, все, но этого соловья, этого вечера, шепота в саду и ее слез никогда не забудем. Это-то счастье и есть, первый и лучший шаг его — и я благодарю бога за него и благодарю вас обеих, тебя, мать, и вас, бабушка, что вы обе благословили нас... Вы это сами думаете, да только так, из упрямства, не хотите сознаться: это нечестно...

У него даже навернулись слезы.

— Если б надо было опять начать, я опять вызвал бы Марфеньку в сад...— добавил он.

Татьяна Марковна в умилении обняла его.

— Бог тебя простит, добрый, милый внучек! Так, так: ты прав, с тобой, а не с другим, Марфенька только и могла слушать соловья...

Викентьев бросился на колени.

— Бабушка, бабушка! — говорил он.

— Вот уж и бабушка: не рано ли стал величать? Да и к лицу ли тебе жениться? погоди года два, три — созрей.

— Поумней! — подсказала мать, — перестань повесничать.

— Если б вы обе не согласились,— сказал он,—я бы...

— Что?

— Уехал бы сегодня же отсюда, и в гусары пошел бы, и долгов наделал бы, совсем пропал бы!

— Еще грозит! — сказала Татьяна Марковна,— я вольничать вам не дам, сударь!

— Отдайте мне только Марфу Васильевну, и я буду тише воды, ниже травы, буду слушаться, даже ничего... не съем без вашего спроса...

— Полно, так ли?

— Так, так — ей-богу...

— Еще отстаньте от божбы, а то...

Он бросился целовать руки Бережковой.

— А кушать все хочется? — спросила Татьяна Марковна.

— Нет, уж мне теперь не до еды!

— Что ж, уж не отдать ли за него Марфеньку, Марья Егоровна?

— Не стоит, Татьяна Марковна, да и рано. Пусть бы года два...

Он налетел на мать и поцелуем залепил ей рот.

— Видите, какого сорванца вы пускаете в дом! — говорила мать, оттолкнув его прочь.

— Со мной не смеет, я его уйму — подойди-ка сюда...

Он подошел к Татьяне Марковне: она его перекрестила и поцеловала в лоб.

— Ух! — сказал он, садясь,— мучительницы вы обе: зачем так терзали — сил нет!

— Вперед будь умнее!

— Где же Марфа Васильевна?.. я побегу...

— Погоди, имей терпение!.. они у меня не такие верченые!— сказала бабушка.

— Опять терпение!

— Теперь оно и начинается: полно скакать и бегать, ты не мальчик, да и она не дитя. Ведь сам говоришь, что соловей вам растолковал обоим, что вы «созрели» — ну, так и остепенись!

Он немного смутился от этого справедливого замечания и скромно остался в гостиной, пока пошли за Марфенькой.

— Ни за что не пойду! И сохрани господи! — отвечала она и Марине, и Василисе.

Наконец сама бабушка с Марьей Егоровной отыскали ее за занавесками постели в углу, под образами, и вывели ее оттуда, раскрасневшуюся, не одетую, старающуюся закрыть лицо руками.

Обе принялись целовать ее и успокоивать. Но она наотрез отказалась идти к обеду и к завтраку, пока все не перебывали у ней в комнате и не поздравили по очереди.

Точно так же она убегала и от каждого гостя, который приезжал поздравлять, когда весть пронеслась по городу.

Вера с покойной радостью услыхала, когда бабушка сказала ей об этом:

— Я давно ждала этого,— сказала она.

— Теперь, если б бог дал пристроить тебя...— начала было Татьяна Марковна со вздохом, но Вера остановила ее.

— Бабушка! — сказала она с торопливым трепетом,— ради бога, если любите меня, как я вас люблю... то обратите все попечения на Марфеньку. Обо мне не заботьтесь...

— Разве я тебя меньше люблю? Может быть, у меня сердце больше болит по тебе.

— Знаю, и это мучает меня... Бабушка! — почти с отчаянием молила Вера,— вы убьете меня, если у вас сердце будет болеть обо мне.

— Что ты говоришь Верочка? Опомнись!..

— Это убьет меня, я говорю не шутя, бабушка.

— Да чем, чем, что у тебя на уме, что на сердце? — говорила тоже почти с отчаянием бабушка,— разве не станет разу-

мения моего, или сердца у меня нет, что твое счастье или несчастье... чужое мне?..

— Бабушка! у меня другое счастье и другое несчастье, нежели у Марфеньки. Вы добры, вы умны, дайте мне свободу.

— Ты успокой меня: скажи только, что с тобой?..

— Ничего, бабушка, нет, только не старайтесь пристроивать меня...

— Ты горда, Вера! — с горечью сказала старушка.

— Да, бабушка,— может быть: что же мне делать?

— Не бог вложил в тебя эту гордость!

Вера не отвечала, но страдала невыразимо оттого, что она не могла растолковать себя ей. Она металась в тоске.

— Открой мне душу, я пойму, может быть, сумею облегчить горе, если есть...

— Когда оно настанет — и я не справлюсь одна... тогда я приду к вам — и ни к кому больше, да к богу! Не мучьте меня теперь и не мучьтесь сами... Не ходите, не смотрите за мной...

— Не поздно ли будет тогда, когда горе придет?..— прошептала бабушка.— Хорошо,— прибавила она вслух,— успокойся, дитя мое! я знаю, что ты не Марфенька, и тревожить тебя не стану.

Она поцеловала ее со вздохом и ушла скорыми шагами, понурив голову. Это было единственное темное облачко, помрачавшее ее радость, и она усердно молилась, чтобы оно пронеслось, не сгустившись в тучу.

Вера долго ходила взволнованная по саду и мало-помалу успокоилась. В беседке она увидела Марфеньку и Викентьева и быстро пошла к ним. Она еще не сказала ни слова Марфеньке после новости, которую узнала утром.

Она подошла к ней, пристально и ласково поглядела ей в глаза, потом долго целовала ей глаза, губы, щеки. Положив ее голову, как ребенка, на руку себе, она любовалась ее чистой, младенческой красотой и крепко сжала в объятиях.

— Ты должна быть счастлива! — сказал она, с блеснувшими вдруг и спрятавшимися слезами.

— И будет! — подсказал Викентьев

— Ты, Верочка, будешь еще счастливее меня! — отвечала Марфенька, краснея.— Посмотри, какая ты красавица, какая умная — мы с тобой — как будто не сестры! здесь нет тебе жениха. Правда, Николай Андреевич?

Вера молча пожала ей руку.

— Николай Андреевич, знаете ли, кто она?— спросила Вера, указывая на Марфеньку.

— Ангел! — отвечал он без запинки, как солдат на перекличке.

— Ангел! — с улыбкой передразнила она его.

— Вот она кто!— сказала Вера, указывая на кружившую-

ся около цветка бабочку,— троньте неосторожно, цвет крыльев пропадет, пожалуй, и совсем крыло оборвете. Смотрите же! балуйте, любите, ласкайте ее, но боже сохрани — огорчить! Когда придет охота обрывать крылья, так идите ко мне: я вас тогда!..— заключила она, ласково погрозив ему.

XIX

Через неделю после радостного события все в доме пришло в прежний порядок. Мать Викентьева уехала к себе, Викентьев сделался ежедневным гостем и почти членом семьи. И он, и Марфенька не скакали уже. Оба были сдержаннее, и только иногда живо спорили, или пели, или читали вдвоем.

Но между ними не было мечтательного, поэтического размена чувств, ни оборота тонких, изысканных мыслей, с бесконечными оттенками их, с роскошным узором фантазии — всей этой игрой, этих изящных и неистощимых наслаждений развитых умов.

Дух анализа тоже не касался их, и пищею обмена их мыслей была прочитанная повесть, доходившие из столицы новости да поверхностные впечатления окружающей природы и быта.

Поэзия, чистая, свежая, природная, всем ясная и открытая, билась живым родником — в их здоровье, молодости, открытых, неиспорченных сердцах.

Их не манила даль к себе; у них не было никакого тумана, никаких гаданий. Перспектива была ясна, проста и обоим им одинаково открыта. Горизонт наблюдений и чувств их был тесен.

Марфенька зажимала уши или уходила вон, лишь только Викентьев, в объяснениях своих, выйдет из пределов обыкновенных выражений и заговорит о любви к ней языком романа или повести.

Их сближение было просто и естественно, как указывала натура, сдержанная чистой нравственностью и моралью бабушки. Марфенька до свадьбы не дала ему ни одного поцелуя, никакой почти лишней против прежнего ласки — и на украденный им поцелуй продолжала смотреть как на дерзость и грозила уйти или пожаловаться бабушке.

Но неумышленно, когда он не делал никаких любовных прелюдий, а просто брал ее за руку, она давала ему руку, брала сама его руку, опиралась ему доверчиво на плечо, позволяла переносить себя через лужи и даже, шаля, ерошила ему волосы или, напротив, возьмет гребенку, щетку, близко подойдет к нему, так что головы их касались, причешет его, сделает пробор и, пожалуй, напомадит голову.

Но если он возьмет ее в это время за талию или поцелует, она покраснеет, бросит в него гребенку и уйдет прочь.

Свадьба была отложена до осени по каким-то хозяйственным соображениям Татьяны Марковны — и в доме постепенно готовили приданое. Из кладовых вынуты были старинные кружева, отобрано было родовое серебро, золото, разделены на две равные половины посуда, белье, меха, разные вещи, жемчуг, брильянты.

Татьяна Марковна, с аккуратностью жида, пускалась определять золотники, караты, взвешивала жемчуг, призывала ювелиров, золотых и других дел мастеров.

— Вот, смотри, Верочка, это твое, а то Марфенькино— ни одной нитки жемчугу, ни одного лишнего лота, ни та ни другая не получит. Смотрите обе!

Но Вера не смотрела. Она отодвигала кучу жемчуга и брильянты, смешивала их с Марфенькиными и объявила, что ей немного надо. Бабушка сердилась и опять принималась разбирать и делить на две половины.

Райский выписал от опекуна еще свои фамильные брильянты и серебро, доставшееся ему после матери, и подарил их обеим сестрам. Но бабушка погребла их в глубину своих сундуков, до поры до времени:

— Понадобятся и самому! — говорила она,— вздумаешь жениться.

Он закрепил и дом с землей и деревней за обеими сестрами, за что обе они опять по-своему благодарили его. Бабушка хмурилась, косилась, ворчала, потом не выдержала и обняла его.

— Совсем необыкновенный ты, Борюшка,— сказала она,— какой-то хороший урод! Бог тебя ведает, кто ты есть!

В доме, в девичьей, в кабинете бабушки, даже в гостиной и еще двух комнатах, расставлялись столы с шитьем белья. Готовили парадную постель, кружевные подушки, одеяло. По утрам ходили портнихи, швеи.

Викентьев выпросился в Москву заказывать гардероб, экипажи — и тут только проговорилось чувство Марфеньки: она залилась обильными слезами, от которых у ней распухли нос и глаза.

Глядя на нее, заплакал и Викентьев, не от горя, а потому, объяснял он, что не может не заплакать, когда плачут другие, и не смеяться тоже не может, когда смеются около него. Марфенька поглядела на него сквозь слезы и вдруг перестала плакать.

— Я не пойду за него, бабушка: посмотрите, он и плакать-то не умеет путем! У людей слезы по щекам текут, а у него по носу: вон какая слеза, в горошину, повисла, на самом конце!..

Он поспешно утер слезу.

— У меня, видите, такой желобок есть, прямо к носу...— сказал он и сунулся было поцеловать у невесты руку, но она не дала.

Через час после его отъезда она по-прежнему уже пела: *Ненаглядный ты мой, как люблю я тебя!*

На двор приводили лошадей, за которыми Викентьев ездил куда-то на завод. Словом, дом кипел веселою деятельностию, которой не замечали только Райский и Вера.

Райский ничего, впрочем, не замечал, кроме ее. Он старался развлекаться, ездил верхом по полям, делал даже визиты.

У губернатора встречал несколько советников, какого-нибудь крупного помещика, посланного из Петербурга адъютанта; разговоры шли о том, что делается в петербургском мире, или о деревенском хозяйстве, об откупах. Но все это мало развлекало его.

Он, между прочим, нехотя, но исполнил просьбу Марка и сказал губернатору, что книги привез он и дал кое-кому из знакомых, а те уж передали в гимназию.

Книги отобрали и сожгли. Губернатор посоветовал Райскому быть осторожнее, но в Петербург не донес, чтоб «не возбуждать там вопроса»!

Марк, по-своему, опять ночью, пробрался к нему через сад, чтоб узнать, чем кончилось дело. Он и не думал благодарить за эту услугу Райского, а только сказал, что так и следовало сделать и что он ему, Райскому, уже тем одним много сделал чести, что ожидал от него такого простого поступка, потому что поступить иначе значило бы быть «доносчиком и шпионом».

Леонтья Райский видал редко и в дом к нему избегал ходить. Там, страстными взглядами и с затаенным смехом в неподвижных чертах, встречала его внутренно торжествующая Ульяна Андреевна. А его угрызало воспоминание о том, как он великодушно исполнил свой «долг». Он хмурился и спешил вон.

Она употребила другой маневр: сказала мужу, что друг его знать ее не хочет, не замечает, как будто она была мебель в доме, пренебрегает ею, что это ей очень обидно и что виноват во всем муж, который не умеет привлечь в дом порядочных людей и заставить уважать жену.

— Поговори хоть ты,— жаловалась она,— отложи свои книги, займись мною!

Козлов в тот же вечер буквально исполнил поручение жены, когда Райский остановился у его окна.

— Зайди, Борис Павлович, ты совсем меня забыл,— сказал он,— вон и жена жалуется...

— А она на что жалуется? — спросил Райский, входя в комнату.

— Да думает, что ты пренебрегаешь ею. Я говорю ей, вздор, он не горд совсем,— ведь ты не горд? да? Но он, говорю, поэт, у него свои идеалы — до тебя ли, рыжей, ему? Ты бы ее побаловал, Борис Павлович, зашел бы к ней когда-нибудь без меня, когда я в гимназии.

Райский, отворотясь от него, смотрел в окно.

— Или еще лучше, приходи по четвергам да по субботам вечером: в эти дни я в трех домах уроки даю. Почти в полночь прихожу домой. Вот ты и пожертвуй вечер, поволочись немного, пококетничай! Ведь ты любишь болтать с бабами! А она только тобой и бредит...

Райский стал глядеть в другое окно.

— Сам я не умею,— продолжал Леонтий,— известно, муж— она любит, я люблю, мы любим... Это спряжение мне и в гимназии надоело. Вся ее любовь — все ее заботы, жизнь — все мое...

Райский кашлянул. «Хоть бы намекнуть как-нибудь ему!» — подумал он.

— Полно — так ли, Леонтий? — сказал он.

— А как же?

— «Вся любовь», говоришь ты?

— Да, конечно. Она даже ревнует меня к моим грекам и римлянам. Она их терпеть не может, а живых людей любит!— добродушно смеясь, заключил Козлов.— Эти женщины, право, одни и те же во все времена,— продолжал он.— Вон у римских матрон, даже у жен кесарей, консулов, патрициев — всегда хвост целый... Мне — бог с ней: мне не до нее, это домашнее дело! У меня есть занятие. Заботлива, верна — и я иногда, признаюсь,— шепотом прибавил он,— изменяю ей, забываю, есть ли она в доме, нет ли...

— Напрасно! — сказал Райский.

— Некогда; вот в прошлом месяце попались мне два немецких тома — Фукидид и Тацит. Немцы и того и другого чуть наизнанку не выворотили. Знаешь, и у меня терпения не хватило уследить за мелочью. Я зарылся,— а ей, говорит она, «тошно смотреть на меня»! Вот хоть бы ты зашел. Спасибо, еще француз Шарль не забывает... Болтун веселый — ей и не скучно!

— Прощай, Леонтий,— сказал Райский.— Напрасно ты пускаешь этого Шарля!

— А что? не будь его, ведь она бы мне покоя не дала. Отчего не пускать?

— А чтоб не было «хвоста», как у римских матрон!..

— К моей Уленьке, как к жене кесаря, не смеет коснуться и подозрение!..— с юмором заметил Козлов.— Приходи же — я ей скажу...

— Нет, не говори, да не пускай и Шарля! — сказал Райский, уходя проворно вон.

К Полине Карповне Райский не показывался, но она показывалась к нему в дом, надоедая то ему — своими пресными нежностями, то бабушке— непрошеными советами насчет свадебных приготовлений и особенно — размышлениями о том, что «брак есть могила любви», что избранные сердца, несмотря на все препятствия, встречаются и вне брака, причем нежно поглядывала на Райского.

Он раза два еще писал ее портрет и все не кончал, говоря, что не придумал, во что ее одеть и какой цветок нарисовать на груди.

— Желтая далия мне будет к лицу — я брюнетка! — советовала она.

— Хорошо, после, после! — отделывался он.

Тит Никоныч являлся всегда одинакий, вежливый, любезный, подходящий к ручке бабушки и подносящий ей цветок или редкий фрукт. Опенкин, всегда речистый, неугомонный, под конец пьяный, барыни и барышни, являвшиеся теперь потанцевать к невесте, и молодые люди — все это надоедало Райскому и Вере — и оба искали, он — ее, а она — уединения, и были только счастливы, он — с нею, а она — одна, когда ее никто не видит, не замечает, когда она пропадет «как дух» в деревню, с обрыва в рощу или за Волгу, к своей попадье.

XX

«Вот страсти хотел,— размышлял Райский,— напрашивался на нее, а не знаю, страсть ли это! Я ощупываю себя: есть ли страсть, как будто хочу узнать, целы ли у меня ребра, или нет ли какого-нибудь вывиха? Вон и сердце не стучит! Видно, я сам не способен испытывать страсть!»

Между тем Вера не шла у него с ума.

— Если она не любит меня, как говорит и как видно по всему, то зачем удержала меня? зачем позволила любить? Кокетство, каприз или... Надо бы допытаться...— шептал он.

Он искал глазами ее в саду и заметил у окна ее комнаты.

Он подошел к окну.

— Вера, можно прийти к тебе? — спросил он.

— Можно, только ненадолго.

— Вот уж и ненадолго! Лучше бы не предупреждала, а когда нужно — и прогнала бы,— сказал он, войдя и садясь напротив.— Отчего же ненадолго?

— Оттого, что я скоро уеду на остров. Туда приедет Натали, и Иван Иванович, и Николай Иванович...

— Это священник?

— Да, он рыбу ловить собирается, а Иван Иванович зайцев стрелять.

— Вот и я бы пришел.

Она молчала.

— Или не надо?

— Лучше не надо, а то вы расстроите наш кружок. Священник начнет умные вещи говорить, Натали будет дичиться, а Иван Иванович промолчит все время.

— Ну, не приду! — сказал он и, положив подбородок на руки, стал смотреть на нее. Она оставалась несколько времени без

дела, потом выпула из стола портфель, сняла с шеи маленький ключик и отперла, приготовляясь писать.

— Что это, не письма ли?

— Да, две записки, одну в ответ на приглашение Натальи Ивановны. Кучер ждет.

Она написала несколько слов и запечатала.

— Послушайте, брат,— закричите кого-нибудь в окно.

Он исполнил ее желание, Марина пришла и получила приказание отдать записку кучеру Василью. Потом Вера сложила руки.

— А другую записку? — спросил Райский.

— Еще успею.

— А! Значит, секрет!

— Может быть!

— Долго ли, Вера, у тебя будут секреты от меня?

— Если будут, так будут всегда.

— Если б ты знала меня короче — ты бы их все вверила мне, сколько их ни есть...

— Зачем?

— Так нужно — я люблю тебя.

— А мне не нужно...

— Но ведь это единственный способ отделаться от меня, если я тебе несносен.

— Нет, с тех пор как вы несколько изменились, я не хочу отделываться от вас.

— И даже позволила любить себя...

— Я пробовала запретить — что же вышло?

— И ты решилась махнуть рукой?

— Да, оставить вам на волю, думала, лучше пройдет, нежели когда мешаешь. Кажется, так и вышло... Вы же сами учили, что «противоречия только раздражают страсть...»

— Какая, однако, ты хитрая! — сказал он, глядя на нее лукаво.— А зачем остановила меня, когда я хотел уехать?

— Не уехали бы: история с чемоданом мне все рассказала.

— Так ты думаешь, страсть прошла?

— Никакой страсти не было: самолюбие, воображение. Вы артист, влюбляетесь во всякую красоту...

— Пожалуй, в красоту более или менее, но ты — красота красот, всяческая красота! Ты — бездна, в которую меня влечет невольно, голова кружится, сердце замирает — хочется счастья — пожалуй, вместе с гибелью. И в гибели есть какое-то обаяние...

— Это вы уже все говорили — и это нехорошо.

— Отчего нехорошо?

— Нехорошо!

— Да почему?

— Потому что... преувеличенно... следовательно — ложь.

— А если правда, если я искренен?

— Еще хуже.
— Почему?
— Потому что безнравственно.
— Вот тебе раз! Вера!.. Помилуй! ты точно бабушка!
— Да, на этот раз я на ее стороне.
— Безнравственно!
— Безнравственно: вы идете по следам Дон-Жуана: но ведь и тот гадок...

— Говори мне, что я гадок, если я гадок, Вера, а не бросай камень в то, чего не понимаешь. Искренний Дон-Жуан чист и прекрасен; он гуманный, тонкий артист, тип chef d'oeuvre[1] между человеками. Таких, конечно, немного. Я уверен, что в байроновском Дон-Жуане пропадал художник. Это влечение к всякой видимой красоте, всего более к красоте женщины, как лучшего создания природы, обличает высшие человеческие инстинкты, влечение и к другой красоте, невидимой, к идеалам добра, изящества души, к красоте жизни! Наконец, под этими нежными инстинктами у тонких натур кроется потребность всеобъемлющей любви! В толпе, в грязи, в тесноте грубеют эти тонкие инстинкты природы... Во мне есть немного этого чистого огня, и если он не остался до конца чистым, то виноваты... многие... и даже сами женщины...

— Может быть, брат, я не понимаю Дон-Жуана; я готова верить вам... Но зачем вы выражаете страсть ко мне, когда знаете, что я не разделяю ее?

— Нет, не знаю.
— Ах, вы все еще надеетесь! — сказала она с удивлением.
— Я тебе сказал, что во мне не может умереть надежда, пока я не узнаю, что ты не свободна, любишь кого-нибудь...
— Хорошо, брат, положим, что я могла бы разделить вашу страсть — тогда что?
— Как что? Обоюдное счастье!
— Вы уверены, что могли бы дать его мне?
— Я — о боже, боже! — с пылающими глазами начал он,— да я всю жизнь отдал бы — мы поехали бы в Италию — ты была бы моей женой...

Она поглядела на него несколько времени.
— Сколько раз вы предлагали женщинам такое счастье? — спросила она.
— Бывали, конечно, встречи, но такого сильного впечатления никогда...
— Скажите еще, сколько раз говорили вы вот эти самые слова: не каждой ли женщине при каждой встрече?
— Что ты хочешь сказать этими вопросами, Вера? Может быть, я говорил и многим, но никогда так искренно...

Она глядела на него, а он на нее.

---

[1] Совершенство (*франц.*).

— Кто тебя развил так, Вера? — спросил он.

— Довольно,— перебила она.— Вы высказались в коротких словах. Видите ли, вы дали бы мне счастье на полгода, на год, может быть больше, словом до новой встречи, когда красота, новее и сильнее, поразила бы вас и вы увлеклись бы за нею, а я потом — как себе хочу! Сознайтесь, что так?

— Почему ты знаешь это? Зачем так судишь меня легко? Откуда у тебя эти мысли, как ты узнала ход страстей?

— Я хода страстей не знаю, но узнала немного вас — вот и все.

— Что ж ты узнала и от кого?

— От вас самих.

— От меня? Когда?

— Какая же у вас слабая память! Не вы ли рассказывали, как вас тронула красота Беловодовой и как напрасно вы бились пробудить в ней... луч... или ключ... или... уж не помню, как вы говорили, только очень поэтически.

— Беловодова! Это — статуя, прекрасная, но холодная и без души. Ее мог бы полюбить разве Пигмалион[1].

— А Наташа?

— Наташа! Разве я тебе говорил о Наташе?

— Забыли!

— Наташа была хорошенькая, но бесцветная, робкая натура. Она жила, пока грели лучи солнца, пока любовь обдавала ее теплом, а при первой невзгоде она надломилась и зачахла. Она родилась, чтоб как можно скорее умереть.

— А о Марфеньке что говорили? Чуть не влюбились!

— Это все так, легкие впечатления, на один, на два дня... Все равно, как бы я любовался картиной... Разве это преступление — почувствовать прелесть красоты, как теплоты солнечных лучей, подчиниться на неделю-другую впечатлению, не давая ему серьезного хода?..

— А самое сильное впечатление на полгода? Так?

— Нет, не так. Если б, например, ты разделила мою страсть, мое впечатление упрочилось бы навсегда, мы бы женились... Стало быть — на всю жизнь. Идеал полного счастья у меня неразлучен с идеалом семьи...

— Послушайте, брат. Вспомните самое сильное из ваших прежних впечатлений и представьте, что та женщина, которая его на вас сделала, была бы теперь вашей женой...

— Кто тебя развивает, ты вот что скажи? А ты все уклоняешься от ответа!

— Да вы сами. Я все из ваших разговоров почерпаю.

— Ты прелесть, Вера, ты наслаждение! у тебя столько же красоты в уме, сколько в глазах! Ты вся — поэзия, грация, тончайшее произведение природы! — Ты и идея красоты, и во-

---

[1] Скульптор, влюбившийся в изваянную им статую (*греч. миф.*).

площение идеи — и не умирать от любви к тебе? Да разве я дерево! Вон Тушин, и тот тает...

Она сделала движение.

— Оставим это. Ты меня не любишь, еще немного времени, впечатление мое побледнеет, я уеду, и ты никогда не услышишь обо мне. Дай мне руку, скажи дружески, кто учил тебя, Вера,— кто этот цивилизатор? Не тот ли, что письма пишет на синей бумаге?..

— Может быть — и он. Прощайте, брат, вы кстати напомнили. Мне надо писать...

— И вот счастье где: и «возможно» и «близко», а не дается!— говорил он.

— Вы можете быть по-своему счастливы и без меня, с другой...

— С кем, скажи! Где они, эти женщины!..

— А те, кто отдает внаймы сердце на месяц, на полгода, на год,— а не со мной! — прибавила она.

— И ты не веришь мне, и ты не понимаешь! Кто же поверит и поймет?

Он задумался, а она взяла бумагу, опять написала карандашом несколько слов и свернула записку.

— Не позвать ли Марину? — спросил он.

— Нет, не надо.

Она спрятала записку за платье на грудь, взяла зонтик, кивнула ему и ушла.

Райский, не сказавши никому ни слова в доме, ушел после обеда на Волгу, подумывая незаметно пробраться на остров, и высматривал место поудобнее, чтобы переправиться через рукав Волги. Переправы тут не было, и он глядел вокруг, не увидит ли какого-нибудь рыбака.

Он прошел берегом с полверсты и, наконец, набрел на мальчишек, которые в полусгнившей, наполненной до половины водой лодке удили рыбу. Они за гривенник с радостью взялись перевезти его и сбегали в хижину отца за веслами.

— Куда везти? — спросили они.

— Все равно, причаливайте, где хотите.

— Вон там можно выйти,— указывал один.

— Вон-вось где: тут барин с барыней недавно вылазили...

— Какой барин?

— Кто их знает! С горы какие-то!

Райский вышел из лодки и стал смотреть.

«Не Вера ли?» — думал он.

Если она — он сейчас узнает ее тайну... У него забилось сердце. Он шел в осоке тихо, осторожно, боясь кашлянуть...

Вдруг он услышал плеск воды, тихо раздвинул осоку и увидел... Ульяну Андреевну.

Она, закрытая совсем кустами, сидела на берегу, с обнаженными ногами, опустив их в воду, распустив волосы, и, как ру-

салка мочила их, нагнувшись с берега. Райский прошел дальше, обогнул утес: там, стоя по горло в воде, купался m-r Шарль.

Райский, не замеченный им, ушел и стал пробираться, через шиповник к небольшим озерам, полагая, что общество, верно, расположилось там. Вскоре он услышал шаги неподалеку от себя и притаился. Мимо его прошел Марк.

Райский окликнул его.

— А, здравствуйте,— сказал Волохов,— от кого вы тут прячетесь?

— Я не прячусь... иначе бы не остановил вас.

— Да вы не от меня прячетесь, а от кого-нибудь другого. Признайтесь, вы ищете вашу красавицу сестру? Нехорошо, нечестно: проиграли пари и не платите...

— Вы почем знаете, что она здесь?

— Я пошел было уток стрелять на озеро, а они все там сидят. И поп там, и Тушин, и попадья, и... ваша Вера,— с насмешкой досказал он.— Подите, подите туда.

— Я не хочу, я не туда шел.

— Не стыдитесь меня, я все вижу. Вы хотели робко посмотреть на нее издали — да? Вам скучно, постыло в доме, когда ее нет там...

— Какой вздор! я просто гулял...

— Давайте триста рублей!

Райский пошел опять туда, где оставил мальчишек. За ним шел и Марк. Они прошли мимо того места, где купался Шарль. Райский хотел было пройти мимо, но из кустов, навстречу им, вышел француз, а с другой стороны, по тропинке, приближалась Ульяна Андреевна, с распущенными, мокрыми волосами.

Оба хотели спрятаться, но Марк закричал им:

— Charmé de vous voir tous les deux! [1] честь имею рекомендоваться!

M-r Шарль вышел из-за кустов.

— M-r Райский! M-r Шарль! — представлял насмешливо их Марк друг другу.

— Ульяна Андреевна! пожалуйте сюда, не прячьтесь! ведь видели: всё свои лица, не бойтесь!

— Никто не боится! — сказала она, выходя нехотя и стараясь не глядеть на Райского.

— И оба мокрые! — прибавил Волохов.

— Самый неприятный мужчина в целом свете! — с крепкой досадой шепнула Ульяна Андреевна Райскому про Марка.

— Ну, прощайте, я пойду,— сказал Марк.— А что Козлов делает? Отчего не взяли его с собой проветрить? Ведь и при нем можно... купаться — он не увидит. Вон бы тут под деревом из Гомера декламировал! — заключил он и, поглядевши дерзко на Ульяну Андреевну и на m-r Шарля, ушел.

---

[1] Очень рад видеть вас обоих! (*франц.*)

— Il faut que je donne une bonne leçon à ce mauvais drôle![1] — хвастливо сказал m-r Шарль, когда Марк скрылся из вида.

Потом все воротились домой.

— Ну, вот, я тебе очень благодарен,— говорил Козлов Райскому,— что ты прогулялся с женой...

— На этот раз благодари вот m-r Шарля! — сказал Райский.

— Merci, merci, m-r Charles![2]

— Bien, très bien, cher collègue![3] — отвечал Шарль, трепля его по плечу.

XXI

Райский пришел домой злой, не ужинал, не пошутил с Марфенькой, не подразнил бабушку и ушел к себе. И на другой день он сошел такой же мрачный и недовольный.

Погода была еще мрачнее. Шел мелкий, непрерывный дождь. Небо покрыто было не тучами, а каким-то паром. На окрестности лежал туман.

Вера была тоже не весела. Она закутана была в большой платок и на вопрос бабушки, что с ней, отвечала, что у ней был ночью озноб.

Посыпались расспросы, упреки, что не разбудила, предложения — напиться липового цвета и поставить горчичники. Вера решительно отказалась, сказав, что чувствует себя теперь совсем здоровою.

Все трое сидели молча, зевали или перекидывались изредка вопросом и ответом.

— Вы были тоже на острове? — спросила Вера Райского.

— Да,— ты почем знаешь?

— Я слышала, как Егор жаловался кому-то на дворе, что платье все в глине да в тине у вас — насилу отчистил: «Должно быть, на острове был»,— говорил он.

— Ты все слышишь! — заметил он.— Я был не один; Марк был, еще жена Козлова...

— Вот нашел с кем гулять! У ней есть провожатый,— сказала бабушка,— м-r Шарль.

— И он был.

Опять замолчали и уже собирались разойтись, как вдруг явилась Марфенька.

— Ах, бабушка, как я испугалась! страшный сон видела!— сказала она, еще не поздоровавшись.— Как бы не забыть!

— Какой такой, расскажи. Что это ты бледна сегодня?

— Рассказывай скорей! — говорил Райский.— Давайте сны

---

[1] Придется хорошенько проучить этого негодяя (*франц.*).
[2] Спасибо, спасибо, г-н Шарль! (*франц.*)
[3] Хорошо, очень хорошо, дорогой коллега! (*франц.*)

рассказывать, кто какой видел. И я вспомнил свой сон: странный такой! Начинай, Марфенька! Сегодня скука, слякоть — хоть сказки давайте сказывать!

— Сейчас, сейчас, погодите, через пять минут приедет Николай Андреич, я при нем расскажу.

— Уж и через пять минут! — сказала бабушка,— почем ты знаешь? Дожидайся! он еще спит!

— Нет, приедет — я ему велела! — кокетливо возразила Марфенька.— Нынче крестят девочку в деревне, у Фомы: я обещала прийти, а он меня проводит...

— Так ты для деревенских крестин новое барежевое платье надела, да еще в этакий дождь! Кто тебя пустит? скинь, сударыня!

— Скину, бабушка, я надела только примерить.

— Ведь уж примеривали!

— Оставьте ее, бабушка, она жениху хочет показаться в новом платье.

Марфенька покраснела.

— Вот вы какие! я совсем не для того! — с досадой сказала она, что угадали,— пойду, сейчас скину...

Райский удержал ее за руку; она вырвалась, и только отворила дверь, как навстречу ей явился Викентьев и распростер руки, чтоб не пустить ее.

— Идите скорей — зачем опоздали? — говорила она, краснея от радости и отбиваясь, когда он хотел непременно поцеловать у ней руку.

— Что это у вас за гадкая привычка целовать в ладонь? — заметила она, отнимая у него руки,— всю руку изломаете!

— Ладонь такая тепленькая у вас, душистая, позвольте...

— Подите прочь! Вы еще с бабушкой не поздоровались!

Он поцеловал у бабушки руку, потом комически раскланялся с Райским и с Верой.

— Рассказывайте, что видели во сне,— сказал ему Райский,— скорее, скорее!

— Нет, я прежде расскажу! — перебила Марфенька.

— Ах, нет, позвольте, я видел отличный сон,— торопился сказать Викентьев,— будто я...

— Нет, дайте мне рассказать,— говорила Марфенька.

— Позвольте, Марфа Васильевна, а то забуду,— силился он переговорить ее,—ей-богу, я было и забыл совсем: будто я иду...

Она зажала ему рот рукой.

— По порядку, по порядку!— командовал Райский,— слово за Марфенькой. Марфа Васильевна, извольте!

— Я будто, бабушка... Послушай, Верочка, какой сон! Слушайте, говорят вам, Николай Андреич, что вы не посидите! На дворе будто ночь лунная, светлая, так пахнет цветами, птицы поют...

— Ночью? — сказал Викентьев.

— Соловьи всё ночью поют! — заметила бабушка, взглянув на них обоих.

Марфенька покраснела.

— Вот теперь сбили с толку — я и не стану рассказывать!

— Нет, нет, говори, говорите! — сказали все, кроме Веры.

— Ну, вот птицы...

— Птицы не поют ночью...

— Опять вы, Николай Андреич! не стану — вам говорят! А вот он ночью, бабушка,— живо заговорила она, указывая на Викентьева,— храпит...

— Ты почем знаешь?

— Марина сказывала — она от Семена слышала...

— Это от золотухи: надо пить аверину траву,— заметила Татьяна Марковна.

— Я боюсь, кто храпит. Если б знала прежде, так бы...

Она вдруг замолчала.

— Что ж ты остановилась? — спросил Райский,— можно свадьбу расстроить. В самом деле, если он тебе будет мешать спать по ночам...

Марфенька покраснела, как вишня, и бросилась вон.

— Полно тебе, Борюшка! видишь, она договорилась до чего, да и сама не рада!

Викентьев догнал Марфеньку и привел назад.

— Я буду на ночь нос ватой затыкать, Марфа Васильевна,— сказал он.

Марфеньку усадили и заставили рассказывать сон.

— Вот будто я тихонько вошла в графский дом,— начала она,— прямо в галерею, где там статуи стоят. Вошла я и притаилась, и смотрю, как месяц освещал их все, а я стою в темном углу: меня не видать, а я их всех вижу. Только я стою, не дышу, все смотрю на них. Все переглядела — и Геркулеса с палицей, и Диану, и потом Венеру, и еще эту с совой, Минерву... И старика, которого змеи сжимают... [1] как бишь его зовут... Только вдруг!.. (Марфенька сделала испуганное лицо и оглядывалась по сторонам) — и теперь даже страшно — так живо представилось...

— Ну, что вдруг? — спросила бабушка.

— Страшно, бабушка. Вдруг будто статуи начали шевелиться. Сначала одна тихо, тихо повернула голову и посмотрела на другую, а та тоже тихо разогнула и не спеша протянула к ней руку: это Диана с Минервой. Потом медленно приподнялась Венера — и не шагая... какой ужас!.. подвинулась, как мертвец, плавно к Марсу, в каске... Потом змеи, как живые, поползли около старика! он перегнул голову назад, у него лицо стали дергать судороги, как у живого, я думала, сейчас закричит!

---

[1] Имеется в виду знаменитая античная скульптура «Лаокоон».

И другие все плавно стали двигаться друг к другу, некоторые подошли к окну и смотрели на месяц... Глаза у всех каменные, зрачков нет... Ух!

Она вздрогнула.

— Да это поэтический сон — я его запишу! — сказал Райский.

— Побежали дети в разные стороны,— продолжала Марфенька,— и всё тихо, не перебирая ногами... Статуи как будто советовались друг с другом, наклоняли головы, шептались... Нимфы взялись за руки и кружились, глядя на месяц...— Я вся тряслась от страха.— Сова встрепенулась крыльями и носом почесала себе грудь... Марс обнял Венеру, она положила ему голову на плечо, они стояли, все другие ходили или сидели группами. Только Геркулес не двигался. Вдруг и он поднял голову, потом начал тихо выпрямляться, плавно подниматься с своего места. Большой такой, до потолка! Он обвел всех глазами, потом взглянул в мой угол... и вдруг задрожал, весь выпрямился, поднял руку; все в один раз взглянули туда же, на меня — на минуту остолбенели, потом все кучей бросились прямо ко мне...

— Ну, что же вы, Марфа Васильевна? — спросил Викентьев.

— Как я закричу!

— Ну?

— Ну, и проснулась — и с полчаса все тряслась, хотела кликнуть Федосью, да боялась пошевелиться — так до утра и не спала. Уж пробило семь, как я заснула.

— Прелесть — сон, Марфенька! — сказал Райский.— Какой грациозный, поэтический! Ты ничего не прибавила?

— Ах, братец, да где же мне все это выдумать! Я так все вижу и теперь, что нарисовала бы, если б умела...

— Надо морковного соку выпить,— заметила бабушка,— это кровь очищает.

— Ну, теперь позвольте мне...— начал Викентьев торопливо,— я будто иду по горе, к собору, а навстречу мне будто Нил Андреич, на четвереньках, голый...

— Полно тебе, что это, сударь, при невесте!..— остановила его Татьяна Марковна.

— Ей-богу, правда...

— Это нехорошо, не к добру...

— Говорите, говорите! — одобрял Райский.

— А верхом на нем будто Полина Карповна, тоже...

— Перестанешь ли молоть? — сказала Татьяна Марковна, едва удерживаясь от смеху.

— Сейчас кончу. Сзади будто Марк Иванович погоняет Тычкова поленом, а впереди Опенкин, со свечой, и музыка...

Все захохотали.

— Все сочинил, бабушка, сейчас сочинил, не верьте ему! — сказала Марфенька.

— Ей-богу, нет! и все будто, завидя меня, бросились, как ваши статуи, ко мне, я от них: кричал, кричал, даже Семен пришел будить меня — ей-богу правда, спросите Семена!..

— Ну, тебе, батюшка, ужо на ночь дам ревеню или постного масла с серой. У тебя глисты должны быть. И ужинать не надо.

— Я напомню ужо бабушке: вот вам! — сказала Марфенька Викентьеву.

— Ну, Вера, скажи свой сон — твоя очередь! — обратился Райский к Вере.

— Что такое я видела? — старалась она припомнить,— да, молнию, гром гремел — и кажется, всякий удар падал в одно место...

— Какая страсть! — сказала Марфенька,— я бы закричала.

— Я была где-то на берегу,— продолжала Вера,— у моря, передо мной какой-то мост, в море. Я побежала по мосту — добежала до половины; смотрю, другой половины нет, ее унесла буря...

— Все? — спросил Райский.

— Все.

— И этот сон хорош, и тут поэзия!

— Я не вижу обыкновенно снов или забываю их,— сказала она,— а сегодня у меня был озноб: вот вам и поэзия!

— Да ведь все дело в ознобе и жаре; худо, когда ни того, ни другого нет.

— А вы, братец? теперь вам говорить! — напомнила ему Марфенька.

— Вообразите, я всю ночь летал.

— Как летали?

— Так: будто крылья явились.

— Это бывает к росту,— сказала бабушка,— кажется, тебе уж не кстати бы...

— Я сначала попробовал полететь по комнате,— продолжал он,— отлично! Вы все сидите в зале, на стульях, а я, как муха, под потолок залетел. Вы на меня кричать, пуще всех бабушка. Она даже велела Якову ткнуть меня половой щеткой, но я пробил головой окно, вылетел и взвился над рощей... Какая прелесть, какое новое, чудесное ощущение! Сердце бьется, кровь замирает, глаза видят далеко. Я то поднимусь, то опущусь — и когда однажды поднялся очень высоко, вдруг вижу, из-за куста, в меня целится из ружья Марк...

— Этот всем снится; вот сокровище далось: как пугало,— сказала Татьяна Марковна.

— Я его вчера видел с ружьем — на острове, он и приснился. Я ему стал кричать изо всей мочи, во сне,— продолжал Райский,— а он будто не слышит, все целится.., наконец..,

— Ну, братец,— ах, это интересно...

— Ну, я и проснулся!

— Только? ах, как жаль! — сказала Марфенька.

— А тебе хотелось, чтоб он меня застрелил?

— Чего доброго, от него станется и наяву,— ворчала бабушка.— А что он, отдал тебе восемьдесят рублей?

— Нет, бабушка, я не спрашивал.

— Все вы мало богу молитесь, ложась спать,— сказала она,— вот что! А как погляжу, так всем надо горькой соли дать, чтоб чепуха не лезла в голову.

— А вы, бабушка, видели какой-нибудь сон? расскажите. Теперь ваша очередь! — обратился к ней Райский.

— Стану я пустяки болтать!

— Расскажите, бабушка! — пристала и Марфенька.

— Бабушка, позвольте, я расскажу за вас, что вы видели?— вызвался Викентьев.

— А ты почем знаешь бабушкины сны?

— Я угадаю.

— Ну, угадывай.

— Вам снилось,— начал он,— что мужики отвезли хлеб на базар, продали и пропили деньги. Это во-первых...

Все засмеялись.

— Какой отгадчик! — сказала бабушка.

— Во-вторых, что Яков, Егор, Прохор и Мотька, пьяные, забрались на сеновал, закурили трубки и наделали пожар...

— Типун тебе, право — болтун этакий! Поди, я уши надеру!

— В-третьих, что все девки и бабы, в один вечер, съели всё варенье, яблоки, растаскали сахар, кофе...

Опять смех.

— Что Савелий до смерти убил Марину...

— Полно, тебе говорят!..— унимала сердито Татьяна Марковна.

— И; наконец,— торопливо досказывал он, так что на зубах вскочил пузырь,— что земская полиция в деревне велела делать мостовую и тротуары, а в доме поставили роту солдат...

— Вот, я же тебя, я же тебя — на, на, на! — говорила бабушка, встав с места и поймав Викентьева за ухо.— А еще жених — болтает вздор какой!

— А ловко, мастерски подобрал! — поощрял Райский. Марфенька смеялась до слез, и даже Вера улыбалась. Бабушка села опять.

— Это вам только лезет в голову такая бестолочь! — сказала она.

— Видите же и вы какие-нибудь сны, бабушка? — заметил Райский.

— Вижу, да не такие безобразные и страшные, как вы все.

— Ну, что, например, видели сегодня?

Бабушка стала припоминать.

— Видела что-то, постойте... Да: поле видела, на нем будто лежит... снег.

— А еще? — спросил Райский.

— А на снегу щепка...

— И все?

— Чего ж еще? И слава богу, кричать и метаться не нужно!

XXII

Весь день все просидели, как мокрые куры, рано разошлись и легли спать. В десять часов вечера все умолкло в доме. Между тем дождь перестал, Райский надел пальто, пошел пройтись около дома. Ворота были заперты, на улице стояла непроходимая грязь, и Райский пошел в сад.

Было тихо, кусты и деревья едва шевелились, с них капал дождь. Райский обошел раза три сад и прошел через огород, чтоб посмотреть, что делается в поле и на Волге.

Темнота. На горизонте скопились удалявшиеся облака, и только высоко над головой слабо мерцали кое-где звезды. Он вслушивался в эту тишину и всматривался в темноту, ничего не слыша и не видя.

Направо туман; левее черным пятном лежала деревня, дальше безразличной массой стлались поля. Он дохнул в себя раза два сырого воздуха и чихнул.

Вдруг он услышал, что в старом доме отворяется окно. Он взглянул вверх, но окно, которое отворилось, выходило не к саду, а в поле, и он поспешил в беседку из акаций, перепрыгнул через забор и попал в лужу, но остался на месте, не шевелясь.

— Это вы? — спросил шепотом кто-то из окна нижнего этажа,— конечно, Вера, потому что в старом доме никого, кроме ее, не было.

У Райского затряслись колени, однако он невнятным шепотом отвечал: «Я».

— Сегодня я не могла выйти — дождик шел целый день; завтра приходите туда же в десять часов... Уйдите скорее, кто-то идет!

Окно тихо затворилось. Райский все стоял.

«Куда «туда же»? — спрашивал он мучительно себя, проклиная чьи-то шаги, помешавшие услышать продолжение разговора.— Боже! так это правда: тайна есть (а он все не верил) — письмо на синей бумаге — не сон! Свидания! Вот она, таинственная «Ночь»! А мне проповедовала о нравственности!»

Он пошел навстречу шагам.

— Кто тут? — громко закричал голос, и с этим вопросом идущий навстречу начал колотить что есть мочи в доску.

— Ну тебя к черту! — с досадой сказал Райский, отталкивая Савелья, который торопливо подошел к нему.— Давно ли ты стал дом стеречь?

— Барыня приказали,— отвечал Савелий,— мошенники в здешних местах есть... беглые... тоже из бурлаков ходят шалить...

— Врешь все! — с досадой продолжал Райский,— ты подглядываешь за Мариной: это... скверно,— хотел он сказать, но не договорил и пошел.

— Позвольте о Марине слово молвить! — остановил его Савелий.

— Ну?

— Нельзя ли ее в полицию отправить?

— Ты с ума сошел,— сказал Райский, уходя. Савелий за ним.

— Сделайте божескую милость,— говорил он,— хоть в Сибирь сошлите ее!

Райский погружен был в свой новый «вопрос» о разговоре Веры из окна и продолжал идти.

— Или хоша в рабочий дом — па всю жисть...— говорил Савелий, не отставая от него.

— За что? — спросил вдруг Райский, остановившись.

— Да опять того... почтальон ходит все... Плетьми бы приказали ее высечь...

— Тебя! — сказал Райский,— чтоб ты не дрался...

— Воля ваша!

— Да не подсматривал! это... скверно...— сквозь зубы проговорил он, взглянув на окно Веры.

Он ушел, а Савелий неистово застучал в доску.

Райский почти не спал целую ночь и на другой день явился в кабинет бабушки с сухими и горячими глазами. День был ясный. Все собрались к чаю. Вера весело поздоровалась с ним. Он лихорадочно пожал ей руку и пристально поглядел ей в глаза. Она — ничего, ясна и покойна...

— Как ты кокетливо одета сегодня! — сказал он.

— Вы находите простенькую палевую блузу кокетливой?

— А пунцовая лента, а прическа, с длинной, небрежно брошенной прядью волос на плечо, а пояс с этим изящным бантом, ботинки, прошитые пунцовым шелком! У тебя бездна вкуса, Вера, я восхищаюсь!

— Очень рада, что нравлюсь вам; только вы как-то странно восхищаетесь. Скажите, отчего?

— Хорошо, скажу, пойдем гулять.

— Когда?

— В десять часов.

Она быстро и подозрительно взглянула на него. Он заметил этот взгляд.

«Напрасно я сказал так определительно — в *десять часов*,— подумал он,— надо бы было сказать *часов в десять*... Она догадалась...»

— Хорошо, пойдемте! — согласилась она, подумавши,— теперь еще рано, нет десяти часов.

Она села в угол и молчала, избегая его взглядов и не отвечая на вопросы. В исходе десятого она взяла рабочую корзинку, зонтик и сделала ему знак идти за собой.

Они шли молча по аллее от дома; свернули в другую, прошли сад, наконец остановились у обрыва. Тут была лавка. Они сели.

— Вера! — начал он, едва превозмогая смущение,— я нечаянно, кажется, узнал часть твоего секрета...

— Да, кажется! — холодно сказала она,— вчера вы подслушали мои слова...

— Нечаянно, клянусь тебе честью...

— Верю,— перебила она, взглянув на него мельком,— ну что же?

— Ничего... Итак... ты любишь кого-то! Сомнения исчезли и... Но кто же он?

— Не скажу, не спрашивайте! — сухо сказала она.

Он вздохнул.

— Сам знаю, что глупо спрашивать, а хочется знать. Кажется, я бы... Ах, Вера, Вера,— кто же даст тебе больше счастья, нежели я? Почему же ты *ему* веришь, а мне нет? Ты меня судила так холодно, так строго, а кто тебе сказал, что тот, кого ты любишь, даст тебе счастья больше, нежели на полгода? — Почему ты веришь?

— Потому что люблю!

— Любишь! — с жалостью сказал он,— боже мой, какой счастливец! И чем он заплатит тебе за громадность счастья, которое ты даешь? Ты любишь, друг мой, будь осторожна: кому ты веришь?..

— Пока еще самой себе...

— Кого ты любишь?

— Кого?..— повторила она, глядя на него пристально бесцветным, загадочным «русалочным» взглядом.— Да вас...

У него захватило было дух.

Внизу в роще раздался в это время выстрел.

Она быстро встала со скамьи.

— А это что: это... он? — спросил Райский, меняясь в лице.

— Мне пора — десять часов! — сказала она, видимо встревоженная, стараясь не глядеть на Райского.

Она подошла к обрыву, он ступил шаг за ней. Она сделала ему знак рукой, чтоб он остался.

— Что значит этот выстрел? — спросил он с испугом.

— Меня зовет...

— Кто?

— Автор синего письма... Ни шагу за мной! — шепнула она ему сильно,— если не хотите, чтоб я...

— Вера!

— Ни шагу — никогда! — повторила она, спускаясь с обрыва,— или я оставлю дом навсегда!

Она скользнула в кусты.

— Вера, Вера! Берегись! — кричал он в отчаянии и стал слушать.

Он слышал только, как раза два под ее торопливыми шагами затрещали сухие ветки, потом настала тишина.

— Боже мой! — в отчаянной зависти вскрикнул он.— Кто он, кто этот счастливец?..

— «Люблю вас!» говорит она. Меня! Что, если правда... А выстрел? — шептал он в ужасе,— а автор синего письма? Что за тайна! кто это?..

XXIII

А никто другой, как Марк Волохов, этот пария, циник, ведущий бродячую, цыганскую жизнь, занимающий деньги, стреляющий в живых людей, объявивший, как Карл Мор, по словам Райского, войну обществу, живущий под присмотром полиции, словом отверженец, «Варрава»!

И как Вера, это изящное создание, взлелеянное под крылом бабушки, в уютном, как ласточкино гнездо, уголке, этот перл, по красоте, всего края, на которую робко обращались взгляды лучших женихов, перед которой робели смелые мужчины, не смея бросить на нее нескромного взгляда, рискнуть любезностью или комплиментом,— Вера, покорившая даже самовластную бабушку, Вера, на которую ветерок не дохнул,— вдруг идет тайком на свидание с опасным, подозрительным человеком! Где она сошлась и познакомилась с ним, когда ему загражден доступ во все дома?

Очень просто и случайно. В конце прошлого лета, перед осенью, когда поспели яблоки и пришла пора собирать их, Вера сидела однажды вечером в маленькой беседке из акаций, устроенной над забором, близ старого дома, и глядела равнодушно в поле, потом вдаль на Волгу, на горы. Вдруг она заметила, что в нескольких шагах от нее, в фруктовом саду, ветви одной яблони нагибаются через забор.

Она наклонилась и увидела покойно сидящего на заборе человека, судя по платью и по лицу, не простолюдина, не лакея, а по летам — не школьника. Он держал в руках несколько яблок и готовился спрыгнуть.

— Что вы тут делаете? — вдруг спросила она.

Он поглядел на нее с минуту.

— Вы видите, лакомлюсь.

Он закусил одно яблоко.

— Не хотите ли? — говорил он, подвигаясь к ней по забору и предлагая ей другое.

Она отступила от забора на шаг и глядела на него с любопытством, но без страха.

— Кто вы такой? — сказала она строго,— и зачем лазите по чужим заборам?

— Кто я такой — до того вам нужды нет. А зачем лазаю по заборам — я уж вам сказал: за яблоками.

— И вам не совестно? Вы, кажется, не мальчик.

— Чего совеститься?

Он усмехнулся.

— Брать тихонько чужие яблоки! — упрекнула она.

— Они мои, а не чужие: *вы* воруете их у меня!

Она молчала, продолжая смотреть на него с любопытством.

— Вы, верно, не читали Прудона,— сказал он и взглянул на нее пристально.— Да какая вы красавица! — вдруг прибавил он потом, как в скобках.— Что Прудон говорит, не знаете?

— La propriété c'est le vol[1],— сказала она.

— Читали! — с удивлением произнес он, глядя на нее во все глаза.

Она отрицательно покачала головой.

— Ну, слышали: эта божественная истина обходит весь мир. Хотите, принесу Прудона? Он у меня есть.

— Вы не мальчик,— повторила она,— а воруете чужие яблоки и верите, что это не воровство, потому что господин Прудон сказал...

Он быстро взглянул на нее.

— Вы верите же тому, что вам сказали в пансионе или институте... или... Да скажите, вы кто? Это сад Бережковой — вы не внучка ли ее? Мне говорили, что у ней есть две внучки, красавицы...

— Что вам за дело, кто я,— и я скажу?

— Ну, так вы верите же в истины, что преподала вам бабушка...

— Я верю тому, что меня убеждает.

Он снял фуражку и поклонился.

— И я тоже. Так вы считаете преступным, что я беру эти яблоки...

— Неприличным.

— И убеждены в этом?

— Да.

— Я хоть не убежден, но уступаю вам: возьмите остальные четыре яблока! — сказал он, подавая их ей.

— Я их дарю вам.

Он опять снял фуражку, иронически поклонился ей и закусил другое яблоко.

— Вы красавица,— повторил он,— вдвойне красавица. И хороши собой, и умны. Жаль, если украсите собой существование какого-нибудь идиота. Вас отдадут, бедную...

— Пожалуйста, без сожалений! Не отдадут, я — не яблоко...

---

[1] Собственность — это кража (*франц.*).

— Кстати о яблоках: в благодарность за подарок я вам принесу книг. Вы любите читать?

— Прудона?

— Да, с братией. У меня все новое есть. Только вы не показывайте там бабушке или тупоумным вашим гостям. Я хотя и не знаю вас, а верю, что вы не связываетесь с ними...

— Почему вы знаете? вы пять минут видите меня...

— Шила в мешке не утаишь. Сразу видно — свободный ум — стало быть, вы живая, а не мертвая: это главное. А остальное все придет, нужен случай. Хотите, я...

— Ничего не хочу; «свободный ум» сами говорите, а уж хотите завладеть им. Кто вы и с чего взяли учить?

Он с удивлением поглядел на нее.

— Ни книг не носите, ни сами больше не ходите сюда,— сказала она, отходя от забора.— Здесь сторож есть: он поймает вас — нехорошо!

— Вот опять понесло от вас бабушкой, городом и постным маслом! А я думал, что вы любите поле и свободу. Вы не боитесь ли меня? Кто я такой, как вы думаете?

— Не знаю, семинарист, должно быть,— сказала она небрежно.

Он засмеялся.

— Почему вы думаете?

— Они неопрятны, бедно одеты, всегда голодны... Подите на кухню, я велю вас накормить.

— Покорно благодарю. Кроме этого, вы ничего другого в семинаристах не заметили?

— Я ни с одним не знакома и мало видела их. Они такие неотесанные, говорят смешно...

— Это наши настоящие миссионеры, нужды нет, что говорят смешно. «Немощные и худородные» — именно те, кого нужно. Они пока сослепа лезут на огонь да усердно...

— На какой огонь?

— На свет, к новой науке, к новой жизни... Разве вы ничего не знаете, не слыхали? Какая же вы...

— Что же семинаристы?

— Их держат в потемках, умы питают мертвечиной и вдобавок порют нещадно; вот кто позадорнее из них, да еще из кадет — этих вовсе не питают, а только порют — и падки на новое, рвутся из всех сил — из потемок к свету... Народ молодой, здоровый, свежий, просит воздуха и пищи, а нам таких и надо...

— Кому *нам*?

— Кому? сказать? Новой, грядущей силе...

— Так вы — «новая, грядущая сила»? — спросила она, глядя на него с любопытством и иронией.— Да кто вы такой? Или имя ваше — тайна?

— Имя? Вы не испугаетесь?

— Не знаю, может быть: говорите.

— Марк Волохов. Ведь это все равно здесь, в этом промозглом углу, что Пугачев или Стенька Разин.

Она опять с любопытством поглядела на него.

— Вот вы кто! — сказала она.— Вы, кажется, хвастаетесь своим громким именем! Я слышала уж о вас. Вы стреляли в Нила Андреича и травили одну даму собакой... Это «новая сила»? Уходите — да больше не являйтесь сюда...

— А то бабушке пожалуетесь?

— Непременно. Прощайте!

Она сошла с беседки и не слыхала его последних слов. А он жадно следил за ней глазами.

— Вот если б это яблоко украсть! — проговорил он, прыгая на землю.

Однако она бабушке не сказала ни слова, а рассказала только своей приятельнице, Наталье Ивановне, обязав ее тоже никому не говорить.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Вера, расставшись с Райским, еще подождала, чутко вслушиваясь, не следует ли он за ней, и вдруг бросилась в кусты, раздвигая ветви зонтиком и скользя, как тень, по знакомой ей тропинке.

Она пробралась к развалившейся и полусгнившей беседке в лесу, который когда-то составлял часть сада. Крыльцо отделилось от нее, ступени рассохлись, пол в ней осел, и некоторые доски провалились, а другие шевелились под ногами. Оставался только покривившийся набок стол, да две скамьи, когда-то зеленые, и уцелела еще крыша, заросшая мхом.

В беседке сидел Марк. На столе лежало ружье и кожаная сумка.

Он подал Вере руку и почти втащил ее в беседку по сломанным ступеням.

— Что так поздно?

— Брат задержал,— сказала она, поглядев на часы.— Впрочем, я только четверть часа опоздала. Ну, что вы? ничего не случилось нового?

— А что должно случиться? — спросил он,— разве вы ждали?

— Не посадили ли на гауптвахту опять, или в полицию? Я каждый день жду...

— Нет, я теперь стал осторожнее, после того как Райский порисовался и свеликодушничал, взял на себя историю о книгах...

— Вот этого я не люблю в вас, Марк...

— Чего «этого»?

— Какой-то сухости, даже злости ко всему, кроме себя. Брат не рисовался совсем, он даже не сказал мне. Вы не хотите оценить доброй услуги.

— Я ценю по-своему.

— Как волк оценил услугу журавля. Ну, что бы сказать ему «спасибо» от души, просто, как он просто сделал? Прямой вы волк! — заключила она, замахнувшись ласково зонтиком на него.— Все отрицать, порицать, коситься на всех... Гордость это или...

— Или что?

— Тоже рисовка, позированье, новый образ воспитания «грядущей силы»...

— Ах, вы насмешница! — сказал он, садясь подле нее,— вы еще молоды, не пожили, не успели отравиться всеми прелестями доброго старого времени. Когда я научу вас человеческой правде?

— А когда я отучу вас от волчьей лжи?

— За словом в карман не ходите: умница! С вами не скучно. Если б еще к этому...

Он почесал задумчиво голову.

— В полицию посадили! — договорила она.— Кажется, только этого недостает для вашего счастья!

— Не будь вас, давно бы куда-нибудь упекли. Вы мешаете...

— Вам скучно жить мирно, бури хочется! А обещали мне и другую жизнь, и чего-чего не обещали! Я была так счастлива, что даже дома заметили экстаз. А вы опять за свое!

Он взял ее за руку.

— Хорошенькая рука,— сказал он, целуя несколько раз, и потянулся поцеловать ее в щеку, но она отодвинулась.

— Опять нет! Скоро ли это воздержание кончится? Вы, должно быть, боитесь успенского поста? Или бережете ласки для...

— Не люблю я, когда вы шутите! — отдернув руку, сказала она.— Вы это знаете.

— Тон нехорош?

— Да́, неприятный. Прежде отучитесь от него и вообще от этих волчьих манер: это и будет первый шаг к человеческой правде!

— Ах, вы барышня! девочка! На какой еще азбуке сидите вы: на манерах да на тоне! Как медленно развиваетесь вы в женщину! Перед вами свобода, жизнь, любовь, счастье — а вы разбираете тон, манеры! Где же человек, где женщина в вас?.. Какая тут «правда»!

— Вот теперь, как Райский, заговорили...

— А что он, все страстен?

— Еще больше. Я не знаю, право, что с ним делать.

— Что? Дурачить, тянуть...

— Гадко, неловко, совестно,— сказала она, качая головой.— И не умею я, это не мое дело!

— Совестно! вы думаете, он не дурачит вас?

Она покачала с сомнением головой.

— Нет, он, кажется, увлекается...

— Тем хуже; он ухаживает, как за своей крепостной. Эти стихи, что вы мне показывали, отрывки ваших разговоров — все это ясно, что он ищет развлечения. Надо его проучить...

— Лучше все открыть ему — он уедет. Он говорит, что тайна поддерживает в нем раздражение и что если он узнает все, то успокоится и уедет...

— Врет, не верьте, хитрит. А лишь узнает, то возненавидит вас или будет читать мораль, еще скажет, пожалуй, бабушке...

— Боже сохрани! — перебила Вера, вздрогнув,— если ей скажет кто-нибудь другой, а не мы сами... Ах, скорее бы! Уехать мне разве на время?..

— Куда вы уедете! Надолго — нельзя и некуда, а ненадолго — только раздражите его. Вы уезжали, что ж вышло? Нет, одно средство, не показывать ему истины, а водить. Пусть порет горячку, читает стихи, смотрит на луну... Ведь он неизлечимый романтик... После отрезвится и уедет...

Она вздохнула в ответ.

— Он не романтик, а поэт, артист,— сказала она.— Я начинаю верить в него. В нем много чувства, правды... Я ничего не скрыла бы от него, если б у него у самого не было ко мне того, что он называл страстью. Только чтоб его немного охладить, я решаюсь на эту глупую, двойную роль... Лишь отрезвится, я сейчас ему скажу первая все — и мы будем друзья.

— Да ну его! — сказал Марк, взяв ее опять за руку.— Мы не затем сошлись, чтоб заниматься им.

Он молча целовал у ней руку. Она задумчиво отдала ее ему на волю.

— Ну что же вы? — спросила она, отряхивая задумчивость.

— А что?

— Что делали, с кем виделись это время? не проговорились ли опять чего-нибудь о «грядущей силе», да о «заре будущего», о «юных надеждах»? Я так и жду каждый день; иногда от страха и тоски не знаю куда деться!

— Нет, нет,— смеясь, сказал Марк,— не бойтесь. Я бросил этих скотов; не стоит с ними связываться.

— Ах, дай бог: умно бы сделали! Вы хуже Райского в своем роде, вам бы нужнее был урок. Он артист, рисует, пишет повести. Но я за него не боюсь, а за вас у меня душа не покойна. Вон у Лозгиных младший сын, Володя,— ему четырнадцать лет — и тот вдруг объявил матери, что не будет ходить к обедне.

— Что же?

— Высекли, стали добираться — отчего? На старшего показал. А тот забрался в девичью да горничным целый вечер проповедовал, что глупо есть постное, что бога нет и что замуж выходить нелепо...

— Ах! — с ужасом произнес Марк.— Ужели это правда: в девичьей! А я с ним целый вечер, как с путным, говорил, дал ему книг и...

— Уж он в книжную лавку ходил с ними: «Вот бы, говорит купцам, какими книгами торговали!..» Ну, если он проговорится про вас, Марк! — с глубоким и нежным упреком сказала Вера.— То ли вы обещали мне всякий раз, когда расставались и просили видеться опять?

— Все это было давно; теперь я не связываюсь с ними, после того как обещал вам. Не браните меня, Вера! — нахмурясь, сказал Марк.

Он тяжело задумался.

— Если б не вы,— сказал он, взяв ее опять за руку,— завтра бежал бы отсюда.

— А куда? Везде все то же; везде есть мальчики, которым хочется, чтоб поскорей усы выросли, и девичьи тоже всюду есть... Ведь взрослые не станут слушать. И вам не стыдно своей роли? — сказала она, помолчав и перебирая рукой его волосы, когда он наклонился лицом к ее руке.— Вы верите в нее, считаете ее не шутя призванием?

Он поднял голову.

— Роль — какую роль? вспрыснуть живой водой мозги?

— А вы убеждены, что это живая вода?

— Послушайте, Вера, я не Райский,— продолжал он, встав со скамьи.— Вы женщина, и еще не женщина, а почка, вас еще надо развернуть, обратить в женщину. Тогда вы узнаете много тайн, которых и не снится девичьим головам и которых растолковать нельзя: они доступны только опыту... Я зову вас на опыт, указываю, где жизнь и в чем жизнь, а вы остановились на пороге и уперлись. Обещали так много, а идете вперед так туго — и еще учить хотите. А главное — не верите!

— Не сердитесь,— сказала она грудным голосом, от сердца, искренно,— я соглашаюсь с вами в том, что кажется мне верно и честно, и если нейду решительно на эту вашу жизнь и на опыты, так это потому, что хочу сама знать и видеть, куда иду.

— То есть хочу рассуждать!

— Чего же вы требуете? чтоб я не рассуждала?

— Чего, чего! — повторил он,— во-первых, я люблю вас и требую ответа полного... А потом верьте мне и слушайтесь! Разве во мне меньше пыла и страсти, нежели в вашем Райском, с его поэзией? Только я не умею говорить о ней поэтически, да и не надо. Страсть не разговорчива... А вы не верите, не слушаетесь!..

— Посмотрите, чего вы хотите, Марк: чтоб я была глупее самой себя! Сами проповедовали свободу, а теперь хотите быть господином и топаете ногой, что я не покоряюсь рабски...

— Если у вас нет доверия ко мне, вас одолевают сомнения, оставим друг друга,— сказал он,— так наши свидания продолжаться не могут...

— Да, лучше оставим,— сказала и она решительно,— а я

слепо никому и ничему не хочу верить, не хочу! Вы уклоняетесь от объяснений, тогда как я только вижу во сне и наяву, чтоб между нами не было никакого тумана, недоразумений, чтоб мы узнали друг друга и верили... А я не знаю вас и... не могу верить!

— Ах, Вера! — сказал он с досадой,— вы все еще, как цыпленок, прячетесь под юбки вашей наседки-бабушки: у вас ее понятия о нравственности. Страсть одеваете в какой-то фантастический наряд, как Райский... Чем бы прямо от опыта допроситься истины... и тогда поверили бы...— говорил он, глядя в сторону.— Оставим все прочие вопросы— я не трогаю их. Дело у нас прямое и простое, мы любим друг друга... Так или нет?

— Что же, Марк, из этого?

— Ну, если мне не верите, так посмотрите кругом. Весь век живете в поле и лесу и не видите этих опытов... Смотрите сюда, смотрите там...

Он показал ей на кучку кружившихся друг около друга голубей, потом на мелькнувших одна вдогонку другой ласточек.

— Учитесь у них, они не умничают!

— Да,— сказала она,— смотрите и вы: вон они кружатся около гнезд.

Он отвернулся.

— Вон одна опять полетела, вероятно за кормом...

— И к зиме все разлетятся! — небрежно, глядя в сторону, говорил он.

— А к весне воротятся опять в то же гнездо,— заметила она.

— Я вот слушаюсь вас и верю, когда вижу, что вы дело говорите,— сказал он.— Вас смущала резкость во мне,— я сдерживаюсь. Отыскал я старые манеры и скоро буду, как Тит Никоныч, шаркать ножкой, кланяясь, и улыбаться. Не бранюсь, не ссорюсь, меня не слыхать. Пожалуй, скоро ко всенощной пойду... Чего еще!

— Все это шутки,— не того хотела я! — сказала она, вздохнув.

— Чего же?

— Всего! Если не всего, так многого! И до сих пор не добилась, чтоб вы поберегли себя... хоть для меня, перестали бы «вспрыскивать мозги» и остались здесь, были бы, как другие...

— А если я действую по убеждению?

— Чего вы хотите, чего надеетесь?

— Учу дураков!

— Чему? знаете ли сами? Тому ли, о чем мы с вами год здесь спорим? ведь жить так нельзя, как вы говорите. Это все очень ново, смело, занимательно...

— Э! мы опять за то же! опять с горы потянуло мертвым воздухом! — перебил Марк.

— Вот и весь ваш ответ, Марк! — сказала она кротко,— все прочь, все ложь,— а что правда — вы сами не знаете... Оттого я и недоверчива...

— У вас рефлексия берет верх над природой и страстью,— сказал он,— вы барышня, замуж хотите! Это не любовь!.. Это скучно! Мне надо любви, счастья...— твердил он, качая головой.

Вера вспыхнула.

— Если б я была барышня и хотела только замуж, то, конечно, выбрала бы для этого кого-нибудь другого, Марк,— сказала она, вставая с места.

— Простите — я груб! — извинялся он, целуя у ней руку.— Но вы сдерживаете чувство, медлите чего-то, допытываетесь, вместо того чтоб наслаждаться...

— Допытываюсь, кто и что вы, потому что не шучу чувством. А вы на него смотрите легко, как на развлечение...

— Нет, как на насущную потребность, следовательно тоже не шучу... Какие шутки! Я не сплю по ночам, как Райский. Это пытка! Я никогда не думал, чтоб раздражение могло зайти так далеко!

Он говорил почти с злостью.

— Вы говорите, что любите, видите, что я люблю, я зову вас к счастью, а вы его боитесь...

— Нет, я только не хочу его на месяц, на полгода...

— А на целую жизнь и за гробом тоже? — насмешливо спросил он.

— Да, на целую жизнь! я не хочу предвидеть ему конца, а вы предвидите и предсказываете: я и не верю и не хочу такого счастья; оно неискренно и непрочно...

— Когда же я предсказывал?

— Много раз, не нарочно, может быть, а я не пропустила. «Что это за заглядыванье в даль? — твердили вы,— что за филистерство — непременно отмеривать себе счастье саженями да пудами? Хватай, лови его на лету, и потом, после двух, трех глотков, беги прочь, чтоб не опротивело, и ищи другого! Не давай яблоку свалиться, рви его скорей и завтра рви другое. Не кисни на одном месте, как улитка, и не вешайся на одном сучке. Виснуть на шее друг друга, пока виснется, потом разойтись...» Это все вы раскидали по своим проповедям. Стало быть, у вас это сделалось убеждением...

— Ну, «стало быть», так что же? Вы видите, что это не притворство! Отчего же не верите?

— Оттого, что верю чему-то другому, лучше, вернее, и хочу...

— Обратить меня в эту веру?

— Да! — сказала она,— хочу, и это одно условие моего счастья; я другого не знаю и не желаю...

— Прощайте, Вера, вы не любите меня, вы следите за мной, как шпион, ловите слова, делаете выводы... И вот, всякий раз,

как мы наедине, вы — или спорите, или пытаете меня,— а на пункте счастья мы все там же, где были... Любите Райского: вот вам задача! Из него, как из куклы, будете делать, что хотите, наряжать во все бабушкины отрепья или делать из него каждый день нового героя романа, и этому конца не будет. А мне некогда, у меня есть дела...

— А, видите, дела? А любовь, счастье— забава?

— А вы хотели бы, по-старому, из одной любви сделать жизнь, гнездо — вон такое, как у ласточек, сидеть в нем и вылетать за кормом? В этом и вся жизнь!

— А вы хотели бы на минуту влететь в чужое гнездо и потом забыть его...

— Да, если оно забудется. А если не забудется — воротиться. Или прикажете принудить себя воротиться, если и не хочется? Это свобода? Вы как хотели бы?

— Я этого не понимаю — этой птичьей жизни,— сказала она.— Вы, конечно, несерьезно указали вокруг, на природу, на животных...

— А вы — не животное? дух, ангел — бессмертное создание? Прощайте, Вера, мы ошиблись: мне надо не ученицу, а товарища...

— Да, Марк, товарища,— пылко возразила она,— такого же сильного, как вы — равного вам — да, не ученицу, согласна,— но товарища на всю жизнь! Так?

Он не отвечал на ее вопрос, как будто не слыхал его.

— Я думал,— продолжал он,— что мы скоро сойдемся и потом разойдемся,—это зависит от организмов, от темпераментов, от обстоятельств. Свобода с обеих сторон — и затем — что выпадет кому из нас на долю: радость ли обоим, наслаждение, счастье, или одному радость, покой, другому мука и тревоги — это уже не наше дело. Это указала бы сама жизнь, а мы исполнили бы слепо ее назначение, подчинились бы ее законам. А вы вдались в анализ последствий, миновали опыты — и оттого судите вкривь и вкось, как старая дева. Вы не отделались от бабушки, губернских франтов, офицеров и тупоумных помещиков. А где правда и свет — еще не прозрели! Я ошибся! Спи, дитя! Прощайте! Постараемся не видаться больше...

— Да, постараемся, Марк! — уныло произнесла она,— мы счастливы быть не можем... Ужели не можем! — всплеснув руками, сказала потом.— Что нам мешает! Послушайте...— остановила она его тихо, взяв за руку.— Объяснимся до конца... Посмотрим, нельзя ли нам согласиться?..

Она замолчала и утонула в задумчивости, как убитая.

Он ничего не отвечал, встряхнул ружье на плечо, вышел из беседки и пошел между кустов. Она оставалась неподвижная, будто в глубоком сне, потом вдруг очнулась, с грустью и удивлением глядела вслед ему, не веря, чтобы он ушел.

«Говорят: «кто не верит — тот не любит»,— думала она,—

я не верю ему, стало быть... и я... не люблю его? Отчего же мне так больно, тяжело... что он уходит? Хочется упасть и умереть здесь!..»

— Марк! — сказала она тихо.

Он не оглядывался.

— Марк! — громче повторила она.

Он шел.

— Марк! — крикнула она и прислушивалась, не дыша.

Марк быстро шел под гору. Она изменилась в лице и минут через пять машинально повязала голову косынкой, взяла зонтик и медленно, задумчиво поднялась на верх обрыва.

«Правда и свет, сказал он,— думала она, идучи,— где же вы? Там ли, где он говорит, куда влечет меня... сердце? И сердце ли это? И ужели я резонерка? Или правда здесь?..» — говорила она, выходя в поле и подходя к часовне.

Молча, глубоко глядела она в смотрящий на нее задумчивый взор образа.

— Ужели *он* не поймет этого никогда и не воротится — ни сюда... к этой вечной правде... ни ко мне, к правде моей любви? — шептали ее губы.— Никогда! какое ужасное слово!

II

Она бродила дня четыре по роще, ждала в беседке, но ничего не дождалась. Марк туда не приходил.

«Постараемся не видаться больше»,— это были его последние слова. «Нельзя ли нам согласиться?» — отвечала она — и он не обернулся на эту надежду, на этот зов сердца.

От Райского она не пряталась больше. Он следил за ней напрасно, ничего не замечал и впадал в уныние. Она не получала и не писала никаких таинственных писем, обходилась с ним ласково, но больше была молчалива, даже грустна.

Он чаще прежнего заставал ее у часовни молящеюся. Она не таилась и даже однажды приняла его предложение проводить ее до деревенской церкви на гору, куда ходила одна, и во время службы и вне службы, долго молясь и стоя на коленях неподвижно, задумчиво, с поникшей головой.

Он тихо стоял сзади ее, боясь пошевелиться и вызвать ее из молитвенного сна, и наблюдал, онемев в углу за колонной. Потом молча подавал ей зонтик или мантилью.

Она, не глядя на него, принимала его руку и, не говоря ни слова, опираясь иногда ему на плечо, в усталости шла домой. Она пожимала ему руку и уходила к себе.

А он шел, мучась сомнениями, и страдал за себя и за нее. Она не подозревала его тайных мук, не подозревала, какою страстною любовью охвачен был он к ней — как к женщине человек и как к идеалу художник.

Не знала она и того, что рядом с этой страстью, на которую он сам напросился, которую она, по его настоянию, позволила питать, частию затем, что надеялась этой уступкой угомонить ее, частию повинуясь совету Марка, чтобы отводить его глаза от обрыва и вместе «проучить» слегка, дружески, добродушно посмеявшись над ним,— не знала она, что у него в душе все еще гнездилась надежда на взаимность, на ответ, если не страсти его, то на чувство женской дружбы, хоть чего-нибудь.

И как легко верилось ему,— несмотря на очевидность ее посторонних мук, на таинственные прогулки на дно обрыва,— потому что хотелось верить. Бессознательно он даже боялся разувериться окончательно в надежде на взаимность. Верить в эту надежду было его счастьем — и он всячески подогревал ее в себе. Он иначе, в свою пользу, старался объяснить загадочность прогулок.

«Эти выстрелы,— думал он,— значат, может быть, что-нибудь другое: тут не любовь, а иная тайна играет роль. Может быть, Вера несет крест какой-нибудь роковой ошибки; кто-нибудь покорил ее молодость и неопытность и держит ее под другим злым игом, а не под игом любви, что этой последней и нет у нее, что она просто хочет там выпутаться из какого-нибудь узла, завязавшегося в раннюю пору девического неведения, что все эти прыжки с обрыва, тайны, синие письма — больше ничего, как отступления,— не перед страстью, а перед другой темной тюрьмой, куда ее загнал фальшивый шаг и откуда она не знает, как выбраться... что, наконец, в ней проговаривается любовь... к нему... к Райскому, что она готова броситься к нему на грудь и на ней искать спасения...»

Ему казалось иногда, что она обращала к нему немой, молящий взгляд о помощи или вопросительно глядела на него, как будто пытая, силен ли и волен ли он поднять, оправить ее, поставить на ноги, уничтожив невидимого врага, и вывести на прямой путь?

Так он мечтал, волновался, падал в бездну безнадежности, и опять выносила его волна наверх — и все от одного, небрежно брошенного ею слова: «люблю вас...»

Он вздрагивал от счастья, нужды нет, что слово это сопровождалось русалочным взглядом, что с этим словом она исчезла с обрыва.

«Если неправда, зачем она сказала это? для шутки — жестокая шутка! Женщина не станет шутить над любовью к себе, хотя бы и не разделяла ее. Стало быть — не верит мне... и тому, что я чувствую к ней, как я терзаюсь!»

Он мучился в трескучем пламени этих сомнений, этой созданной себе пытки, и иногда рыдал, не спал ночей, глядя на слабый огонь в ее окне.

— Не подозревает, какое злое дело делает она со мной! Палач в юбке! — сквозь зубы шипел он.

И вдруг отрезвлялся, чуял ложь этого ее «вас люблю», ложь своей пьяной уверенности в ее любви, ложь своего положения.

Однажды в сумерки опять он застал ее у часовни молящеюся. Она была покойна, смотрела светло, с тихой уверенностью на лице, с какою-то покорностью судьбе, как будто примирилась с тем, что выстрелов давно не слыхать, что с обрыва ходить более не нужно. Так и он толковал это спокойствие, и тут же тотчас готов был опять верить своей мечте о ее любви к себе.

Она ласково подала ему руку и сказала, что рада его видеть, именно в эту минуту, когда у ней покойнее на сердце. Она, в эти дни, после свидания с Марком, вообще старалась казаться покойной, и дома, за обедом, к которому являлась каждый день, она брала над собой невероятную силу, говорила со всеми, даже шутила иногда, старалась есть.

Бабушка ничего не видала, так казалось по крайней мере, не следила за ней подозрительно, не кидала косых взглядов.

— Вера, ты простишь меня, если я заговорю...— начал робко Райский у часовни.

— Все прощу, брат, говорите! — кротко отвечала она.

— Ты не можешь вообразить себе, как я счастлив, что ты стала покойнее. Посмотри, каким миром сияет у тебя лицо: где ты почерпнула этот мир? Там?

Он указал на часовню.

— Где же больше?

— Ты... не ходишь, кажется, больше туда? — продолжал он, указывая к обрыву.

Она покачала головой.

— И не пойду,— тихо сказала она.

— Слава богу — какое счастье! Куда ты теперь, домой? Дай мне руку. Я провожу тебя.

Он взял ее под руку, и они тихо пошли по тропинке луга.

— Ты борешься... Вера, и отчаянно борешься: этого не скроешь...— шептал он.

Она шла с поникшей головой. Это молчание дало ему надежду, что она выскажется до конца.

— Когда ты одолеешь мучительную и опасную страсть...— продолжал он и остановился, ожидая, не подтвердит ли она эти его намеки явным сознанием.

—Что же, брат, тогда? — спросила она уныло.

— Ты выйдешь с громадным опытом, закаленная против всяких других бурь...

— Куда и для чего я выйду?

— Для лучшей доли...

— Какой лучшей доли?

Он молчал, вспоминая, какую яркую картину страсти чертил он ей в первых встречах и как усердно толкал ее под ее тучу. А теперь сам не знал, как вывести ее из-под нее.

— Доли трезвого, глубокого, разумного и прочного счастья, которое бы протянулось на всю жизнь...

— Я иначе счастья и не разумею...— задумчиво сказала она и, остановясь, опустила лоб на его плечо, как будто усталая.

Он поглядел ей в глаза: в них стояли слезы. Он не подозревал, что вложил палец в рану, коснувшись главного пункта ее разлада с Марком, основной преграды к «лучшей доле»!

— Ты плачешь... Вера, друг мой! — сказал он с участием.

В эту минуту раздался внизу обрыва выстрел и шипящим эхом прокатился по горе. Вера и Райский оба вздрогнули.

Она как будто испугалась, подняла голову и на минуту оцепенела, все слушая. Глаза у ней смотрели широко и неподвижно. В них еще стояли слезы. Потом отняла с силой у него руку и рванулась к обрыву.

Он за ней. Она остановилась на полудороге, приложив руку к сердцу, и опять слушала.

— Пять минут назад ты была тверда, Вера...— говорил он, бледный, и тоже не менее ее взволнованный выстрелом.

Она поглядела машинально на него, не слушая, и сделала шаг опять к обрыву, но повернула назад и медленно пошла к часовне.

— Да, да,— шептала она,— я не пойду. Зачем он зовет! ужели в эти дни совершился переворот?.. Нет, нет, не может быть, чтобы он...

Она стала на пороге часовни на колени, закрыла руками лицо и замерла неподвижно. Райский тихо подошел к ней сзади.

— Не ходи, Вера...— шептал он.

Она вздрогнула, поглядела напряженно на образ: глаза его смотрели задумчиво, бесстрастно. Ни одного луча не светилось в них, ни призыва, ни надежды, ни опоры. Она с ужасом выпрямилась, медленно вставая с колен; Бориса она будто не замечала.

Раздался другой выстрел. Она стремительно бросилась по лугу к обрыву.

«Что, ежели он возвращается... если моя «правда» взяла верх? Иначе зачем зовет?.. О боже!» — думала она, стремясь на выстрел.

— Вера! Вера! — в ужасе говорил Райский, протягивая ей руки, чтоб ей помешать.

Она, не глядя на него, своей рукой устранила его руки и, едва касаясь ногами травы, понеслась по лугу, не оглянулась назад и скрылась за деревьями сада, в аллее, ведущей к обрыву.

Райский онемел на месте.

«Что это, тайна роковая или страсть? — спрашивал он,— или и то, и другое?»

III

Вера вечером пришла к ужину, угрюмая, попросила молока, с жадностью выпила стакан и ни с кем не сказала ни слова.

— Что ты такая скучная, Верочка, здорова ли? — спросила бабушка сухо.

— Да, я не смел вас спросить об этом,— вежливо вмешался Тит Никоныч,— но с некоторых пор (при этом Вера сделала движение плечами) нельзя не заметить, что вы, Вера Васильевна, изменились... как будто похудели... и бледны немножко... Это к вам очень, очень идет,— любезно прибавил он,— но при этом надо обращать внимание на то, не суть ли это признаки болезни?..

— Да у меня зубы немного болят,— нехотя отвечала Вера.— Это скоро пройдет...

Бабушка глядела в сторону и грустно молчала. Райский, держа двумя средними пальцами вилку, задумчиво ударял ею по тарелке. Он тоже ничего не ел и угрюмо молчал. Только Марфенька с Викентьевым ели все, что подавали, и без умолку болтали.

— Что вы этому шарику пожелаете? — спрашивала Марфенька.

— Крысу за пазуху! — без запинки отвечал Викентьев.

— Что вы это! Я бабушке загадала...

И оба старались задушить неистовый хохот, справившись с которым, Марфенька рассердилась на своего жениха «за дерзость» против бабушки.

— Позвольте посоветовать вам, Вера Васильевна,— начал Тит Никоныч, отвечая на возражение Веры,— не пренебрегать здоровьем. Теперь август, вечера становятся сыры. Вы делаете продолжительные прогулки — это прекрасно, ничто так не поддерживает здоровья, как свежий воздух и моцион. Но при этом отнюдь не должно позволять себе выходить по вечерам с открытой головой, а равно и без ботинок на толстой подошве. Особенно дамам при нежной комплексии... Всего лучше при этом брать с собой косыночку теплую... Я видел, только что привезли модные, из легкого козьего пуха... Я уже приобрел три... вам, Татьяне Марковне и Марфе Васильевне... но без вашего позволения не смел представить...

Бабушка с ласковой грустью кивнула ему головой, Вера старалась улыбнуться, а Марфенька без церемонии сказала:

— Ах, какой вы добрый, Тит Никоныч! после ужина я поцелую вас: вы позволите?

— Я не позволю, я ревнив! — сказал Викентьев.

— Вас не спросят! — отвечала Марфенька.

Тит Никоныч заливался застенчивым смехом.

— К вашим услугам, Марфа Васильевна!.. сочту себя счастливым...— приговаривал он.— Какая отменная девица! —

вполголоса добавил он, обращаясь к Райскому,— это распускающаяся, так сказать, роза на стебельке, до коей даже дыхание ветерка не смеет коснуться!

И чмокнул умиленно губами.

«Да, правда, роза в полном блеске! — подумал Райский со вздохом,— а та — как лилия, «до коей» уже, кажется, касается не ветерок, а ураган».

Он глядел на Веру. Она встала, поцеловала руку у бабушки, вместо поклона взглядом простилась с остальными и вышла.

И другие встали из-за стола. Марфенька подбежала к Титу Никонычу и исполнила свое намерение.

— Нельзя ли прислать косыночку завтра? — шептала она ему,— мы утром с Николаем Андреичем на Волгу уйдем... она понадобится...

— С полным моим удовольствием!..— говорил Тит Никоныч, шаркая,— сам завезу...

Она еще поцеловала его в лоб и бросилась к бабушке.

— Ничего, ничего, бабушка! — говорила она, заминая вопрос Татьяны Марковны о том, «что она там шепчет Титу Никонычу?» Но не замяла.

Тит Никоныч не мог солгать Татьяне Марковне и, смягчая, извиняя всячески просьбу Марфеньки, передал бабушке.

— Попрошайка! — упрекнула ее Татьяна Марковна,— иди спать — поздно! А вам, Николай Андреич, домой пора. С богом, покойной ночи!

— Я вас завезу — по обыкновению: у меня дрожки,— сказал любезно Тит Никоныч.

Едва Вера вышла, Райский ускользнул вслед за ней и тихо шел сзади. Она подошла к роще, постояла над обрывом, глядя в темную бездну леса, лежащую у ее ног, потом завернулась в мантилью и села на свою скамью.

Райский издали дал знать о себе кашлем и подошел к ней.

— Я посижу с тобой, Вера,— сказал он,— можно?

Она молча отодвинулась, чтоб дать ему место.

— Ты очень печальна, ты страдаешь!

— Зубы болят...— отвечала она.

— Нет, не зубы — ты вся болишь; скажи мне... что у тебя? Поделись горем со мной...

— Зачем? я сумею снести одна. Ведь я не жалуюсь.

Он вздохнул.

— Ты любишь несчастливо — кого? — шепнул он.

— Опять «кого»? Да вас, боже мой! — сказала она, с нетерпением повернувшись на скамье.

— К чему этот злой смех и за что? Чем я заслужил его? Тем, что страстно люблю, глупо верю и рад умереть за тебя...

— Какой смех! мне не до смеха! — почти с отчаянием ска-

зала она, встала со скамьи и начала ходить взад и вперед по аллее.

Райский оставался на скамье.

«А я все надеялась... и надеюсь еще... безумная! Боже мой! — ломая руки, думала она.— Попробую бежать на неделю, на две, избавиться этой горячки, хоть на время... вздохнуть! сил нет!»

Она остановилась перед Райским.

— Брат! — сказала она,— я завтра уеду за Волгу,— пробуду там, может быть, долее обыкновенного...

— Этого только недоставало! — горестно произнес Райский, не дав договорить.

— Я не простилась с бабушкой,— продолжала она, не обращая внимания на его слова,— она не знает, скажите вы ей, а я уеду на заре.

Он молчал, уничтоженный.

— Теперь и я уеду! — вслух подумал он.

— Напрасно, погодите...— сказала она с примесью будто искренности,— когда я немного успокоюсь...

Она на минуту остановилась.

— Я, может быть, объясню вам... И тогда мы простимся с вами иначе, лучше, как брат с сестрой, а теперь... я не могу!.. Впрочем, нет! — поспешно заключила, махнув рукой,— уезжайте! Да окажите дружбу, зайдите в людскую и скажите Прохору, чтоб в пять часов готова была бричка, а Марину пошлите ко мне. На случай, если вы уедете без меня,— прибавила она задумчиво, почти с грустью,— простимтесь теперь! Простите меня за мои странности... (она вздохнула) и примите поцелуй сестры...

Она обеими руками взяла его голову, поцеловала в лоб и быстро пошла прочь.

— Благодарю вас за все,— сказала она, вдруг обернувшись, издали,— теперь у меня нет сил доказать, как я благодарна вам за дружбу... всего более за этот уголок. Прощайте и простите меня!

Она уходила. Он был в оцепенении. Для него пуст был целый мир, кроме этого угла, а она посылает его из него туда, в бесконечную пустыню! Невозможно заживо лечь в могилу!

— Вера! — кликнул он, торопливо догнав ее.

Она остановилась.

— Позволь мне остаться, пока ты там... Мы не будем видеться, я надоедать не стану! Но я буду знать, где ты, буду ждать, пока ты успокоишься, и — по обещанию — объяснишь... Ты сейчас сама сказала... Здесь близко, можно перекинуться письмом...

Он поводил языком по горячим губам и кидал эти фразы торопливо, отрывисто, как будто боялся, что она уйдет сию минуту и пропадет для него навсегда.

У него была молящая мина, он протянул руку к ней. Она молчала нерешительно, тихо подходя к нему.

— Дай этот грош нищему... Христа ради! — шептал он страстно, держа ладонь перед ней,— дай еще этого рая и ада вместе! дай жить, не зарывай меня живого в землю!..— едва слышно договаривал он, глядя на нее с отчаянием.

Она глядела ему во все глаза и сделала движение плечами, как будто чувствовала озноб.

— Чего вы просите, сами не знаете...— тихо отвечала она.

— Христа ради! — повторял он, не слушая ее и все держа протянутую ладонь.

А она задумалась, глядя на него изредка то с состраданием, то недоверчиво.

— Хорошо, оставайтесь! — прибавила потом решительно,— пишите ко мне, только не проклинайте меня, если ваша «страсть»,— с небрежной иронией сделала она ударение на этом слове,— и от этого не пройдет! — «А может быть, и пройдет...— подумала сама, глядя на него,— ведь это так, фантазия!»

— Всё вынесу — все казни!.. Скорее бы не вынес счастья! а муки... дай их мне: они — тоже жизнь! Только не гони, не удаляй: поздно!

— Как хотите! — сказала она рассеянно, о чем-то думая.

Он ожил, у него нервы заиграли.

А она думала с тоской: «Зачем не *он* говорит это!»

— Хорошо,— сказала она,— так я уеду не завтра, а послезавтра.

И сама будто ожила, и у самой родилась какая-то не то надежда на что-то, не то замысел. Оба стали вдруг довольны, каждый про себя и друг другом.

— Позовите только Марину ко мне теперь же — и покойной ночи!

Он с жаром поцеловал у ней руку, и они разошлись.

IV

Вера, на другой день утром рано, дала Марине записку и велела отдать кому-то и принести ответ. После ответа она стала веселее, ходила гулять на берег Волги и вечером, попросившись у бабушки на ту сторону, к Наталье Ивановне, простилась со всеми и, уезжая, улыбнулась Райскому, прибавив, что не забудет его.

Через день пришел с Волги утром рыбак и принес записку от Веры с несколькими ласковыми словами. Выражения: «милый брат», «надежды на лучшее будущее», «рождающаяся искра нежности, которой не хотят дать ходу» и т. д. обдали Райского искрами счастья.

Он охмелел от письма, вытвердил его наизусть — и к нему воротилась уверенность к себе, вера в Веру, которая являлась ему теперь в каком-то свете правды, чистоты, грации, нежности.

Он забыл свои сомнения, тревоги, синие письма, обрыв, бросился к столу и написал коротенький нежный ответ, отослал его к Вере, а сам погрузился в какие-то хаотические ощущения страсти. Веры не было перед глазами; сосредоточенное, напряженное наблюдение за ней раздробилось в мечты или обращалось к прошлому, уже испытанному. Он от мечтаний бросался к пытливому исканию «ключей» к ее тайнам.

Он смотрит, ищет, освещает темные места своего идеала, пытает собственный ум, совесть, сердце, требуя опыта, наставления,— чего хотел и просит от нее, чего недостает для полной гармонии красоты? Прислушивался к своей жизни, припоминал все, что оскорбляло его в его прежних, несостоявшихся идеалах.

Вся женская грубость и грязь, прикрытая нарядами, золотом, брильянтами и румянами,— густыми волнами опять протекла мимо его. Он припомнил свои страдания, горькие оскорбления, вынесенные им в битвах жизни: как падали его модели, как падал он сам вместе с ними и как вставал опять, не отчаиваясь и требуя от женщин человечности, гармонии красоты наружной с красотой внутренней.

Ему предчувствие говорило, что это последний опыт, что в Вере он или найдет, или потеряет уже навсегда свой идеал женщины, разобьет свою статую в куски и потушит диогеновский фонарь.

Он мучился тем, что видел в ней, среди лучей, туманное пятно — ложь. Отчего эта загадочность, исчезание по целым дням, таинственные письма, прятанье, умалчивание, под которым ползла, может быть, грубая интрига или крылась роковая страсть или какая-то неуловимая тайна — что наконец? «Своя воля, горда»,— говорит бабушка. «Свободы хочу, независимости»,— подтверждает она сама, а между тем прячется и хитрит! Гордая воля и независимость никого не боятся и открыто идут избранным путем, презирая ложь и мышиную беготню и вынося мужественно все последствия смелых и своевольных шагов! «Признайся в них, не прячься — и я поклонюсь твоей честности!» — говорил он. У своевольных женщин — свои понятия о любви, добродетели, о стыде, и они мужественно несут терния своих пороков. Вера проповедует своеобразие понятий, а сама не следует им открыто, она скрывается, обманывает его, бабушку, весь дом, весь город, целый мир!

Нет, это не его женщина! За женщину страшно, за человечество страшно,— что женщина может быть честной только случайно, когда любит, перед тем только, кого любит, и только

в ту минуту, когда любит, или тогда, наконец, когда природа отказала ей в красоте, следовательно — когда нет никаких страстей, никаких соблазнов и борьбы, и нет никому дела до ее правды и лжи!

«Ложь — это одно из проклятий сатаны, брошенное в мир...— говорил он.— Не может быть в ней лжи...» — утешался потом, задумываясь, и умилялся, припоминая тонкую, умную красоту ее лица, этого отражения души. Какой правдой дышало оно! «Красота — сама сила: зачем ей другая, непрочная сила — ложь!» — «Однако!» — потом с унынием думал он, добираясь до правды: отчего вдруг тут же, под носом, выросло у него это «однако»? Выросло оно из опытов его жизни, выглянуло из многих женских знакомых ему портретов, почти из всех любвей его... Любвей!

Он залился заревом стыда и закрыл лицо руками.

«Любви! встречи без любви! — терзался он внутренно,— какое заклятие лежит над людскими нравами и понятиями! Мы, сильный пол, отцы, мужья, братья и дети этих женщин, мы важно осуждаем их за то, что сорят собой и валяются в грязи, бегают по кровлям... Клянем — и развращаем в то же время! Мы не оглянемся на самих себя, снисходительно прощаем себе... собачьи встречи!.. открыто, всенародно носим свой позор, свою нетрезвость, казня их в женщине! Вот где оба пола должны довоспитаться друг до друга, идти параллельно, не походя, одни — на собак, другие — на кошек, и оба вместе — на обезьян! Тогда и кончится этот нравственный разлад между двумя полами, эта путаница понятий, эти взаимные обманы, нарекания, измены! А то выдумали две нравственности: одну для себя, другую для женщин!»

Он погрузился в собственные воспоминания о ранних годах молодости — и лег на диван. Долго лежал он, закрыв лицо, и встал бледный, истерзанный внутренней мукой.— «Какая перспектива грубости, лжи, какая отрава жизни! И целые века проходят, целые поколения идут, утопая в омуте нравственного и физического разврата,— и никто, ничто не останавливает этого мутного потока слепо распутной жизни! Разврат выработал себе свои обычаи, почти принципы, и царствует в людском обществе, среди хаоса понятий и страстей, среди анархии нравов...»

Потом опять бросался к Вере, отыскивая там луча чистоты, правды, незараженных понятий, незлоупотребленного чувства, красоты души и тела, нераздельно-истинной красоты!

Он перебирал каждый ее шаг, как судебный следователь, и то дрожал от радости, то впадал в уныние и выходил из омута этого анализа ни безнадежнее, ни увереннее, чем был прежде, а все с той же мучительной неизвестностью, как купающийся человек, который, думая, что нырнул далеко, выплывает опять на прежнем месте.

Он старался оправдать загадочность ее поведения с ним, припоминая свой быстрый натиск: как он вдруг предъявил свои права на ее красоту, свое удивление последней, поклонение, восторги, вспоминал, как она сначала небрежно, а потом энергически отмахивалась от его настояний, как явно смеялась над его страстью, не верила и не верит ей до сих пор, как удаляла его от себя, от этих мест, убеждала уехать, а он напросился остаться!

«Да, она права, я виноват!» — думал он, теряясь в соображениях.

Потом он вспомнил, как он хотел усмирить страсть постепенно, поддаваясь ей, гладя ее по шерсти, как гладят злую собаку, готовую броситься, чтоб задобрить ее,— и пятясь задом, уйти подобру-поздорову. Зачем она тогда не открыла ему имени своего идола, когда уверена была, что это мигом отняло бы все надежды у него и страсть остыла бы мгновенно?

Чего это ей стоило? Ничего! Она знала, что тайна ее останется тайной, а между тем молчала и как будто умышленно разжигала страсть. Отчего не сказала? Отчего не дала ему уехать, а просила остаться, когда даже он велел... Егорке принести с чердака чемодан? Кокетничала — стало быть, обманывала его! И бабушке не велела сказывать, честное слово взяла с него — стало быть, обманывает и ее, и всех!

«Она, она виновата!»

Он стал писать дневник. Полились волны поэзии, импровизации, полные то нежного умиления и поклонения, то живой, ревнивой страсти и всех ее бурных и горячих воплей, песен, мук, счастья.

Самую любовь он обставлял всей прелестью декораций, какою обставила ее человеческая фантазия, осмысливая ее нравственным чувством и полагая в этом чувстве, как в разуме, «и может быть, тут именно более, нежели в разуме» (писал он), бездну, отделившую человека от всех не человеческих организмов. «Великая любовь неразлучна с глубоким умом: широта ума равняется глубине сердца — оттого крайних вершин гуманности достигают только великие сердца — они же и великие умы!» — проповедовал он. Изменялись краски этого волшебного узора, который он подбирал как художник и как нежный влюбленный, изменялся беспрестанно он сам, то падая в прах к ногам идола, то вставая и громя хохотом свои муки и счастье. Не изменялась только нигде его любовь к добру, его здравый взгляд на нравственность. «Веруй в бога, знай, что дважды два четыре, и будь честный человек, говорит где-то Вольтер,— писал он,— а я скажу — люби женщина кого хочешь, люби по-земному, но не по-кошачьи только и не по расчету, и не обманывай любовью!

Честная женщина! — писал он,— требовать этого, значит

требовать всего. Да, это все! Но не требовать этого значит тоже ничего не требовать, оскорблять женщину, ее человеческую натуру, творчество бога, значит прямо и грубо отказывать ей в правах на равенство с мужчиной, на что женщины справедливо жалуются. Женщина — венец создания,— да, но не Венера только. Кошка коту кажется тоже венцом создания, Венерой кошачьей породы! женщина — Венера, пожалуй, но осмысленная, одухотворенная Венера, сочетание красоты форм с красотой духа, любящая и честная, то есть идеал женского величия, гармония красоты!»

Все это глубокомыслие сбывал Райский в дневник с надеждой прочесть его при свидании Вере, а с ней продолжал меняться коротенькими, дружескими записками.

От пера он бросался к музыке и забывался в звуках, прислушиваясь сам с любовью, как они пели ему его же страсть и гимны красоте. Ему хотелось бы поймать эти звуки, формулировать в стройном создании гармонии.

Из этих волн звуков очертывалась у него в фантазии какая-то музыкальная поэма: он силился уловить тайну создания и три утра бился, изведя толстую тетрадь нотной бумаги. А когда сыграл на четвертое утро написанное, вышла... полька-редова, но такая мрачная и грустная, что он сам разливался в слезах, играя ее.

Он удивился такому скудному результату своих роскошных импровизаций, положенных на бумагу, и со вздохом сознался, что одной фантазией не одолеешь музыкальной техники.

«Что, если и с романом выйдет у меня то же самое?..— задумывался он.— Но теперь еще — не до романа: это после, после, а теперь — Вера на уме, страсть, жизнь, не искусственная, а настоящая!»

Он ходил по дому, по саду, по деревне и полям, точно сказочный богатырь, когда был в припадке счастья, и столько силы носил в своей голове, сердце, во всей нервной системе, что все цвело и радовалось в нем.

Мысль его плодотворна, фантазия производительна, душа открыта для добра, деятельности и любви — не к одной Вере, но общей любви ко всякому живому созданию. На все льются лучи его мягкости, ласки, заботы, внимания.

Он чутко понимает потребность не только другого, ближнего, несчастного, и спешит подать руку помощи, утешения, но входит даже в положение — вон этой ползущей букашки, которую бережно сажает с дорожки на куст, чтоб уберечь от ноги прохожего.

Он бы написал Рафаэлеву Мадонну в эти минуты счастья, если б она не была уже написана, изваял бы Милосскую Венеру, Аполлона Бельведерского, создал бы снова храм Петра!

В моменты мук, напротив, он был худ, бледен, болен, не ел и ходил по полям, ничего не видя, забывая дорогу, спра-

шивая у встречных мужиков, где Малиновка, направо или налево?

Тогда он был сух с бабушкой и Марфенькой, груб с прислугой, не спал до рассвета, а если и засыпал, то трудным, болезненным сном, продолжая и во сне переживать пытку.

Иногда он оглядывался вокруг себя, как будто спрашивая глазами у всех: «Где я и что вы за люди?»

Марфенька немного стала бояться его. Он большею частию запирался у себя наверху, и там — или за дневником, или ходя по комнате, говоря сам с собой, или опять за фортепиано, выбрасывал, как он живописно выражался, «пену страсти».

Егорка провертел щель в деревянной, оклеенной бумагой перегородке, отделявшей кабинет Райского от коридора, и подглядывал за ним.

— Ну, девки, покажу я вам диковинку! — сказал он, плюнув сквозь зубы в сторону,— пойдемте, Пелагея Петровна, к барину, к Борису Павловичу, в щелку посмотреть; в тиатр не надо ходить: как он там «девствует»!..

— Некогда мне, гладить надо,— сказала та, грея утюг.

— Ну, вы, Матрена Семеновна?

— А кто ж комнату Марфы Васильевны уберет? Ты, что ли?

— Что за черт — не дозовешься ни одной! — сказал с досадой Егорка, опять плюя сквозь зубы,— а я там вертел, вертел буравом!

— Покажи мне, что там такое! — напрашивалась любопытная Наталья, одна из плетельщиц кружев у Татьяны Марковны.

— Вы — распрекрасная девица, Наталья Фаддеевна,— сказал Егорка нежно,— словно — барышня! Я бы — не то что в щелку дал вам посмотреть, руку и сердце предложил бы — только... рожу бы вам другую!..

Прочие девки засмеялись, а та обиделась.

— Ругатель! — сказала она, уходя из комнаты,— право, ругатель!

— А то вы,— договаривал Егорка ей вслед,— больно уж на тятеньку своего смахиваете с рыла-то, на Фаддея Ильича!

И захихикал.

Однако он убедил первых двух пойти и посмотреть. Все смотрели по очереди в щель.

— Глядите, глядите, как заливается, плачет никак! — говорил Егорка, толкая то одну, то другую к щели.

— Взаправду плачет, сердечный! — сказала жалостно Матрена.

— Да не хохочет ли? — И так хохочет! Смотрите, смотрите!

Все трое присели, и все захихикали.

— Эк его разбирает! — говорил Егорка,— врезамшись, должно быть, в Веру Васильевну...

Пелагея ткнула его кулаком в бок.

— Что ты врешь, поганец! — заметила она со страхом,— ври, да не смей трогать барышень! Вот узнает барыня... Пойдемте прочь!

А Райский и плакал, и смеялся чуть ли не в одно и то же время, и все искренно «девствовал», то есть плакал и смеялся больше художник, нежели человек, повинуясь нервам.

Он в чистых формах все выливал образ Веры и, чертя его бессознательно и непритворно, чертил и образ своей страсти, отражая в ней, иногда наивно и смешно, и все, что было светлого, честного в его собственной душе и чего требовала его душа от другого человека и от женщины.

— Что ты все пишешь там? — спрашивала Татьяна Марковна,— драму или все роман, что ли?

— Не знаю, бабушка, пишу жизнь — выходит роман; пишу роман — выходит жизнь. А что будет окончательно — не знаю.

— Чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало,— заметила она и почти верно определила этой пословицей значение писанья Райского. У него уходило время, сила фантазии разрешалась естественным путем, и он не замечал жизни, не знал скуки, никуда и ничего не хотел.— Зачем только ты пишешь все по ночам? — сказала она.— Смерть — боюсь... Ну, как заснешь над своей драмой! И шутка ли, до света? ведь ты изведешь себя. Посмотри, ты иногда желт, как переспелый огурец...

Он смотрелся в зеркало и сам поражался переменой в себе. Желтые пятна легли на висках и около носа, а в черных густых волосах появились заметные седины.

«Зачем я брюнет, а не блондин? — роптал он.— Десятью годами раньше состареюсь!»

— Ничего, бабушка, не обращайте внимания на меня,— отвечал он,— дайте свободу... Не спится: иногда и рад бы, да не могу.

— И он «свободу», как Вера!

Она вздохнула.

— Далась им эта свобода; точно бабушка их в кандалах держит! Писал бы, да не по ночам,— прибавила она,— а то я не сплю покойно. В котором часу ни поглядишь, все огонь у тебя...

— Ручаюсь, бабушка, что пожара не сделаю, хоть сам сгорю весь...

— О, типун тебе на язык! — перебила она сердито, кропая что-то сама иглой над приданым Марфеньки, хотя тут хлопотали около разложенных столов десять швей. Но она не могла видеть других за работой, чтоб и самой не пристать тут же, как Викентьев не мог не засмеяться и не заплакать, когда смеялись и плакали другие.

— Не дразни судьбу, не накликай на себя! — прибавила она.— Помни: язык мой — враг мой!

Он вдруг вскочил с дивана и бросился к окну, а потом в дверь и скрылся.

— Мужик идет с письмом от Веры! — сказал он, уходя.

— Вишь как, точно родному отцу обрадовался! А сколько свечей изводит он с этими романами да драмами: по четыре свечки за ночь! — рассуждала экономная бабушка шепотом.

V

Райский получил несколько строк от Веры. Она жаловалась, что скучает там, и действительно, по некоторым фразам, видно было, что ее тяготит уединение.

Она писала, что желает видеть его, что он ей нужен и впереди будет еще нужнее, что «без него она жить не может» — и иногда записка разрешалась в какой-то смех, который, как русалочное щекотанье, производил в нем зуд и боль.

Но, несмотря на этот смех, таинственная фигура Веры манила его все в глубину фантастической дали. Вера шла будто от него в тумане покрывала; он стремился за ней, касался покрывала, хотел открыть ее тайны и узнать, что за Изида перед ним.

Он только что коснется покрывала, как она ускользнет, уйдет дальше. Он блаженствовал и мучился двойными радостями и муками, и человека и художника, не зная сам, где является один, когда исчезает другой и когда оба смешиваются.

Получая изредка ее краткие письма, где дружеский тон смешивался с ядовитым смехом над его страстью, над стремлениями к идеалам, над игрой его фантазии, которою он нередко сверкал в разговорах с ней, он сам заливался искренним смехом и потом почти плакал от грусти и от бессилия рассказать себя, дать ключ к своей натуре.

«Не понимает, бедная,— роптал он,— что казнить за фантазию — это все равно, что казнить человека за то, что у него тень велика: зачем покрывает целое поле, растет выше здания! И не верит страсти! Посмотрела бы она, как этот удав тянется передо мной, сверкая изумрудами и золотом, когда его греет и освещает солнце, и как бледнеет, ползя во мраке, шипя и грозя острыми зубами! Пусть бы пришли сюда знатоки и толкователи так называемых тайн сердца и страстей и выложили бы тут свои понятия и философию, добытую с досок Михайловского театра. «Нельзя любить, когда оскорблено самолюбие».— «Любовь — это эгоизм à deux» [1],— «любовь про-

---

[1] Вдвоем (*франц.*).

ходит, когда не разделена», и т. п. сыплют они свои сентенции».

«А вот она, эта страсть,— говорил он,— не угодно ли попробовать! Меня толкают, смеются — а я все люблю, и как люблю! Не как «сорок тысяч братьев» [1],— мало отпустил Шекспир,— а как все люди вместе. Все образы любви ушли в эту мою любовь. Я люблю, как Леонтий любит свою жену, простодушной, чистой, почти пастушеской любовью, люблю сосредоточенной страстью, как этот серьезный Савелий, люблю, как Викентьев, со всею веселостью и резвостью жизни, люблю, как любит, может быть, Тушин, удивляясь и поклоняясь втайне, и люблю, как любит бабушка свою Веру — и, наконец, еще как никто не любит, люблю такою любовью, которая дана творцом и которая, как океан, омывает вселенную...»

«А если сократить все это в одно слово,— вдруг отрезвившись на минуту, заключил он,— то выйдет: «люблю, как художник», то есть всею силою необузданной... или разнузданной фантазии!»

Его увлекал процесс писанья, как процесс неумышленного творчества, где перед его глазами, пестрым узором, неслись его собственные мысли, ощущения, образы. Листки эти, однако, мешали ему забыть Веру, чего он искренно хотел, и питали страсть, то есть воображение.

«А она не поймет этого,— печально думал он,— и сочтет эти, ею внушенные и ей посвящаемые произведения фантазии — за любовную чепуху! Ужели и она не поймет: женщина! А у ней, кажется, уши такие маленькие, умные...»

«Да умна ли она? Ведь у нас часто за ум, особенно у женщин, считают одну только, донельзя изощренную низшую его степень — хитрость, и женщины даже кичатся, что владеют этим тонким орудием, этим умом кошки, лисы, даже некоторых насекомых! Это пассивный ум, способность таиться, избегать опасности, прятаться от силы, от угнетения».

«Такой умок выработала себе, между прочим, в долгом угнетении, обессилевшая и рассеянная целая еврейская нация, тайком пробиравшаяся сквозь человеческую толпу, хитростью отстаивавшая свою жизнь, имущество и свои права на существование».

«Этот умок помогает с успехом пробавляться в обиходной жизни, делать мелкие делишки, прятать грешки и т. д. Но когда женщинам возвратят их права — эта тонкость, полезная в мелочах и почти всегда вредная в крупных, важных делах, уступит место прямой человеческой силе — уму».

Когда он отрывался от дневника и трезво жил день, другой, Вера опять стояла безукоризненна в его уме. Сомнения, подозрения, оскорбления — сами по себе были чужды его

[1] Слова Гамлета из трагедии Шекспира «Гамлет».

натуре, как и доброй, честной натуре Отелло. Это были случайные искажения и опустошения, продукты страсти и неизвестности, бросавшей на все ложные и мрачные краски.

Однажды, в ее записке, после дружеских, нежно-насмешливых излияний, была следующая приписка после слов: «Ваша Вера»:

«Друг и брат мой! Вы научили меня любить и страдать. Вы поделились со мной силами души своей, вложили, кажется, в меня и самую вашу нежную, любящую душу... И вот эта нежность ваша внушает мне смелость поделиться с вами добрым делом. Здесь есть один несчастный, изгнанный из родины... На нем тяготеет подозрение правительства... Ему некуда приклонить голову, все от него отступились, одни по равнодушию, другие по боязни. Вы любите ближнего и не можете быть равнодушны, еще менее можете бояться доброго, чистого, святого дела. У него нет ни гроша денег, ни платья, а на дворе осень...

Я не прибавляю к этому ничего; здесь все правда, каждое слово: ваша Вера не солжет вам. Если сердце ваше, в чем я не сомневаюсь, скажет вам, что надо делать, то пошлите ваше пособие на имя дьячихи Секлетеи Бурдалаховой, дойдет верно: я сама буду наблюдать. Но сделайте так, чтобы бабушка не заметила ничего, и никто в доме.

Может быть — и весьма естественно — вы затруднитесь, как велика должна быть сумма, то рублей трехсот, даже двухсот двадцати — будет довольно ему на целый год. Да если б вы прислали пальто и жилет из осеннего трико (видите, как я верю в нежность вашей души вообще и в любовь ко мне в особенности, что даже и мерку прилагаю, которую снял с него деревенский портной!), то этим вы защитите бедняка и от холода.

Затем я уже не смею напоминать о теплом одеяле — это бы значило употреблять во зло вашу доброту и слабость ко мне: это до другого раза! К зиме бедный изгнанник уйдет, вероятно, отсюда, благословляя вас, а с вами и... меня немножко. Я бы не тревожила вас, но вы знаете все мои деньги у бабушки, а я ей открыться не могу».

— Что такое? Что это такое! — почти закричал Райский от изумления, дочитав post-scriptum[1], и, ворочая глазами вокруг, мысленно искал ключа.

— Не она, не она! — вслух произнес потом и вдруг лег на диван: с ним сделался припадок истерического смеха.

Это было в кабинете Татьяны Марковны. Тут были Викентьев и Марфенька. Последние оба сначала заразились смехом и дружно аккомпанировали ему, потом сдержались, начиная пугаться раскатов его хохота. Особенно Татьяна Мар-

---

[1] Приписка (*франц.*).

ковна испугалась. Она даже достала каких-то капель и налила на ложечку. Райский едва унялся.

— Выпей капель, Борюшка.

— Нет, бабушка,— дайте мне не капель, а денег рублей триста...

И опять закатился смехом. Бабушка отказала было.

— Скажи, зачем, кому? Не Маркушке ли? Взыщи прежде с него восемьдесят рублей,— и пошла, и пошла!

В другое время он бы про себя наслаждался этой экономической чертой бабушки и не преминул бы добродушно подразнить ее. Но тут его жгли внутренние огни нетерпения, поглощал возрастающий интерес комедии.

Он чуть не в драку полез с нею и после отчаянной схватки, поторговавшись с час, выручил от нее двести двадцать рублей, не доторговавшись до трехсот, лишь бы скорее кончить.

Он запечатал их и отослал на другой же день. Между тем отыскал портного и торопил сшить теплое пальто, жилет и купил одеяло. Все это отослано было на пятый день.

«Слезами и сердцем, а не пером благодарю вас, милый, милый брат,— получил он ответ с той стороны,— не мне награждать за это: небо наградит за меня! Моя благодарность — пожатие руки и долгий, долгий взгляд признательности! Как обрадовался вашим подаркам бедный изгнанник! он все «смеется» с радости и оделся в обновки. А из денег сейчас же заплатил за три месяца долгу хозяйке и отдал за месяц вперед. И только на три рубля осмелился купить сигар, которыми не лакомился давно, а это — его страсть...»

«Пошлю завтра ящик»,— думал Райский и послал,— между прочим потому, что «ведь просит тот, у кого нет...— говорил он,— богатый не попросил бы».

Ему вдруг пришло в голову — послать ловкого Егорку последить, кто берет письма у рыбака, узнать, кто такая Секлетея Бурдалахова. Он уже позвонил, но когда явился Егор — он помолчал, взглянул на Егора, покраснел за свое намерение и махнул ему рукой, чтобы он шел вон.

— Не могу, не могу! — шептал он с непреодолимым отвращением.— Спрошу у ней самой — посмотрю, как и что скажет она — и если солжет, прощай, Вера, а с ней и всякая вера в женщин!

Следя за ходом своей собственной страсти, как медик за болезнью, и как будто снимая фотографию с нее, потому что искренно переживал ее, он здраво заключал, что эта страсть — ложь, мираж, что надо прогнать, рассеять ее! «Но как? что надо теперь делать?— спрашивал он, глядя на небо с облаками, углубляя взгляд в землю,— что велит долг? — отвечай же, уснувший разум, освети мне дорогу, дай перепрыгнуть через этот пылающий костер!»

«Бросить все и бежать прочь!» — отозвался покойно разум.

«Да, да — брошу и бегу, не дождусь ее!» — решил он и тут только заметил приложенный к ее письму клочок бумаги с припиской Веры:

«Не пишите больше, я в четверг буду сама домой: меня привезет лесничий!»

Он обрадовался.

«А! вот и пробный камень. Это сама бабушкина «судьба» вмешалась в дело и требует жертвы, подвига — и я его совершу. Через три дня видеть ее опять здесь... О, какая нега! Какое солнце взойдет над Малиновкой! Нет, убегу! Чего мне это стоит, никто не знает! И ужели не найду награды, потерянного мира? Скорей, скорей прочь...» — сказал он решительно и кликнул Егора, приказав принести чемодан.

И надо было бы тотчас бежать, то есть забывать Веру. Он и исполнил часть своей программы. Поехал в город кое-что купить в дорогу. На улице он встретил губернатора. Тот упрекнул его, что давно не видать? Райский отозвался нездоровьем и сказал, что уезжает на днях.

— Куда? — спросил тот.

— Да мне все равно,— мрачно ответил Райский,— здесь... я устал, хочу развлечься, теперь поеду в Петербург, а там в свое имение, в Р — ую губернию, а может быть, и за границу...

— Не удивительно, что вы соскучились,— заметил губернатор,— сидя на одном месте, удаляясь от общества...— Нужно развлечение... Вот не хотите ли со мной прокатиться? Я послезавтра отправляюсь осматривать губернию...

«Послезавтра будет среда,— мелькнуло соображение в голове у Райского,— а она возвращается в четверг... Да, да, судьба вытаскивает меня... Не лучше ли бы уехать дальше, совсем отсюда — для полного подвига?»

— Посмотрите местность,— продолжал губернатор,— есть красивые места: вы поэт, наберетесь свежих впечатлений... Мы и по Волге верст полтораста спустимся... Возьмите альбом, будете рисовать пейзажи...

— А если я приму? — отвечал Райский, у которого, рядом с намерением бороться со страстью, приютилась надежда не расставаться вполне хоть с теми местами, где присутствует *она*, его бесподобная, но мучительная красота!

— Поедемте, я ваш спутник,— решил он окончательно.

Губернатор ласково хлопнул рукой по его ладони и повел к себе, показал экипаж, удобный и покойный — сказал, что и кухня поедет за ним и карты захватит. «В пикет будем сражаться,— прибавил он,— и мне веселее ехать, чем с одним секретарем, которому много будет дела».

Райскому стало легче уже от одного намерения переменить место и обстановку. Что-то постороннее Вере, как облако, стало между ним и ею. Давно бы так, и это глупейшее состояние кончилось бы!

«Вот почти и нет никаких бесов!» — говорил он, возвращаясь к себе.

Он подтвердил Егорке готовить платье, белье, сказавши, что едет с губернатором.

Намерения его преодолеть страсть были искренни, и он подумывал уже не возвращаться вовсе, а к концу губернаторской поездки вытребовать свои вещи из дому и уехать, не повидавшись с Верой.

На этом бы и остановиться ему, отвернуться от Малиновки навсегда или хоть надолго, и не оглядываться — и все потонуло бы в пространстве, даже не такой дали, какую предполагал Райский между Верой и собой, а двух-трехсот верст, и во времени — не годов, а пяти-шести недель, и осталось бы разве смутное воспоминание от этой трескотни, как от кошмара.

Райский знал это по прежним, хотя и не таким сильным опытам, но последний опыт всегда кажется непохожим чем-нибудь на прежние и потом под свежей страстью дымится свежая рана, а времени ждать долго.

Райский знал и это и не лукавил даже перед собой, а хотел только утомить чем-нибудь невыносимую боль, то есть не вдруг удаляться от этих мест и не класть сразу непреодолимой дали между ею и собою, чтобы не вдруг оборвался этот нерв, которым он так связан был и с живой, полной прелести, стройной и нежной фигурой Веры, и с воплотившимся в ней его идеалом, живущим в ее образе вопреки таинственности ее поступков, вопреки его подозрениям в ее страсти к кому-то, вопреки, наконец, его грубым предположениям в ее женской распущенности, в ее отношениях... к Тушину, в котором он более всех подозревал ее героя.

«А может быть, и другой, другие...» — злобно думал он.

Он свои художнические требования переносил в жизнь, мешая их с общечеловеческими, и писал последнюю с натуры, и тут же, невольно и бессознательно, приводил в исполнение древнее мудрое правило, «познавал самого себя», с ужасом вглядывался и вслушивался в дикие порывы животной, слепой натуры, сам писал ей казнь и чертил новые законы, разрушал в себе «ветхого человека» и создавал нового. И если ужасался, глядясь сам в подставляемое себе беспощадное зеркало зла и темноты, то и неимоверно был счастлив, замечая, что эта внутренняя работа над собой, которой он требовал от Веры, от живой женщины, как человек, и от статуи, как художник, началась у него самого не с Веры, а давно, прежде когда-то, в минуты такого же раздвоения натуры на реальное и фантастическое.

Он, с биением сердца и трепетом чистых слез, подслушивал, среди грязи и шума страстей, подземную тихую работу в своем человеческом существе, какого-то таинственного духа, затихавшего иногда в треске и дыме нечистого огня, но не

умиравшего и просыпавшегося опять, зовущего его, сначала тихо, потом громче и громче, к трудной и нескончаемой работе над собой, над своей собственной статуей, над идеалом человека.

Радостно трепетал он, вспоминая, что не жизненные приманки, не малодушные страхи звали его к этой работе, а бескорыстное влечение искать и создавать красоту в себе самом. Дух манил его за собой, в светлую, таинственную даль, как человека и как художника, к идеалу чистой человеческой красоты.

С тайным, захватывающим дыхание ужасом счастья видел он, что работа чистого гения не рушится от пожара страстей, а только останавливается, и когда минует пожар, она идет вперед, медленно и туго, но все идет — и что в душе человека, независимо от художественного, таится другое творчество, присутствует другая живая жажда, кроме животной, другая сила, кроме силы мышц.

Пробегая мысленно всю нить своей жизни, он припоминал, какие нечеловеческие боли терзали его, когда он падал, как медленно вставал опять, как тихо чистый дух будил его, звал вновь на нескончаемый труд, помогая встать, ободряя, утешая, возвращая ему веру в красоту правды и добра и силу — подняться, идти дальше, выше...

Он благоговейно ужасался, чувствуя, как приходят в равновесие его силы и как лучшие движения мысли и воли уходят туда, в это здание, как ему легче и свободнее, когда он слышит эту тайную работу и когда сам сделает усилие, движение, подаст камень, огня и воды.

От этого сознания творческой работы внутри себя и теперь пропадала у него из памяти страстная, язвительная Вера, а если приходила, то затем только, чтоб он с мольбой звал ее туда же, на эту работу тайного духа, показать ей священный огонь внутри себя и пробудить его в ней, и умолять беречь, лелеять, питать его в себе самой.

Тогда казалось ему, что он любил Веру такой любовью, какою никто другой не любил ее, и сам смело требовал от нее такой же любви и к себе, какой она не могла дать своему идолу, как бы страстно ни любила его, если этот идол не носил в груди таких же сил, такого же огня и, следовательно, такой же любви, какая была заключена в нем и рвалась к ней.

С другой, жгучей и разрушительной страстью он искренно и честно продолжал бороться, чувствуя, что она не разделена Верою и, следовательно, не может разрешиться, как разрешается у двух взаимно любящих честных натур, в тихое и покойное течение, словом, в счастье, в котором, очистившись от животного бешенства, она превращается в человеческую любовь.

Он теперь уже не звал более страсть к себе, как прежде, а проклинал свое внутреннее состояние, мучительную борьбу,

и написал Вере, что решился бежать ее присутствия. Теперь, когда он стал уходить от нее,— она будто пошла за ним, все под своим таинственным покрывалом, затрогивая, дразня его, будила его сон, отнимала книгу из рук, не давала есть.

Дня через три он получил коротенькую записку с вопросом: «Где он? что не возвращается? отчего нет писем?» Как будто ей не было дела до его намерения уехать или она не получила его письма.

Она звала его домой, говорила, что она воротилась, что «без него скучно», Малиновка опустела, все повесили нос, что Марфенька собирается ехать гостить за Волгу, к матери своего жениха, тотчас после дня своего рождения, который будет на следующей неделе, что бабушка останется одна и пропадет с тоски, если он не принесет этой жертвы... и бабушке, и ей...

«Да, знаю я эту жертву,— думал он злобно и подозрительно,— в доме, без меня и без Марфеньки, заметнее будут твои скачки с обрыва, дикая коза! Надо сидеть с бабушкой долее, обедать не в своей комнате, а со всеми — понимаю! Не будет же этого! Не дам тебе торжествовать — довольно! Сброшу с плеч эту глупую страсть, и никогда ты не узнаешь своего торжества!»

Он написал ей ответ, где повторил о своем намерении уехать, не повидавшись с нею, находя, что это единственный способ исполнить ее давнишнее требование — оставить ее в покое и прекратить свою собственную пытку. Потом разорвал свой дневник и бросил по ветру клочки, вполне разочарованный в произведениях своей фантазии.

Куры бросились с всех сторон к окну губернаторской квартиры в уездном городе, приняв за какую-то куриную манну эти, как снег, посыпавшиеся обрывки бумаги, и потом медленно разошлись, тоже разочарованные, поглядывая вопросительно на окно.

На другой день к вечеру он получил коротенький ответ от Веры, где она успокоивала его, одобряя намерение его уехать, не повидавшись с ней, и изъявила полную готовность помочь ему победить *страсть* (слово было подчеркнуто) — и для того она сама, вслед за отправлением этой записки, уезжает в тот же день, то есть в пятницу, опять за Волгу. Ему же советовала приехать проститься с Татьяной Марковной и со всем домом, иначе внезапный отъезд удивил бы весь город и огорчил бы бабушку.

Райский почти обрадовался этому ответу. У него отлегло от сердца, и он на другой день, то есть в пятницу после обеда, легко и весело выпрыгнул из кареты губернатора, когда они въехали в слободу близ Малиновки, и поблагодарил его превосходительство за удовольствие приятной прогулки. Он, с дорожным своим мешком, быстро пробежал ворота и явился в дом.

VI

Марфенька первая, Викентьев второй, и с ними дворовые собаки, выскочили встретить его, и все, до Пашутки включительно, обрадовались ему почти до слез, так что и ему, несмотря на хмель страсти, едва не заплакалось от этой теплоты сердечного приема.

«Ах, зачем мне мало этого счастья — зачем я не бабушка, не Викентьев, не Марфенька, зачем я — Вера в своем роде?» — думал он и боязливо искал Веру глазами.

— А Вера уехала вчера! — сказала Марфенька с особенной живостью, заметив, конечно, что он тоскливо оглядывался вокруг себя.

— Да, Вера Васильевна уехала,— повторил и Викентьев.

— Барышни нет! — сказали и люди, хотя он их и не спрашивал.

Ему бы радоваться, а у него сердце упало.

«И весело им, что уехала, улыбаются, им это ничего!» — думал он, проходя к Татьяне Марковне в кабинет.

— Как я ждала тебя, хотела эстафету посылать! — сказала она с тревожным лицом, выслав Пашутку вон и затворяя кабинет.

Он испугался, ожидая какой-нибудь вести о Вере.

— Что такое случилось!

— Твой друг, Леонтий Иванович...

— Ну?

— Болен.

— Бедный! Что с ним? Я сейчас поеду... Опасно?

— Погоди, я велю лошадь заложить, а пока скажу отчего; в городе уж все знают. Я только для Марфеньки секретничаю. А Вера уж узнала от кого-то...

— Что с ним случилось?

— Жена уехала...— шепотом сказала Татьяна Марковна, нахмурившись,— он и слег. Кухарка его третьего дня и вчера два раза прибегала за тобой...

— Куда уехала?

— С французом, с Шарлем укатила! Того вдруг вызвали в Петербург зачем-то. Ну, вот и она... «Меня, говорит, кстати проводит до Москвы m-r Charles». И как схитрила: «Хочу, говорит, повидаться с родными в Москве», и выманила у мужа вид для свободного проживания.

— Ну, так что ж за беда? — сказал Райский,— ее сношения с Шарлем не секрет ни для кого, кроме мужа: посмеются еще, а он ничего не узнает. Она воротится...

— Ты не дослушал. Письмо с дороги прислала мужу, где просит забыть ее, говорит, чтоб не ждал, не воротится, что не может жить с ним, зачахнет здесь...

Райский пожал плечами.

— Ах, боже мой! Ах, дура! — горевал он.— Бедный Леонтий! Мало ей самой было негласного скандала — нет, захотела публичного!.. Сейчас поеду; ах, как мне жаль его!

— И мне жаль, Борюшка. Я хотела сама съездить к нему — у него честная душа, он — как младенец! Бог дал ему ученость, да остроты не дал... закопался в свои книги! У кого он там на руках?.. Да вот что: если за ним нет присмотру, перевези его сюда — в старом доме пусто, кроме Вериной комнаты... Мы его там пока поместим... Я на случай велела приготовить две комнаты.

— Что вы за женщина, бабушка! я только что подумал, а вы уж и велели!..

Он пошел на минуту к себе. Там нашел он письма из Петербурга, между ними одно от Аянова, своего приятеля и партнера Надежды Васильевны и Анны Васильевны Пáхотиных, в ответ на несколько своих писем к нему, в которых просил известий о Софье Беловодовой, а потом забыл.

Он вскрыл письмо и увидал, что Аянов пишет, между прочим, о ней, отвечая на его письмо.

«Когда опомнился! — подумал он,— тогда у меня еще было свежо воспоминание о ней, а теперь я и лицо ее забыл! Теперь даже Секлетея Бурдалахова интереснее для меня, потому только, что напоминает Веру!»

Он не читал писем, не вскрыл журналов и поехал к Козлову. Ставни серого домика были закрыты, и Райский едва достучался, чтоб отперли ему двери.

Он прошел прихожую, потом залу и остановился у кабинета, не зная, постучать или войти прямо.

Дверь вдруг тихо отворилась, перед ним явился Марк Волохов, в женском капоте и в туфлях Козлова, нечесаный, с невыспавшимся лицом, бледный, худой, с злыми глазами, как будто его всего передернуло.

— Насилу вас принесла нелегкая! — сказал он с досадой вполголоса,— где вы пропадали? Я другую ночь почти не сплю совсем... Днем тут ученики вертелись, а по ночам он один...

— Что с ним?

— Что? разве вам не сказали? Ушла коза-то! Я обрадовался, когда услыхал, шел поздравить его, гляжу — а на нем лица нет! Глаза помутились, никого не узнаёт. Чуть горячка не сделалась, теперь, кажется, проходит. Чем бы плакать от радости, урод убивается горем! Я лекаря было привел, он прогнал, а сам ходит, как шальной... Теперь он спит, не мешайте. Я уйду домой, а вы останьтесь, чтоб он чего не натворил над собой в припадке тупоумной меланхолии. Никого не слушает — я уж хотел побить его...

Он плюнул с досады.

— На кухарку положиться нельзя — она идиотка. Вчера дала ему принять зубного порошка, вместо настоящего. Завтра вечером я сменю вас...— прибавил он.

Райский с изумлением поглядел на Марка и подал ему руку.

— За что такая милость? — спросил Марк желчно, не давая руки.

— Благодарю, что не кинули моего бедного товарища...

— Ах, очень приятно! — сказал Марк, шаркая обеими туфлями и крепко тряся за руку Райского,— я давно искал случая услужить вам...

— Что это, Волохов, вы, как клоун в цирке, все выворачиваете себя наизнанку!..

— А вы все рисуетесь в жизни и рисуете жизнь! — ядовито отвечал Волохов.— Ну, на кой черт мне ваша благодарность? Разве я для нее или для кого-нибудь пришел к Козлову, а не для него самого?

— Ну, хорошо, Марк Иванович, бог с вами и с вашими манерами! Сила не в них и не в моей «рисовке»! Вы сделали доброе дело...

— Опять похвала!

— Опять. Это моя манера говорить — что мне нравится, что нет. Вы думаете, что быть грубым — значит быть простым и натуральным, а я думаю, чем мягче человек, тем он больше человек. Очень жалею, если вам не нравится этот мой «рисунок», но дайте мне свободу рисовать жизнь по-своему!

— Хорошо, сахарничайте, как хотите! — сквозь зубы проворчал Марк.

— Леонтья я перевезу к себе: там он будет как в своей семье, — продолжал Райский,— и если горе не пройдет, то он и останется навсегда в тихом углу...

— Вот теперь дайте руку,— сказал Марк серьезно, схватив его за руку,— это дело, а не слова! Козлов рассохнется и служить уже не может. Он останется без угла и без куска... Славная мысль вам в голову пришла.

— Не мне, а женщине пришла эта мысль, и не в голову, а в сердце,— заключил Райский,— и потому теперь я не приму вашей руки... Бабушка выдумала это...

— Экая здоровая старуха, эта ваша бабушка! — заметил Марк,— я когда-нибудь к ней на пирог приду! Жаль, что старой дури набито в ней много!.. Ну я пойду, а вы присматривайте за Козловым,— если не сами, так посадите кого-нибудь. Вон третьего дня ему мочили голову и велели на ночь сырой капустой обложить. Я заснул нечаянно, а он, в забытьи, всю капусту с головы потаскал да съел... Прощайте! я не спал и не ел сам. Авдотья меня тут какой-то бурдой из кофе потчевала...

— А вот что, не хотите ли подождать? Я сейчас кучера пошлю домой за ужином,— сказал Райский.

— Нет, я поужинаю уже дома.

— Может быть... у вас денег нет?..— робко предложил Райский и хотел достать бумажник.

Марк вдруг засмеялся своим холодным смехом.

— Нет, нет,— у меня теперь есть деньги...— сказал он, глядя загадочно на Райского.— Да я еще в баню до ужина пойду. Я весь выпачкался, не одевался и не раздевался почти. Я, видите ли, живу теперь не у огородника на квартире, а у одной духовной особы. Сегодня там баню топят, я схожу в баню, потом поужинаю и лягу уж на всю ночь.

— Вы похудели — и как будто нездоровы! — заметил Райский,— глаза у вас...

Марк вдруг нахмурился, и лицо у него сделалось еще злее прежнего.

— А вы, на мой взгляд, еще нездоровее! — сказал он.— Посмотритесь в зеркало: желтые пятна, глаза ввалились совсем...

— У меня разные беспокойства...

— И у меня тоже,— сухо заметил Волохов.— Прощайте.

Он ушел, а Райский тихо отворил дверь к Леонтью и подошел на цыпочках к постели.

— Кто тут? — спросил слабо Козлов.

— Здравствуй, Леонтий,— это я! — сказал Райский, взяв за руку Козлова и садясь в кресло подле постели.

Козлов долго всматривался, потом узнал Райского, проворно спустил ноги с постели и сел, глядя на него.

— А тот ушел? Я притворился спящим. Тебя давно не видать,— заговорил Леонтий слабым голосом, с промежутками.— А я все ждал — не заглянет ли, думаю. Лицо старого товарища,— продолжал он, глядя близко в глаза Райскому и положив свою руку ему на плечо,— теперь только одно не противно мне...

— Меня не было в городе,— отвечал Райский,— я сейчас только воротился и узнал, что ты болен...

— Врут, я не болен. Я притворился...— сказал он, опуская голову на грудь, и замолчал. Через несколько минут он поднял голову и рассеянно глядел на Райского.

— Что бишь такое я хотел сказать тебе?..

Он встал и пошел неровными шагами по кабинету.

— Ты бы лег, Леонтий,— заметил Райский,— ты болен...

— Я не болен,— почти с досадой отвечал Козлов.— Что это вы все, точно сговорились, наладили: болен да болен. А Марк и лекаря привел, и сидит тут, точно боится, что я кинусь в окно или зарежусь...

— Ты, однако, слаб, насилу ходишь — право, ляг...

— Да, слаб, это правда,— наклонясь через спинку стула к Райскому и обняв его за шею, шептал Леонтий. Он положил ему щеку на голову, и Райский вдруг почувствовал у себя на лбу и на щеках горячие слезы. Леонтий плакал.

— Это слабость, да...— всхлипывая, говорил Леонтий,— но я не болен... я не в горячке... врут они... не понимают... Я и сам не понимал ничего... Вот, как увидел тебя... так слезы льются, сами прорвались... Не ругай меня, как Марк, и не смейся надо мной, как все они смеются... эти учителя, товарищи... Я вижу у них злой смех на лицах, у этих сердобольных посетителей!..

Райского самого душили слезы, но он не дал им воли, чтоб не растравлять еще больше тоски Леонтья.

— Я понимаю и уважаю твои слезы, Леонтий! — сказал он, насилу одолевая себя.

— Ты добрый, старый товарищ... ты и в школе не смеялся надо мной... Ты знаешь, отчего я пла́чу? Ты ничего не знаешь, что со мной случилось?

Райский молчал.

— Вот я тебе покажу...— Он пошел к бюро, вынул из ящика письмо и подал ему.

Райский пробежал глазами письмо от Ульяны Андреевны, о котором уж слышал от бабушки.

— Уничтожь его,— советовал он,— пока оно цело, ты не успокоишься...

— Как можно! — с испугом сказал Леонтий, выхватывая письмо и пряча его опять в ящик.— Ведь это единственные ее строки ко мне, других у меня нет... Это одно только и осталось у меня на память от нее...— добавил он, глотая слезы.

— Да, такое чувство заслуживало лучшей доли...— тихо сказал Райский.— Но, друг Леонтий, прими это, как болезнь, как величайшее горе... Но все же не поддавайся ему — жизнь еще длинна, ты не стар...

— Жизнь кончилась,— перебил Леонтий,— если...

— Если что?

— Если она... не воротится...— шепнул он.

— Как, ты хотел бы... ты принял бы ее теперь!..

— Ах, Борис, и ты не понимаешь! — почти с отчаянием произнес Козлов, хватаясь за голову и ходя по комнате.— Боже мой! Твердят, что я болен, сострадают мне, водят лекарей, сидят по ночам у постели — и все-таки не угадывают моей болезни и лекарства, какое нужно, а лекарство одно...

Райский молчал.

Козлов подошел к нему большими шагами, взял его за плеча и, сильно тряся, шептал в отчаянии:

— Ее нет — вот моя болезнь! Я не болен, я умер: и настоящее мое, и будущее — все умерло, потому что ее нет! Поди, вороти ее, приведи сюда — и я воскресну!.. А он спрашивает, принял ли бы я ее! Как же ты роман пишешь, а не умеешь понять такого простого дела!..

Райский видел, что Козлов взглянул наконец и на близкую ему жизнь тем же сознательным и верным взглядом,

каким глядел на жизнь древних, и что утешить его нечем.

— Теперь я понимаю,— заметил он,— но я не знал, что ты так любил ее. Ты сам шутил, бывало: говорил, что привык к ней, что изменяешь ей для своих греков и римлян...

Козлов горько улыбнулся.

— Врал, хвастал, не понимал ничего, Борис,— сказал он,— и не случись этого... я никогда бы и не понял. Я думал, что я люблю древних людей, древнюю жизнь, а я просто любил... живую женщину; и любил и книги, и гимназию, и древних, и новых людей, и своих учеников... и тебя самого... и этот — город, вот с этим переулком, забором и с этими рябинами — потому только — что ее любил! А теперь это все опротивело, я бы готов хоть к полюсу уехать... Да, я это недавно узнал: вот как тут корчился на полу и читал ее письмо.

Райский вздохнул.

— А ты спрашиваешь, принял ли бы я ее! Боже мой! Как принял бы — и как любил бы — она бы узнала это теперь...— добавил он.

У него опять закапали слезы.

— Знаешь что, Леонтий, я к тебе с просьбой от Татьяны Марковны! — сказал Райский.

Леонтий ходил взад и вперед, пошатываясь, шлепая туфлями, с всклокоченной головой, и не слушал его.

— Бабушка просит тебя переехать к нам,— продолжал Райский,— ты здесь один пропадешь с тоски.

Козлов услыхал и понял, но в ответ только махнул рукой.

— Спасибо ей, она святая женщина! Что я буду таким уродом носить свое горе по чужим углам!..

— Это не чужой угол, Леонтий, мы с тобой братья. Наше родство сильнее родства крови...

— Да, да, виноват, горе одолело меня! — ложась в постель, говорил Козлов, и взяв за руку Райского: — прости за эгоизм. После... после... я сам притащусь, попрошусь посмотреть за твоей библиотекой... когда уж надежды не будет...

— А у тебя есть надежда?

— А что? — вдруг шепотом спросил Козлов, быстро садясь на постели и подвигая лицо к Райскому,— ты думаешь, что нет надежды?..

Райский молчал, не желая ни лишать его этой соломинки, ни манить его ею напрасно.

— Я, право, не знаю, Леонтий, что сказать. Я так мало следил за твоей женою, давно не видал... не знаю хорошо ее характера.

— Да, ты не хотел немного заняться ею... Я знаю, ты дал бы ей хороший урок... Может быть, этого бы и не было...

Он вздохнул глубоко.

— Нет, ты знаешь ее,— прибавил он,— ты мне намекал на француза, да я не понял тогда... мне в голову не приходило...— Он замолчал.— А если он бросит ее? — почти с радостью вдруг сказал он немного погодя, и в глазах у него на минуту мелькнул какой-то луч.— Может быть, она вспомнит... может быть...

— Может быть...— нерешительно сказал Райский.

— Постой... что это?.. Кто-то будто едет сюда...— заговорил Леонтий, привставая и глядя в окно. Потом опустился и повесил голову.

Мимо окон проехала телега, где мужик, в чувашской рубашке, с красными обшивками, стоя махал вожжой.

— Я все жду... все думаю, не опомнится ли! — мечтал он,— и ночью пробовал вставать, да этот разбойник Марк, точно железной ручищей, повалит меня и велит лежать. «Не воротится, говорит, лежи смирно!» Боюсь я этого Марка.

Он вопросительно поглядывал на Райского.

— А ты как думаешь! — шептал он,— ты лучше знаешь женщин — что он смыслит! Есть надежда... или...

— Если и есть, то во всяком случае не теперь,— сказал Райский,— разве после когда-нибудь...

Козлов глубоко вздохнул, медленно улегся на постели и положил руки с локтями себе на голову.

— Завтра я перевезу тебя к нам,— сказал ему Райский,— а теперь прощай! Уже к ночи я или приду сам, или пришлю кого-нибудь побыть с тобой.

Леонтий не смотрел и не слыхал, что Райский говорил и как он вышел.

Райский воротился домой, отдал отчет бабушке о Леонтье, сказавши, что опасности нет, но что никакое утешение теперь не поможет. Оба они решили послать на ночь Якова смотреть за Козловым, причем бабушка отправила целый ужин, чаю, рому, вина — и бог знает чего еще.

— Зачем это? он ничего не ест, бабушка,— сказал Райский.

— А как тот... опять придет?

— Кто тот?

— Ну, кто — Маркушка: я чаю, есть хочет. Ведь ты говоришь, что застал его там...

— Ах, бабушка! я сейчас поеду и скажу Марку...

— Сохрани тебя господи! — удержала она его,— на смех поднимет...

— Нет — поклонится. Это не Нил Андреич, он понимает вас...

— Не надо мне его поклонов, а чтоб был сыт — и бог с ним! Он пропащий! А что... о восьмидесяти рублях не поминает?

Райский махнул рукой, ушел к себе в комнату и стал дочитывать письмо Аянова и другие, полученные им письма из Петербурга, вместе с журналами и газетами.

VII

«Что сделалось с тобой, любезный Борис Павлович? — писал Аянов,— в какую всероссийскую щель заполз ты от нашего мокрого, но вечно юного Петербурга, что от тебя два месяца нет ни строки? Уж не женился ли ты там на какой-нибудь стерляди? Забрасывал сначала своими повестями, то есть письмами, а тут вдруг и пропал, так что я не знаю, не переехал ли ты из своей трущобы — Малиновки, в какую-нибудь трущобу — Смородиновку, и получишь ли мое письмо?

Новостей много, слушай только... Поздравь меня: геморрой, наконец, у меня открылся! Мы с доктором так обрадовались, что бросились друг другу в объятия и чуть не зарыдали оба. Понимаешь ли ты важность этого исхода? на воды не надо ехать! Пояснице легче, а к животу я прикладываю холодные компрессы; у меня, ведь ты знаешь — pletora abdominalis...» [1]

«Вот какими новостями занимает!» — подумал Райский и читал дальше.

«Оленька моя хорошеет, преуспевает в благочестии, благонравии и науках, институтскому начальству покорна, к отцу почтительна и всякий четверг спрашивает, скоро ли приедет другой баловник, Райский, поправлять ее рисунки и совать ей в другую руку другую сверхштатную коробку конфект...»

— Вот животное, только о себе! — шептал опять Райский, читая чрез несколько строк ниже.

«...Коко женился наконец на своей Eudoxie, за которой чуть не семь лет, как за Рахилью, ухаживал! — и уехал в свою тьмутараканскую деревню. Горбуна сбыли за границу вместе с его ведьмой, и теперь в доме стало поживее. Стали отворять окна и впускать свежий воздух и людей,— только кормят все еще скверно...»

— Что мне до них за дело! — с нетерпением ворчал Райский, пробегая дальше письмо,— о кузине ни слова, а мне и о ней-то не хочется слышать!

«...на его место,— шепотом читал он дальше,— прочат в министры князя И. В., а товарищем И. Б — а... Женщины подняли гвалт... П. П. проиграл семьдесят тысяч... Х — ие уехали за границу... Тебе скучно, вижу, что ты морщишься — спрашиваешь — что Софья Николаевна (начал живее читать Райский): сейчас, сейчас, я берег вести о ней pour la bonne bouche...» [2]

— Насилу добрался! — сказал Райский,— ну, что она?

---

[1] Полнокровие в системе воротной вены *(лат.)*.
[2] На закуску *(франц.)*.

«Я старался и без тебя, как при тебе, и служил твоему делу верой и правдой, то есть два раза играл с милыми «барышнями» в карты, так что братец их, Николай Васильевич, прозвал меня женихом Анны Васильевны и так разгулялся однажды насчет будущей нашей свадьбы, что был вытолкан обеими сестрицами в спину и не получил ни гроша субсидии, за которой было явился. Но зато занял триста рублей у меня, а я поставил эти деньги на твой счет, так как надежды отыграть их у моей нареченной невесты уже более нет. Внемли, бледней и трепещи!

Играя с тетками, я служил, говорю, твоему делу, то есть пробуждению страсти в твоей мраморной кузине, с тою только разницею, что без тебя это дело пошло было впрок. Итальянец, граф Милари, должно быть, служит по этой же части, то есть развивает страсти в женщинах, и едва ли не успешнее тебя. Он повадился ездить в те же дни и часы, когда мы играли в карты, а Николай Васильевич не нарадовался, глядя на свое семейное счастье.

Папашу оставляли в покое, занимались музыкой, играли, пели — даже не брали гулять, потому что (я говорю тебе это по секрету, и весь Петербург не иначе, как на ухо, повторяет этот секрет), когда карета твоей кузины являлась на островах, являлся тогда и Милари, верхом или в коляске, и ехал подле кареты. Софья Николаевна еще больше похорошела, потом стала задумываться, немного вышла из своего «олимпийского» спокойствия и похудела... Она (бери спирт и нюхай!) сделала... un faux pas! [1] Я добивался, какой именно, и получал такие ответы даже от ее кузины Catherine, из которых ничего не сообразишь: всё двойки да шестерки, ни одного короля, ни дамы, ни туза, ни даже десятки нет... всё фосски!

Я начал уже сам сочинять их роман: думал, не застали ли их где-нибудь уединенно гуляющих, или перехватили письмо, в коем сказано: «люблю, мол, тебя» — или раздался преступный поцелуй среди дуэтов Россини и Беллини. Нет, играли, пели, мешая нам играть в карты (мимоходом замечу, что и без них игра вязалась плохо. Вообще я терпеть не могу лета, потому что летом карты сквозят), так что Надежда Васильевна затыкала даже уши ватой... А в городе и пошло, и пошло! Мезенские, Хатьковы и Мышинские, и все,— больше всех кузина Catherine, тихо, с сдержанной радостью, шептали: «Sophie a poussé la chose trop loin, sans se rendre compte des suites...» [2] и т. д. Какая это «chose», спрашивал я и на ухо, и вслух, того, другого — и, не получая определительного ответа, сам стал шептать, когда речь зайдет о ней. «Oui,— гово-

---

[1] Ложный шаг! *(франц.)*

[2] Софи зашла в своих поступках слишком далеко, не отдавая себе отчета в последствиях *(франц.)*.

рил я,— elle a poussé la chose trop loin, sans se rendre compte... Elle a fait un faux pas...»[1]

И пожму значительно плечами, когда спросят, какой «pas»?

Таким образом всплыло на горизонт легкое облачко и стало над головой твоей кузины! А я все служил да служил делу, не забывая дружеской обязанности, и все ездил играть к теткам. Даже сблизился с Милари и стал условливаться с ним, как, бывало, с тобой, приходить в одни часы, чтоб обоим было удобнее...»

— Какой осел! — сказал с досадой Райский, бросив письмо,— он думал, что угождает мне...

«А ты, за службу и дружбу мою,— читал дальше Райский,— пришли или привези мне к зиме, с Волги, отличной свежей икры бочонок-другой, да стерлядей в аршин: я поделюсь с его сиятельством, моим партнером, министром и милостивцем...»

Райский читал ниже:

«Так мы и переехали целой семьей на дачу, на Каменный Остров, то есть они заняли весь дом В., а я две комнаты неподалеку. Николай Васильевич поселился в особом павильоне...

Дела шли своим чередом, как вдруг однажды перед началом нашей вечерней партии, когда Надежда Васильевна и Анна Васильевна наряжались к выходу, а Софья Николаевна поехала гулять, взявши с собой Николая Васильевича, чтоб завезти его там где-то на дачу,— доложили о приезде княгини Олимпиады Измайловны. Обе тетки поворчали на это неожиданное расстройство партии, но, однако, отпустили меня погулять, наказавши через час вернуться, а княгиню приняли.

Несчастные мы все трое! ни тетушки твои, ни я — не предчувствовали, что нам не играть больше. Княгиня встретилась со мной на лестнице и несла такое торжественное, важное лицо вверх, что я даже не осмелился осведомиться о ее нервах.

Через час я прихожу, меня не принимают. Захожу на другой день — не принимают. Через два, три дня — то же самое. Обе тетки больны, «барыня», то есть Софья Николаевна, нездорова, не выезжает и никого не принимает: такие ответы получал я от слуг.

Я толкнулся во флигель к Николаю Васильевичу — дома нет, а между тем его нигде не видно, ни на Pointe[2], ни у Излера, куда он хаживал *инкогнито*, как он говорит. Я — в город, в клуб — к Петру Ивановичу. Тот уж издали, из-за газет,

---

[1] Да, она зашла слишком далеко, не отдавая себе в своих поступках отчета... Она совершила ложный шаг... *(франц.)*

[2] На Стрелке *(франц.)*.

лукаво выглянул на меня и улыбался: «Знаю, знаю, зачем, говорит: что, дверь захлопнулась, оброк прекратился?..»

От него я добился только — сначала, что кузина твоя — a poussé la chose trop loin... qu'elle a fait un faux pas... а потом — что после визита княгини Олимпиады Измайловны, этой гонительницы женских пороков и поборницы добродетелей, тетки разом слегли, в окнах опустили шторы, Софья Николаевна сидит у себя запершись, и все обедают по своим комнатам, и даже не обедают, а только блюда приносятся и уносятся нетронутые,— что трогает их один Николай Васильевич, но ему запрещено выходить из дома, чтоб как-нибудь не проболтался, что граф Милари и носа не показывает в дом, а ездит старый доктор Петров, бросивший давно практику и в молодости лечивший обеих барышень (и бывший их любовником, по словам старой, забытой хроники — прибавлю в скобках). Наконец Петр Иванович сказал, что весь дом, кроме Николая Васильевича, втайне готовится уехать на такие воды, каких старики не запомнят, и располагают пробыть года три за границей.

Я, однако, добился свидания с Николаем Васильевичем: написал ему записку и получил приглашение отобедать с ним «вечером» наедине. Он прежде всего попросил быть скромным насчет обеда. В доме пост теперь: «On est en pénitence — бульон и цыпленка готовят на всех — et ma pauvre Sophie n'ose pas descendre me tenir compagnie [1],— жалуется он горько и жует в недоумении губами,— et nous sommes enfermés tous les deux... [2] Я велел для вас сделать обед, только не говорите!» — прибавил он боязливо, уплетая перепелок, и чуть не плакал о своей бедной Софье.

Наконец я добился, что к прежнему облачку, к этому искомому мною x, то есть que Sophie a poussé la chose trop loin, прибавился, наконец, и факт — она, о ужас! a fait un faux pas, именно — отвечала на записку Милари! Пáхотин показал мне эту записку, с яростью ударяя кулаком по столу. «Mais dites donc, dites, qu'est ce qu'il y a là? à propos de quoi — все эти охи, и ахи, и флаконы со спиртом, и этот отъезд et tout ce remue-ménage? Voilà ce que c'est que d'être vieilles filles!» [3]

Он топал, бегал по кабинету и прохлаждал себя, макая бисквиты в шампанское и глотая какие-то дижестивные пилюли вслед за тем. «И что всего грустнее,— говорил он,— что бедняжка Sophie убивается сама: «Oui, la faute est à moi,— твердит она,— je me suis compromise, une femme qui se respecte

---

[1] На всех наложено покаяние... и моя бедная Софи не смеет спуститься, чтобы составить мне компанию *(франц.)*.

[2] И мы оба заперты *(франц.)*.

[3] Но скажите на милость, скажите, что здесь такого? Из-за чего... весь этот переполох? Чего не выдумают старые девы! *(франц.)*

ne doit pas pousser la chose trop loin... se permettre» [1].— «Mais qu'as tu donc fait, mon enfant?» [2] — спрашиваю я. «J'ai fais un faux pas...» [3] — твердит она,— огорчила теток, вас, папа!..»— «Mais pas le moins du monde»,— говорю я — и все напрасно! Et elle pleure, elle pleure... cette pauvre enfant! Ce billet... [4] Посмотрите эту записку!»

А в записке изображено следующее: «Venez, comte, je vous attends entre huit et neuf heures, personne n'y sera et surtout, n'oubliez pas votre portefeuille artistique. Je suis etc. S. B.» [5]. Николай Васильевич поражен прежде всего в родительской нежности. «Le nuage a grossi grâce à ce billet, потому что... кажется... (на ухо шепнул мне Пáхотин) entre nous soit dit... Sophie n'était pas tout-à-fait insensible aux hommages du comte, mais c'est un gentilhomme et elle est trop bien élevée pour pousser les choses... jusqu'à un faux pas...» [6]

И только, Борис Павлыч! Как мне грустно это, то есть что «только» и что я не могу тебе сообщить чего-нибудь повеселее, как, например, вроде того, что кузина твоя, одевшись в темную мантилью, ушла из дома, что на углу ждала ее и умчала куда-то наемная карета, что потом видели ее с Милари возвращающуюся бледной, а его торжествующим, и расстающихся где-то на перекрестке и т. д. Ничего этого не было!

Но здесь хватаются и за соломинку, всячески раздувают искру — и из записки делают слона, вставляют туда другие фразы, даже нежное *ты*, но это не клеится, и все вертится на одной и той же редакции; то есть «que Sophie a poussé la chose trop loin, qu'elle a fait un faux pas»... Я усердно помогаю делу со своей стороны, лукаво молчу и не обличаю, не говорю, что там написано. За мной ходят, видя, что я знаю кое-что. К. Р. и жена два раза звали обедать, а М. подпаивает меня в клубе, не проговорюсь ли. Мне это весело, и я молчу.

Через две недели они едут. И вот тебе развязка романа твоей кузины! Да, я забыл главное — слона. Николай Васильевич был поставлен сестрицами своими «dans une position très délicate» [7] объясниться с графом Милари и выпросить назад у

---

[1] Да, я совершила ошибку,— твердит она,— я скомпрометировала себя, женщина, уважающая себя, не должна заходить слишком далеко... позволять себе *(франц.)*.

[2] Но что ты сделала, дитя мое? *(франц.)*

[3] Я совершила ложный шаг... *(франц.)*

[4] Да нисколько... И она плачет, плачет, несчастное дитя! Эта записка... *(франц.)*

[5] Приходите, граф, я вас жду между восьмью и девятью, никого не будет, и, главное, не забудьте папку с этюдами. Остаюсь и т. д. С. Б. *(франц.)*.

[6] Туча разрослась из-за этой записки... между нами говоря... Софи не была вполне равнодушна к ухаживанию графа, но он благородный человек, а она слишком хорошо воспитана, чтобы допустить... ложный шаг *(франц.)*.

[7] В очень щекотливое положение *(франц.)*.

него эту роковую записку. Он говорит, что у него и подагра, и нервы, и тик, и ревматизм — все поднялось разом, когда он объяснялся с графом. Тот тонко и лукаво улыбался, выслушав просьбу отца, и сказал, что на другой день удовлетворит ее, и сдержал слово, прислал записку самой Беловодовой, с учтивым и почтительным письмом. «Mais comme il riait sous cape, ce comte (il est très fin), quand je lui débitais toutes les sottes réflexions de mes chères soeurs! Vieilles chiennes!..» [1] — отвернувшись, добавил он и разбил со злости фарфоровую куклу на камине.

Вот тебе и драма, любезный Борис Павлович: годится ли в твой роман? Пишешь ли ты его? Если пишешь, то сократи эту драму в двух следующих словах. Вот тебе ключ или «le mot de l'énigme» [2], как говорят здесь русские люди, притворяющиеся неумеющими говорить по-русски и воображающие, что говорят по-французски.

Кузина твоя увлеклась по-своему, не покидая гостиной, а граф Милари добивался свести это на большую дорогу — и говорят (это папá разболтал), что между ними бывали живые споры, что он брал ее за руку, а она не отнимала, у ней даже глаза туманились слезой, когда он, недовольный прогулками верхом у кареты и приемом при тетках, настаивал на большей свободе,— звал в парк вдвоем, являлся в другие часы, когда тетки спали или бывали в церкви, и не успевая, не показывал глаз по неделе. А кузина волновалась, «prenant les choses au sérieux» [3] (я не перевожу тебе здешнего языка, а передаю в оригинале, так как оригинал всегда ярче перевода). Между тем граф серьезных намерений не обнаруживал и наконец... наконец... вот где ужас! узнали, что он из «новых» и своим прежним правительством был — «mal vu» [4], и «эмигрировал» из отечества в Париж, где и проживал, а главное, что у него там, под голубыми небесами, во Флоренции или в Милане, есть какая-то нареченная невеста, тоже кузина... что вся ее фортуна («fortune» — в оригинале) перейдет в его род из того рода, так же как и виды на карьеру. Это проведала княгиня через князя Б. П.... И твоя Софья страдает теперь вдвойне: и оттого, что оскорблена внутренно — гордости ее красоты и гордости рода нанесен удар — и оттого, что сделала... un faux pas и, может быть, также немного и от того чувства, которое ты старался пробудить — и успел, а я, по дружбе к тебе, поддержал в ней...

---

[1] Но как он смеялся исподтишка, этот граф (он очень хитер), когда я излагал ему все глупые соображения моих дорогих сестриц! Старые дуры! *(франц.)*

[2] Ключ к загадке *(франц.)*.

[3] Приняв все всерьез *(франц.)*.

[4] На подозрении *(франц.)*.

Что будет с ней теперь — не знаю: драма ли, роман ли — это уже докончи ты на досуге, а мне пора на вечер к В. И. Там ожидает меня здоровая и серьезная партия с серьезными игроками.

Прощай — это первое и последнее мое письмо, или, пожалуй, глава из будущего твоего романа. Ну, поздравляю тебя, если он будет весь такой! Бабушке и сестрам своим кланяйся, нужды нет, что я не знаю их, а они меня, и скажи им, что в таком-то городе живет твой приятель, готовый служить, как выше сказано.—

И. Аянов».

VIII

Райский сунул письмо в ящик, а сам, взяв фуражку, пошел в сад, внутренно сознаваясь, что он идет взглянуть на места, где вчера ходила, сидела, скользила, может быть, как змея, с обрыва вниз, сверкая красотой, как ночь,— Вера, все она, его мучительница и идол, которому он еще лихорадочно дочитывал про себя — и молитвы, как идеалу, и шептал проклятия, как живой красавице, кидая мысленно в нее каменья.

Он обошел весь сад, взглянул на ее закрытые окна, подошел к обрыву и погрузил взгляд в лежащую у ног его пропасть тихо шумящих кустов и деревьев.

Аллеи представлялись темными коридорами, но открытые места, поблекший цветник, огород, все пространство сада, лежащее перед домом, освещались косвенными лучами выплывшей на горизонт луны. Звезды сильно мерцали. Вечер был ясен и свеж.

Райский посмотрел с обрыва на Волгу: она сверкала вдали, как сталь. Около него, тихо шелестя, летели с деревьев увядшие листья.

«Там она теперь,— думал он, глядя за Волгу,— и ни одного слова не оставила мне! Задушевное, сказанное ее грудным шепотом «прощай» примирило бы меня со всей этой злостью, которую она щедро излила на мою голову! И уехала! ни следа, ни воспоминания!» — горевал он, склонив голову, идучи по темной аллее.

Вдруг в плечо ему слегка впились чьи-то тонкие пальцы, как когти хищной птицы, и в ухе раздался сдержанный смех.

— Вера! — в радостном ужасе сказал он, задрожав и хватая ее за руку.

У него даже волосы поднялись на голове.

— Ты здесь, не за Волгой!..

— Здесь, не за Волгой! — повторила она, продолжая смеяться, и пропустила свою руку ему под руку.— Вы дума-

ли, что я отпущу вас, не простясь? Да, думали? Признавайтесь!..

— Ты колдунья, Вера. Да, сию минуту я упрекал тебя, что ты не оставила даже слова! — говорил он растерянный, и от страха, и от неожиданной радости, которая вдруг охватила его. — Да как же это ты?.. В доме все говорили, что ты уехала вчера...

Она иронически засмеялась, стараясь поглядеть ему в лицо.

— А вы и поверили! Я готовила вам сюрприз, велела сказать, что уехала... Признайтесь, вы не поверили, притворились?..

— Ей-богу, нет.

— Побожитесь, еще! — говорила она, торжествуя и наслаждаясь его волнением, и опять засмеялась раздражительным смехом.— Не оставила двух слов, а осталась сама: что лучше? Говорите же! — прибавила она, шаля и заигрывая с ним.

Он был в недоумении. Эта живость речи, быстрые движения, насмешливое кокетство — все казалось ему неестественно в ней. Сквозь живой тон и резвость он слышал будто усталость, видел напряжение скрыть истощение сил. Ему хотелось взглянуть ей в лицо, и когда они подошли к концу аллеи, он вывел было ее на лунный свет.

— Дай мне взглянуть на тебя, что с тобой, Вера? Какая ты резвая, веселая!..— заметил он робко.

— Что смотреть — нечего! — с нетерпением перебила она, стараясь выдернуть свою руку и увлекая его в темноту.

Она встряхивала головой, небрежно поправляя сползавшую с плеч мантилью.

— Веселая — оттого, что вы здесь, подле меня...— Она прижалась плечом к его плечу.

— Что с тобой, Вера? в тебе какая-то перемена! — прошептал Райский подозрительно, не разделяя ее бурной веселости и стараясь подвести ее к свету.

— Пойдемте, пойдемте, что за смотр такой — не люблю!..— живо говорила она, едва стоя на месте.

Он чувствовал, что руки у ней дрожат и что вся она трепещет и бьется в какой-то непонятной для него тревоге.

— Да говорите же что-нибудь, рассказывайте, где были, что видели, помнили ли обо мне? А что страсть? все мучает — да? Что это у вас, точно язык отнялся? куда девались эти «волны поэзии», этот «рай и геенна»? давайте мне рая! Я счастья хочу, «жизни»!

Она говорила бойко, развязно, трогая его за плечо, не стояла на месте от нетерпения, ускоряла шаг.

— Да что это вы идете, как черепаха! Пойдемте к обрыву, спустимся к Волге, возьмем лодку, покатаемся!..— про-

должала она, таща его с собой, то смеясь, то вдруг задумываясь.

— Вера, мне страшно с тобой, ты... нездорова! — печально сказал он.

— А что? — спросила она вдруг, останавливаясь.

— Откуда вдруг у тебя эта развязность, болтливость? Ты, такая сдержанная, сосредоточенная!..

— Я очень обрадовалась вам, брат, все смотрела в окно, прислушиваясь к стуку экипажей...— сказала она и, наклонив голову, в раздумье, тише пошла подле него, все держа свою руку на его плече и по временам сжимая сильно, как птица когти, свои тонкие пальцы.

Ему отчего-то было тяжело. Он уже не слушал ее раздражительных и кокетливых вызовов, которым в другое время готов был верить. В нем в эту минуту умолкла собственная страсть. Он болел духом за нее, вслушиваясь в ее лихорадочный лепет, стараясь вглядеться в нервную живость движений и угадать, что значило это волнение.

— Чего вы так странно смотрите на меня: я не сумасшедшая! — говорила она, отворачиваясь от него.

На него напал ужас.

«Сумасшедшие почти всегда так говорят! — подумал он,— спешат уверить всех, что они не сумасшедшие!»

Он сам испытывал нетрезвость страсти — и мучился за себя, но он давно знал и страсти, и себя, и то не всегда мог предвидеть исход. Теперь, видя Веру, упившеюся этого недуга, он вздрагивал за нее.

Она как будто теряет силу, слабеет. Спокойствия в ней нет больше: она собирает последние силенки, чтоб замаскироваться, уйти в себя,— это явно: но и в себе ей уже тесно — чаша переполняется, и волнение выступает наружу.

«Боже мой, что с ней будет! — в страхе думал он,— а у ней нет доверия ко мне. Она не высказывается, хочет бороться одна! кто охранит ее?..»

«Бабушка!» — шепнул ему какой-то голос.

— Вера! ты нездорова, ты бы поговорила с бабушкой...— серьезно сказал он.

— Тише, молчите, помните ваше слово! — сильным шепотом сказала она.— Прощайте теперь! Завтра пойдем с вами гулять, потом в город, за покупками, потом туда, на Волгу... всюду! Я жить без вас не могу!..— прибавила она почти грубо и сильно сжав ему плечо пальцами.

«Что с ней!» — думал он.

Но последние ее слова, этот грубо-кокетливый вызов, обращенный прямо к нему и на него, заставили его подумать и о своей защите, напомнили ему о его собственной борьбе и о намерении бежать.

— Я уеду, Вера,— сказал он вслух,— я измучен, у меня

нет сил больше, я умру... Прощай! зачем ты обманула меня? зачем вызвала? зачем ты здесь? Чтоб наслаждаться моими муками!.. Уеду, пусти меня!

— Уезжайте! — сказала она, отойдя от него на шаг.— Егорка еще не успел унести чемодан на чердак!..

Он быстро пошел, ожесточенный этой умышленной пыткой, этим издеванием над ним и над страстью. Потом оглянулся. Шагах в десяти от него, выступив немного на лунный свет, она, как белая статуя в зелени, стоит неподвижно и следит за ним с любопытством, уйдет он или нет.

«Что это? что с ней? — с ужасом спрашивал он,— зачем я ей? Воткнула нож, смотрит, как течет кровь, как бьется жертва! что она за женщина?»

Ему припомнились все жестокие, исторические, женские личности, жрицы кровавых культов, женщины революции, купавшиеся в крови, и все жестокое, что совершено женскими руками, с Юдифи [1] до леди Макбет [2] включительно. Он пошел и опять обернулся. Она смотрит неподвижно. Он остановился.

«Какая красота, какая гармония — во всей этой фигуре! Она страшна, гибельна мне!» — думал он, стоя как вкопанный, и не мог оторвать глаз от стройной, неподвижной фигуры Веры, облитой лунным светом.

Он чувствовал эту красоту нервами, ему было больно от нее. Он нехотя впился в нее глазами.

Она пошевелилась и сделала ему призывный знак головой. Проклиная свою слабость, он медленно, шаг за шагом, пошел к ней. Она уползла в темную аллею, лишь только он подошел, и он последовал за ней.

— Что тебе нужно, Вера, зачем ты не даешь мне покоя? Через час я уеду!..— резко и сухо говорил он, и сам все шел к ней.

— Не смейте, я не хочу! — сильно схватив его за руку, говорила она,— вы «раб мой», должны мне служить... Вы тоже не давали мне покоя!

Дрожь страсти вдруг охватила его. Он чувствовал, что колени его готовы склониться и голос пел внутри его: «Да, раб, повелевай!..»

И он хотел упасть и зарыдать от страсти у ее ног.

— Вы мне нужны,— шептала она: — вы просили мук, казни — я дам вам их! «Это жизнь!» — говорили вы: — вот она — мучайтесь, и я буду мучаться, будем вместе мучаться... «Страсть прекрасна: она кладет на всю жизнь долгий след, и этот след люди называют счастьем!..» Кто это проповедовал? А теперь бежать: нет! оставайтесь, вместе кинемся в ту безд-

---

[1] Героиня библейской легенды, убившая полководца Олоферна.

[2] Героиня трагедии Шекспира «Макбет», поощрявшая мужа на преступления.

ну! «Это жизнь, и только это!» — говорили вы,— вот и давайте жить! Вы меня учили любить, вы преподавали страсть, вы развивали ее...

— Ты гибнешь, Вера,— в ужасе сказал он, отступая.

— Может быть,— говорила она, как будто отряхивая хмель от головы.— Так что же? что вам? не все ли равно? вы этого хотели! «Природа влагает страсть только в живые организмы,— твердили вы,— страсть прекрасна!..» Ну вот она — любуйтесь!..

Она забирала сильными глотками свежий, вечерний воздух.

— Но я же и остерегал тебя, я называл страсть «волком»...— защищался он, с ужасом слушая это явное, беззащитное признание.

— Нет, она злее, она — тигр. Я не верила, теперь верю. Знаете ту гравюру, в кабинете старого дома: тигр скалит зубы на сидящего на нем амура? Я не понимала, что это значит, бессмыслица — думала, а теперь понимаю. Да — страсть, как тигр, сначала даст сесть на себя, а потом рычит и скалит зубы...

У Райского в душе шевельнулась надежда добраться до таинственного имени: кто! Он живо ухватился за ее сравнение страсти с тигром!

— У нас на севере нет тигров, Вера, и сравнение твое неверно,— сказал он.— Мое вернее: твой идол — волк!

— Браво, да, да! — смеясь нервически, перебила она,— настоящий волк! как ни корми, все к лесу глядит!

И вдруг смолкла, как будто в отчаянии.

— Все вы звери,— прибавила потом со вздохом,— он волк...

— Кто он? — тихо спросил Райский.

— Тушин — медведь,— продолжала она, не отвечая ему,— русский, честный, смышленый медведь...

«А! так это не Тушин?» — подумал Райский.

— Положи руку на его мохнатую голову,— говорила она,— и спи: не изменит, не обманет... будет век служить...

— А я кто? — вдруг, немного развеселясь, спросил Райский.

Она близко и лукаво поглядела ему в глаза и медлила ответом.

— Вижу, хочется сказать «осел»: скажи, Вера, не церемонься!

— Вы? осел? — заговорила она язвительно, ходя медленно вокруг него и оглядывая его со всех сторон.

— Право, осел! — наивно подтвердил Райский,— вижу, как ты мудришь надо мной, терплю и хлопаю ушами.

— Какой вы осел! — Вы лиса, мягкая, хитрая; заманить в западню... тихо, умно, изящно... Вот я вас!..

Он молчал, не понимая ее.

— Да говорите же, что молчите! — дергая его за рукав, сказала она.

— Есть средство против этих волков...

— Какое?

— Мне — уехать, а тебе — не ходить вон туда...— Он показал на обрыв.

— Дайте мне силу не ходить туда! — почти крикнула она...— Вот вы то же самое теперь испытываете, что я: да? Ну, попробуйте завтра усидеть в комнате, когда я буду гулять в саду одна... Да нет, вы усидите! Вы сочинили себе страсть, вы только умеете красноречиво говорить о ней, завлекать, играть с женщиной! Лиса, лиса! вот я вас за это, постойте, еще не то будет! — с принужденным смехом и будто шутя, но горячо говорила она, впуская опять ему в плечо свои тонкие пальцы.

Он в страхе слушал ее.

— Ты за этим дождалась меня? — помолчав, спросил он,— чтоб сказать мне это?

— Да, за этим! Чтоб вы не шутили вперед с страстью, а научили бы, что мне делать теперь,— вы, учитель!.. А вы подожгли дом, да и бежать! «Страсть прекрасна, люби, Вера, не стыдись!» Чья это проповедь: отца Василья?

— Я разумел разделенную страсть,— тихо оправдывался он.— Страсть прекрасна, когда обе стороны прекрасны, честны — тогда страсть не зло, а действительно величайшее счастье на всю жизнь: там нет и не нужно лжи и обманов. Если одна сторона не отвечает на страсть, она не будет напрасно увлекать другую, или когда наступит охлаждение, она не поползет в темноте, отравляя изменой жизнь другому, а смело откроется и нанесет честно, как сама судьба, один явный и неизбежный удар — разлуку... Тогда бурь нет, а только живительный огонь...

— Страсти без бурь нет или это не страсть! — сказала она.— А кроме честности или нечестности, другого разлада, других пропастей разве не бывает? — спросила она после некоторого молчания.— Ну вот, я люблю, меня любят: никто не обманывает. А страсть рвет меня... Научите же теперь, что мне делать?

— Бабушке сказать...— говорил он, бледный от страха,— позволь мне, Вера... отдай мое слово назад.

— Боже сохрани! молчите и слушайте меня! А! теперь «бабушке сказать»! Стращать, стыдить меня!.. А кто велел не слушаться ее, не стыдиться? Кто смеялся над ее моралью?

— Ты скажи мне, что с тобой, Вера? Ты то проговариваешься, то опять уходишь в тайну; я в потемках, я не знаю ничего... Тогда, может быть, я найду и средство...

— Вы не знаете, что со мной, вы в потемках, подите сюда!— говорила она, уводя его из аллеи, и, выйдя из нее, остановилась. Луна светила ей прямо в лицо.— Смотрите, что со мной.

У него упало сердце. Он не узнал прежней Веры. Лицо

бледное, исхудалое, глаза блуждали, сверкая злым блеском, губы сжаты. С головы, из-под косынки, выпадали в беспорядке на лоб и виски две-три пряди волос, как у цыганки, закрывая ей, при быстрых движениях, глаза и рот. На плечи небрежно накинута была атласная, обложенная белым пухом мантилья, едва державшаяся слабым узлом шелкового шнурка.

— Что? — отряхивая волосы от лица, говорила она,— узнаете вашу Веру? Где эта «красота», которой вы пели гимны?

Она с жалостью улыбнулась, закрыла на минуту лицо рукой и покачала головой.

— Что я могу сделать, Вера? — говорил он тихо, вглядываясь в ее исхудавшее лицо и больной блеск глаз.— Скажи мне, я готов умереть...

— Умереть, умереть! зачем мне это? Помогите мне жить, дайте той прекрасной страсти, от которой «тянутся какие-то лучи на всю жизнь...» Дайте этой жизни, где она? Я, кроме огрызающегося тигра, не вижу ничего... Говорите, научите или воротите меня назад, когда у меня еще была сила! А вы — «бабушке сказать»! уложить ее в гроб и меня с ней!.. Это, что ли, средство? Или учите не ходить туда, к обрыву... Поздно!

— Скажи мне, кого ты любишь, все обстоятельства, имя!..

— Кого? — вас! — сказала она с злобой, отряхивая опять пряди от лица и небрежно натягивая мантилью на плеча.

Он боялся сказать слово, боялся пошевелиться, стоял, сложив руки назад, прислонясь к дереву. Она ходила взад и вперед торопливыми, неровными шагами. Потом остановилась и перевела дух.

— Да, она сумасшедшая! — шептал он в ужасе.

Она села на скамью, утихла и задумалась.

— Что это со мной? — будто немного опомнившись, про себя сказала она.

— Ты, Вера, сама бредила о свободе, ты таилась, и от меня, и от бабушки, хотела независимости. Я только подтверждал твои мысли: они и мои. За что же обрушиваешь такой тяжелый камень на мою голову? — тихо оправдывался он.— Не только я, даже бабушка не смела приступиться к тебе...

Она глубоко вздохнула, потом подошла к нему и, прижавшись головой к его плечу, слабо заговорила.

— Да... да, не слушайте меня! У меня просто нервы расстроены. Какая страсть? Никакой страсти нет! Я шутила, как вы... со мной...

— Ты все еще думаешь, что я шутил! — тихо сказал он.

Она старалась улыбнуться, взяла его за руку.

— Прижмите руку к моей голове,— говорила она кротко,— видите, какой жар... Не сердитесь на меня, будьте снисходительны к бедной сестре! Это все пройдет... Доктор говорит, что у женщин часто бывают припадки... Мне самой гадко и стыдно, что я так слаба...

— Что же с тобой, бедная Вера? скажи мне...

— Ничего... Вы только проводите меня домой, помогите взойти на лестницу — я боюсь чего-то... Я лягу... простите меня, я встревожила вас напрасно... вызвала сюда... Вы бы уехали и забыли меня. У меня просто лихорадка... Вы не сердитесь?..— ласково сказала она.

Он поспешно подал ей руку, тихо вывел из сада, провел через двор и довел до ее комнаты. Там зажег ей свечу.

— Позовите Марину или Машу, чтоб легли спать тут в моей комнате... Только бабушке ни слова об этом!.. Это просто раздражение... Она перепугается... придет...

Он боязливо, задумчиво слушал ее.

— Что вы все молчите, так странно смотрите на меня! — говорила она, беспокойно следя за ним глазами.— Я бог знает что наболтала в бреду... это чтоб подразнить вас... отмстить за все ваши насмешки...— прибавила она, стараясь улыбнуться.— Смотрите же, бабушке ни слова! Скажите, что я легла, чтоб завтра пораньше встать, и попросите ее... благословить меня заочно... Слышите?

— Да, да, слышу,— рассеянно отвечал он, пожал ей руку и позвал к ней Машу.

IX

Райский на другой день с любопытством ждал пробуждения Веры. Он забыл о своей собственной страсти, воображение робко молчало и ушло все в наблюдение за этой ползущей в его глазах, как «удав», по его выражению, чужой страстью, выглянувшей из Веры, с своими острыми зубами.

Он был задумчив, угрюм, избегал вопросительных взглядов бабушки, проклиная слово, данное Вере, не говорить никому, всего меньше Татьяне Марковне, чем и поставлен был в фальшивое положение.

А Татьяна Марковна не раз уж заговаривала с ним о ней.

— Что-то с Верой неладно! — говорила она, качая головой.

— Что такое? — спрашивал небрежно Райский, стараясь казаться равнодушным.

— Нехорошо! хуже, нежели намедни: ходит хмурая, молчит, иногда кажется, будто слезы у нее на глазах. Я с доктором говорила, тот опять о нервах поет. Девичьи припадки, что ли?..

Бабушка не кончала речи и грустно задумывалась.

Он с нетерпением ожидал Веры. Наконец она пришла. Девушка принесла за ней теплое пальто, шляпку и ботинки на толстой подошве. Она, поздоровавшись с бабушкой, попросила кофе, с аппетитом съела несколько сухарей и напомнила Райскому просьбу свою побывать с ней в городе, в лавках, и потом погулять вместе в поле и в роще.

Она как будто ничего. Из вчерашнего только заметна была несвойственная ей развязность в движениях и излишняя торопливость речи, казавшаяся натянутой. Очевидно было, что она крепится и маскирует расстроенность духа или нерв.

Она даже вдалась в подробности о нарядах с Полиной Карповной, которая неожиданно явилась в кабинет бабушки с какими-то обещанными выкройками нового фасона платья для приданого Марфеньки, а в самом деле, чтоб узнать о возвращении Бориса Павловича.

Она все хотела во что бы то ни стало видеться с ним наедине и все выбирала удобную минуту сесть подле него, уверяя всех, и его самого, что он хочет что-то сказать ей без свидетелей.

Она делала томные глаза, ловила его взгляд и раза два начинала тихо: «Je comprends: dites tout! du courage!» [1]

«Ну тебя к черту!» — думал он, хмурясь и отодвигаясь от нее.

Наконец Вера надела пальто, взяла его под руку и сказала: «Пойдемте!»

Крицкая порывалась было идти с ними, но Вера уклонилась, сказав: «Мы идем пешком и надолго с братом, а у вас, милая Полина Карповна, длинный шлейф, и вообще нарядный туалет — на дворе сыро...»

И ушли.

Райский, молчал, наблюдая Веру, а она старалась казаться в обыкновенном расположении духа, делала беглые замечания о погоде, о встречавшихся знакомых, о том, что вон этот дом еще месяц тому назад был серый, запущенный, с обвалившимися карнизами, а теперь вон как свежо смотрит, когда его оштукатурили и выкрасили в желтый цвет. Упомянула, что к зиме заново отделают залу собрания, что гостиный двор покроют железом, остановилась посмотреть, как ровняют улицу для бульвара.

Она вообще казалась довольной, что идет по городу, заметив, что эта прогулка была необходима и для того, что ее давно не видит никто и бог знает, что думают, точно будто она умерла.

Райский — ни слова не отвечал на весь этот развязный лепет, под которым слышались ему совсем другие речи.

— Может быть, я дурно делаю, что лишаю вас общества Полины Карповны? — заметила она, напрасно стараясь вывести его из молчания.

Он сделал нетерпеливое движение плечом.

— Я шучу! — сказала она, меняя тон на другой, более искренний.— Я хочу, чтоб вы провели со мной день и несколько дней до вашего отъезда,— продолжала она почти

---

[1] Я понимаю: говорите все! смелей! *(франц.)*

с грустью.— Не оставляйте меня, дайте побыть с вами... Вы скоро уедете — и никого около меня!

— Я боюсь, Вера, что я совершенно бесполезен тебе, именно потому, что ничего не знаю. Вижу только, что у тебя какая-то драма, что наступает или наступила катастрофа...

Она вздрогнула.

— Что ты? — заботливо спросил он.

— Свежо на дворе, плечи зябнут! — сказала она, пожимая плечами.— Какая драма! нездорова, невесела, осень на дворе, а осенью человек, как все звери, будто уходит в себя. Вон и птицы уже улетают — посмотрите, как журавли летят! — говорила она, указывая высоко над Волгой на кривую линию черных точек в воздухе.— Когда кругом все делается мрачно, бледно, уныло,— и на душе становится уныло... Не правда ли?

Она сама знала, что его нелегко было обойти таким объяснением, и говорила так, чтоб не говорить правды.

Он молчал, стараясь отыскать другой, настоящий ключ.

— Вера, я хотел тебя спросить...— начал он.

— Что такое? — с беспокойством перебила она и, не дождавшись ответа, прибавила: — хорошо, спросите, только не сегодня, а погодя несколько дней... Однако — что такое?

— О письмах, которые ты писала ко мне...

— Да, что же такое?

— Помнишь, ты писала, что разделяешь мой взгляд на честность...

Она подумала и, казалось, старалась вспомнить.

— Да... да... как же, как же... писала... так что же?

Он глядел на нее пристально.

— Ты ли писала это письмо?

— Кто же? — вдруг сказала она с живостью,— конечно, я... Послушайте,— прибавила она потом,— оставим это объяснение, как я просила, до другого раза. Я больна, слаба... вы видели, какой припадок был у меня вчера. Я теперь даже не могу всего припомнить, что я писала, и как-нибудь перепутаю...

— Хорошо, пусть до другого раза! — со вздохом сказал он.— Скажи по крайней мере, зачем я тебе? Зачем ты удерживаешь меня? Зачем хочешь, чтоб я остался, чтоб пробыл с тобой эти дни?

Она сильно оперлась рукой на его руку и прижалась к его плечу, умоляя глазами не спрашивать.

— Ведь не любишь же ты меня в самом деле. Ты знаешь, что я не верю твоей кокетливой игре,— и настолько уважаешь меня, что не станешь уверять серьезно... Я, когда не в горячке, вижу, что ты издеваешься надо мной: зачем и за что?

Она сильно сжала его руку и молила опять глазами не продолжать.

— По крайней мере о себе я вправе спросить, зачем я тебе? Ты не можешь не видеть, как я весь истерзан и страстью, и этим градом ударов сердцу, самолюбию...

— Да, самолюбию...— повторила она рассеянно.

— Положим, самолюбию, оставим спор о том, что такое самолюбие, и что — так называемое — сердце. Но ты должна сказать, зачем я тебе? Это мое право — спросить, и твой долг — отвечать прямо и откровенно, если не хочешь, чтоб я счел тебя фальшивой, злой...

Она шла с поникшей головой, а он ждал ответа.

— Оставим теперь это...

— И это оставим? Нет, не оставлю! — с вспыхнувшей злостью сказал он, вырвав у ней руку,— ты как кошка с мышью играешь со мной! Я больше не позволю, довольно! Ты можешь откладывать свои секреты до удобного времени, даже вовсе о них не говорить: — ты вправе, а о себе я требую немедленного ответа. Зачем я тебе? Какую ты роль дала мне и зачем, за что!

— Вы сами выбрали эту роль, брат...— кротко возразила она, склоняя лицо вниз.— Вы просили не удалять вас...

Он, в бессильной досаде на ее справедливый упрек, отшатнулся от нее в сторону и месил широкими шагами грязь по улице, а она шла по деревянному тротуару.

— Не сердитесь, брат, подите сюда! Я не затем удержала вас, чтоб оскорблять,— нет! — шептала она, призывая его к себе...— Подите сюда, ко мне.

Он опять подал ей руку.

— Я прошу вас только, не говорите мне об этом теперь, не тревожьте меня — чтоб со мной не случилось опять вчерашнего припадка!.. Вы видите, я едва держусь на ногах... Посмотрите на меня, возьмите мою руку...

Он взял руку — она была бледна, холодна, синие жилки на ней видны явственно. И шея, и талия стали у ней тоньше, лицо потеряло живые цвета и сквозилось грустью и слабостью. Он опять забыл о себе, ему стало жаль только ее.

— Я не хочу, чтоб дома заметили это... Я очень слаба... поберегите меня...— молила она, и даже слезы показались в глазах.— Защитите меня... от себя самой!.. Ужо, в сумерки, часов в шесть после обеда, зайдите ко мне — я... скажу вам, зачем я вас удержала...

— Виноват, Вера, я тоже сам не свой! — говорил он, глубоко тронутый ее горем, пожимая ей руку,— я вижу, что ты мучаешься — не знаю чем... Но — я ничего не спрошу, я должен бы щадить твое горе — и не умею, потому что сам мучаюсь. Я приду ужо, располагай мною...

Она отвечала на его пожатие сильным пожатием руки.

— Скажу, если в силах буду сказать...— прошептала она.

У него замерло сердце от тоски и предчувствия.

Они прошли по лавкам. Вера делала покупки для себя и для Марфеньки, так же развязно и словоохотливо разговаривая с купцами и с встречными знакомыми. С некоторыми даже останавливалась на улице и входила в мелочные, будничные подробности, зашла к какой-то своей крестнице, дочери бедной мещанки, которой отдала купленного на платье ей и малютке ситцу и одеяло. Потом охотно приняла предложение Райского навестить Козлова.

Когда они входили в ворота, из калитки вдруг вышел Марк. Увидя их, он едва кивнул Райскому, не отвечая на его вопрос: «Что Леонтий?» и, почти не взглянув на Веру, бросился по переулку скорыми шагами.

Вера вдруг будто приросла на минуту к земле, но тотчас же оправилась и также скорыми шагами вбежала на крыльцо, опередив Райского.

— Что с ним? — спросил Райский, глядя вслед Марку,— не отвечал ни слова и как бросился! Да и ты испугалась: не он ли уж это там стреляет?.. Я видал его там с ружьем...— добавил он шутя.

— Он самый! — сказала Вера развязно, не оборачиваясь и входя в комнату Козлова.

«Нет, нет,— думал Райский,— оборванный, бродящий цыган — ее идол, нет, нет! Впрочем, почему «нет»? Страсть жестока и самовластна. Она не покоряется человеческим соображениям и уставам, а покоряет людей своим неизведанным капризам! Но Вере негде было сблизиться с Марком. Она боится его, как все здесь!»

Козлов по-вчерашнему ходил, пошатываясь, как пьяный, из угла в угол, угрюмо молчал с неблизкими и обнаруживал тоску только при Райском, слабел и падал духом, жалуясь тихим ропотом, и все вслушивался в каждый проезжавший экипаж по улице, подходил к дверям в волнении и возвращался в отчаянии.

На приглашение Райского и Веры переехать к ним он молчал, едва вслушиваясь, или скажет: «Да, да, только после, погодя недели две... три...»

— После свадьбы Марфеньки,— сказала Вера.

— После свадьбы, после свадьбы! — подтвердил Леонтий.— Да, благодарю, а теперь я поживу здесь... Покорно благодарю...

Он вдруг взглянул на Веру и как будто удивился, видя ее.

— Вера Васильевна! —сказал он, глядя на нее в смущении.— Борис Павлович,— начал он, продолжая глядеть на нее,— ты знаешь, кто еще читал твои книги и помогал мне разбирать их?..

— Кто? — спросил Райский.

Но Козлов уже был в другом углу комнаты и прислушивался. Потом вдруг отворил форточку и высунул голову.

— Чей это голос?.. женщины! — говорил он с испугом, навострив уши и открыв глаза.

— Ни-ток, ниток! холста! — доносился пронзительный женский крик издали. Козлов с досадой захлопнул форточку.

— Кто же читал книги? — повторил Райский.

Но Козлов не слыхал вопроса, сел на постель и повесил голову. Вера шепнула Райскому, что ей тяжело видеть Леонтья Ивановича, и они простились с ним.

— Я что-то хотел сказать тебе, Борис Павлович,— задумчиво говорил Козлов,— да вот забыл...

— Ты говорил, что книги мои читал еще кто-то...

— Да вот кто! — вдруг сказал Леонтий, указывая на Веру.

Райский взглянул на Веру, но она задумчиво смотрела в окно и тянула его за рукав.

— Пойдемте, пойдемте! — говорила она, порываясь на улицу.

Они воротились домой. Вера передала некоторые покупки бабушке, другие велела отнести к себе в комнату и позвала опять Райского гулять по роще, по полю и спуститься к Волге, на песок.

— Пойдемте туда! — говорила она, указывая какой-нибудь бугор, и едва доходили они туда, она тащила его в другое место или взглянуть с какой-нибудь высоты на круто заворотившуюся излучину Волги, или шла по песку, где вязли ноги, чтоб подойти поближе к воде.

Она всматривалась вдаль, указывала Райскому какое-нибудь плывущее судно, иногда шла неровными, слабыми шагами, останавливалась, переводя дух и отряхивая пряди волос от лица.

— Зачем ты утомляешь себя, ты слаба, Вера? — сказал он.

— Мне все будто пить хочется, я воздуха хочу! — говорила она, оборачиваясь лицом в ту сторону, откуда был ветер.

— Да, она перемогает себя, собирает последние силы! — шептал он, проводив ее наконец домой, где их ждали к обеду.— Ужо, ужо! — твердил он и ждал шести часов вечера, когда стемнеет.

После обеда он уснул в зале от усталости и проснулся, когда только что пробило шесть часов и стало смеркаться.

Он пошел к Вере, но ее не было дома. Марина сказала, что барышня ко всенощной пошла, но только не знала, в какую церковь, в слободе или в деревенский приход на гору.

В слободской церкви Райский пересмотрел всех и выучил наизусть физиономию каждой старухи, отыскивая Веру. Но ее не было, и он отправился на гору.

Там в церкви толпилось по углам и у дверей несколько стариков и старух. За колонной, в сумрачном углу, увидел он Веру, стоящую на коленях, с наклоненной головой, с накинутой на лицо вуалью.

Он стал сзади, за другой колонной.

Пока она молилась, он стоял, погруженный в мысль о ее положении, в чувство нежного сострадания к ней, особенно со времени его возвращения, когда в ней так заметно выказалось обессиление в тяжелой борьбе.

Видя это страдание только что расцветающей жизни, глядя, как мнет и жмет судьба молодое, виноватое только тем создание, что оно пожелало счастья, он про себя роптал на суровые, никого не щадящие законы бытия, налагающие тяжесть креста и на плечи злодея и на эту слабую, едва распустившуюся лилию.

«Хоть бы красоты ее пожалел... пожалела... пожалело... кто? зачем? за что?» — думал он и невольно поддавался мистическому влечению верить каким-то таинственным, подготовляемым в человеческой судьбе минутам, сближениям, встречам, наводящим человека на роковую идею, на мучительное чувство, на преступное желание, нужное зачем-то, для цели, неведомой до поры до времени самому человеку, от которого только непреклонно требуется борьба.

В другие, напротив, минуты — казалось ему — являются также невидимо кем-то подготовляемые случаи, будто нечаянно отводящие от какого-нибудь рокового события, шага или увлечения, перешагнув чрез которые, человек перешагнул глубокую пропасть, замечая ее уже тогда, когда она осталась позади.

Вглядываясь в ткань своей собственной и всякой другой жизни, глядя теперь в только что початую жизнь Веры, он яснее видел эту игру искусственных случайностей, какие-то блуждающие огни злых обманов, ослеплений, заранее расставленных пропастей, с промахами, ошибками, и рядом — тоже будто случайные исходы из запутанных узлов...

«Что делать? рваться из всех сил в этой борьбе с расставленными капканами, и все стремиться к чему-то прочному, безмятежно-покойному, к чему стремятся вон и те простые души?» Он оглянулся на молящихся стариков и старух. «Или бессмысленно купаться в мутных волнах этой, бесцельно текущей жизни!»

«Где же ключ к уразумению сознательного пути?»

Он взглянул на Веру: она не шевелилась в своей молитве и не сводила глаз с креста.

«Бедная!» — с грустью думал он, вышел и сел на паперть в ожидании Веры.

Она молча подала ему руку. Они пошли с горы.

— Вы были в церкви? — спросила она.

— Да, был, — отвечал он.

Они тихо сошли с горы по деревне и по большой луговине к саду, Вера — склоня голову, он — думая об обещанном объяснении и ожидая его. Теперь желание выйти из омута

неизвестности — для себя, и положить, одним прямым объяснением, конец собственной пытке, — отступило на второй план.

Он чувствовал, что на нем одном лежал долг стать подле нее, осветить ее путь, помочь распутать ей самой какой-то роковой узел или перешагнуть пропасть, и отдать ей, если нужно, всю свою опытность, ум, сердце, всю силу.

Она и сама звала его за этим, в чем вполовину утром созналась, и если не созналась вполне, то, конечно, от свойственной ей осторожности — и может быть, еще остаток гордости мешал ей признать себя побежденной.

Он рад броситься ей на помощь, но не знает ничего и даже не имеет права разделить ни с кем своих опасений.

Но если б даже она и возвратила ему его слово и он поверил бабушке все свои догадки и подозрения насчет Веры, повело ли бы это к желаемому исходу?

Едва ли. Вся практическая, но устаревшая мудрость бабушки разбилась бы об упрямство Веры, ум которой был смелее, воля живее, чем у Татьяны Марковны, и притом Вера развита.

Ей по плечу современные понятия, пробивающиеся в общественное сознание; очевидно, она черпнула где-то других идей, даже знаний, и стала неизмеримо выше круга, где жила. Как ни старалась она таиться, но по временам проговаривалась каким-нибудь, нечаянно брошенным словом, именем авторитета в той или другой сфере знания.

И язык изменяет ей на каждом шагу; самый образ проявления самоволия мысли и чувства, — все, что так неожиданно поразило его при первой встрече с ней, весь склад ума, наконец, характер,— все давало ей такой перевес над бабушкой, что из усилия Татьяны Марковны — выручить Веру из какой-нибудь беды, не вышло бы ровно ничего.

Бабушка могла предостеречь Веру от какой-нибудь практической крупной ошибки, защитить ее от болезни, от грубой обиды, вырвать, с опасностью собственной жизни, из огня: но что она сделает в такой неосязаемой беде, как страсть, если она есть у Веры?

Бабушка, бесспорно умная женщина, безошибочный знаток и судья крупных и общих явлений жизни, бойкая хозяйка, отлично управляет своим маленьким царством, знает людские нравы, пороки и добродетели, как они обозначены на скрижалях Моисея и в евангелии.

Но едва ли она знает ту жизнь, где игра страстей усложняет людские отношения в такую мелкую ткань и окрашивается в такие цвета, какие и не снятся никому в мирных деревенских затишьях. Она — девушка.

Если в молодости любовь, страсть или что-нибудь подобное и было известно ей, так это, конечно — страсть без опыта,

какая-нибудь неразделенная или заглохшая от неудачи под гнетом любовь, не драма — любовь, а лирическое чувство, разыгравшееся в ней одной и в ней угасшее и погребенное, не оставившее следа и не положившее ни одного рубца на ее ясной жизни.

Где же ей знать или вспомнить эту борьбу, подать другому руку, помочь обойти эту пропасть? Она не вполне и поверила бы страсти: ей надо факты.

Выстрелы на дне обрыва и прогулки туда Веры — конечно, факты, но бабушка против этих фактов и могла бы принять меры, то есть расставила бы домашнюю полицию с дубинами, подкараулила бы любовника и нанесла бы этим еще новый удар Вере.

Не пускать Веру из дому — значит обречь на заключение, то есть унизить, оскорбить ее, посягнув на ее свободу. Татьяна Марковна поняла бы, что это морально, да и физически невозможно.

Вера не вынесла бы грубой неволи и бежала бы от бабушки, как убегала за Волгу от него, Райского, словом — нет средств! Вера выросла из круга бабушкиной опытности и морали, думал он, и та только раздражит ее своими наставлениями или, пожалуй, опять заговорит о какой-нибудь Кунигунде — и насмешит. А Вера потеряет и последнюю искру доверия к ней.

Нет, отжил этот авторитет; он годился для Марфеньки, а не для независимой, умной и развитой Веры.

Средство или ключ к ее горю, если и есть — в руках самой Веры, но она никому не вверяет его, и едва теперь только, когда силы изменяют, она обронит намек, слово, и опять в испуге отнимет и спрячется. Очевидно — она не в силах одна рассечь своего гордиева узла, а гордость или привычка жить своими силами — хоть погибать, да жить ими — мешает ей высказаться!

Он думал все это, идучи молча подле нее и не зная, как вызвать ее на полную откровенность — не для себя уже теперь, а для ее спасения. Наконец он решил подойти стороной: нельзя ли ему самому угадать что-нибудь из ее ответов на некоторые прежние свои вопросы, поймать имя, остановить ее на нем и облегчить ей признание, которое самой ей сделать, по-видимому, было трудно, хотя и хотелось и даже обещала она сделать, да не может. Надо помочь ей хитростью. Она теперь расстроена и — может быть — оплошает и обмолвится.

Он вспомнил, как напрасно добивался он от нее источника ее развития, расспрашивая о ее воспитании, о том, кто мог иметь на нее влияние, откуда она почерпнула этот смелый и свободный образ мысли, некоторые знания, уверенность в себе, самообладание. Не у француженки же в пансионе!

Кто был ее руководителем, собеседником, когда кругом никого нет?

Так думал он подвести ее к признанию.

— Послушай, Вера, я хотел у тебя кое-что спросить,— начал он равнодушным голосом,— сегодня Леонтий упомянул, что ты читала книги в моей библиотеке, а ты никогда ни слова мне о них не говорила. Правда это?

— Да, некоторые читала. Что ж?

— С кем же читала, с Козловым?

— Иные — да. Он объяснял мне содержание некоторых писателей. Других я читала одна или со священником, мужем Наташи...

— Какие же книги ты читала с священником?

— Теперь я не помню... Святых отцов, например. Он нам с Наташей объяснял, и я многим ему обязана.. Спинозу читали с ним... Вольтера...

Райский засмеялся.

— Чему вы смеетесь? — спросила она.

— Какой переход от святых отцов к Спинозе и Вольтеру! Там в библиотеке все энциклопедисты есть. Ужели ты их читала?

— Нет, куда же всех! Николай Иванович читал кое-что и передавал нам с Наташей...

— Как это вы до Фейербаха с братией не дошли... до социалистов и материалистов!..

— Дошли! — с слабой улыбкой сказала она,— опять-таки не мы с Наташей, а муж ее. Он просил нас выписывать места, отмечал карандашом...

— Зачем?

— Хотел, кажется, возражать и напечатать в журнале, не знаю...

— В библиотеке моего отца нет этих новых книг, где же вы взяли их? — с живостью спросил Райский и навострил ухо.

Она молчала.

— Уж не у того ли изгнанника, находящегося под присмотром полиции, которому ты помогала? Помнишь, ты писала о нем?..

Она, не слушая его, шла и молчала задумчиво.

— Вера, ты не слушаешь?

— А? нет, я слышу...— очнувшись, сказала она,— где я брала книги? Тут... в городе, то у того, то у другого...

— Волохов раздавал эти же книги...— заметил он.

— Может быть, и он... Я у учителей брала...

«Не учитель ли какой-нибудь, вроде m-r Шарля?» — сверкнуло у него в уме.

— Что же Николай Иванович говорит о Спинозе и об этих всех авторах?

— Много, всего не припомнишь...

— Например? — добивался Райский.

— Он говорит, что это «попытки гордых умов уйти в сторону от истины», вот как эти дорожки бегут в сторону от большой дороги и опять сливаются с ней же...

— Еще что?

— Еще? — что еще? Теперь забыла. Говорит, что все эти «попытки служат истине, очищают ее, как огнем, что это неизбежная борьба, без которой победа и царство истины не было бы прочно...» И мало ли что он еще говорил!..

— А где «истина»? он не отвечал на этот Пилатов вопрос?

— Вон там,— сказала она, указывая назад на церковь,— где мы сейчас были!.. Я это до него знала...

— Ты думаешь, что он прав?..— спросил он, стараясь хоть мельком заглянуть ей в душу.

— Я не думаю, а верю, что он прав. А вы? — повернувшись к нему, спросила она с живостью.

Он утвердительно наклонил голову.

— Зачем же меня спрашиваете?

— Есть неверующие, я хотел знать твое мнение...

— Я в этом, кажется, не скрывалась от вас, вы часто видите мою молитву...

— Да, но я желал бы слышать ее. Скажи, о чем ты молишься, Вера?

— О неверующих...— тихо сказала она.

— А я думал о своей тревоге, об этой буре...

— Да... в этом — и моя тревога, и моя буря!..— шептала она. Он не слыхал.

Проходя мимо часовни, она на минуту остановилась перед ней. Там было темно. Она, с медленным, затаенным вздохом, пошла дальше, к саду, и шла все тише и тише. Дойдя до старого дома, она остановилась и знаком головы подозвала к себе Райского.

— Послушайте, что я вам скажу...— тихо и нерешительно начала она, как будто преодолевая себя.

— Говори, Вера...

— Вы сказали...— еще тише начала она,— что самое верное средство против... «бури»... это не ходить туда...

Она показала к обрыву.

— Да, вернее этого нет.

— Я хотела просить вас...

Она остановилась, держа его за борт пальто.

— Я жду, Вера,— шептал и он, с легкой дрожью нетерпения и, может быть, тяжелого предчувствия.— Вчера я ждал только для себя, чтоб унять боль; теперь я жду для тебя, чтоб помочь тебе — или снести твою ношу, или распутать какой-то трудный узел, может быть, спасти тебя...

— Да, помогите...— сказала она, отирая платком выступившие слезы,— я так слаба... нездорова... сил у меня нет...

— Не поможет ли лучше меня бабушка? Откройся ей, Вера; она женщина, и твое горе, может быть, знакомо ей...

Вера, зажав глаза платком, отрицательно качала головой.

— Нет, она не такая... она ничего этого не знала...

— Что же я могу сделать?.. скажи все...

— Не спрашивайте меня, брат. Я не могу сказать всего. Сказала бы все и бабушке, и вам... и скажу когда-нибудь... когда пройдет... а теперь пока не могу...

— Как же я могу помочь, когда не знаю ни твоего горя, ни опасности? Откройся мне, и тогда простой анализ чужого ума разъяснит тебе твои сомнения, удалит, может быть, затруднения, выведет на дорогу... Иногда довольно взглянуть ясно и трезво на свое положение, и уже от одного сознания становится легче. Ты сама не можешь: дай мне взглянуть со стороны. Ты знаешь, два ума лучше одного...

— Никакие умы, никакой анализ — не выведут на дорогу, следовательно и говорить бесполезно! — почти с отчаянием сказала она.

— Как же я могу помочь тебе?

Она близко глядела ему в глаза глазами, полными слез.

— Не покидайте меня, не теряйте из вида,— шептала она.— Если услышите... выстрел оттуда... (она показала на обрыв) — будьте подле меня... не пускайте меня — заприте, если нужно, удержите силой... Вот до чего я дошла! — с ужасом сама прошептала она, закинув голову назад в отчаянии, как будто удерживала стон, и вдруг выпрямилась.— Потом...— тихо начала опять,— никогда об этом никому не поминайте, даже мне самой! Вот все, что вы можете сделать для меня: за этим я удержала вас! Я жалкая эгоистка, не дала вам уехать! Я чувствовала, что слабею... У меня никого нет, бабушка не поняла бы... Вы один... Простите меня!

— Ты хорошо сделала...— с жаром сказал он.— Ради бога, располагай мною — я теперь все понял и готов навсегда здесь остаться, лишь бы ты успокоилась...

— Нет, через неделю выстрелы прекратятся навсегда...— прибавила она, отирая платком слезы.

Она сжала обе его руки и, не оглядываясь, ушла к себе, взбираясь на крыльцо тихо, неровными шагами, держась за перилы.

X

Прошло два дня. По утрам Райский не видал почти Веру наедине. Она приходила обедать, пила вечером вместе со всеми чай, говорила об обыкновенных предметах, иногда только казалась утомленною.

Райский по утрам опять начал вносить заметки в программу своего романа, потом шел навещать Козлова, заходил на ми-

нуту к губернатору и еще к двум, трем лицам в городе, с которыми успел покороче познакомиться. А вечер проводил в саду, стараясь не терять из вида Веры, по ее просьбе, и прислушиваясь к каждому звуку в роще.

Он сидел на скамье у обрыва, ходил по аллеям, и только к полуночи у него прекращалось напряженное, томительное ожидание выстрела. Он почти желал его, надеясь, что своею помощью сразу навсегда отведет Веру от какой-то беды.

Но вот два дня прошли тихо; до конца назначенного срока, до недели, было еще пять дней. Райский рассчитывал, что в день рождения Марфеньки, послезавтра, Вере неловко будет оставить семейный круг, а потом, когда Марфенька на другой день уедет с женихом и с его матерью за Волгу, в Колчино, ей опять неловко будет оставлять бабушку одну,— и таким образом неделя пройдет, а с ней минует и туча. Вера за обедом просила его зайти к ней вечером, сказавши, что даст ему поручение.

Она выходила гулять, когда он пришел. Глаза у ней были, казалось, заплаканы, нервы видимо упали, движения были вялы, походка медленна. Он взял ее под руку, и так как она направлялась из сада к полю, он думал, что она идет к часовне, повел ее по лугу и по дорожке туда.

Она молча шла за ним, в глубокой задумчивости, от которой очнулась у порога часовни. Она вошла туда и глядела на задумчивый лик спасителя.

— Мне кажется, Вера, у тебя есть помощь сильнее моей, и ты напрасно надеялась на меня. Ты и без меня не пойдешь туда...— тихо говорил он, стоя на пороге часовни.

Она сделала утвердительный знак головой, и сама, кажется, во взгляде Христа искала силы, участия, опоры, опять призыва. Но взгляд этот, как всегда, задумчиво-покойно, как будто безучастно смотрел на ее борьбу, не помогая ей, не удерживая ее... Она вздохнула.

— Не пойду! — подтвердила она тихо, отводя глаза от образа.

Райский не прочел на ее лице ни молитвы, ни желания. Оно было подернуто задумчивым выражением усталости, равнодушия, а может быть, и тихой покорности.

— Пойдем домой, ты легко одета,— сказал он.

Она повиновалась.

— А что же поручение — какое? — спросил он.

— Да,— припомнила она и достала из кармана портмоне.— Возьмите у золотых дел мастера Шмита porte-bouquet [1]. Я еще на той неделе выбрала подарить Марфеньке в день рождения,— только велела вставить несколько жемчужин, из своих собственных, и вырезать ее имя. Вот деньги.

[1] Подставка для букета *(франц.)*.

Он спрятал деньги.

— Это не всё. В самый день ее рождения, послезавтра пораньше утром... Вы можете встать часов в восемь?..

— Еще бы! я, пожалуй, и спать не лягу совсем...

— Зайдите вот сюда — знаете большой сад — в оранжерею, к садовнику. Я уж говорила ему; выберите понаряднее букет цветов и пришлите мне, пока Марфенька не проснулась... Я полагаюсь на ваш вкус...

— Вот как! я делаю успехи в твоем доверии, Вера! — сказал, смеясь, Райский,— вкусу моему веришь и честности, даже деньги не боялась отдать...

— Я сделала бы это все сама, да не могу... сил нет... устаю!— прибавила она, стараясь улыбнуться на его шутку.

Он на другой день утром взял у Шмита porte-bouquet и обдумывал, из каких цветов должен быть составлен букет для Марфеньки. Одних цветов нельзя было найти в позднюю пору, другие не годились.

Потом он выбрал дамские часы с эмалевой доской, с цепочкой, подарить от себя Марфеньке, и для этого зашел к Титу Никонычу и занял у него двести рублей до завтра, чтобы не воевать с бабушкой, которая без боя не дала бы ему промотать столько на подарок и, кроме того, пожалуй, выдала бы заранее его секрет.

У Тита Никоныча он увидел роскошный дамский туалет, обшитый розовой киссей и кружевами, с зеркалом, увитым фарфоровой гирляндой из амуров и цветов, артистической, тонкой работы, с Севрской фабрики.

— Что это? Где вы взяли такую драгоценность? — говорил он, рассматривая группы амуров, цветы, краски,— и не мог отвести глаз.— Какая прелесть!

— Марфе Васильевне! — любезно улыбаясь, говорил Тит Никоныч,— я очень счастлив, что вам нравится,— вы знаток. Ваш вкус мне порукой, что этот подарок будет благосклонно принят дорогой новорожденной к ее свадьбе. Какая отменная девица! Поглядите, эти розы, можно сказать, суть ее живое подобие. Она будет видеть в зеркале свое пленительное личико, а купидоны ей будут улыбаться...

— Где вы достали такую редкость?

— До завтра прошу у вас секрета от Татьяны Марковны и от Марфы Васильевны тоже! — сказал Тит Никоныч.

— Ведь это больше тысячи рублей надо заплатить! И где здесь достать?..

— Пять тысяч рублей ассигнациями мой дед заплатил в приданое моей родительнице. Это хранилось до сих пор в моей вотчине, в спальне покойницы. Я в прошедшем месяце под секретом велел доставить сюда; на руках несли полтораста верст; шесть человек попеременно, чтоб не разбилось. Я только новую кисею велел сделать, а кружева — тоже старинные:

изволите видеть — пожелтели. Это очень ценится дамами, тогда как...— добавил он с усмешкой,— в наших глазах не имеет никакой цены.

— Что бабушка скажет? — заметил Райский.

— Без грозы не обойдется, я сильно тревожусь, но, может быть, по своей доброте, простит меня. Позволяю себе вам открыть, что я люблю обеих девиц, как родных дочерей,— прибавил он нежно,— обеих на коленях качал, грамоте вместе с Татьяной Марковной обучал; это — как моя семья. Не измените мне,— шепнул он, — скажу конфиденциально, что и Вере Васильевне в одинаковой мере я взял смелость изготовить в свое время, при ее замужестве, равный этому подарок, который, смею думать, она благосклонно примет...

Он показал Райскому массивный серебряный столовый сервиз на двенадцать человек, старой и тоже артистической отделки.

— Вам, как брату и другу ее, открою,— шептал он,— что я, вместе с Татьяной Марковной, пламенно желаю ей отличной и богатой партии, коей она вполне достойна: мы замечаем,— еще тише зашептал он,— что достойнейший во всех отношениях кавалер, Иван Иванович Тушин — без ума от нее — как и следует быть...

Райский вздохнул и вернулся домой. Он нашел там Викентьева с матерью, которая приехала из-за Волги к дню рождения Марфеньки, Полину Карповну, двух-трех гостей из города и — Опенкина.

Последний разливал волны семинарского красноречия, переходя нередко в плаксивый тон и обращая к Марфеньке пожелания по случаю предстоящего брака.

Бабушка не решилась оставить его к обеду при «хороших гостях» и поручила Викентьеву напоить за завтраком, что тот и исполнил отчетливо, так что к трем часам Опенкин был «готов» совсем и спал крепким сном в пустой зале старого дома.

Гости часов в семь разъехались. Бабушка с матерью жениха зарылись совсем в приданое и вели нескончаемый разговор в кабинете Татьяны Марковны.

А жених с невестой, обежав раз пять сад и рощу, ушли в деревню. Викентьев нес за Марфенькой целый узел, который, пока они шли по полю, он кидал вверх и ловил на лету.

Марфенька обошла каждую избу, прощалась с бабами, ласкала ребятишек, двум из них вымыла рожицы, некоторым матерям дала ситцу на рубашонки детям, да двум девочкам постарше на платья и две пары башмаков, сказав, чтоб не смели ходить босоногие по лужам.

Полоумной Агашке дала какую-то изношенную душегрейку, которую выпросила в дворне у Улиты, обещаясь по возвращении сделать ей новую, настрого приказав Агашке не

ходить в одном платье по осеннему холоду, и сказала, что пришлет «коты» носить в слякоть.

Безногому старику Силычу оставила рубль медными деньгами, которые тот жадно подобрал, когда Викентьев, с грохотом и хохотом, выворачивая карманы, выбросил их на лавку.

Силыч, дрожащими от жадности руками, начал завертывать их в какие-то хлопки и тряпки, прятал в карманы, даже взял один пятак в рот.

Но Марфенька погрозила, что отнимет деньги и никогда не придет больше, если он станет прятать их, а сам выпрашивать луковицу на обед и просить на паперти милостыню.

— Красавица ты наша, божий ангел, награди тебя господь! — провожали ее бабы с каждого двора, когда она прощалась с ними недели на две.

А мужики ласково и лукаво улыбались молча: «Балует барышня,— как будто думали они,— с ребятишками да с бабами возится! ишь какой пустяк носит им! Почто это нашим бабам и ребятишкам?»

И небрежно рассматривали ситцевую рубашонку, какой-нибудь поясок или маленькие башмаки.

XI

Вечером новый дом сиял огнями. Бабушка не знала, как угостить свою гостью и будущую родню.

Она воздвигла ей парадную постель в гостиной, чуть не до потолка, походившую на катафалк. Марфенька, в своих двух комнатах, целый вечер играла, пела с Викентьевым — наконец они затихли за чтением какой-то новой повести, беспрестанно прерываемым замечаниями Викентьева, его шалостями и резвостью.

Только окна Райского не были освещены. Он ушел тотчас после обеда и не возвращался к чаю.

Луна освещала новый дом, а старый прятался в тени. На дворе, в кухне, в людских долее обыкновенного не ложились спать люди, у которых в гостях были приехавшие с барыней Викентьевой из-за Волги кучер и лакей.

На кухне долго не гасили огня, готовили ужин и отчасти завтрашний обед.

Вера с семи часов вечера сидела в бездействии, сначала в сумерках, потом при слабом огне одной свечи; облокотясь на стол и положив на руку голову, другой рукой она задумчиво перебирала листы лежавшей перед ней книги, в которую не смотрела.

Глаза ее устремлены были куда-то далеко от книги. На плеча накинут белый большой шерстяной платок, защищавший ее от свежего, осеннего воздуха, который в открытое окно

наполнял комнату. Она еще не позволяла вставить у себя рам и подолгу оставляла окно открытым.

Спустя полчаса она медленно встала, положив книгу в стол, подошла к окну и оперлась на локти, глядя на небо, на новый, светившийся огнями через все окна дом, прислушиваясь к шагам ходивших по двору людей, потом выпрямилась и вздрогнула от холода.

Она стала закрывать окно, и только затворила одну половину, как среди тишины грянул под горой выстрел.

Она вздрогнула, быстро опустилась на стул и опустила голову. Потом встала, глядя вокруг себя, меняясь в лице, шагнула к столу, где стояла свеча, и остановилась.

В глазах был испуг и тревога. Она несколько раз трогала лоб рукой и села было к столу, но в ту же минуту встала опять, быстро сдернула с плеч платок и бросила в угол за занавес, на постель, еще быстрее отворила шкаф, затворила опять, ища чего-то глазами по стульям, на диване — и не найдя, что ей нужно, села на стул, по-видимому в изнеможении.

Наконец глаза ее остановились на висевшей на спинке стула пуховой косынке, подаренной Титом Никонычем. Она бросилась к ней, стала торопливо надевать одной рукой на голову, другой в ту же минуту отворяла шкаф и доставала оттуда с вешалок, с лихорадочной дрожью, то то, то другое пальто.

Мельком взглянув на пальто, попавшееся ей в руку, она с досадой бросала его на пол и хватала другое, бросала опять попавшееся платье, другое, третье и искала чего-то, перебирая одно за другим все, что висело в шкафе, и в то же время стараясь рукой завязать косынку на голове.

Наконец бросилась к свечке, схватила ее и осветила шкаф. Там, с ожесточенным нетерпением, взяла она мантилью на белом пуху, еще другую, черную, шелковую, накинула первую на себя, а на нее шелковую, отбросив пуховую косынку прочь.

Не затворив шкафа, она перешагнула через кучу брошенного на пол платья, задула свечку и, скользнув из двери, не заперев ее, как мышь, неслышными шагами спустилась с лестницы.

Она прокралась к окраине двора, закрытой тенью, и вошла в темную аллею. Она не шагала, а неслась; едва мелькал темный ее силуэт, где нужно было перебежать светлое пространство, так что луна будто не успевала осветить ее.

Она, миновав аллею, умерила шаг и остановилась на минуту перевести дух у канавы, отделявшей сад от рощи. Потом перешла канаву, вошла в кусты, мимо своей любимой скамьи, и подошла к обрыву. Она подобрала обеими руками платье, чтоб спуститься...

Перед ней, как из земли, вырос Райский и стал между ею и обрывом. Она окаменела на месте.

— Куда, Вера? — спросил он.

Она молчала.

— Пойдем назад!

Он взял ее за руку. Она не дала руки и хотела миновать его.

— Вера, куда, зачем?

— Туда... в последний раз, свидание необходимо — проститься... — шептала она со стыдом и мольбой.— Пустите меня, брат... Я сейчас вернусь, а вы подождите меня... одну минуту... Посидите вот здесь, на скамье...

Он молча, крепко взял ее за руку и не выпускал.

— Пустите, мне больно! — шептала она, ломая его и свою руку.

Он не пускал. Между ними завязалась борьба.

— Вы не сладите со мной!..— говорила она, сжимая зубы и с неестественной силой вырывая руку, наконец вырвала и метнулась было в сторону, мимо его.

Он удержал ее за талию, подвел к скамье, посадил и сел подле нее.

— Как это грубо, дико! — с тоской и злостью сказала она, отворачиваясь от него почти с отвращением.

— Не этой силой хотел бы я удержать тебя, Вера!

— От чего удержать? — спросила она почти грубо.

— Может быть — от гибели...

— Разве можно погубить меня, если я не хочу?

— Ты не хочешь, а гибнешь...

— А если я хочу гибнуть?

Он молчал.

— И никакой гибели нет, мне нужно видеться, чтоб... расстаться...

— Чтоб расстаться — не надо видеться...

— Надо — и я увижусь! часом или днем позже — все равно. Всю дворню, весь город зовите, хоть роту солдат, ничем не удержите!..

Она откинула черную мантилью с головы на плечи и судорожно передергивала ее.

Выстрел повторился. Она рванулась, но две сильные руки за плеча посадили ее на лавку. Она посмотрела на Райского с ног до головы и тряхнула головой от ярости.

— Какой же награды потребуете вы от меня за этот добродетельный подвиг? — шипела она.

Он молчал и исподлобья стерег ее движения. Она с злостью засмеялась.

— Пустите! — сказала она мягко, немного погодя.

Он покачал отрицательно головой.

— Брат! — заговорила она через минуту нежно, кладя

ему руку на плечо,— если когда-нибудь вы горели, как на угольях, умирали сто раз в одну минуту от страха, от нетерпения... когда счастье просится в руки и ускользает... и ваша душа просится вслед за ним... Припомните такую минуту... когда у вас оставалась одна последняя надежда... искра... Вот это — моя минута! Она пройдет — и все пройдет с ней...

— И слава богу, Вера! Опомнись, приди в себя немного, ты сама не пойдешь! Когда больные горячкой мучатся жаждой и просят льду — им не дают. Вчера, в трезвый час, ты сама предвидела это и указала мне простое и самое действительное средство — не пускать тебя — и я не пущу...

Она стала на колени подле него.

— Не заставьте меня проклинать вас всю жизнь потом! — умоляла она.— Может быть, там меня ждет сама судьба...

— Твоя судьба — вон там: я видел, где ты вчера искала ее, Вера. Ты веришь в провидение, другой судьбы нет...

Она вдруг смолкла и поникла головой.

— Да,— сказала она покорно,— да, вы правы, я верю... Но я там допрашивалась искры, чтоб осветить мой путь — и не допросилась. Что мне делать? — я не знаю...

Она вздохнула и медленно встала с колен.

— Не ходи! — говорил он.

— Именем той судьбы, в которую верю, я искала счастья! Может быть, она и посылает меня теперь туда... может быть... я необходима там! — продолжала она, выпрямившись и сделав шаг к обрыву.— Что бы ни было, не держите меня долее, я решилась. Я чувствую, моя слабость миновала. Я владею собой, я опять сильна! Там решится не моя одна судьба, но и другого человека. На вас ляжет ответственность за эту пропасть, которую вы роете между ним и мною. Я не утешусь никогда, буду вас считать виновником несчастья всей моей жизни... и его жизни! Если вы теперь удержите меня, я буду думать, что мелкая страстишка, самолюбие без прав, зависть — помешали моему счастью и что вы лгали, когда проповедовали свободу...

Он поколебался и отступил от нее на шаг.

— Это голос страсти, со всеми ее софизмами и изворотами! — сказал он, вдруг опомнившись.— Вера, ты теперь в положении иезуита. Вспомни, как ты просила вчера, после своей молитвы, не пускать тебя!.. А если ты будешь проклинать меня за то, что я уступил тебе, на кого тогда падет ответственность?

Она опять упала духом и уныло склонила голову.

— Кто он, скажи? — шепнул он.

— Если скажу — вы не удержите меня? — вдруг спросила она с живостью, хватаясь за эту, внезапно явившуюся надежду вырваться — и спрашивала его глазами, глядя близко и прямо ему в глаза.

— Не знаю, может быть...

— Нет, дайте слово, что не удержите,— и я назову...

Он колебался.

В эту минуту раздался третий выстрел. Она рванулась, но он успел удержать ее за руку.

— Пойдем, Вера, домой, к бабушке сейчас! — говорил он настойчиво, почти повелительно.— Открой ей всё...

Но она вместо ответа начала биться у него в руках, вырываясь, падая, вставая опять.

— Если... вам было когда-нибудь хорошо в жизни, то пустите!.. Вы говорили: «люби, страсть прекрасна!» — задыхаясь от волнения, говорила она и порывалась у него из рук,— вспомните... и дайте мне еще одну такую минуту, один вечер... «Христа ради!» — шептала она, протягивая руку,— вы тоже просили меня, Христа ради, не удалять вас... я не отказала... помните? Подайте и мне эту милостыню!.. Я никогда не упрекну вас... никогда... вы сделали все — мать не могла бы сделать больше — но теперь оставьте меня — я должна быть свободна!.. И вот, пусть тот, кому мы молились вчера, будет свидетелем, что это последний вечер... последний! Я никогда не пойду с обрыва больше: верьте мне — я этой клятвы не нарушу! Подождите меня здесь, я сейчас вернусь, только скажу слово...

Он выпустил ее руку.

— Что ты говоришь, Вера! — шептал он в ужасе,— ты не помнишь себя. Куда ты?

— Туда... взглянуть один раз... на «волка»... проститься... услышать его... может быть... он уступит...

Она бросилась к обрыву, но упала, торопясь уйти, чтоб он не удержал ее, хотела встать и не могла.

Она протягивала руку к обрыву, глядя умоляющими глазами на Райского.

Он собрал нечеловеческие силы, задушил вопль собственной муки, поднял ее на руки.

— Ты упадешь с обрыва, там круто...— шепнул он,— я тебе помогу...

Он почти снес ее с крутизны и поставил на отлогом месте, на дорожке. У него дрожали руки, он был бледен.

Она быстро обернулась к нему, обдала его всего широким взглядом исступленного удивления, благодарности, вдруг опустилась на колени, схватила его руку и крепко прижала к губам...

— Брат! вы великодушны, Вера не забудет этого! — сказала она и, взвизгнув от радости, как освобожденная из клетки птица, бросилась в кусты.

Он сел на том месте, где стоял, и с ужасом слушал шум раздвигаемых ею ветвей и треск сухих прутьев под ногами.

XII

В полуразвалившейся беседке ждал Марк. На столе лежало ружье и фуражка. Сам он ходил взад и вперед по нескольким уцелевшим доскам. Когда он ступал на один конец доски, другой привскакивал и падал со стуком.

— О, чертова музыка! — с досадой на этот стук сказал он и сел на одну из скамей близ стола, положил локти на стол и впустил обе руки в густые волосы.

Он курил папироску за папиросной. Зажигая спичку, он освещал себя. Он был бледен и казался взволнованным или озлобленным.

После каждого выстрела он прислушивался несколько минут, потом шел по тропинке, приглядываясь к кустам, по-видимому ожидая Веру. И когда ожидания его не сбывались, он возвращался в беседку и начинал ходить под «чертову музыку», опять бросался на скамью, впуская пальцы в волосы, или ложился на одну из скамей, кладя, по-американски, ноги на стол.

После третьего выстрела он прислушался минут семь, но, не слыша ничего, до того нахмурился, что на минуту как будто постарел, медленно взял ружье и нехотя пошел по дорожке, по-видимому с намерением уйти, но замедлял, однако, шаг, точно затрудняясь идти в темноте. Наконец пошел решительным шагом — и вдруг столкнулся с Верой.

Она остановилась и приложила руку к сердцу, с трудом переводя дух.

Он взял ее за руку — и в ней тревога мгновенно стихла. Она старалась только отдышаться от скорой ходьбы и от борьбы с Райским, а он, казалось, не мог одолеть в себе сильно охватившего его чувства — радости исполнившегося ожидания.

— Еще недавно, Вера, вы были так аккуратны, мне не приходилось тратить пороху на три выстрела...— сказал он.

— Упрек — вместо радости! — отвечала она, вырывая у него руку.

— Это я — так только, чтоб начать разговор, а сам одурел совсем от счастья, как Райский...

— Не похоже! Если б было так, мы не виделись бы украдкой, в обрыве... Боже мой!

Она перевела дух.

— А сидели бы рядком там у бабушки, за чайным столом, и ждали бы, когда нас обвенчают!

— Так что же?

— Что напрасно мечтать о том, что невозможно! Ведь бабушка не отдала бы за меня...

— Отдала бы: она сделает, что я хочу. У вас только это препятствие?

— Мы опять заводим эту нескончаемую полемику, Вера!

Мы сошлись в последний раз сегодня — вы сами говорите. Надо же кончить как-нибудь эту томительную пытку и сойти с горячих угольев!

— Да, в последний раз... Я клятву дала, что больше здесь никогда не буду!

— Стало быть, время дорого. Мы разойдемся навсегда, если... глупость, то есть бабушкины убеждения, разведут нас. Я уеду через неделю, разрешение получено, вы знаете. Или уж сойдемся и не разойдемся больше...

— Никогда? — тихо спросила она.

Он сделал движение нетерпения.

— Никогда! — повторил он с досадой,— какая ложь в этих словах: «никогда», «всегда»!.. Конечно, «никогда»: год, может быть, два... три... Разве это не — «никогда»? Вы хотите бессрочного чувства? Да разве оно есть? Вы пересчитайте всех ваших голубей и голубок: ведь никто бессрочно не любит. Загляните в их гнезда — что там? Сделают свое дело, выведут детей, а потом воротят носы в разные стороны. А только от тупоумия сидят вместе...

— Довольно, Марк, я тоже утомлена этой теорией о любви на срок! — с нетерпением перебила она.— Я очень несчастлива, у меня не одна эта туча на душе — разлука с вами! Вот уж год я скрытничаю с бабушкой — и это убивает меня, и ее еще больше, я вижу это. Я думала, что на днях эта пытка кончится; сегодня, завтра мы наконец выскажемся вполне, искренно объявим друг другу свои мысли, надежды, цели... и...

— Что потом? — спросил он, слушая внимательно.

— Потом я пойду к бабушке и скажу ей: вот кого я выбрала... на всю жизнь. Но... кажется... этого не будет... мы напрасно видимся сегодня, мы должны разойтись! — с глубоким унынием, шепотом, досказала она и поникла головой.

— Да, если воображать себя ангелами, то, конечно, вы правы, Вера: тогда на всю жизнь. Вон и этот седой мечтатель, Райский, думает, что женщины созданы для какой-то высшей цели...

— Для семьи созданы они прежде всего. Не ангелы, пусть так — но не звери! Я не волчица, а женщина!

— Ну пусть для семьи, что же? В чем тут помеха нам? Надо кормить и воспитать детей? Это уже не любовь, а особая забота, дело нянек, старых баб! Вы хотите драпировки: все эти чувства, симпатии и прочее — только драпировка, те листья, которыми, говорят, прикрывались люди еще в раю...

— Да, люди! — сказала она.

Он усмехнулся и пожал плечами.

— Пусть драпировка,— продолжала Вера,— но ведь и она, по вашему же учению, дана природой, а вы хотите ее снять. Если так, зачем вы упорно привязались ко мне, говорите, что любите,— вон изменились, похудели?.. Не все ли вам равно,

с вашими понятиями о любви, найти себе подругу там в слободе или за Волгой в деревне? Что заставляет вас ходить целый год сюда, под гору?

Он нахмурился.

— Видите свою ошибку, Вера: «с понятиями о любви», говорите вы, а дело в том, что любовь не понятие, а влечение, потребность, оттого она большею частию и слепа. Но я привязан к вам не слепо. Ваша красота, и довольно редкая — в этом Райский прав — да ум, да свобода понятий — и держат меня в плену долее, нежели со всякой другой!

— Очень лестно! — сказала она тихо.

— Эти «понятия» вас губят, Вера. Не будь их, мы сошлись бы давно и были бы оба счастливы...

— На время, а потом — явится новое увлечение, уступить ему — и так далее?..

Он пожал плечами.

— Не мы виноваты в этом, а природа! И хорошо сделала. Иначе, если останавливаться над всеми явлениями жизни подолгу — значит надевать путы на ноги... значит жить «понятиями»... Природу не переделаешь!

— Понятия эти — правила! — доказывала она. — У природы есть свои законы, вы же учили: а у людей правила!

— Вот где мертвечина и есть, что из природного влечения делают правила и сковывают себя по рукам и ногам. Любовь — счастье, данное человеку природой... Это мое мнение...

— Счастье это ведет за собой долг,— сказала она, встав со скамьи,— это мое мнение...

— Это выдумка, сочинение, Вера, поймите хаос ваших «правил» и «понятий»! Забудьте эти «долги» и согласитесь, что любовь прежде всего — влечение... иногда неодолимое...

Он тоже встал и обнял ее за талию.

— Так ли? С этим трудно не согласиться, упрямая... красавица, умница!..— нежно шептал он.

Она тихо освободила талию от его рук.

— А то выдумали — «долг»!

— Долг,—повторила она настойчиво,— за отданные друг другу лучшие годы счастья платить взаимно остальную жизнь...

— Чем это — позвольте спросить? Варить суп, ходить друг за другом, сидеть с глазу на глаз, притворяться, вянуть на «правилах», да на «долге» около какой-нибудь тщедушной, слабонервной подруги или разбитого параличом старика, когда силы у одного еще крепки, жизнь зовет, тянет дальше!.. Так, что ли?

— Да,— удержаться, не смотреть туда, куда «тянет»! Тогда не надо будет и притворяться, а просто воздерживаться, «как от рюмки», говорит бабушка, и это правда... Так я понимаю счастье и так желаю его!

— Ну, дело плохо, когда дошло до цитат бабушкиной

мудрости. Вы похвастайтесь ей, скажите, как крепки ее правила в вас...

— Нечем хвастаться! — уныло говорила она,— да, сегодня, отсюда, я пойду к ней и... «похвастаюсь»!

— Что же вы ей скажете?

— Все, что было здесь... чего она не знает...

Она села на скамью и, облокотившись на стол, склонила лицо на руки и задумалась.

— Зачем? — спросил он.

— Вы не поймете зачем, потому что не допускаете долга. А я давно в долгу перед ней...

— Все это мораль, подергивающая жизнь плесенью, скукой!.. Вера, Вера — не любите вы, не умеете любить...

Она вдруг подошла к нему и с упреком взглянула ему в лицо.

— Не говорите этого, Марк, если не хотите привести меня в отчаяние! Я сочту это притворством, желанием увлечь меня без любви, обмануть...

И он встал со скамьи.

— Не говорите и вы этого, Вера. Не стал бы я тут слушать и читать лекции о любви! И если б хотел обмануть, то обманул бы давно — стало быть, не могу...

— Боже мой! Из чего вы бьетесь, Марк? Как уродуете свою жизнь! — сказала она, всплеснув руками.

— Послушайте, Вера, оставим спор. Вашими устами говорит та же бабушка, только, конечно, иначе, другим языком. Все это годилось прежде, а теперь потекла другая жизнь, где не авторитеты, не заученные понятия, а правда пробивается наружу...

— Правда — где она? скажите наконец!.. Не позади ли нас? Чего вы ищете!

— Счастья! я вас люблю! Зачем вы томите меня, зачем боретесь со мной и с собой и делаете две жертвы?

Она пожала плечами.

— Странные упреки! Поглядите на меня хорошенько — мы несколько дней не виделись: какова я? — сказала она.

— Я вижу, что вы страдаете, и тем это нелепее! Теперь и я спрошу: зачем вы ходили и ходите сюда?

Она почти враждебно посмотрела на него.

— Зачем я не раньше почувствовала... ужас своего положения — хотите вы спросить? Да, этот вопрос и упрек давно мы должны бы были сделать себе оба, и тогда, ответив на него искренно друг другу и самим себе, не ходили бы больше! Поздно!..— шептала она задумчиво,— впрочем, лучше поздно, чем никогда! Мы сегодня должны один другому ответить на вопрос: чего мы хотели и ждали друг от друга?..

— Позвольте же мне высказаться решительно,— начал он.— Я хочу вашей любви и отдаю вам свою, вот одно «правило»

в любви — правило свободного размена, указанное природой. Не насиловать привязанности, а свободно отдаваться впечатлению и наслаждаться взаимным счастьем — вот «долг и закон», который я признаю — и вот мой ответ на вопрос, «зачем я хожу?». Жертв надо? И жертвы есть,— по мне это не жертвы, но я назову вашим именем, я останусь еще в этом болоте, не знаю сколько времени, буду тратить силы вот тут — но не для вас, а прежде всего для себя, потому что в настоящее время это стало моей жизнью — и я буду жить, пока буду счастлив, пока буду любить. А когда охладею — я скажу и уйду — куда поведет меня жизнь, не унося с собой никаких «долгов», «правил» и «обязанностей». Я все их оставлю тут, на дне обрыва! Видите, я не обманываю вас, я высказываюсь весь. Скажу и уйду! И вы имеете право сделать то же. А вон те мертвецы лгут себе и другим — и эту ложь называют «правилами». А сами потихоньку делают то же самое — и еще ухитрились себе присвоивать это право, а женщинам не давать его! Между нами должно быть равенство. Решите, честно это или нет?

Она покачала отрицательно головой.

— Софизмы! Честно взять жизнь у другого и заплатить ему своею: это правило! Вы знаете, Марк — и другие мои правила...

— Ну, дошли! теперь пойдет! Правило — камнем повиснуть на шее друг друга...

— Нет, не камнем! — горячо возразила она.— Любовь налагает долг, буду твердить я, как жизнь налагает и другие долги: без них жизни нет. Вы стали бы сидеть с дряхлой, слепой матерью, водить ее, кормить — за что? Ведь это невесело — но честный человек считает это долгом, и даже любит его!

— Вы рассуждаете, а не любите, Вера!

— А вы увертываетесь от моей правды! Рассуждаю, потому что люблю, я женщина, а не животное и не машина!

— У вас какая-то сочиненная и придуманная любовь... как в романах... с надеждой на бесконечность... словом — бессрочная! Но честно ли то, что вы требуете от меня, Вера? Положим, я бы не назначал любви срока, скача и играя, как Викентьев, подал бы вам руку «навсегда»: чего же хотите вы еще? Чтоб «бог благословил союз», говорите вы, то есть чтоб пойти в церковь — да против убеждения — дать публично исполнить над собой обряд... А я не верю ему и терпеть не могу попов: логично ли, честно ли я поступлю?..

Она встала и накинула черную мантилью на голову.

— Мы сошлись, чтоб удалить все препятствия к счастью,— а вместо того только увеличиваем их! Вы грубо касаетесь того, что для меня свято. Зачем вы вызвали меня сюда? Я думала, вы уступили старой, испытанной правде и что мы подадим друг другу руки навсегда... Всякий раз с этой надеждой сходила я с обрыва... и всякий раз ошибалась! Я повторю, что

говорила давно: у нас, Марк... (слабым голосом оканчивала она) и убеждения, и чувства разные! Я думала, что самый ум ваш скажет вам... где настоящая жизнь — и где ваша лучшая роль...

— Где?

— В сердце честной женщины, которая любит, и что роль друга такой женщины...

Она махнула безотрадно рукой. Ей хлынули слезы в глаза.

— Живите вашей жизнью, Марк — я не могу... у ней нет корня...

— Ваши корни подгнили давно, Вера!

— Пусть так! — более и более слабея, говорила она, и слезы появились уже в глазах.— Не мне спорить с вами, опровергать ваши убеждения умом и своими убеждениями! У меня ни ума, ни сил не станет. У меня оружие слабо— и только имеет ту цену, что оно мое собственное, что я взяла его в моей тихой жизни, а не из книг, не понаслышке...

Он сделал движение, но она заговорила опять.

— Я думала победить вас другой силой... Помните, как все случилось? — присевши на минуту на скамью, говорила она задумчиво.— Мне сначала было жалко вас. Вы здесь одни, вас не понимал никто, все убегали. Участие привлекло меня на вашу сторону. Я видела что-то странное, распущенное. Вы не дорожили ничем — даже приличиями, были небрежны в мыслях, неосторожны в разговорах, играли жизнью, сорили умом, никого и ничего не уважали, ни во что не верили и учили тому же других, напрашивались на неприятности, хвастались удалью. Я из любопытства следила за вами, позволила вам приходить к себе, брала у вас книги,— видела ум, какую-то силу... Но все это шло стороной от жизни ... Потом... я забрала себе в голову (как я каюсь в этом!), что... Я говорила себе часто: сделаю, что он будет дорожить жизнью... сначала для меня, а потом и для жизни, будет уважать, сначала опять меня, а потом и другое в жизни, будет верить... мне, а потом... Я хотела, чтоб вы жили, чтоб стали лучше, выше всех... ссорилась с вами за беспорядочную жизнь...

Она вздохнула, как будто перебирая в памяти весь этот год...

— Вы поддавались моему... влиянию...— И я тоже поддавалась вашему: ума, смелости, захватила было несколько... софизмов...

— И на попятный двор, бабушки страшно стало! Что ж не бросили тогда меня, как увидали софизмы? Софизмы?

— Поздно было. Я горячо приняла к сердцу вашу судьбу... Я страдала не за один этот темный образ жизни, но и за вас самих, упрямо шла за вами, думала, что ради меня... вы поймете жизнь, не будете блуждать в одиночку, со вредом для себя и без всякой пользы для других... думала, что выйдет...

— Вице-губернатор или советник хороший...

— Что за дело до названия — выйдет человек нужный, сильный...

— Благонамеренный, всему покорный — еще что?

— Еще — друг мне на всю жизнь: вот что! Я увлекалась своей надеждой... и вот куда увлеклась!..— тихо добавила она и, оглядевшись, вздрогнула.— И что приобрела этой страшной борьбой? то, что вы теперь бежите от любви, от счастья, от жизни... от своей Веры! — сказала она, придвигаясь к нему и кладя руку на плечо.— Не бегите, поглядите мне в глаза, слышите мой голос: в нем правда! Не бегите, останьтесь, пойдем вместе туда, на гору, в сад... Завтра здесь никого не будет счастливее нас!.. Вы меня любите... Марк! Марк... слышите? посмотрите прямо на меня...

Она наклонилась к его лицу, близко поглядела ему в глаза.

Он быстро встал со скамьи.

— Дальше, Вера, от меня!..— сказал он, вырывая руку и тряся головой, как косматый зверь.

Он стал шагах в трех от нее.

— Мы не договорились до главного — и когда договоримся, тогда я не отскочу от вашей ласки и не убегу из этих мест... Я бы не бежал от этой Веры, от вас. Но вы навязываете мне другую... Если у меня ее нет: что мне делать — решайте, говорите, Вера!

— А если эта вера у меня есть — что мне делать? — спросила и она.

— Легче расстаться с какими-то заученными убеждениями, чем приобресть их, у кого их нет...

— Эти убеждения — сама жизнь. Я уже вам говорила, что живу ими и не могу иначе жить... следовательно...

— Следовательно...— повторил он,— и оба встали, обоим тяжело было договаривать, да и не нужно было.

Она хотела опять накинуть шелковую мантилью на голову и не могла: руки с мантильей упали. Ей оставалось уйти, не оборачиваясь. Она сделала движение, шаг и опустилась опять на скамью.

«Где взять силы — нет ее ни уйти, ни удержать его! все кончено! — думала она.— Если б удержала — что будет? не жизнь, а две жизни, как две тюрьмы, разделенные вечной решеткой...»

— Мы оба сильны, Вера, и оттого оба мучаемся,— сказал он угрюмо,— оттого и расходимся...

Она отрицательно покачала головой.

— Если б я была сильна, вы не уходили бы так отсюда,— а пошли бы со мной туда, на гору, не украдкой, а смело опираясь на мою руку. Пойдемте! хотите моего счастья и моей жизни? — заговорила она живо, вдруг ослепившись опять надеждой и подходя к нему.— Не может быть, чтоб вы не ве-

рили мне, не может быть тоже, чтоб вы и притворялись — это было бы преступление! — с отчаянием договорила она.— Что делать, боже мой! Он не верит, нейдет! Как вразумить вас?

— Для этого нужно, чтоб вы были сильнее меня, а мы равны,— отвечал он упрямо,— оттого мы и не сходимся, а боремся. Нам надо разойтись, не решая боя, или покориться один другому навсегда... Я мог бы овладеть вами — и овладел бы всякой другой, мелкой женщиной, не пощадил бы ее. То, что в другой было бы жеманством, мелким страхом или тупоумием, то в вас — сила, женская крепость. Теперь тумана нет между нами, мы объяснились — и я воздам вам должное. Вы хорошо вооружены природой, Вера. Старые понятия, мораль, долг, правила, вера — все, что для меня не существует, в вас крепко. Вы не легки в ваших увлечениях, вы боретесь отчаянно и соглашаетесь признать себя побежденной на условиях, равных для той и для другой стороны. Обмануть вас — значит украсть. Вы отдаете все, и за победу над вами требуете всего же. А я всего отдать не могу — но я уважаю вас...

Голова ее приподнялась, и по лицу на минуту сверкнул луч гордости, почти счастья, но в ту же минуту она опять поникла головой. Сердце билось тоской перед неизбежной разлукой, и нервы упали опять. Его слова были прелюдией прощания.

— Мы высказались... отдаю решение в ваши руки! — проговорил глухо Марк, отойдя на другую сторону беседки и следя оттуда пристально за нею.— Я вас не обману даже теперь, в эту решительную минуту, когда у меня голова идет кругом... Нет, не могу — слышите, Вера, бессрочной любви не обещаю, потому что не верю ей и не требую ее и от вас, венчаться с вами не пойду. Но люблю вас теперь больше всего на свете!.. И если вы после всего этого, что говорю вам,— кинетесь ко мне... значит, вы любите меня и хотите быть моей...

Она глядела на него большими глазами и чувствовала, что дрожит.

«Что он такое, иезуит?.. или в самом деле непреклонная честность говорит в нем теперь и ставит ее в опасное положение?» — мелькнул в ней луч сомнения.

— Навсегда вашей? — спросила она тихо — и сама испугалась повисшей над ней тучи.

Скажи он — «да», она забыла бы о непроходимой «разности убеждений», делавших из этого «навсегда» — только мостик на минуту, чтоб перебежать пропасть, и затем он рухнул бы сам в ту же пропасть. Ей стало страшно с ним.

Он молчал. Потом встал с места.

— Не знаю! — сказал он с тоской и досадой,— я знаю только, что буду делать теперь, а не заглядываю за полгода вперед. Да и вы сами не знаете, что будет с вами. Если вы раз-

делите мою любовь, я останусь здесь, буду жить тише воды, ниже травы... делать, что вы хотите... Чего же еще? Или... уедем вместе! — вдруг сказал он, подходя к ней.

Перед ней будто сверкнула молния. И она бросилась к нему и положила ему руку на плечо.

Ей неожиданно отворились двери в какой-то рай. Целый мир улыбнулся ей и звал с собой...

«С ним, далеко где-нибудь...» — думала она. Нега страсти стукнулась тихо к ней в душу.

«Он колеблется, не может оторваться, и это теперь... Когда она будет одна с ним... тогда, может быть, он и сам убедится, что его жизнь только там, где она...»

Все это пел ей какой-то тихий голос.

— Вы решились бы на это? — спросил он ее серьезно.

Она молчала, опустив голову.

— Или боялись бы бабушки?

Она очнулась.

— Да, это правда: если б не решилась, то потому только, что боялась бы ее...— шептала она.

— Так не подходите же ко мне близко,— сказал он, отодвигаясь,— старуха бы не пустила...

— Ах нет, пустила и благословила бы, а сама бы умерла с горя! вот чего боялась бы я!.. Уехать с вами! — повторила она мечтательно, глядя долго и пристально на него,— а потом?

— А потом... не знаю. Зачем это «потом»?

— И вдруг вас «потянет» в другую сторону, и вы уйдете, оставив меня, как вещь...

— Отчего, как «вещь»? Можно расстаться друзьями...

— Расстаться! Разлука стоит у вас рядом с любовью! — Она безотрадно вздохнула.— А я думаю, что это крайности, которые никогда не должны встречаться... одна смерть должна разлучить... Прощайте, Марк! — вдруг сказала она, бледная, почти с гордостью.— Я решила... Вы никогда не дадите мне того счастья, какого я хочу. Для счастья не нужно уезжать, оно здесь... Дело кончено!..

— Да... скорее же вон отсюда! Прощайте, Вера...— говорил и он не своим голосом.

И оба встали с места, оба бледные, стараясь не глядеть друг на друга. Она искала, при слабом, проницавшем сквозь ветви лунном свете, свою мантилью. Руки у ней дрожали и брали не то, что нужно. Она хваталась даже за ружье.

Он стоял, прислонясь спиной к одному из столбов беседки, не брал ничего и мрачно следил за нею.

Она наконец отыскала белую мантилью и никак не могла накинуть ее на другое плечо. Он машинально помог ей.

Она в темноте искала ступенек ногой — он шагнул из беседки прямо на землю, подал ей руку и помог сойти.

Оба пошли молча по дорожке, все замедляя шаг, как будто

чего-то друг от друга ожидая. Обоих мучила одна и та же мысленная работа, изобрести предлог замедления.

Оба понимали, что каждый с своей точки зрения прав — но все-таки безумно втайне надеялись, он — что она перейдет на его сторону, а она — что он уступит, сознавая в то же время, что надежда была нелепа, что никто из них не мог, хотя бы и хотел, внезапно переродиться, залучить к себе, как шапку надеть, другие убеждения, другое миросозерцание, разделить веру или отрешиться от нее.

Но их убивало сознание, что это последнее свидание, последний раз, что через пять минут они будут чужие друг другу навсегда. Им хотелось задержать эти пять минут, уложить в них все свое прошлое — и — если б можно было — заручиться какой-нибудь надеждой на будущее! Но они чувствовали, что будущего нет, что впереди ждала неизбежная, как смерть, одна разлука!

Они долго шли до того места, где ему надо было перескочить через низенький плетень на дорогу, а ей взбираться, между кустов, по тропинке на гору, в сад.

Она, наклонив голову, стояла у подъема на обрыв, как убитая. Она припоминала всю жизнь и не нашла ни одной такой горькой минуты в ней. У ней глаза были полны слез.

Теперь ее единственным счастьем на миг — было бы обернуться, взглянуть на него хоть раз и поскорее уйти навсегда, но, уходя, измерить хоть глазами — что она теряла. Ей было жаль этого уносящегося вихря счастья, но она не смела обернуться: это было бы все равно, что сказать *да* на его роковой вопрос, и она в тоске сделала шага два на крутизну.

Он шел к плетню, тоже не оборачиваясь, злобно, непокорным зверем, уходящим от добычи. Он не лгал, он уважал Веру, но уважал против воли, как в сражении уважают неприятеля, который отлично дерется. Он проклинал «город мертвецов», «старые понятия», оковавшие эту живую, свободную душу. Его горе было не трогательное, возбуждающее участие, а злое, неуступчивое, вызывающее новые удары противника за непокорность. Даже это было не горе, а свирепое отчаяние.

Он готов был изломать Веру, как ломают чужую драгоценность, с проклятием: «Не доставайся никому!» Так, по собственному признанию, сделанному ей, он и поступил бы с другой, но не с ней. Да она и не далась бы в ловушку — стало быть, надо бы было прибегнуть к насилию и сделаться в одну минуту разбойником.

Притом одна материальная победа, обладание Верой, не доставило бы ему полного удовлетворения, как доставило бы над всякой другой. Он, уходя, злился не за то, что красавица Вера ускользает от него, что он тратил на нее время, силы, забывал «дело». Он злился от гордости и страдал сознанием

своего бессилия. Он одолел воображение, пожалуй — так называемое сердце Веры, но не одолел ее ума и воли.

В этой области она обнаружила непреклонность, равную его настойчивости. У ней был характер, и она упрямо вырабатывала себе из старой, «мертвой» жизни крепкую, живую жизнь — и была и для него так же, как для Райского, какой-то прекрасной статуей, дышащей самобытною жизнью, живущей своим, не заемным умом, своей гордой волей.

Она была выше других женщин. Он это видел, гордился своим успехом в ее любви, и тут же падал, сознаваясь, что, как он ни бился развивать Веру, давать ей свой свет, но кто-то другой, ее вера, по ее словам, да какой-то поп из молодых, да Райский с своей поэзией, да бабушка с моралью, а еще более — свои глаза, свой слух, тонкое чутье и женские инстинкты, потом воля — поддерживали ее силу и давали ей оружие против его правды, и окрашивали старую, обыкновенную жизнь и правду в такие здоровые цвета, перед которыми казалась и бледна, и пуста, и фальшива, и холодна — та правда и жизнь, какую он добывал себе из новых, казалось бы — свежих источников.

Его новые правда и жизнь не тянули к себе ее здоровую и сильную натуру, а послужили только к тому, что она разобрала их по клочкам и осталась вернее своей истине.

И вот она уходит, не оставив ему никакого залога победы, кроме минувших свиданий, которые исчезнут, как следы на песке. Он проигрывал сражение, терял ее и, уходя, понимал, что никогда не встретит другой, подобной Веры.

Он сравнивал ее с другими, особенно «новыми» женщинами, из которых многие так любострастно поддавались жизни по новому учению, как Марина своим любвям,— и находил, что это — жалкие, пошлые и более падшие создания, нежели все другие падшие женщины, уступавшие воображению, темпераменту, и даже золоту, а те будто бы принципу, которого часто не понимали, в котором не убедились, поверив на слово, следовательно, уступали чему-нибудь другому, чему простодушно уступала, например, жена Козлова, только лицемерно или тупо прикрывали это принципом!

Он шел медленно, сознавая, что за спиной у себя оставлял навсегда то, чего уже никогда не встретит впереди. Обмануть ее, увлечь, обещать «бессрочную любовь», сидеть с ней годы, пожалуй — жениться...

Он содрогнулся опять при мысли употребить грубый, площадной обман — да и не поддастся она ему теперь. Он топнул ногой и вскочил на плетень, перекинув ноги на другую сторону.

«Посмотреть, что она! Ушла, гордое создание! Что жалеть, она не любила меня, иначе бы не ушла... Она резонерка!..» — думал он, сидя на плетне.

«Взглянуть один раз... что он — и отвернуться навсегда...»— колебалась и она, стоя у подъема на крутизне.

Еще прыжок: плетень и канава скрыли бы их друг от друга навсегда. За оградой — рассудок и воля заговорят сильнее и одержат окончательную победу. Он обернулся.

Вера стоит у подъема на крутизну, как будто не может взойти на нее...

Наконец она сделала, с очевидным утомлением, два, три шага и остановилась. Потом... тихо обернулась назад и вздрогнула. Марк сидел еще на плетне и глядел на нее...

— Марк, прощай! — вскрикнула она — и сама испугалась собственного голоса: так много было в нем тоски и отчаяния.

Марк быстро перекинул ноги назад, спрыгнул и в несколько прыжков очутился подле нее.

«Победа! Победа! — вопило в нем.— Она возвращается, уступает!»

— Вера! — произнес и он таким голосом, как будто простонал.

— Ты воротился... навсегда?.. Ты понял наконец... о, какое счастье! Боже, прости...

Она не договорила.

Она была у него в объятиях. Поцелуй его зажал ее вопль. Он поднял ее на грудь себе и опять, как зверь, помчался в беседку, унося добычу...

Боже, прости ее, что она обернулась!..

XIII

Райский сидел целый час, как убитый, над обрывом, на траве, положив подбородок на колени и закрыв голову руками. Все стонало в нем. Он страшной мукой платил за свой великодушный порыв, страдая, сначала за Веру, потом за себя, кляня себя за великодушие.

Неизвестность, ревность, пропавшие надежды на счастье и впереди все те же боли страсти, среди которой он не знал ни тихих дней, ни ночей, ни одной минуты отдыха! Засыпал он мучительно, трудно. Сон не сходил, как друг, к нему, а являлся, как часовой, сменить другой мукой муку бдения.

Когда он открывал глаза утром, перед ним стоял уже призрак страсти, в виде непреклонной, злой и холодной к нему Веры, отвечающей смехом на его требование открыть ему имя, имя — одно, что могло нанести решительный удар его горячке, сделать спасительный перелом в болезни и дать ей легкий исход.

— Но что она нейдет! — вдруг, оглянувшись, сказал он.

Он посмотрел на часы. Она ушла в девятом часу, а теперь

скоро одиннадцать! Она велела подождать, сказала, что вернется сейчас: долог этот час!.. «Что она? где она?» — в тревоге повторял он.

Он взобрался на верх обрыва, сел на скамью и стал прислушиваться, нейдет ли? Ни звука, ни шороха: только шумели падающие мертвые листья.

— Велела ждать и забыла,— а я жду! — говорил он, вставая со скамьи и спускаясь опять шага три с обрыва и все прислушиваясь.

— Боже мой, ужели она до поздней ночи остается на этих свиданиях? Да кто, что она такое, эта моя статуя, прекрасная, гордая Вера? Она там, может быть, хохочет надо мной, вместе с ним... Кто он? Я хочу знать — кто он? — в ярости сказал он вслух.— Имя, имя! Я ей — орудие, ширма, покрышка страсти... Какой страсти!

Им овладело отчаяние, тождественное с отчаянием Марка. Пять месяцев женщина таится, то позволяя любить, то отталкивая, смеется в лицо...

«За что такая казнь за увлечение? Что она делает со мной? Не имею ли я право, после всех этих проделок, отнять у нее секрет и огласить таинственное имя?»

Он быстро сбежал с крутизны и остановился у кустов, прислушиваясь. Ничего не слышно.

— Это, однако... гадко...— говорил он,— украсть секрет...— И сам вступил в чащу кустов: — так гадко... что...

И воротился шага три назад.

— Воровство! — шептал он, стоя в нерешимости и отирая пот платком с лица.— А завтра опять игра в загадки, опять русалочные глаза, опять, злобно, с грубым смехом, брошенное мне в глаза: «Вас люблю!» Конец пытке — узнаю! — решил он и бросился в кусты.

Он крался, как вор, ощупью, проклиная каждый хрустнувший сухой прут под ногой, не чувствуя ударов ветвей по лицу. Он полз наудачу, не зная места свиданий. От волнения он садился на землю и переводил дух.

Угрызение совести на минуту останавливало его, потом он опять полз, разрывая сухие листья и землю ногтями...

Он миновал бугор, насыпанный над могилой самоубийцы, и направлялся к беседке, глядя, слушая по сторонам, не увидит ли ее, не услышит ли голоса.

Между тем в доме у Татьяны Марковны все шло своим порядком. Отужинали и сидели в зале, позевывая. Ватутин рассыпался в вежливостях со всеми, даже с Полиной Карповной, и с матерью Викентьева, шаркая ножкой, любезничая и глядя так на каждую женщину, как будто готов был всем ей пожертвовать. Он говорил, что дамам надо стараться делать «приятности».

— Где m-r Борис? — спрашивала уж в пятый раз Полина

Карповна, и до ужина, и после ужина, у всех. Наконец обратилась с этим вопросом и к бабушке.

— Бог его знает — бродит где-нибудь; в гости, в город ушел, должно быть; и никогда не скажет куда — такая вольница! Не знаешь, куда лошадь послать за ним!

Яков сказал, что Борис Павлович «гуляли» в саду до позднего вечера.

Про Веру сказали тоже, когда послали ее звать к чаю, что она не придет. А ужинать просила оставить ей, говоря, что пришлет, если захочет есть. Никто не видал, как она вышла, кроме Райского.

— Скажи Марине, Яков, чтобы барышне, как спросит, не забыли разогреть жаркое, а пирожное отнести на ледник, а то распустится! — приказывала бабушка.— А ты, Егорка, как Борис Павлович вернется, не забудь доложить, что ужин готов, чтоб он не подумал, что ему не оставили, да не лег спать голодный!

— Слушаю-с,— сказали оба.

— Полунощники, право полунощники! — с досадой и с тоской про себя заметила бабушка,— шатаются об эту пору, холод эдакой...

— Я пойду в сад,— сказала Полина Карповна,— может быть, m-r Boris недалеко. Он будет очень рад видеться со мной... Я заметила, что он хотел мне кое-что сказать...— таинственно прибавила она.— Он, верно, не знал, что я здесь...

— Знал, оттого и ушел,— шепнула Марфенька Викентьеву.

— Я — вот что сделаю, Марфа Васильевна: побегу вперед, сяду за куст и объяснюсь с ней в любви голосом Бориса Павловича...— предложил было ей, тоже шепотом, Викентьев и хотел идти.

— Она, пожалуй, испугается и упадет в обморок, тогда бабушка даст вам знать! Что выдумали! — отвечала она, удерживая его за рукав.

— Я пойду на минуту, позвольте, я приведу беглеца...— настаивала Полина Карповна.

— Идите, бог с вами! — сказала Татьяна Марковна,— да глаз не выколите, вот темнота какая! хоть Егорку возьмите, он проводит с фонарем.

— Нет, я одна, не нужно, чтоб нам мешали...

— Напрасно! — вежливо заметил Тит Никоныч,— в эти сырые вечера отнюдь не должно позволять себе выходить после восьми часов.

— Я не боюсь...— сказала Крицкая, надевая мантилью.

— Я бы не смел останавливать вас,— заметил он,— но один врач — он живет в Дюссельдорфе, что близ Рейна... я забыл его фамилию — теперь я читаю его книгу и, если угодно, могу доставить вам... Он предлагает отменные гигиенические правила... Он советует...

Он не кончил, потому что Полина Карповна ушла, сказав ему только, чтоб он подождал и отвез ее домой.

— С полным удовольствием, с полным удовольствием! — говорил он, кланяясь ей вслед и затворяя за ней двери ко двору и саду.

XIV

Немного спустя после этого разговора над обрывом, в глубокой темноте, послышался шум шагов между кустами. Трещали сучья, хлестали сильно задеваемые ветки, осыпались листы и слышались торопливые, широкие скачки — взбиравшегося на крутизну, будто раненого или испуганного зверя.

Шум все ближе, ближе, наконец из кустов выскочил на площадку перед обрывом Райский, но более исступленный и дикий, чем раненый зверь. Он бросился на скамью, выпрямился и сидел минуты две неподвижно, потом всплеснул руками и закрыл ими глаза.

— Во сне это или наяву! — шептал он, точно потерянный.— Нет, я ошибся, не может быть! Мне почудилось!..

Он встал, опять сел, как будто во что-то вслушиваясь, потом положил руки на колени и разразился нервическим хохотом.

— Какие тут еще сомнения, вопросы, тайны! — сказал он и опять захохотал, качаясь от смеха взад и вперед.— Статуя! чистота! красота души! Вера — статуя! А он!.. И пальто, которое я послал «изгнаннику», валяется у беседки! и пари свое он взыскал с меня, двести двадцать рублей да прежних восемьдесят... да, да! это триста рублей!.. Секлетея Бурдалахова!

Он захохотал снова, как будто застонал. Потом вдруг замолчал и схватился за бок.

— О, как больно здесь! — стонал он.— Вера-кошка! Вера-тряпка... слабонервная, слабосильная... из тех падших, жалких натур, которых поражает пошлая, чувственная страсть — обыкновенно к какому-нибудь здоровому хаму!.. Пусть так,— она свободна, но как она смела ругаться над человеком, который имел неосторожность пристраститься к ней, над братом, другом!..— с яростью шипел он,— о, мщение, мщение!

Он вскочил и в мучительном раздумье стоял.

Какое мщение? Бежать к бабушке, схватить ее и привести сюда, с толпой людей, с фонарями, осветить позор и сказать: «Вот змея, которую вы двадцать три года грели на груди!..»

Он махнул рукой и приложил ее к горячему лбу.

— Подло, Борис! — шептал он себе,— и не сделаешь ты этого! это было бы мщение не ей, а бабушке, все равно что твоей матери!

Он уныло опустил голову, потом вдруг поднял ее и с бешенством прыгнул к обрыву.

— А там совершается торжество этой тряпичной страсти — да, да, эта темная ночь скрыла поэму любви! — он презрительно засмеялся.— Любви! — повторил он.— Марк! блудящий огонь, буян, трактирный либерал! Ах! сестрица, сестрица! уж лучше бы вы придержались одного своего поклонника,— ядовито шептал он,— рослого и красивого Тушина! У того — и леса, и земли, и воды, и лошадьми правит, как на олимпийских играх! А этот!

Он с трудом перевел дух.

— Это наша «партия действия»! — шептал он,— да, из кармана показывает кулак полицеймейстеру, проповедует горничным да дьячихам о нелепости брака, с Фейербахом и с мнимой страстью к изучению природы вкрадывается в доверенность женщин и увлекает вот этаких слабонервных умниц!.. Погибай же ты, жалкая самка, тут, на дне обрыва, как тот бедный самоубийца! Вот тебе мое прощание!..

Он хотел плюнуть с обрыва — и вдруг окаменел на месте. Против его воли, вопреки ярости, презрения, в воображении — тихо поднимался со дна пропасти и вставал перед ним образ Веры, в такой обольстительной красоте, в какой он не видал ее никогда!

У ней глаза горели, как звезды, страстью. Ничего злого и холодного в них, никакой тревоги, тоски; одно счастье глядело лучами яркого света. В груди, в руках, в плечах, во всей фигуре струилась и играла полная, здоровая жизнь и сила.

Она примирительно смотрела на весь мир. Она стояла на своем пьедестале, но не белой, мраморной статуей, а живою, неотразимо пленительной женщиной, как то поэтическое видение, которое снилось ему однажды, когда он, под обаянием красоты Софьи, шел к себе домой и видел женщину-статую, сначала холодную, непробужденную, потом видел ее преображение из статуи в живое существо, около которого заиграла и заструилась жизнь, зазеленели деревья, заблистали цветы, разлилась теплота...

И вот она, эта живая женщина, перед ним! В глазах его совершилось пробуждение Веры, его статуи, от девического сна. Лед и огонь холодили и жгли его грудь, он надрывался от мук и — все не мог оторвать глаз от этого неотступного образа красоты, сияющего гордостью, смотрящего с любовью на весь мир и с дружеской улыбкой протягивающего руку и ему...

«Я счастлива!» — слышит он ее шепот.

У ног ее, как отдыхающий лев, лежал, безмолвно торжествуя, Марк; на голове его покоилась ее нога... Райский вздрогнул, стараясь отрезвиться.

Его гнал от обрыва ужас «падения» его сестры, его краса-

вицы, подкошенного цветка,— а ревность, бешенство и более всего новая, неотразимая красота пробужденной Веры влекли опять к обрыву, на торжество любви, на этот праздник, который, кажется, торжествовал весь мир, вся природа.

Ему слышались голоса, порханье и пенье птиц, лепет любви и громадный, страстный вздох, огласивший будто весь сад и все прибрежье Волги...

Он в ужасе стоял, окаменелый, над обрывом, то вглядываясь мысленно в новый, пробужденный образ Веры, то терзаясь нечеловеческими муками, и шептал бледный: «Мщение, мщение!»

А кругом и внизу все было тихо и темно. Вдруг, в десяти шагах от себя, он заметил силуэт приближающейся к нему от дома человеческой фигуры. Он стал смотреть.

— Кто тут? — с злостью спросил он.

— Это я... я...

— Кто? — повторил он еще злее.

— M-r Boris, это я... Pauline.

— Вы! Что вам надо здесь?

— Я пришла... я знаю... вижу... вы хотите давно сказать...— шептала Полина Карповна таинственно,— но не решаетесь... Du courage! [1] здесь никто не видит и не слышит... Espérez tout...[2]

— Что «сказать» — говорите!..

— Que vous m'aimez, o, я давно угадала... n'est-ce-pas? Vous m'avez fui... mais la passion vous a ramené ici...[3]

Он схватил ее за руку и потащил к обрыву.

— Ah! de grâce! Mais pas si brusquement... qu'est-ce que vous faites... mais laissez donc!..[4] — завопила она в страхе и не на шутку испугалась.

Но он подтащил ее к крутизне и крепко держал за руку.

— Любви хочется! — говорил он в исступлении,— вы слышите, сегодня ночь любви... Слышите вздохи... поцелуи? Это страсть играет, да, страсть, страсть!..

— Пустите, пустите! — пищала она не своим голосом,— я упаду, мне дурно...

Он пустил ее, руки у него упали, он перевел дух. Потом взглянул на нее пристально, как будто только сейчас заметил ее.

— Прочь! — крикнул он и, как дикий, бросился бежать от нее, от обрыва, через весь сад, цветник и выбежал на двор.

На дворе он остановился и перевел дух, оглядываясь по сторонам. Он услыхал, что кто-то плещется у колодезя. Егор-

---

[1] Смелей! *(франц.)*

[2] Можете на все надеяться... *(франц.)*

[3] Что вы меня любите... не правда ли? Вы избегали меня... но страсть привела вас назад... *(франц.)*

[4] О, смилуйтесь! Не так резко... что вы делаете... оставьте!.. *(франц.)*

ка, должно быть, делал ночной туалет, полоскал себе руки и лицо.

— Принеси чемодан,— сказал он,— завтра уезжаю в Петербург!

И сам налил себе из желоба воды на руки, смочил глаза, голову — и скорыми шагами пошел домой.

Он выбегал на крыльцо, ходил по двору в одном сюртуке, глядел на окна Веры и опять уходил в комнату, ожидая ее возвращения. Но в темноте видеть дальше десяти шагов ничего было нельзя, и он избрал для наблюдения беседку из акаций, бесясь, что нельзя укрыться и в ней, потому что листья облетели.

До света он сидел там, как на угольях — не от страсти, страсть как в воду канула. И какая страсть устояла бы перед таким «препятствием»? Нет, он сгорал неодолимым желанием взглянуть Вере в лицо, новой Вере, и хоть взглядом презрения заплатить этой «самке» за ее позор, за оскорбление, нанесенное ему, бабушке, всему дому, «целому обществу, наконец человеку, женщине!»

«Люби открыто, не крадь доверия, наслаждайся счастьем и плати жертвами, не играй уважением людей, любовью семьи, не лги позорно и не унижай собой женщины! — думал он. Да, взглянуть на нее, чтоб она в этом взгляде прочла себе приговор и казнь — и уехать навсегда!»

Он трясся от лихорадки, нетерпения, ожидая, когда она воротится. Он, как барс, выскочил бы из засады, загородил ей дорогу и бросил бы ей этот взгляд, сказал бы одно слово... Какое?

Он чесал себе голову, трогал лицо, сжимал и разжимал ладони, и корчился в судорогах, в углу беседки. Вдруг он вскочил, отбросил от себя прочь плед, в который прятался, и лицо его озарилось какою-то злобно-торжественной радостью, мыслью или намерением.

— Это сама судьба подсказала! — шептал он и побежал к воротам.

Они были еще заперты; он поглядел кругом и заметил огонек лампады в комнате Савелья.

Он постучал в окно его, и когда тот отворил, велел принести ключ от калитки, выпустить его и не запирать. Но прежде забежал к себе, взял купленный им porte-bouquet и бросился в оранжерею, к садовнику. Долго стучался он, пока тот проснулся, и оба вошли в оранжерею.

Начинало рассветать. Он окинул взглядом деревья, и злая улыбка осветила его лицо. Он указывал, какие цветы выбрать для букета Марфеньки: в него вошли все, какие оставались. Садовник сделал букет на славу.

— Мне нужен другой букет...— сказал Райский нетвердым голосом.

— Этакий же?

— Нет... из одних померанцевых цветов...— шептал он и сам побледнел.

— Так-с, ведь одна барышня-то у Татьяны Марковны невеста! — догадался садовник.

— Есть у тебя стакан воды...— спросил Райский.— Дай пить!

Он с жадностью выпил стакан, торопя садовника сделать букет. Наконец тот кончил. Райский щедро заплатил ему и, завернув в бумагу оба букета, осторожно и торопливо понес домой.

Нужно было узнать, не вернулась ли Вера во время его отлучки. Он велел разбудить и позвать к себе Марину и послал ее посмотреть, дома ли барышня, или «уж вышла гулять».

На ответ, что «вышла», он велел Марфенькин букет поставить к Вере на стол и отворить в ее комнате окно, сказавши, что она поручила ему еще с вечера это сделать. Потом отослал ее, а сам занял свою позицию в беседке и ждал, замирая — от удалявшейся, как буря, страсти, от ревности, и будто еще от чего-то... жалости, кажется...

Но пока еще обида и долго переносимая пытка заглушали все человеческое в нем. Он злобно душил голос жалости. И «добрый дух» печально молчал в нем. Не слышно его голоса; тихая работа его остановилась. Бесы вторглись и рвали его внутренность.

Райский положил щеку на руку, смотрел около и ничего не видел, кроме дорожки к крыльцу Веры, чувствовал только яд лжи, обмана.

— Мне надо застрелить эту собаку, Марка, или застрелиться самому; да, что-нибудь одно из двух, но прежде сделаю вот это третье...— шептал он.

Он, как святыню, обеими руками, держал букет померанцевых цветов, глядя на него с наслаждением, а сам все оглядывался через цветник — к темной аллее, а ее все нет!

Совсем рассвело. Пошел мелкий дождь, стало грязно.

«Не послать ли им два зонтика?» — думал он с безотрадной улыбкой, лаская букет и нюхая его.

Вдруг издали увидел Веру — и до того потерялся, испугался, ослабел, что не мог не только выскочить, «как барс», из засады и заградить ей путь, но должен был сам крепко держаться за скамью, чтоб не упасть. Сердце билось у него, коленки дрожали, он приковал взгляд к идущей Вере и не мог оторвать его, хотел встать — и тоже не мог: ему было больно даже дышать.

Она шла, наклонив голову, совсем закрытую черной мантильей. Видны были только две бледные руки, державшие мантилью на груди. Она шагала неторопливо, не поворачивая головы по сторонам, осторожно обходя образовавшиеся небольшие

лужи, медленными шагами вошла на крыльцо и скрылась в сенях.

С Райского как будто сняли кандалы. Он, бледный, выскочил из засады и спрятался под ее окном.

Она вошла в комнату, погруженная точно в сон, не заметила, что платье, которое уходя разбросала на полу, уже прибрано, не видала ни букета на столе, ни отворенного окна.

Она машинально сбросила с себя обе мантильи на диван, сняла грязные ботинки, ногой достала из-под постели атласные туфли и надела их. Потом, глядя не около себя, а куда-то вдаль, опустилась на диван, и в изнеможении, закрыв глаза, оперлась спиной и головой к подушке дивана и погрузилась будто в сон.

Через минуту ее пробудил глухой звук чего-то упавшего на пол. Она открыла глаза и быстро выпрямилась, глядя вокруг.

На полу лежал большой букет померанцевых цветов, брошенный снаружи в окно.

Она, кинув беглый взгляд на него, побледнела как смерть и, не подняв цветов, быстро подошла к окну. Она видела уходившего Райского и оцепенела на минуту от изумления. Он обернулся, взгляды их встретились.

— Великодушный друг... «рыцарь»...— прошептала она и вздохнула с трудом, как от боли, и тут только заметив другой букет на столе, назначенный Марфеньке, взяла его, машинально поднесла к лицу, но букет выпал у ней из рук, и она сама упала без чувств на ковер.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

На другой день в деревенской церкви Малиновки с десяти часов начали звонить в большой колокол, к обедне.

В доме была суета. Закладывали коляску, старомодную карету. Кучера оделись в синие новые кафтаны, намазали головы коровьим маслом и с утра напились пьяны. Дворовые женщины и девицы пестрели праздничными, разноцветными ситцевыми платьями, платками, косынками, ленточками. От горничных за десять шагов несло гвоздичной помадой.

Егорка явился было неслыханным франтом, в подаренном ему Райским коротеньком пиджаке, клетчатых, зеленых, почти новых, панталонах и в купленных им самим — оранжевом галстуке и голубом жилете. Он, в этом наряде, нечаянно попался на глаза Татьяне Марковне.

— Это что! — строго крикнула она на него, — что за чучело, на кого ты похож? Долой! Василиса! Выдать им всем ливрейные фраки, и Сережке, и Степке, и Петрушке, и этому шуту! — говорила она, указывая на Егора. — Яков пусть черный фрак да белый галстук наденет. Чтобы и за столом служили, и вечером оставались в ливреях!

Весь дом смотрел парадно, только Улита, в это утро глубже, нежели в другие дни, опускалась в свои холодники и подвалы и не успела надеть ничего, что делало бы ее непохожею на вчерашнюю или завтрашнюю Улиту. Да повара почти с зарей надели свои белые колпаки и не покладывали рук, готовя завтрак, обед, ужин — и господам, и дворне, и приезжим людям из-за Волги.

Бабушка, отдав приказания с раннего утра, в восемь часов сделала свой туалет и вышла в залу, к гостье и будущей родне своей, в полном блеске старческой красоты, с сдержанным достоинством барыни и с кроткой улыбкой счастливой матери и радушной хозяйки.

Она надела на седые волосы маленький простой чепчик; на ней хорошо сидело привезенное ей Райским из Петербурга шелковое светло-коричневое платье. Шея закрывалась шемизеткой с широким воротничком из старого пожелтевшего кружева. На креслах в кабинете лежала турецкая большая шаль, готовая облечь ее, когда приедут гости к завтраку и обеду.

Теперь она собиралась ехать всем домом к обедне и в ожидании, когда все домашние сойдутся, прохаживалась медленно по зале, сложив руки крестом на груди и почти не замечая домашней суеты, как входили и выходили люди, чистя ковры, приготовляя лампы, отирая зеркала, снимая чехлы с мебели.

Она подходила то к одному, то к другому окну, задумчиво смотрела на дорогу, потом с другой стороны в сад, с третьей на дворы. Командовали всей прислугой и распоряжались Василиса и Яков, а Савелий управлялся с дворней.

Мать Викентьева разоделась в платье gris-de-perle [1] с отделкой из темных кружев. Викентьев прибегал уже, наряженный с осьми часов во фрак и белые перчатки. Ждали только появления Марфеньки.

И когда она появилась, радости и гордости Татьяны Марковны не было конца. Она сияла природной красотой, блеском здоровья, а в это утро еще лучами веселья от всеобщего участия, от множества — со всех сторон знаков внимания, не только от бабушки, жениха, его матери, но в каждом лице из дворни светилось непритворное дружество, ласка к ней и луч радости по случаю ее праздника.

Бабушка уже успела побывать у нее в комнате, когда она только что встала с постели. Проснувшись и поглядев вокруг себя, Марфенька ахнула от изумления и внезапной радости.

Пока она спала, ей все стены ее двух комнаток чьи-то руки обвешали гирляндами из зелени и цветов. Она хотела надеть свою простенькую блузу, а наместо ее, на кресле, подле кровати, нашла утреннее неглиже из кисеи и кружев с розовыми лентами.

Не успела она ахнуть, как на двух других креслах увидела два прелестные платья — розовое и голубое, на выбор, которое надеть.

— Ах! — сделала она и, вскочив с постели, надела новую блузу, не надев чулок — некогда было — подошла к зеркалу и остолбенела: весь туалет был установлен подарками.

Она не знала, на что глядеть, что взять в руки. Бросится к платью, а там тянет к себе великолепный ящик розового дерева. Она открыла его — там был полный дамский несессер, почти весь туалет, хрустальные, оправленные в серебро флаконы, гребенки, щетки и множество мелочей.

---

[1] Жемчужно-серого цвета *(франц.)*.

Она стала было рассматривать все вещи, но у ней дрожали руки. Она схватит один флакон, увидит другой, положит тот, возьмет третий, увидит гребенку, щетки в серебряной оправе — и все с ее вензелем М. «От будущей maman»,— написано было.

— Ах!— сделала она, растерявшись и захлопывая крышку.

Подле ящика лежало еще несколько футляров, футлярчиков. Она не знала, за который взяться, что смотреть. Взглянув мельком в зеркало и откинув небрежно назад густую косу, падавшую ей на глаза и мешавшую рассматривать подарки, она кончила тем, что забрала все футляры с туалета и села с ними в постель.

Она боялась открывать их, медлила, наконец открыла самый маленький.

Там — перстень с одним только изумрудом.

— Ах! — повторила она и, надев перстень, вытянула руку и любовалась им издали.

Открыла другой футляр, побольше — там серьги. Она вдела их в уши и, сидя в постели, тянулась взглянуть на себя в зеркало. Потом открыла еще два футляра и нашла большие массивные браслеты, в виде змеи кольцом, с рубиновыми глазами, усеянной по местам сверкающими алмазами, и сейчас же надела их.

Наконец открыла самый большой футляр. «Ах!» — почти с ужасом, замирая, сделала она, увидя целую реку — двадцать один брильянт, по числу ее лет.

Там бумажка с словами: «К этому ко всему,— читала она,— имею честь присовокупить самый драгоценный подарок! лучшего моего друга — самого себя. Берегите его. Ваш ненаглядный Викентьев».

Она засмеялась, потом поглядела кругом, поцеловала записку, покраснела до ушей и, спрыгнув с постели, спрятала ее в свой шкафчик, где у нее хранились лакомства. И опять подбежала к туалету посмотреть, нет ли чего-нибудь еще, и нашла еще футлярчик.

Это был подарок Райского: часы, с эмалевой доской, с ее шифром, с цепочкой. Она взглянула на них большими глазами, потом окинула взглядом прочие подарки, поглядела по стенам, увешанным гирляндами и цветами,— и вдруг опустилась на стул, закрыла глаза руками и залилась целым дождем горячих слез.

— Господи! — всхлипывая от счастья, говорила она,— за что они меня так любят все? Я никому, ничего хорошего не сделала и не сделаю никогда!..

Так застала ее бабушка, неодетую, необутую, с перстнями на пальцах, в браслетах, в брильянтовых серьгах и обильных слезах. Она сначала испугалась, потом, узнав причину слез, обрадовалась и осыпала ее поцелуями.

— Это бог тебя любит, дитя мое,— говорила она, лаская

ее,— за то, что ты сама всех любишь, и всем, кто поглядит на тебя, становится тепло и хорошо на свете!..

— Ну пусть бы Николай Андреич: он жених, пусть maman его,— отвечала Марфенька, утирая слезы,— а брат Борис Павлович: что я ему!..

— То же, что всем! одна радость глядеть на тебя: скромна, чиста, добра, бабушке послушна... (Мот! из чего тратит на дорогие подарки, вот я ужо ему дам! — в скобках вставила она.) Он урод, твой братец, только какой-то особенный урод!

— Точно угадал, бабушка; мне давно хотелось синенькие часики — вот этакие, с эмалью!..

— А что ж ты не спросишь бабушку, отчего она ничего не подарила?

Марфенька зажала ей рот поцелуем.

— Бабушка, любите меня всегда, коли хотите, чтоб я была счастлива..

— Любовь— любовью, а вот тебе мой всегдашний подарок!— говорила она, крестя ее.— А вот и еще, чтоб ты этого моего креста и после меня не забывала...

Она полезла в карман.

— Бабушка! Да ведь вы мне два платья подарили!.. А кто это зелени и цветов повесил!..

— Все твой жених, с Полиной Карповной, вчера прислали... от тебя таили... Сегодня Василиса с Пашуткой убирали на заре... А платья — твое приданое; будет и еще не два. Вот тебе...

Она вынула футлярчик, достала оттуда золотой крест, с четырьмя крупными брильянтами, и надела ей на шею, потом простой гладкий браслет с надписью: «От бабушки внучке», год и число.

Марфенька припала к руке бабушки и чуть было не расплакалась опять.

— Все, что у бабушки есть — а у ней кое-что есть — все поровну разделю вам с Верочкой! Одевайся же скорей!

— Какая вы нынче красавица, бабушка! Братец правду говорит, Тит Никоныч непременно влюбится в вас...

— Полно тебе, болтунья! — полусердито сказала бабушка.— Поди к Верочке и узнай, что она? Чтобы к обедне не опоздала с нами! Я бы сама зашла к ней, да боюсь подниматься на лестницу.

— Я сейчас, сейчас...— сказала Марфенька, торопясь одеваться.

II

Вера через полчаса после своего обморока очнулась и поглядела вокруг. Ей освежил лицо холодный воздух из отворенного окна. Она привстала, озираясь кругом, потом под-

нялась, заперла окно, дошла, шатаясь, до постели и скорее упала, нежели легла на нее, и оставалась неподвижною, покрывшись брошенным туда ею накануне большим платком.

Обессиленная, она впала в тяжкий сон. Истомленный организм онемел на время, помимо ее сознания и воли. Коса у ней упала с головы и рассыпалась по подушке. Она была бледна и спала, как мертвая.

Часа через три шум на дворе, людские голоса, стук колес и благовест вывели ее из летаргии. Она открыла глаза, посмотрела кругом, послушала шум, пришла на минуту в сознание, потом вдруг опять закрыла глаза и предалась снова или сну, или муке.

В это время кто-то легонько постучался к ней в комнату. Она не двигалась. Потом сильнее постучались. Она услыхала и встала вдруг с постели, взглянула в зеркало и испугалась самой себя.

Она быстро обвила косу около руки, свернула ее в кольцо, закрепила кое-как черной большой булавкой на голове и накинула на плечи платок. Мимоходом подняла с полу назначенный для Марфеньки букет и положила на стол.

Стук повторился вместе с легким царапаньем у двери.

— Сейчас! — сказала она и отворила дверь.

Влетела Марфенька, сияя, как радуга, и красотой, и нарядом, и весельем. Она взглянула и вдруг остановилась.

— Что с тобой, Верочка? — спросила она,— ты нездорова!..

Веселье слетело с лица у ней, уступив место испугу.

— Да, не совсем...— слабо отвечала Вера,— ну, поздравляю тебя...

Они поцеловались.

— Какая ты хорошенькая, нарядная! — говорила Вера, стараясь улыбнуться.

Но улыбка не являлась. Губами она сделала движение, а глаза не улыбались. Приветствию противоречил почти неподвижный взгляд, без лучей, как у мертвой, которой не успели закрыть глаз.

Вера, чувствуя, что не одолеет себя, поспешила взять букет и подала ей.

— Какой роскошный букет! — сказала Марфенька, тая от восторга и нюхая цветы.— А что же это такое? — вдруг прибавила она, чувствуя под букетом в руке что-то твердое. Это был изящный porte-bouquet, убранный жемчугом, с ее шифром.— Ах, Верочка, и ты, и ты!.. Что это, как вы все меня любите!..— говорила она, собираясь опять заплакать,— и я ведь вас всех люблю... как люблю, господи!.. Да как же и когда вы узнаете это; я не умею даже сказать!..

Вера почти умилилась внутренно, но не смогла ничего

ответить ей, а только тяжело перевела дух и положила ей руку на плечо.

— Я сяду,— сказала она,— я дурно спала ночь...

— Бабушка зовет к обедне...

— Не могу, душечка, скажи, что я не так здорова... и не выйду сегодня...

— Как, ты совсем не придешь туда? — в страхе спросила Марфенька.

— Да, я полежу, я вчера простудилась, должно быть. Только ты скажи бабушке слегка...

— Мы к тебе придем.

— Боже сохрани! Вы помешаете мне отдохнуть...

— Ну, так пришлем тебе сюда всего... Сколько мне подарков... цветов... конфект прислали!.. Я покажу тебе...

Марфенька рассказала все, что и от кого получила.

— Да, да — хорошо... это очень мило! покажи... Я после приду...— рассеянно говорила Вера, едва слушая ее.

— А это что? Еще букет! — сказала вдруг Марфенька, увидя букет на полу,— что это он на полу валяется?

Она подняла и подала Вере букет из померанцевых цветов. Вера побледнела.

— Кому это? чей? Какая прелесть!

— Это... тоже тебе...— едва выговорила Вера.

Она взяла первую ленточку из комода, несколько булавок и кое-как, едва шевеля пальцами, приколола померанцевые цветы Марфеньке. Потом поцеловала ее и села в изнеможении на диван.

— Ты в самом деле нездорова — посмотри, какая ты бледная! — заметила серьезно Марфенька,— не сказать ли бабушке? Она за доктором пошлет... Пошлем, душечка, за Иваном Богдановичем... Как это грустно — в день моего рождения! Теперь мне целый день испорчен!

— Ничего, ничего — пройдет! Ни слова бабушке, не пугай ее!.. А теперь поди, оставь меня...— шептала Вера,— я отдохну...

Марфенька хотела поцеловать ее и вдруг увидела, что у ней глаза полны слез. Она заплакала сама.

— Что ты? — тихо спросила Вера, отирая украдкой, как будто воруя свои слезы из глаз.

— Как же не плакать, когда ты плачешь, Верочка! Что с тобой? друг мой, сестра! У тебя горе, скажи мне...

— Ничего, не гляди на меня, это нервы... Только скажи бабушке осторожно, а то она встревожится...

— Я скажу, что голова болит, а про слезы не упомяну, а то она в самом деле на целый день расстроится.

Марфенька ушла. А Вера затворила за ней дверь и легла на диван.

III

Все ушли и уехали к обедне. Райский, воротясь на рассвете домой, не узнавая сам себя в зеркале, чувствуя озноб, попросил у Марины стакан вина, выпил и бросился в постель.

Ему было не легче Веры. И он, истомленный усталостью, моральной и физической, и долгими муками, отдался сну, как будто бросился в горячке в объятия здорового друга, поручая себя его попечению. И сон исполнил эту обязанность, унося его далеко от Веры, от Малиновки, от обрыва и от вчерашней, разыгравшейся на его глазах драмы.

Ему снилось все другое, противоположное. Никаких «волн поэзии» не видал он, не била «страсть пеной» через край, а очутился он в Петербурге, дома, один, в своей брошенной мастерской, и равнодушно глядел на начатые и неконченные работы.

Потом приснилось ему, что он сидит с приятелями у Сен-Жоржа и с аппетитом ест и пьет, рассказывает и слушает пошлый вздор, обыкновенно рассказываемый на холостых обедах,— что ему от этого стало тяжело и скучно, и во сне даже спать захотелось.

И он спал здоровым прозаическим сном, до того охватившим его, что когда он проснулся от трезвона в церквах, то первые две, три минуты был только под влиянием животного покоя, стеной ставшего между им и вчерашним днем.

Он забыл, где он — и, может быть, даже — кто он такой. Природа взяла свое, и этим крепким сном восстановила равновесие в силах. Никакой боли, пытки не чувствовал он. Все — как в воду кануло.

Он потянулся, даже посвистал беззаботно, чувствуя только, что ему от чего-то покойно, хорошо, что он давно уже не спал и не просыпался так здорово. Сознание еще не воротилось к нему.

Но следующие две, три минуты вдруг привели его в память — о вчерашнем. Он сел на постели, как будто не сам, а подняла его посторонняя сила; посидел минуты две неподвижно, открыл широко глаза, будто не веря чему-то, но когда уверился, то всплеснул руками над головой, упал опять на подушку и вдруг вскочил на ноги, уже с другим лицом, какого не было у него даже вчера, в самую страшную минуту.

Другая мука, не вчерашняя, какой-то новый бес бросился в него,— и он так же торопливо, нервно и судорожно, как Вера накануне, собираясь идти к обрыву, хватал одно за другим платья, разбросанные по стульям.

Он позвонил Егора и едва с его помощью кое-как оделся, надевая сюртук прежде жилета, забывая галстук. Он спросил, что делается дома, и узнав, что все уехали к обедне, кроме Веры, которая больна, оцепенел, изменился в лице и бросился вон из комнаты к старому дому.

Он тихо постучался к Вере; никто не отвечал. Подождав минуты две ответа, он тронул дверь: она была не заперта изнутри.

Он осторожно отворил и вошел с ужасом на лице, тихим шагом, каким может входить человек с намерением совершить убийство. Он едва ступал на цыпочках, трясясь, бледный, боясь ежеминутно упасть от душившего его волнения.

Вера лежала на диване, лицом к спинке. С подушки падали почти до пола ее волосы, юбка ее серого платья небрежно висела, не закрывая ее ног, обутых в туфли.

Она не оборачивалась, только сделала движение, чтоб оборотиться и посмотреть, кто вошел, но, по-видимому, не могла.

Он подошел, стал на колени подле нее и прильнул губами к ее туфле. Она вдруг обернулась, взглянула на него мельком, лицо у ней подернулось горьким изумлением.

— Что это, комедия или роман, Борис Павлович? — глухо сказала она, отворачиваясь с негодованием и пряча ногу с туфлей под платье, которое, не глядя, торопливо оправила рукой.

— Нет, Вера,— трагедия! — едва слышно выговорил он угасшим голосом и сел на стул, подле дивана.

Она обернулась на этот тон его голоса, взглянула на него пристально; глаза у ней открылись широко, с изумлением. Она увидела бледное лицо, какого никогда у него не видала, и, казалось, читала или угадывала смысл этого нового лица, нового Райского.

Она сбросила с себя платок, встала на ноги и подошла к нему, забыв в эту секунду всю свою бурю. Она видела на другом лице такое же смертельное страдание, какое жило в ней самой.

— Брат, что с *тобой*? *ты* несчастлив! — сказала она, положив ему руку на плечо,— и в этих трех словах, и в голосе ее — отозвалось, кажется, все, что есть великого в сердце женщины: сострадание, самоотвержение, любовь.

Он, в умилении от этой ласки, от этого неожиданного, теплого *ты*, взглянул на нее с той же исступленной благодарностью, с какою она взглянула вчера на него, когда он, забывая себя, помогал ей сойти с обрыва.

Она нечаянно заплатила ему великодушием за великодушие, как и у него вчера вырвался такой же луч одного из самых светлых свойств человеческой души.

Его охватил трепет смешанных чувств, и тем сильнее заговорила мука отчаяния за свой поступок. Все растопилось у него в горячих слезах.

Он положил лицо в ее руки и рыдал, как человек, все утративший, которому нечего больше терять.

— Что я сделал! оскорбил тебя, женщину, сестру! — вы-

вались у него вопли среди рыданий.— Это был не я, не человек: зверь сделал преступление. Что это такое было! — говорил он с ужасом, оглядываясь, как будто теперь только пришел в себя.

— Не мучайся и не мучай меня...— шептала она кротко, ласково.— Пощади — я не вынесу. Ты видишь, в каком я положении...

Он старался не глядеть ей в глаза. А она опять прилегла на диван.

— Какой удар нанес я тебе! — шептал он в ужасе.— Я даже прощения не прошу: оно невозможно! Ты видишь мою казнь, Вера...

— Удар твой... сделал мне боль на одну минуту. Потом я поняла, что он не мог быть нанесен равнодушной рукой, и поверила, что ты любишь меня... Тут только представилось мне, что ты вытерпел в эти недели, вчера... Успокойся, ты не виноват, мы квиты...

— Не оправдывай преступления, Вера: нож — все нож. Я ударил тебя ножом...

— Ты разбудил меня... Я будто спала; всех вас, тебя, бабушку, сестру, весь дом — видела как во сне, была зла, суха — забылась!..

— Что мне теперь делать, Вера? уехать — в каком положении я уеду! Дай мне вытерпеть казнь здесь — и хоть немного примириться с собой, со всем, что случилось...

— Полно, воображение рисует тебе какое-то преступление вместо ошибки. Вспомни, в каком положении ты сделал ее, в какой горячке!..

Она замолчала.

— У меня ничего нет, кроме дружбы к тебе,— сказала потом, протягивая ему руку,— я не осуждаю тебя — и не могу; я знаю теперь, как ошибаются...

Она едва говорила, очевидно делая над собой усилие, чтобы немного успокоить его.

Он пожал протянутую руку и безотрадно вздохнул.

— Ты добра, как женщина — и судишь не умом, а сердцем эту «ошибку»...

— Нет, ты строг к себе. Другой счел бы себя вправе, после всех этих глупых шуток над тобой... Ты их знаешь, эти записки... Пусть с доброй целью — отрезвить тебя, пошутить — в ответ на твои шутки.— Все же — злость, смех! А ты и не шутил... Стало быть, мы, без нужды, были только злы и ничего не поняли... Глупо! глупо! Тебе было больнее, нежели мне вчера...

— Ах нет! я иногда сам смеялся, и над собой и над вами, что вы ничего не понимаете и суетитесь. Особенно когда ты потребовала пальто, одеяло, деньги для «изгнанника»...

Она сделала большие глаза и с удивлением глядела на него.

— Какие деньги, какое пальто? что за изгнанник? Я ничего не понимаю...

У него лицо немного просветлело.

— Я и прежде подозревал, что это не твоя выдумка, а теперь вижу, что ты и не знала!

Он коротко передал ей содержание двух писем, с просьбой прислать денег и платье.

У ней побелели даже губы.

— Мы с Наташей писали к тебе попеременно, одним почерком, шутливые записки, стараясь подражать твоим... Вот и все. Остальное сделала не я... я ничего не знала!..— кончила она тихо, оборачиваясь лицом к стене.

Водворилось молчание. Он задумчиво шагал взад и вперед по ковру. Она, казалось, отдыхала, утомленная разговором.

— Я не прошу у тебя прощения за всю эту историю... И ты не волнуйся,— сказала она.— Мы помиримся с тобой... У меня только один упрек тебе — ты поторопился с своим букетом. Я шла оттуда... хотела послать за тобой, чтобы тебе первому сказать всю историю... искупить хоть немного все, что ты вытерпел... Но ты поторопился!

— Ах! — вырвалось у него,— это удар ножа мне!

— Оставим все это... после, после... А теперь я потребую от тебя, как от друга и брата, помощи, важной услуги... Ты не откажешь?..

— Вера!

Он ничего не сказал больше, но, взглянув на него, она видела, что может требовать всего.

— Я, пока силы есть, расскажу тебе всю историю этого года...

— Зачем! Я не хочу, не могу, не должен знать...

— Не мешай мне! я едва дышу, а время дорого. Я расскажу тебе все, а ты передай бабушке...

У него глаза остановились на ней с удивлением, и в лицо хлынул испуг.

— Я сама не могу, язык не послушается. Я умру, не договорю...

— Бабушке? зачем! — едва выговорил он от страха.— Подумай, какие последствия... Что будет с ней?.. Не лучше ли скрыть все?..

— Я давно подумала: какие бы ни были последствия, их надо — не скрыть, а перенести! Может быть, обе умрем, помешаемся — но я ее не обману. Она должна была знать давно, но я надеялась сказать ей другое... и оттого молчала... Какая казнь! — прибавила она тихо, опуская голову на подушку.

— Сказать... все, и вчерашний вечер?..— спросил он тихо.

— Да...

— И имя?..

Она чуть заметно кивнула утвердительно головой и отвернулась.

Она посадила его подле себя на диван и шепотом, с остановками, рассказала историю своих сношений с Марком. Кончив, она закуталась в шаль и, дрожа от озноба, легла опять на диван. А он встал бледный.

Оба молчали, каждый про себя переживая минуту ужаса, она — думая о бабушке, он — о них обеих.

Ему предстояло — уже не в горячке страсти, не в припадке слепого мщения, а по неизбежному сознанию долга — нанести еще удар ножа другой, нежно любимой женщине!

«Да, это страшное поручение, в самом деле — «важная услуга»,— думал он.

— Когда сказать ей? — спросил он тихо.

— Скорей! я замучаюсь, пока она не узнает, а у меня еще много мук...— «И это не главная!» — подумала про себя.— Дай мне спирт, там, где-то...— прибавила она, указывая, где стоял туалет.— А теперь поди.. оставь меня... я устала...

— Сегодня говорить с бабушкой нельзя: гости! Бог знает, что с ней будет! Завтра!

— Ах! — сделала она,— доживу ли я! Ты до завтра как-нибудь... успокой бабушку, скажи ей что-нибудь... чтоб она ничего не подозревала... не присылала сюда никого...

Он подал ей спирт, спросил, не надо ли ей чего-нибудь, не послать ли девушку.

Она нетерпеливо покачала головой, отсылая его взглядом, потом закрыла глаза, чтоб ничего не видеть. Ей хотелось бы — непроницаемой тьмы и непробудной тишины вокруг себя, чтобы глаз ее не касались лучи дня, чтобы не доходило до нее никакого звука. Она будто искала нового, небывалого состояния духа, немоты и дремоты ума, всех сил, чтобы окаменеть, стать растением, ничего не думать, не чувствовать, не сознавать.

А он вышел от нее с новой, более страшной тяжестью, нежели с какою пришел. Она отчасти облегчила ему одно бремя и возложила другое, невыносимее.

IV

Вера встала, заперла за ним дверь и легла опять. Ее давила нависшая туча горя и ужаса. Дружба Райского, участие, преданность, помощь — представляли ей на первую минуту легкую опору, на которую она оперлась, чтобы вздохнуть свободно, как утопающий, вынырнувший на минуту из воды, чтобы глотнуть воздуха. Но едва он вышел от нее, она точно оборвалась в воду опять.

— Жизнь кончена! — шептала она с отчаянием и видела

впереди одну голую степь, без привязанностей, без семьи, без всего того, из чего соткана жизнь женщины.

Перед ней — только одна глубокая, как могила, пропасть. Ей предстояло стать лицом к лицу с бабушкой и сказать ей: «Вот чем я заплатила тебе за твою любовь, попечения, как наругалась над твоим доверием... до чего дошла своей волей!..»

Ей, в дремоте отчаяния, снился взгляд бабушки, когда она узнала все, брошенный на нее, ее голос — даже не было голоса, а вместо его какие-то глухие звуки ужаса и смерти...

Потом, потом — она не знала, что будет, не хотела глядеть дальше в страшный сон, и только глубже погрузила лицо в подушку. У ней подошли было к глазам слезы и отхлынули назад, к сердцу.

— Если б умереть! — внезапно просияв от этой мысли, с улыбкой, с наслаждением шепнула она...

И вдруг за дверью услышала шаги и голос... бабушки! У ней будто отнялись руки и ноги. Она, бледная, не шевелясь, с ужасом слушала легкий, но страшный стук в дверь.

— Не встану — не могу...— шептала она.

Стук повторился. Она вдруг, с силой, которая неведомо откуда берется в такие минуты, оправилась, вскочила на ноги, отерла глаза и с улыбкой пошла навстречу бабушке.

Татьяна Марковна, узнавши от Марфеньки, что Вера нездорова и не выйдет целый день, пришла наведаться сама. Она бегло взглянула на Веру и опустилась на диван.

— Ух, устала у обедни! Насилу поднялась на лестницу! Что у тебя, Верочка, нездорова? — спросила она и остановила испытующий взгляд на лице Веры.

— Поздравляю с новорожденной! — заговорила Вера развязно, голосом маленькой девочки, которую научила нянька — что сказать мамаше утром в день ее ангела, поцеловала руку у бабушки — и сама удивилась про себя, как память подсказала ей, что надо сказать, как язык выговорил эти слова! — Пустое! ноги промочила вчера, голова болит! — с улыбкой старалась договорить она.

Но губы не улыбнулись, хотя и показались из-за них два, три верхние зуба.

— Надо было натереть вчера спиртом; у тебя нет? — сдержанно сказала бабушка, стараясь на нее не глядеть, потому что слышала принужденный голос, видела на губах Веры какую-то чужую, а не ее улыбку, и чуяла неправду.

— Ты сойдешь к нам? — спросила она.

Вера внутренно ужаснулась этого невозможного испытания, сверх — сил, и замялась.

— Не принуждай себя! — снисходительно заметила Татьяна Марковна,— чтоб не разболеться больше...

Но ужас охватил Веру от этой снисходительности. Ей казалось, как всегда, когда совесть тревожит, что бабушка

уже угадала все и ее исповедь опоздает. Еще минута, одно слово — и она кинулась бы на грудь ей и сказала все! И только силы изменили ей и удержали, да еще мысль — сделать весь дом свидетелем своей и бабушкиной драмы.

— К обеду только позвольте, бабушка, не выходить,— сказала она, едва крепясь,— а после обеда я, может быть, приду...

— Как хочешь, я пришлю тебе обедать сюда.

— Да... да... я уж теперь голодна...— говорила Вера, не помня сама, что говорит.

Татьяна Марковна поцеловала ее, пригладила ей рукой немного волосы и вышла, заметив только, «чтоб она велела «Маринке», или «Машке», или «Наташке» прибрать комнату, а то-де, пожалуй, из гостей, из дам кто-нибудь зайдет»,— и ушла.

Вера вдруг опустилась на диван, потом, немного посидя, достала одеколон и намочила себе темя и виски.

— Ах, как бьется здесь, как больно! — шептала она, прикладывая руку к голове.— Боже, когда эта казнь кончится? Скорей бы, скорей сказать ей все! А там, после нее — пусть весь мир знает, смотрит!..

Она взглянула на небо, вздрогнула и безотрадно бросилась на диван.

Бабушка пришла к себе с скорбным лицом, как в воду опущенная.

Она принимала гостей, ходила между ними, потчевала, но Райский видел, что она, после визита к Вере, была уже не в себе. Она почти не владела собой, отказывалась от многих блюд, не обернулась, когда Петрушка уронил и разбил тарелки; останавливалась среди разговора на полуслове, пораженная задумчивостью.

А после обеда, когда гости, пользуясь скупыми лучами сентябрьского солнца, вышли на широкое крыльцо, служившее и балконом, пить кофе, ликер и курить, Татьяна Марковна продолжала ходить между ними, иногда не замечая их, только передергивала и поправляла свою турецкую шаль. Потом спохватится и вдруг заговорит принужденно.

Райский был угрюм, смотрел только на бабушку, следя за ней.

— Неладно что-то с Верой! — шепнула она отрывисто ему,— ты видел ее? У ней какое-то горе!

Он сказал, что нет. Бабушка подозрительно поглядела на него.

Полины Карповны не было. Она сказалась больною, прислала Марфеньке цветы и деревья с зеленью. Райский заходил к ней утром сам, чтобы как-нибудь объяснить вчерашнюю свою сцену с ней и узнать, не заметила ли она чего-нибудь. Но она встретила его с худо скрываемым, под видом обидчивости, восторгом, хотя он прямо сказал ей, что обедал нака-

нуне не дома, в гостях — там много пили — и он выпил лишнюю рюмку — и вот «до чего дошел»!

Он просил прощения и получил его с улыбкой.

— А кто угадал: не говорила ли я? — заключила она. И под рукой рассказала всем свою сцену обольщения, заменив слово «упала» словом «пала».

Пришел к обеду и Тушин, еще накануне приехавший в город. Он подарил Марфеньке хорошенького пони, для прогулок верхом: «Если бабушка позволит», — скромно прибавил он.

— Теперь не моя воля, — вон кого спрашивайте! — задумчиво отвечала она, указывая на Викентьева и думая о другом.

Тушин наведался о Вере и был как будто поражен ее нездоровьем и тем, что она не вышла к обеду. Он был заметно взволнован.

Татьяна Марковна стала подозрительно смотреть и на Тушина, отчего это он вдруг так озадачен тем, что Веры нет. Ее отсутствие между гостями — не редкость; это случалось при нем прежде, но никогда не поражало его. «Что стало со вчерашнего вечера с Верой?» — не выходило у ней из головы.

С Титом Никонычем сначала она побранилась и чуть не подралась, за подарок туалета, а потом поговорила с ним наедине четверть часа в кабинете, и он стал немного задумчив, меньше шаркал ножкой, и хотя говорил с дамами, но сам смотрел так серьезно и пытливо то на Райского, то на Тушина, что они глазами в недоумении спрашивали его, чего он от них хочет. Он тотчас оправлялся и живо принимался говорить дамам «приятности».

Татьяна Марковна была так весела, беспечна, празднуя день рожденья Марфеньки и обдумывая, чем бы особенно отпраздновать через две недели именины Веры, чтоб не обойти внимательностью одну перед другой, хотя Вера и объявила наотрез, что в именины свои уедет к Анне Ивановне Тушиной или к Наталье Ивановне.

Но с полудня Татьяна Марковна так изменилась, так во всех подозрительно всматривалась, во все вслушивалась, что Райский сравнивал ее с конем, который беспечно жевал свой овес, уходя в него мордой по уши, и вдруг услыхал шорох или почуял запах какого-то неизвестного и невидимого врага. Он поднял уши и голову, красиво оборотил ее назад и неподвижно слушает, широко открыв глаза и сильно дохнув ноздрями. Ничего. Потом медленно оборотился к яслям, и, все слушая, махнул раза три неторопливо головой, мерно стукнул раза три копытом, не то успокоивая себя, не то допрашиваясь о причине или предупреждая врага о своей бдительности — и опять запустил морду в овес, но хрустит осторожно, поднимая по временам голову и оборачивая ее назад. Он уж предупрежден и стал чуток. Жует, а у самого вздрагивает плечо, оборачивается ухо назад, вперед и опять назад.

И бабушка, занимаясь гостями, вдруг вспомнит, что с Верой «неладно», что она не в себе, не как всегда, а иначе, хуже, нежели какая была; такою она ее еще не видала никогда — и опять потеряется. Когда Марфенька пришла сказать, что Вера нездорова и в церкви не будет, Татьяна Марковна рассердилась сначала.

— Для тебя и для семейного праздника могла бы отложить свои причуды,— сказала она,— и поехать к обедне.

Но когда узнала, что она и к обеду не может прийти, она встревожилась за ее здоровье и поднялась к ней сама. Отговорка простудой не обманула ее. Она по лицу увидала, а потом, поправляя косу, незаметно дотронулась до лба и удостоверилась, что простуды нет.

Но Вера бледна, на ней лица нет, она беспорядочно лежит на диване, и потом в платье, как будто не раздевалась совсем, а пуще всего мертвая улыбка Веры поразила ее.

Она вспомнила, что Вера и Райский пропадали долго накануне вечером и оба не ужинали. И она продолжала всматриваться в Райского, а тот старался избегать ее взглядов — и этим только усиливал подозрения.

У Райского болела душа пуще всех прежних его мук. Сердце замирало от ужаса и за бабушку, и за бедную, трепетную, одинокую и недоступную для утешения Веру.

Она улыбнулась ему, протянула руку, дала милые права дружбы над собой — и тут же при нем падала в отчаянии под тяжестью удара, поразившего ее так быстро и неожиданно, как молния.

Он видел, что участие его было более полезно и приятно ему самому, но мало облегчало положение Веры, как участие близких лиц к трудному больному не утоляет его боли.

Надо вырвать корень болезни, а он был не в одной Вере, но и в бабушке — и во всей сложной совокупности других обстоятельств: ускользнувшее счастье, разлука, поблекшие надежды жизни — все! Да, Веру нелегко утешить!

И бабушку жаль! Какое ужасное, неожиданное горе нарушит мир ее души! Что, если она вдруг свалится! — приходило ему в голову,— вон она — сама не своя, ничего еще не зная! У него подступали слезы к глазам от этой мысли.

А на нем еще лежит обязанность вонзить глубже нож в сердце этой — своей матери!

«Что, если они занемогут обе! Не послать ли за Натальей Ивановной? — решил он,— но надо прежде спросить Веру, а она...»

А она вдруг явилась неожиданно среди гостей, после обеда, в светлом праздничном платье, но с подвязанным горлом и в теплой мантилье.

Райский ахнул от изумления. Сегодня еще она изнемогала, не могла говорить, а теперь сама пришла!

«Откуда женщины берут силы?» — думал он, следя за ней, как она извинялась перед гостями, с обыкновенной улыбкой выслушала все выражения участия, сожаления, смотрела подарки Марфеньки.

Она отказалась от конфект, но с удовольствием съела ломоть холодного арбуза, сказавши, что у ней сильная жажда, и предупредив, что, к сожалению, не может долго остаться с гостями.

Бабушка немного успокоилась, что она пришла, но в то же время замечала, что Райский меняется в лице и старается не глядеть на Веру. В первый раз в жизни, может быть, она проклинала гостей. А они уселись за карты, будут пить чай, ужинать, а Викентьева уедет только завтра.

Райский был точно между двух огней.

— Что такое с ней? — шепчет ему с одной стороны Татьяна Марковна,— ты, должно быть, знаешь...

«Ах, скорей бы сказать ей все!» — выговаривают с другой стороны отчаянные взгляды Веры.

Райскому хоть сквозь землю провалиться!

Тушин тоже смотрит на Веру какими-то особенными глазами. И бабушка, и Райский, а всего более сама Вера заметили это.

Ее эти взгляды Тушина обдавали ужасом. «Не узнал ли? не слыхал ли он чего? — шептала ей совесть.— Он ставит ее так высоко, думает, что она лучше всех в целом свете! Теперь она молча будет красть его уважение...» «Нет, пусть знает и он! Пришли бы хоть новые муки на смену этой ужасной пытке — казаться обманщицей!» — шептало в ней отчаяние.

Она тихо, не глядя на Тушина, поздоровалась с ним. А он смотрел на нее с участием и с какой-то особенной застенчивостью, потуплял глаза.

«Нет, не могу выносить! Узнаю, что у него на уме... Иначе я упаду здесь, среди всех, если он еще... взглянет на меня не так, как всегда...»

А он тут, как нарочно, и взглянул!

V

Она не выдержала, простилась с гостями и сделала Тушину никому не заметный знак — следовать за собой.

— У себя я вас принять не могу,— сказала она,— а вот пойдемте сюда в аллею и походим немного.

— Не сыро ли, вы нездоровы...

— Ничего, ничего, пойдемте...— торопила она.

Он взглянул на часы, сказал, что через час уедет, велел вывести лошадей из сарая на двор, взял свой бич с серебряной рукояткой, накинул на руку макинтош и пошел за Верой в аллею.

— Я прямо начну, Иван Иванович,— сказала Вера, дрожа внутренно,— что с вами сегодня? Вы как будто... у вас есть что-то на уме...

Она замолчала, кутая лицо в мантилью и пожимая плечами от дрожи.

Он молча шел подле нее, о чем-то думая, а она боялась поднять на него глаза.

— Вы нездоровы сегодня, Вера Васильевна,— сказал он задумчиво,— я лучше отложу до другого раза. Вы не ошиблись, я хотел поговорить с вами...

— Нет, Иван Иванович, сегодня! — торопливо перебила она,— что у вас такое? я хочу знать... Мне хотелось бы самой поговорить с вами... может быть, я опоздала... Не могу стоять, я сяду,— прибавила она, садясь на скамью.

Он не заметил ни ее ужаса и тоски, ни ее слов, что она тоже готовилась «поговорить с ним». Он был поглощен своей мыслью. А ее жгла догадка, что он узнал все и сейчас даст ей удар ножа, как Райский.

— Ах, пусть! скорей бы только все удары разом!.. — шептала она.

— Говорите же! — сказала потом, мучась про себя вопросами, как и где мог он узнать?

— Сегодня я шел сюда...

— Что же, говорите! — почти крикнула она.

— Не могу, Вера Васильевна, воля ваша!

Он прошел шага два от нее дальше.

— Не казните меня! — едва шептала она.

— Я люблю вас...— начал он, вдруг воротясь к ней.

— Ну, я знаю. И я вас тоже... что за новость! Что же дальше?.. Вы... слышали что-нибудь...

— Где? что? — спрашивал он, оглядываясь кругом и думая, что она слышит какой-нибудь шум.— Я ничего не слышу.

Он заметил ее волнение, и вдруг у него захватило дух от радости. «Она проницательна, угадала давно мою тайну и разделяет чувство... волнуется, требует откровенного и короткого слова...»

Все это быстро пронеслось у него в голове.

— Вы так благородны, прекрасны, Вера Васильевна... так чисты...

— Ах! — вскрикнула она отчаянным голосом, хотела встать и не могла,— вы ругаетесь надо мной... ругайтесь — возьмите этот бич, я стóю!.. Но вы ли это, Иван Иванович!

Она с горьким изумлением и мольбой сложила перед ним руки.

Он в страхе глядел на нее.

«Она больна!» — подумал он.

— Вы нездоровы, Вера Васильевна,— с испугом и волнением сказал он ей,— простите меня, что я не вовремя затеял...

— Разве не все равно, днем раньше, днем позже — но все скажете же... говорите же разом, сейчас!.. И я скажу, зачем я позвала вас сюда, в аллею...

Его опять бросило в противную сторону.

— Ужели это правда? — едва сдерживаясь от радости, сказал он.

— Что — правда? — спросила она, вслушиваясь в этот внезапный, радостный тон.— Вы что-то другое хотите сказать, а не то, что я думала...— покойнее прибавила она.

— Нет, то самое... я полагаю...

— Скажите же, перестаньте мучить меня!

— Я вас люблю...

Она поглядела на него и ждала.

— Мы старые друзья,— сказала она,— и я вас...

— Нет, Вера Васильевна, люблю еще — как женщину...

Она вдруг выпрямилась и окаменела, почти не дыша.

— Как первую женщину в целом мире! Если б я смел мечтать, что вы хоть отчасти разделяете это чувство... нет, это много, я не стою... если одобряете его, как я надеялся... если не любите другого, то... будьте моей лесной царицей, моей женой,— и на земле не будет никого счастливее меня!.. Вот что хотел я сказать — и долго не смел! Хотел отложить это до ваших именин, но не выдержал и приехал, чтобы сегодня в семейный праздник, в день рождения вашей сестры...

Она всплеснула руками над головой.

— Иван Иванович! — простонала она, падая к нему на руки.

«Нет,— это не радость! — сверкнуло в нем — и он чувствовал, что волосы у него встают на голове,— так не радуются!»

Он посадил ее на скамью.

— Что с вами, Вера Васильевна? вы или больны, или у вас большое горе?..— овладев собою, почти покойно спросил он.

— Большое, Иван Иванович, я умру!

— Что с вами, говорите, ради бога, что такое случилось? Вы сказали, что хотели говорить со мной; стало быть, я нужен... Нет такого дела, которого бы я не сделал! приказывайте, забудьте мою глупость... Что надо... что надо сделать?

— Ничего не надо,— шептала она,— мне надо сказать вам... Бедный Иван Иванович, и вы!.. За что вы будете пить мою чашу? Боже мой! — говорила она, глядя сухими глазами на небо,— ни молитвы, ни слез у меня нет! — ниоткуда облегчения и помощи никакой!

— Что вы, Вера Васильевна! что это, друг мой, за слова, что за глубокое отчаяние?

— Зачем еще этот удар! Довольно их без него! Знаете ли вы, кого любите? — говорила она, глядя на него точно спящими, безжизненными глазами, едва выговаривая слова.

Он молчал, делая и отвергая догадки. Он бросил макинтош и отирал пот с лица. Он из этих слов видел, что его надежды разлетелись вдребезги, понял, что Вера любит кого-то... Другого ничего он не видел, не предполагал. Он тяжело вздохнул и сидел неподвижно, ожидая объяснения.

— Бедный друг мой! — сказала она, взяв его за руку.

У него сердце сжалось от этих простых слов; он почувствовал, что он в самом деле «бедный». Ему было жаль себя, а еще больше жаль Веры.

— Благодарю вас! — прошептал он, еще не зная, но предчувствуя одно: что она ему принадлежать не может.

— Простите,— продолжал потом,— я ничего не знал, Вера Васильевна. Внимание ваше дало мне надежду. Я дурак — и больше ничего... Забудьте мое предложение и по-прежнему давайте мне только права друга... если сто́ю,— прибавил он, и голос на последнем слове у него упал.— Не могу ли я помочь? Вы, кажется, ждали от меня услуги?

— Сто́ите ли! А я сто́ю?

— Вы, Вера Васильевна, всегда будете стоять для меня так высоко...

— Я упала, бедный Иван Иваныч, с этой высоты, и никто уж не поднимет меня... Хотите знать, куда я упала? Пойдемте, вам сейчас будет легче...

Она тихо, шатаясь и опираясь ему на руку, привела его к обрыву.

— Знаете вы это место?

— Да, знаю; там похоронен самоубийца...

— Там похоронена и ваша «чистая» Вера: ее уж нет больше... Она на дне этого обрыва...

Она была бледна и говорила с каким-то решительным отчаянием.

— Что такое вы говорите? Я ничего не понимаю... Объясните, Вера Васильевна,— прошептал он, обмахивая лицо платком.

Она привстала, оперлась ему рукой на плечо, остановилась, собираясь с силами, потом склонила голову, минуты в три, шепотом, отрывисто сказала ему несколько фраз и опустилась на скамью. Он побледнел.

Его вдруг пошатнуло. Он как будто потерял равновесие и сел на скамью. Вера и в сумерки увидела, как он был бледен.

— А я думал...— сказал он с странной улыбкой, будто стыдясь своей слабости и вставая медленно и тяжело со скамьи,— что меня только медведь свалит с ног!

Потом подошел к ней.

— Кто он и где он? — шепнул он.

Она вздрогнула от этого вопроса. Так изумителен, груб и неестествен был он в устах Тушина. Ей казалось непостижимо, как он посягает, без пощады женского, всякому понят-

ного чувства, на такую откровенность, какой женщины не делают никому. «Зачем? — втайне удивлялась она,— у него должны быть какие-нибудь особые причины — какие?»

— Марк Волохов! — смело сказала она, осилив себя.

Он остолбенел на минуту. Потом вдруг схватил свой бич за рукоятку обеими руками и с треском изломал его в одну минуту о колено в мелкие куски, с яростью бросив на землю щепки дерева и куски серебра.

— То же будет и с ним! — прорычал он, нагибаясь к ее лицу, трясясь и ощетинясь, как зверь, готовый скакнуть на врага.

— Он там теперь? — спросил он, указывая на обрыв. Только слышалось его тяжелое дыхание. Она с изумлением глядела на него и отступила за скамью.

— Мне страшно, Иван Иванович, пощадите меня! уйдите! — шептала она в ужасе, протягивая обе руки, как бы защищаясь от него.

— Прежде убью его, потом... уйду! — говорил он, едва владея собой.

— Это вы для меня сделаете, чтоб облегчить меня, или... для себя?

Он молчал, глядя в землю. Потом стал ходить большими шагами взад и вперед.

— Что же мне делать, научите, Вера Васильевна? — спросил он, все еще трясясь от раздражения.

— Прежде всего успокойтесь и скажите, за что вы хотите убить его, и хочу ли я этого?

— Он враг ваш, и следовательно — мой...— чуть слышно прибавил он.

— Врагов разве убивают?

Он потупил голову, увидал разбросанные обломки бича у ног, наклонился, будто стыдясь, собрал их и сунул в карман макинтоша.

— Я не жалуюсь на него, помните это. Я одна... виновата... а он прав...— едва договорила она с такой горечью, с такой внутренней мукой, что Тушин вдруг взял ее за руку.

— Вера Васильевна — вы ужасно страдаете!

Она молчала. А он с участием и удивлением глядел на нее.

— Я ничего не понимаю,— сказал он,— «не виноват», «не жалуюсь»; в таком случае — о чем хотели поговорить со мной? зачем вы звали меня сюда, в аллею?..

— Я хотела, чтоб вы знали всё...

Она, отворотясь, молча глядела к обрыву. И он поглядел туда, потом на нее и все стоял перед ней, с вопросом в глазах.

— Послушайте, Вера Васильевна, не оставляйте меня в потемках. Если вы нашли нужным доверить мне тайну...— он на этом слове с страшным усилием перемог себя,— которая касалась вас одной, то объясните всю историю...

— Ваше нынешнее лицо, особенные взгляды, которые вы

обращали ко мне,— я не поняла их. Я думала, вы знаете всё, хотела допроситься, что у вас на уме... Я поторопилась... Но все равно, рано или поздно — я сказала бы вам... Сядьте, выслушайте меня и потом оттолкните!

Он, положив локти на колени и спрятав лицо в ладони, слушал ее.

Она передала ему в коротких словах историю. Он встал, минуты три ходил взад и вперед, потом остановился перед ней.

— Вы простили его? — спросил он.

— За что? Вы видите, что... я одна виновата...

— И... простились с ним, или... надеетесь, что он опомнится и воротится?

Она покачала головой.

— Между нами нет ничего общего... Мы разошлись давно. Я никогда не увижу его.

— Теперь я только начинаю немного понимать, и то не все,— сказал, подумавши, Тушин, и вздохнул, как вол, которого отпрягли.— Я думал, что вы нагло обмануты.

— Нет, нет...

— И зовете меня на помощь; думал, что пришла пора медведю «сослужить службу», и чуть было не оказал вам в самом деле «медвежьей услуги»,— добавил он, вынимая из кармана и показывая ей обломок бича.— От этого я позволил себе сделать вам дерзкий вопрос об имени... Простите меня, ради бога, и скажите и остальное: зачем вы открыли мне это?

— Я не хотела, чтоб вы думали обо мне лучше, чем я есть... и уважали меня...

— Как же вы это сделаете? Я не перестану думать о вас, что думал всегда, и не уважать не могу.

Какой-то луч блеснул у ней в глазах и тотчас же потух.

— Вы хотите принудить себя уважать меня. Вы добры и великодушны; вам жаль бедную, падшую... и вы хотите поднять ее... Я понимаю ваше великодушие, Иван Иванович, но не хочу его. Мне нужно, чтоб вы знали и... не отняли руки, когда я подам вам свою.

Она подала ему руку, он поцеловал ее. Он с нетерпением и грустью слушал ее.

— Вера Васильевна! — сказал он сдержанным, почти оскорбленным тоном,— я насильно уважать никого не могу. Тушин не лжет. Если я кому-нибудь кланяюсь с уважением,— то и уважаю, или не поклонюсь. Я кланяюсь вам по-прежнему, а люблю — извините, к слову пришлось,— еще больше прежнего, потому что... вы несчастливы. У вас большое горе, такое же, как у меня! Вы потеряли надежду на счастье... Напрасно только вы сказали мне вашу тайну...— прибавил он с унынием, почти с отчаянием.— Если б я узнал ее и не от вас, я бы уважать вас не перестал. Этой тайны вы не обязаны поверять никому. Она принадлежит вам одной, и никто не смеет судить вас,

Он едва договорил и с трудом вздохнул, скрадывая тяжесть этого вздоха от Веры. Голос у него дрожал против воли. Видно было, что эта «тайна», тяжесть которой он хотел облегчить для Веры, давила теперь не одну ее, но и его самого. Он страдал — и хотел во что бы то ни стало скрыть это от нее...

— Все равно, я должна была сказать вам ее сегодня же, когда вы сделали предложение... Обмануть я вас не могла.

Он отрицательно покачал головой.

— На мое предложение вы могли отвечать мне коротким *нет*. Но как вы удостоиваете меня особой дружбы, то объяснили бы ласково, с добротой, чтоб позолотить это *нет*, что вы любите другого,— вот и все. Я не спросил бы даже — кого. А тайну... должны были сберечь про себя; тут не было бы никакого обмана. Вот если б вы, любя другого, приняли мое предложение... из страха, или других целей... это был бы обман, «падение», пожалуй, «потеря чести». Но вы этого никогда бы не сделали. А то...— Он головой кивнул на обрыв и шепотом добавил, будто про себя,— несчастье... ошибка...

Он едва говорил, перемогая с медвежьей силой внутреннюю муку, чтоб она не заметила, что было в нем самом.

— Несчастье! — шептал он,— он уйдет прав из обрыва, а вы виноваты! Где же правда?..

— Все равно, я сказала бы вам, Иван Иванович. Это не для вас нужно было, а для меня самой... Вы знаете... как я дорожила вашей дружбой: скрыть от вас — это было бы мукой для меня.— Теперь мне легче — я могу смотреть прямо вам в глаза, я не обманула вас...

Она не могла говорить от прихлынувших слез и зажала лицо платком. Он чуть не заплакал сам, но только вздрогнул, наклонился и опять поцеловал у ней руку.

— Вот это другое дело; благодарю вас, благодарю! — торопливо говорил он, скрадывая волнение.— Вы делаете мне большое добро, Вера Васильевна. Я вижу, что дружба ваша ко мне не пострадала от другого чувства, значит она сильна. Это большое утешение! Я буду счастлив и этим... со временем, когда мы успокоимся оба...

— Ах, Иван Иванович, если б можно было вычеркнуть этот год жизни...

— Забыть его скорей: это и будет все равно что вычеркнуть...

— А где взять забвения и силы перенести?

— У друзей,— шепнул он,— в том числе... у меня...

Она вздохнула будто свободнее — будто опять глотнула свежего воздуха, чувствуя, что подле нее воздвигается какая-то сила, встает, в лице этого человека, крепкая, твердая гора, которая способна укрыть ее в своей тени и каменными своими боками оградить — не от бед страха, не от физических опасно-

стей, а от первых, горячих натисков отчаяния, от дымящейся еще язвы страсти, от горького разочарования.

— Я верю вашей дружбе, Иван Иванович. Благодарю вас,— говорила она, утирая слезы.— Мне немного легче... и было бы еще легче, если б... не бабушка.

— Она еще не знает? — спросил он и вдруг замолчал, почувствовав, что в вопросе его был упрек.

Он потупил голову, представляя себе, как это поразит Татьяну Марковну, но остерегался обнаружить перед Верой свою боязнь.

— Сегодня, вы видите, гости, нельзя. Завтра она все узнает... Прощайте, Иван Иваныч, я ужасно страдаю — пойду и лягу.

Он глядел на Веру долго.

«Боже мой! какой слепой дурак этот Волохов — или какая... бестия!» — думал он с дрожью ярости.

— Не прикажете ли чего-нибудь? не нужно ли вам...— спросил он.

— Да, попросите Наташу приехать завтра, или послезавтра, ко мне.

— А мне можно побывать на той неделе? — спросил он робко,— узнать, успокоились ли вы...

— Успокойтесь сами, Иван Иваныч,— и прощайте теперь. Я едва держусь на ногах...

Он простился с ней и так погнал лошадей с крутой горы, что чуть сам не сорвался с обрыва. По временам он, по привычке, хватался за бич, но вместо его под руку попадали ему обломки в кармане; он разбросал их по дороге. Однако он опоздал переправиться за Волгу, ночевал у приятеля в городе и уехал к себе рано утром.

VI

Настало и завтра. Шумно и весело поднялся дом на ноги. Лакеи, повара, кучера — все хлопотало, суетилось; одни готовили завтрак, другие закладывали экипажи, и с утра опять все напились пьяны.

Бабушка отпускала Марфеньку за Волгу, к будущей родне, против обыкновения молчаливо, с некоторой печалью. Она не обременяла ее наставлениями, не вдавалась в мелочные предостережения, даже на вопросы Марфеньки, что взять с собой, какие платья, вещи — рассеянно отвечала: «Что тебе вздумается». И велела Василисе и девушке Наталье, которую посылала с ней, снарядить и уложить, что нужно.

Она поручила свое дитя Марье Егоровне, матери жениха, а последнему довольно серьезно заметила, чтобы он там, в деревне, соблюдал тонкое уважение к невесте и особенно при чужих людях, каких-нибудь соседях, воздерживался от той

свободы, которою он пользовался при ней и своей матери, в обращении с Марфенькой, что другие, пожалуй, перетолкуют иначе — словом, чтоб не бегал с ней там по рощам и садам, как здесь.

Заметив, что Викентьев несколько покраснел от этого предостережения, как будто обиделся тем, что в нем предполагают недостаток такта, и что и мать его закусила немного нижнюю губу и стала слегка бить такт ботинкой, Татьяна Марковна перешла в дружеский тон, потрепала «милого Николеньку» по плечу и прибавила, что сама знает, как напрасны эти слова, но что говорит их по привычке старой бабы — читать мораль. После того она тихо, про себя вздохнула и уже ничего не говорила до отъезда гостей.

К завтраку пришла и Вера, бледная, будто с невыспавшимися глазами. Она сказала, что ей легче, но что у ней все еще немного болит голова.

Татьяна Марковна была с ней ласкова, а Марья Егоровна Викентьева бросила на нее, среди разговора, два, три загадочных взгляда, как будто допрашиваясь: что с ней? отчего эта боль без болезни? что это она не пришла вчера к обеду, а появилась на минуту и потом ушла, а за ней пошел Тушин, и они ходили целый час в сумерки?.. И так далее.

Но хитрая и умная барыня не дала никакого другого хода этим вопросам, и они выглянули у ней только из глаз, и на минуту. Вера, однако, прочла их, хотя та переменила взгляд сомнения на взгляд участия. Прочла и Татьяна Марковна.

Вера была равнодушна к этим вопросам, а Татьяна Марковна нет. Она вдруг поникла головой и стала смотреть в пол.

«И другие допрашиваются, а я не знаю! А она родилась при мне: она — мое дитя!» — думала она с печалью.

Вера была бледна, лицо у ней как камень; ничего не прочтешь на нем. Жизнь точно замерзла, хотя она и говорит с Марьей Егоровной обо всем, и с Марфенькой и с Викентьевым. Она заботливо спросила у сестры, запаслась ли она теплой обувью, советовала надеть плотное шерстяное платье, предложила свой плед и просила, при переправе чрез Волгу, сидеть в карете, чтоб не продуло.

Райский, воротясь с прогулки, пришел к завтраку тоже с каким-то странным, решительным лицом, как будто у человека впереди было сражение или другое важное, роковое событие и он приготовлялся к нему. Что-то обработалось, выяснилось или определилось в нем. Вчерашней тучи не было. Он так же покойно глядел на Веру, как на прочих, не избегал взглядов и Татьяны Марковны и этим поставил ее опять в недоумение.

«У этого что-то новое; смотрит не по-вчерашнему, говорит другое, нежели что говорил вчера, наперекор себе. Господи, что за омут у них!» — думала она.

Райский обещал Викентьевым приехать к ним дня на два и очень был внимателен к предложениям жениха поохотиться, половить рыбу.

Наконец гости собрались. Татьяна Марковна и Райский поехали проводить их до берега. Вера простилась с Марфенькой и осталась дома.

Тесен был мир, в котором и прежде вращалась жизнь Веры, а теперь сделался еще теснее. Исключительная, глубокая натура ее долго довольствовалась тем запасом наблюдений, небольших опытов, которые она добывала около себя. Несколько человек заменяли ей толпу; то, что другой соберет со многих встреч, в многие годы и во многих местах,— давалось ей в двух, трех уголках, по ту и другую сторону Волги, с пяти, шести лиц, представлявших для нее весь людской мир, и в промежуток нескольких лет, с тех пор, как понятия у ней созрели и сложились в более или менее определенный взгляд. Инстинкт и собственная воля писали ей законы ее пока девической жизни, а сердце чутко указывало на тех, кому она могла безошибочно дать некоторые симпатии.

И она давала их осторожно, не тратила, как Марфенька, на всех. Из посторонних только жена священника была чем-то вроде ее наперсницы, да Тушина она открыто признавала и называла своим другом — больше никого.

Она не теряла из вида путеводной нити жизни, и из мелких явлений, из немудреных личностей, толпившихся около нее, делала не мелкие выводы, практиковала силу своей воли над окружавшею ее застарелостью, деспотизмом, грубостью нравов.

Она, по этой простой канве, умела чертить широкий, смелый узор более сложной жизни, других требований, идей, чувств, которых не знала, но угадывала, читая за строками простой жизни другие строки, которых жаждал ее ум и требовала натура.

Она смотрела вокруг себя и видела — не то, что есть, а то, что должно быть, что ей хотелось, чтоб было, и так как этого не было, то она брала из простой жизни около себя только одно живое, верное, созидая образ, противоположный тому, за немногими исключениями, что было около.

В область мысли, знания она вступила так же недоверчивым и осторожным шагом, как была осторожна и скупа в симпатиях. Читала она книги в библиотеке старого дома, сначала от скуки, без выбора и системы, доставая с полки, что попадется, потом из любопытства, наконец некоторые с увлечением.

Скоро она почувствовала бесцельность и бесплодность этого странствия по чужим умам, без руководящей нити. Она хитро наводила на разговор Козлова, почти не спрашивая и не показывая вида, что̀ слушает, и особенно никогда ни перед кем не хвастаясь, что знает то или другое, чего не знают окружающие.

Потом, с поверкой его взгляда, перечитывала книги опять, и находила в них больше смысла и интереса. По просьбе молодого священника возила книги ему, и опять слушала, не делаясь семинаристом, рассеянно, его мысли и впечатления, высказанные под влиянием того или другого автора.

После всех пришел Марк — и внес новый взгляд во все то, что она читала, слышала, что знала, взгляд полного и дерзкого отрицания всего, от начала до конца, небесных и земных авторитетов, старой жизни, старой науки, старых добродетелей и пороков. Он, с преждевременным триумфом, явился к ней, предвидя победу, и ошибся.

Она с изумлением увидела этот новый, вдруг вырвавшийся откуда-то поток смелых, иногда увлекательных идей, но не бросилась в него слепо и тщеславно, из мелкой боязни показаться отсталою, а так же пытливо и осторожно стала всматриваться и вслушиваться в горячую проповедь нового апостола.

Ей прежде всего бросилась в глаза — зыбкость, односторонность, пробелы, местами будто умышленная ложь пропаганды, на которую тратились живые силы, дарования, бойкий ум и ненасытная жажда самолюбия и самонадеянности, в ущерб простым и очевидным, готовым уже правдам жизни, только потому, как казалось ей, что они были готовые.

Иногда, в этом безусловном рвении к какой-то новой правде, виделось ей только неуменье справиться с старой правдой, бросающееся к новой, которая давалась не опытом и борьбой всех внутренних сил, а гораздо дешевле, без борьбы и сразу, на основании только слепого презрения ко всему старому, не различавшего старого зла от старого добра, и принималась на веру от не проверенных ничем новых авторитетов, невесть откуда взявшихся новых людей — без имени, без прошедшего, без истории, без прав.

Она добиралась в проповеди и увлечениях Марка чего-нибудь верного и живого, на что можно опереться, что можно полюбить, что было так прочно, необманчиво в старой жизни, которой, во имя этого прочного, живого и верного, она прощала ее смешные, вредные уродливости, ее весь отживший сор.

Она страдала за эти уродливости и от этих уродливостей, мешавших жить, чувствовала нередко цепи и готова бы была, ради правды, подать руку пылкому товарищу, другу, пожалуй мужу, наконец... чем бы он ни был для нее,— и идти на борьбу против старых врагов, стирать ложь, мести сор, освещать темные углы, смело, не слушая старых, разбитых голосов, не только Тычковых, но и самой бабушки, там, где последняя безусловно опирается на старое, вопреки своему разуму,— вывести, если можно, и ее на другую дорогу. Но для этого нужно было ей глубоко и невозвратно убедиться, что истина — впереди.

Она шла не самонадеянно, а, напротив, с сомнениями, не ошибается ли она, не прав ли проповедник, нет ли в самом деле

там, куда так пылко стремится он, чего-нибудь такого чистого, светлого, разумного, что могло бы не только избавить людей от всяких старых оков, но открыть Америку, новый, свежий воздух, поднять человека выше, нежели он был, дать ему больше, нежели он имел.

Она прислушивалась к обещанным им благам, читала приносимые им книги, бросалась к старым авторитетам, сводила их про себя на очную ставку — но не находила ни новой жизни, ни счастья, ни правды, ничего того, что обещал, куда звал смелый проповедник.

А сама шла все за ним, увлекаемая жаждой знать; что кроется за этой странной и отважной фигурой.

Дело пока ограничивалось беспощадным отрицанием всего, во что верит, что любит, на что надеется живущее большинство. Марк клеймил это враждой и презрением; но Вера сама многого не признает в старом свете. Она и без него знает и видит болезни: ей нужно знать, где Америка? Но ее Колумб, вместо живых и страстных идеалов правды, добра, любви, человеческого развития и совершенствования, показывает ей только ряд могил, готовых поглотить все, чем жило общество до сих пор. Это были фараоновы тощие коровы, пожиравшие толстых и не делавшиеся сами от того толще.

Он, во имя истины, развенчал человека в один животный организм, отнявши у него другую, не животную сторону. В чувствах видел только ряд кратковременных встреч и грубых наслаждений, обнажая их даже от всяких иллюзий, составляющих роскошь человека, в которой отказано животному.

Самый процесс жизни он выдавал и за ее конечную цель. Разлагая материю на составные части, он думал, что разложил вместе с тем и все, что выражает материя.

Угадывая законы явления, он думал, что уничтожил и неведомую силу, давшую эти законы, только тем, что отвергал ее, за неимением приемов и свойств ума, чтобы уразуметь ее. Закрывал доступ в вечность и к бессмертию всем религиозным и философским упованиям, разрушая, младенческими химическими или физическими опытами, и вечность, и бессмертие, думая своей детской тросточкой, как рычагом, шевелить дальние миры и заставляя всю вселенную отвечать отрицательно на религиозные надежды и стремления «отживших» людей.

Между тем, отрицая в человеке человека — с душой, с правами на бессмертие, он проповедовал какую-то правду, какую-то честность, какие-то стремления к лучшему порядку, к благородным целям, не замечая, что все это делалось ненужным при том, указываемом им, случайном порядке бытия, где люди, по его словам, толпятся, как мошки в жаркую погоду в огромном столбе, сталкиваются, мятутся, плодятся, питаются, греются и исчезают в бестолковом процессе жизни, чтоб завтра дать место другому такому же столбу.

«Да, если это так,— думала Вера,— тогда не стоит работать над собой, чтобы к концу жизни стать лучше, чище, правдивее, добрее. Зачем? Для обихода на несколько десятков лет? Для этого надо запастись, как муравью зернами на зиму, обиходным уменьем жить, такою честностью, которой — синоним ловкость, такими зернами, чтоб хватило на жизнь, иногда очень короткую, чтоб было тепло, удобно... Какие же идеалы для муравьев? Нужны муравьиные добродетели... Но так ли это? Где доказательства?»

А он требовал не только честности, правды, добра, но и веры в свое учение, как требует ее другое учение, которое за нее обещает — бессмертие в будущем и, в залог этого обещания, дает и в настоящем просимое всякому, кто просит, кто стучится, кто ищет.

Новое учение не давало ничего, кроме того, что было до него: ту же жизнь, только с уничижениями, разочарованиями, и впереди обещало — смерть и тлен. Взявши девизы своих добродетелей из книги старого учения, оно обольстилось буквою их, не вникнув в дух и глубину, и требовало исполнения этой «буквы» с такою злобой и нетерпимостью, против которой остерегало старое учение. Оставив себе одну животную жизнь, «новая сила» не создала, вместо отринутого старого, никакого другого, лучшего идеала жизни.

Вглядевшись и вслушавшись во все, что проповедь юного апостола выдавала за новые правды, новое благо, новые откровения, она с удивлением увидела, что все то, что было в его проповеди доброго и верного,— не ново, что оно взято из того же источника, откуда черпали и не новые люди, что семена всех этих новых идей, новой «цивилизации», которую он проповедовал так хвастливо и таинственно, заключены в старом учении.

От этого она только сильнее уверовала в последнее и убедилась, что — как далеко человек ни иди вперед, он не уйдет от него, если только не бросится с прямой дороги в сторону или не пойдет назад, что самые противники его черпают из него же, что, наконец, учение это — есть единственный, непогрешительный, совершеннейший идеал жизни, вне которого остаются только ошибки.

Вере подозрительна стала личность самого проповедника — и она пятилась от него; даже послушавши, в начале знакомства, раза два его дерзких речей, указала на него Татьяне Марковне, и людям поручено было присматривать за садом. Волохов зашел со стороны обрыва, от которого удалял людей суеверный страх могилы самоубийцы. Он замечал недоверие Веры к себе и поставил себе задачей преодолеть его — и успел.

Вера наконец, почти незаметно для нее самой, поверила искренности его односторонних и поверхностных увлечений и от недоверия перешла к изумлению, участию. У ней даже бывали минуты, впрочем редкие, когда она колебалась в непо-

грешимости своих, собранных молча, про себя наблюдений над жизнью, над людьми, правил, которыми руководствовалось большинство.

Задумывалась она над всем, чем сама жила,— и почувствовала новые тревоги, новые вопросы, и стала еще жаднее и пристальнее вслушиваться в Марка, встречаясь с ним в поле, за Волгой, куда он проникал вслед за нею, наконец в беседке, на дне обрыва.

Где замечала явную ложь, софизмы, она боролась, проясняла себе туман, вооруженная своими наблюдениями, логикой и волей. Марк топал в ярости ногами, строил батареи из своих доктрин и авторитетов — и встречал недоступную стену. Он свирепел, скалил зубы, как «волк», но проводником ее отповедей служили бархатные глаза, каких он не видал никогда, и лба его касалась твердая, но нежная рука, и он, рыча про себя, ложился смиренно у ног ее, чуя победу и добычу впереди, хотя и далеко.

Где Вера не была приготовлена, там она слушала молча и следила зорко — верует ли сам апостол в свою доктрину, есть ли у него самого незыблемая точка опоры, опыт, или он только увлечен остроумной или блестящей гипотезой. Он манил вперед образом какого-то громадного будущего, громадной свободы, снятием всех покрывал с Изиды — и это будущее видел чуть не завтра, звал ее вкусить хоть часть этой жизни, сбросить с себя старое и поверить если не ему, то опыту. «И будем как боги!» — прибавлял он насмешливо.

Вера не шла, боролась — и незаметно мало-помалу перешла сама в активную роль: воротить и его на дорогу уже испытанного добра и правды, увлечь, сначала в правду любви, человеческого, а не животного счастья, а там и дальше, в глубину ее веры, ее надежд!..

Марк понемногу, кое в чем, уступал, покорялся некоторым ее требованиям: перестал делать эксцентрические выходки, не дразнил местные власти, стал опрятнее в образе жизни, не щеголял цинизмом.

Она была счастлива — и вот причина ее экстаза, замеченного Татьяной Марковной и Райским. Она чувствовала, что сила ее действует пока еще только на внешнюю его жизнь, и надеялась, что, путем неусыпного труда, жертв, она мало-помалу совершит чудо — и наградой ее будет счастье женщины — быть любимой человеком, которого угадало ее сердце.

Она введет нового и сильного человека в общество. Он умен, настойчив, и если будет прост и деятелен, как Тушин, тогда... и ее жизнь угадана. Она не даром жила. А там она не знала, что будет.

Между тем она, по страстной, нервной натуре своей, увлеклась его личностью, влюбилась в него самого, в его смелость, в самое это стремление к новому, лучшему — но не влюбилась

в его учение, в его новые правды и новую жизнь, и осталась верна старым, прочным понятиям о жизни, о счастье. Он звал к новому делу, к новому труду, но нового дела и труда, кроме раздачи запрещенных книг, она не видела.

Соглашаясь в необходимости труда, она винила себя первая за бездействие и чертила себе, в недальнем будущем, образ простого, но действительного дела, завидуя пока Марфеньке в том, что та приспособила свой досуг и свои руки к домашнему хозяйству и отчасти к деревне.

Она готовилась пока разделить с сестрой ее труды — лишь только, так или иначе, выйдет из этой тяжкой борьбы с Марком, которая кончилась наконец недавно, не победой того или другого, а взаимным поражением и разлукой навсегда.

Все это пробежало в уме Веры, пока Татьяна Марковна и Райский провожали гостей за Волгу.

«Что теперь он делает, этот волк? — думала она иногда,— торжествует ли свою победу...»

Она не додумывалась и вздрагивала.

Она открыла ящик, достала оттуда запечатанное письмо на синей бумаге, которое прислал ей Марк рано утром через рыбака. Она посмотрела на него с минуту, подумала — и решительно бросила опять нераспечатанным в стол.

Все другие муки глубоко хоронились у ней в душе. На очереди стояла страшная битва насмерть с новой бедой: что бабушка? Райский успел шепнуть ей, что будет говорить с Татьяной Марковной вечером, когда никого не будет, чтоб и из людей никто не заметил впечатления, какое может произвести на нее эта откровенность.

У Веры зловещей бедой заныла грудь, когда Райский говорил ей о своей предосторожности. Она измеряла этим степень беды и мысленно желала не дожить до вечера.

Она немного отдохнула, открыв все Райскому и Тушину. Ей стало будто покойнее. Она сбросила часть тяжести, как моряки в бурю бросают часть груза, чтоб облегчить корабль. Но самый тяжелый груз был на дне души, и ладья ее сидела в воде глубоко, черпала бортами и могла, при новом, ожидаемом шквале, черпнуть и не встать больше.

Она мысленно бросалась на грудь то Райскому, то Тушину, отдыхала на час, и потом опять клонила голову.

— Нельзя жить, нельзя! — шептала она и шла в свою часовню, в ужасе смотрела на образ, стоя на коленях.

Только вздохи боли показывали, что это стоит не статуя, а живая женщина. Образ глядел на нее задумчиво, полуоткрытыми глазами, но как будто не видел ее, персты были сложены в благословение, но не благословляли ее.

Она жадно смотрела в эти глаза, ждала какого-то знамения — знамения не было. Она уходила, как убитая, в отчаянии.

VII

Бабушка, воротясь, занялась было счетами, но вскоре отпустила всех торговок, швей и спросила о Райском. Ей сказали, что он ушел на целый день к Козлову, куда он в самом деле отправился, чтоб не оставаться наедине с Татьяной Марковной до вечера.

Она послала узнать, что Вера, прошла ли голова, придет ли она к обеду? Вера велела отвечать, что голове легче, просила прислать обед в свою комнату и сказала, что ляжет пораньше спать.

Тут случилось в дворне не новое событие. Савелий чуть не перешиб спину Марине поленом, потому что хватился ее на заре, в день отъезда гостей, пошел отыскивать и видел, как она шмыгнула из комнаты, где поместили лакея Викентьевой. Она пряталась целое утро по чердакам, в огороде, наконец пришла, думая, что он забыл.

Он исхлестал ее вожжой. Она металась из угла в угол, отпираясь, божась, что ему померещилось, что это был «дьявол в ее образе» и т. п. Но когда он бросил вожжу и взял полено, она застонала и после первого удара повалилась ему в ноги, крича «виновата», и просила помилования.

Она клялась всем, и между прочим «своей утробой», что никогда больше не провинится, а если провинится, то пусть тогда бог убьет ее и покарает навсегда. Савелий остановился, положил полено и отер рукавом лоб.

— Ладно,— сказал он,— пущай будет по-твоему, коли ты повинилась и бога призываешь! не стану, отступлюсь от тебя!

Он махнул на нее рукой.

Все это донесли Татьяне Марковне, но она только поморщилась с отвращением и махнула Василисе рукой, чтоб не докучала ей.

Приезжали некоторые барыни с визитом, приехал заволжский помещик и еще двое гостей из города и остались обедать.

Все слышали, что Вера Васильевна больна, и пришли наведаться. Татьяна Марковна объявила, что Вера накануне прозябла и на два дня осталась в комнате, а сама внутренно страдала от этой лжи, не зная, какая правда кроется под этой подложной болезнью, и даже не смела пригласить доктора, который тотчас узнал бы, что болезни нет, а есть моральное расстройство, которому должна быть причина.

Она не ужинала, и Тит Никоныч из вежливости сказал, что «не имеет аппетита». Наконец явился Райский, несколько бледный, и тоже отказался от ужина. Он молча сидел за столом, с каким-то сдержанным выражением в лице, и будто не замечал изредка обращаемых на него Татьяной Марковной вопросительных взглядов.

Наконец Тит Никоныч расшаркался, поцеловал у ней руку и уехал. Бабушка велела готовить постель и не глядела на Райского. Она сухо пожелала ему «покойной ночи», чувствуя себя глубоко оскорбленной и в сердце, и в самолюбии.

Около нее происходит что-то таинственное и серьезное, между близкими ей людьми, а ее оставляют в стороне, как чужую или как старую, отжившую, ни на что не способную женщину.

Она не подозревала уважения, боязни и пощады, мешавших им открыться.

Райский вполголоса сказал ей, что ему нужно поговорить с ней, чтоб она как-нибудь незаметно отослала людей. Она остановила на нем неподвижный от ужаса взгляд. У ней побелел даже нос.

— Беда? — спросила она отрывисто.

Он мялся.

— Нет... — отвечал он нерешительно,— с моей точки зрения — нет беды...

— А если с моей — есть, то значит и беда! — заметила она тихо.— Да вон ты бледен, стало быть знаешь и сам, что беда.

Она мало-помалу удалила людей, сказавши, что еще не ляжет спать, а посидит с Борисом Павловичем, и повела его в кабинет.

Она села в свое старое вольтеровское кресло, поставив лампу подальше на бюро и закрыв ее колпаком.

Они сидели в полумраке. Она, поникнув головой, не глядела на него и ожидала. Райский начал свой рассказ, стараясь подойти «к беде» как можно мягче и осторожнее.

У него дрожали губы и язык нередко отказывался говорить. Он останавливался, давая себе отдых, потом собирался с силами и продолжал.

Бабушка не пошевелилась, не сказала ни слова. Под конец он шептал едва слышно.

Он вышел от нее, когда стал брезжиться день. Когда он кончил, она встала, выпрямилась медленно, с напряжением, потом так же медленно опустила опять плечи и голову, стоя, опершись рукой о стол. Из груди ее вырвался не то вздох, не то стон.

— Бабушка! — говорил Райский, пугаясь выражения ее лица и становясь на колени перед ней,— спасите Веру...

— Поздно послала она к бабушке,— шептала она,— бог спасет ее! Береги ее, утешай, как знаешь! Бабушки нет больше!

Она ступила шаг, он загородил ей дорогу.

— Бабушка, что вы, что с вами? — говорил он в страхе.

— Бабушки нет у вас больше...— твердила она рассеянно, стоя там, где встала с кресла, и глядя вниз.— Поди, поди! — почти гневно крикнула она, видя, что он медлит,— не ходи ко мне... не пускай никого, распоряжайся всем... А меня оставьте все... все!

Она стояла все на своем месте, как прикованная, с безжизненным, точно спящим взглядом. Он хотел ей что-то сказать. Она нетерпеливо махнула ему рукой.

— Уйди к ней, береги ее! бабушка не может, бабушки нет! — шептала она.

И сделала повелительный жест рукой, чтоб он шел. Он вышел в страхе, бледный, сдал все на руки Якову, Василисе и Савелью и сам из-за угла старался видеть, что делается с бабушкой. Он не спускал глаз с ее окон и дверей.

А она машинально опустилась опять в кресло и как будто заснула в бессознательной, мертвой дремоте и оставалась неподвижно до утра, когда совсем рассвело.

Утром рано Райский, не ложившийся спать, да Яков с Василисой видели, как Татьяна Марковна, в чем была накануне и с открытой головой, с наброшенной на плечи турецкой шалью, пошла из дому, ногой отворяя двери, прошла все комнаты, коридор, спустилась в сад и шла, как будто бронзовый монумент встал с пьедестала и двинулся, ни на кого и ни на что не глядя.

Она шла через цветник, по аллеям, к обрыву, стала спускаться с обрыва ровным, медленным и широким шагом, неся голову прямо, не поворачиваясь, глядя куда-то вдаль. Она скрылась в лес.

Райский бросился украдкой за ней, прячась за деревья.

Она шагала все ниже, ниже, прошла к беседке, поникла головой и стала как вкопанная. Райский подкрадывался сзади ее, удерживая дыхание.

— Мой грех! — сказала она, будто простонала, положив руки на голову, и вдруг ускоренными шагами пошла дальше, вышла к Волге и стала неподвижно у воды.

Ветер хлестал и обвивал платье около ее ног, шевелил ее волосы, рвал с нее шаль — она не замечала.

У Райского замер дух от мелькнувшей догадки: хочет утопиться!

Но она медленно поворотилась, шагая крупно и оставляя глубокий след на влажном песке.

Райский вздохнул свободнее, но, взглянув из-за кустов на ее лицо, когда она тихо шла тою же широкой походкой назад, — он еще больше замер от ужаса.

Он не узнал бабушку. На лице у ней легла точно туча, и туча эта была — горе, та «беда», которую он в эту ночь возложил ей на плечи. Он видел, что нет руки, которая бы сняла это горе.

Она правду сказала: бабушки нет больше. Это не бабушка, не Татьяна Марковна, любящая и нежная мать семейства, не помещица Малиновки, где все жило и благоденствовало ею и где жила и благоденствовала сама она, мудро и счастливо управляя маленьким царством. Это была другая женщина.

Она будто не сама ходит, а носит ее посторонняя сила. Как широко шагает она, как прямо и высоко несет голову и плечи и на них — эту свою «беду»! Она, не чуя ног, идет по лесу в крутую гору; шаль повисла с плеч и метет концом сор и пыль. Она смотрит куда-то вдаль немигающими глазами, из которых широко глядит один окаменелый, покорный ужас.

Сознание всего другого, кроме «беды», умерло в лице; она точно лунатик или покойница.

Он едва поспевал следить за ней среди кустов, чтоб не случилось с ней чего-нибудь. Она все шла, осиливая крутую гору, и только однажды оперлась обеими руками о дерево, положила на руки голову.

— Мой грех! — повторила она прямо грудью, будто дохнула,— тяжело, облегчи, не снесу! — шепнула потом, и опять выпрямилась и пошла в гору, поднимаясь на обрыв, одолевая крутизну нечеловеческой силой, оставляя клочки платья и шали на кустах.

Райский, поражаясь изумлением и ужасом, глядел на эту новую, необычайную женщину. «Только великие души перемогают с такой силой тяжелые скорби,— думал он.— Им, как орлицам, даны крылья летать под облаками и глаза — смотреть в пропасти. И только верующая душа несет горе так, как несла его эта женщина — и одни женщины так выносят его!» «В женской половине человеческого рода,— думалось ему,— заключены великие силы, ворочающие миром. Только не поняты, не признаны, не возделаны они ни ими самими, ни мужчинами и подавлены, грубо затоптаны или присвоены мужской половиной, не умеющей ни владеть этими великими силами, ни разумно повиноваться им, от гордости. А женщины, не узнавая своих природных и законных сил, вторгаются в область мужской силы — и от этого взаимного захвата — вся неурядица».

«Это не бабушка!» — с замиранием сердца, глядя на нее, думал он. Она казалась ему одною из тех женских личностей, которые внезапно из круга семьи выходили героинями в великие минуты, когда падали вокруг тяжкие удары судьбы и когда нужны были людям не грубые силы мышц, не гордость крепких умов, а силы души — нести великую скорбь, страдать, терпеть и не падать!

У него в голове мелькнул ряд женских исторических теней в параллель бабушке. Виделась ему в ней — древняя еврейка, иерусалимская госпожа, родоначальница племени — с улыбкой горделивого презрения услышавшая в народе глухое пророчество и угрозу: «снимется вѐнец с народа, не узнавшего посещения», «придут римляне и во̀зьмут!» Не верила она, считая незыблемым венец, возложенный рукою Иеговы на голову Израиля. Но когда настал час — «пришли римляне и взяли», она постигла, откуда пал неотразимый удар, встала, сняв свой венец, и молча, без ропота, без малодушных слез, которыми омы-

вали иерусалимские стены мужья, разбивая о камни головы, только с окаменелым ужасом покорности в глазах пошла среди павшего царства, в великом безобразии одежд, туда, куда вела ее рука Иеговы, и так же — как эта бабушка теперь — несла святыню страдания на лице, будто гордясь и силою удара, постигшего ее, и своею силою нести его.

Пришла в голову Райскому другая царица скорби, великая русская Марфа[1], скованная, истерзанная московскими орлами, но сохранившая в тюрьме свое величие и могущество скорби по погибшей славе Новгорода, покорная телом, но не духом, и умирающая все посадницей, все противницей Москвы и как будто распорядительницей судеб вольного города.

Толпились перед ним, точно живые, тени других великих страдалиц: русских цариц, менявших по воле мужей свой сан на сан инокинь и хранивших и в келье дух и силу; других цариц, в роковые минуты стоявших во главе царства и спасавших его...

С такою же силой скорби шли в заточение с нашими титанами, колебавшими небо, их жены, боярыни и княгини, сложившие свой сан, титул, но унесшие с собой силу женской души и великой красоты, которой до сих пор не знали за собой они сами, не знали за ними и другие и которую они, как золото в огне, закаляли в огне и дыме грубой работы, служа своим мужьям — князьям и неся и их, и свою «беду».

И мужья, преклоняя колена перед этой новой для них красотой, мужественнее несли кару. Обожженные, изможденные трудом и горем, они хранили величие духа и сияли, среди испытания, нетленной красотой, как великие статуи, пролежавшие тысячелетия в земле, выходили с язвами времени на теле, но сияющие вечной красотой великого мастера.

Такую великую силу — стоять под ударом грома, когда все падает вокруг,— бессознательно, вдруг, как клад найдет, почует в себе русская женщина из народа, когда пламень пожара пожрет ее хижину, добро и детей.

С таким же немым, окаменелым ужасом, как бабушка, как новгородская Марфа, как те царицы и княгини — уходит она прочь, глядя неподвижно на небо, и, не оглянувшись на столп огня и дыма, идет сильными шагами, неся выхваченного из пламени ребенка, ведя дряхлую мать и взглядом и ногой толкая вперед малодушного мужа, когда он, упав, грызя землю, смотрит назад и проклинает пламя...

Она идет, твердо шагая загорелыми ногами, дальше, дальше, не зная, где остановится или упадет, потеряв силу. Она верит, что рядом идет с ней другая сила и несет ее «беду», которую не снесла бы одна!

---

[1] Речь идет о Марфе Посаднице (XV в.), защитнице новгородской вольницы. После захвата Новгорода войсками московского князя Ивана III Марфа была заточена в монастырь.

В открыто смотрящем и ничего не видящем взгляде лежит сила страдать и терпеть. На лице горит во всем блеске красота и величие мученицы. Гром бьет ее, огонь палит, но не убивает женскую силу.

Райский с ужасом отмахивался от этих, не званных в горькие минуты, явлений своей беспощадной фантазии и устремил зоркое внимание за близкой ему страдалицей, наблюдая ее глазами и стараясь прочесть в ее душе: что за образ муки поселился в ней?

Падало царство Татьяны Марковны, пустел дом, похищено ее заветное, дорогое сокровище, ее гордость, ее жемчужина! Она одна бродила будто по развалинам. Опустела и душа у ней! Дух мира, гордости, благоденствия покинул счастливый уголок.

Она видела теперь в нем мерзость запустения — и целый мир опостылел ей. Когда она останавливалась, как будто набраться силы, глотнуть воздуха и освежить запекшиеся от сильного и горячего дыхания губы, колени у ней дрожали; еще минута — и она готова рухнуть на землю, но чей-то голос, дающий силу, шептал ей: «Иди, не падай — дойдешь!»

И старческое бессилие пропадало, она шла опять. Проходила до вечера, просидела ночь у себя в кресле, томясь страшной дремотой с бредом и стоном, потом просыпалась, жалея, что проснулась, встала с зарей и шла опять с обрыва, к беседке, долго сидела там на развалившемся пороге, положив голову на голые доски пола, потом уходила в поля, терялась среди кустов у Приволжья.

Случайно наткнулась она на часовню в поле, подняла голову, взглянула на образ — и новый ужас, больше прежнего, широко выглянул из ее глаз. Ее отшатнуло в сторону.

Она, как раненый зверь, упала на одно колено, тяжело приподнялась и ускоренными шагами, падая опять и вставая, пронеслась мимо, закрыв лицо шалью от образа спасителя, и простонала: «Мой грех!»

Люди были в ужасе. Василиса с Яковом почти не выходили из церкви, стоя на коленях. Первая обещалась сходить пешком к киевским чудотворцам, если барыня оправится, а Яков — поставить толстую с позолотой свечу к местной иконе.

Прочие люди все прятались по углам и глядели из щелей, как барыня, точно помешанная, бродила по полю и по лесу. Даже Марина и та ошалела и ходила, как одичалая.

Только Егорка пробовал хихикать и затрогивал горничных, но они гнали его прочь, а Василиса назвала его «супостатом».

Другой день бабушка не принимала никакой пищи. Райский пробовал выйти к ней навстречу, остановить ее и заговорить с ней, она махнула ему повелительно рукой, чтоб шел прочь.

Наконец он взял кружку молока и решительно подступил к ней, взяв ее за руку. Она поглядела на него, как будто не

узнала, поглядела на кружку, машинально взяла ее дрожащей рукой из рук его и с жадностью выпила молоко до последней капли, глотая медленными, большими глотками.

— Бабушка, пойдемте домой,— не мучайте себя и нас! — умолял он,— вы убьете себя.

Она махнула ему рукой.

— Бог посетил, не сама хожу. Его сила носит — надо выносить до конца. Упаду — подберите меня...— Мой грех! — шепнула потом и пошла дальше.

Сделав шагов десять, она обернулась к нему. Он подбежал к ней.

— Если не вынесу... умру...— заговорила она и сделала ему знак, чтоб он наклонил голову.

Он стал на колени перед ней.

Она прижала его голову к своей груди, крепко поцеловала ее и положила на нее руку.

— Прими мое благословение,— сказала она,— и передай им... Марфеньке и... ей,— бедной моей Вере... слышишь, и ей!..

— Бабушка! — говорил он, заливаясь слезами и целуя у ней руку.

Она вырвала руку и пошла дальше, блуждать в кустах, по берегу, по полю.

«У верующей души есть свое царство! — думал Райский, глядя ей вслед и утирая слезы,— только она умеет так страдать за все, что любит, и так любить и так искупать свои и чужие заблуждения!»

Вера была не в лучшем положении. Райский поспешил передать ей разговор с бабушкой,— и когда, на другой день, она, бледная, измученная, утром рано послала за ним и спросила: «Что бабушка?» — он, вместо ответа, указал ей на Татьяну Марковну, как она шла по саду и по аллеям в поле.

Вера бросилась к окнам и жадно вглядывалась в это странствие бабушки с ношей «беды». Она успела мельком уловить выражение на ее лице и упала в ужасе сама на пол, потом встала, бегая от окна к окну, складывая вместе руки и простирая их, как в мольбе, вслед бабушке.

Она сама ходила, как дикая, по большим, запущенным залам старого дома, отворяя и затворяя за собой двери, бросаясь на старинные канапе, наталкиваясь на мебель.

Она рвалась к бабушке и останавливалась в ужасе; показаться ей на глаза значило, может быть, убить ее.

Настала настоящая казнь Веры. Она теперь только почувствовала, как глубоко вонзился нож и в ее, и в чужую, но близкую ей жизнь, видя, как страдает за нее эта трагическая старуха, недавно еще счастливая, а теперь оборванная, желтая, изможденная, мучающаяся за чужое преступление чужою казнью.

— Она за что? Она — святая! А я!..— терзалась она.

Райский принес ей благословение Татьяны Марковны. Вера бросилась ему на шею и долго рыдала.

К вечеру второго дня нашли Веру сидящую на полу, в углу большой залы, полуодетую. Борис и жена священника, приехавшая в тот день, почти силой увели ее оттуда и положили в постель.

Райский позвал доктора и кое-как старался объяснить ее расстройство. Тот прописал успокоительное питье, Вера выпила, но не успокоилась, забывалась часто сном, просыпалась и спрашивала: «Что бабушка?»

Потом опять впадала в забытье.

Она не слушала, что жужжала ей на ухо любимая подруга, способная знать все секреты Веры, беречь их, покоряться ей, как сильнейшей себе властной натуре, разделять безусловно ее образ мыслей, поддакивать желаниям, но оказавшаяся бессильною, когда загремел сильный гром над головой Веры, помочь снести его и успокоить ее.

— Дай мне пить! — шептала Вера, не слушая ее лепета,— не говори, посиди так, не пускай никого... Узнай, что бабушка?

Так было и ночью. Просыпаясь в забытьи, Вера постоянно шептала: «Бабушка нейдет! бабушка не любит! бабушка не простит!»

На третий день Татьяна Марковна ушла, не видали как, из дома. Райский не выдержал двух бессонных ночей и лег отдохнуть, поручив разбудить себя, когда она выйдет из дому.

Но Яков и Василиса ушли к ранней обедне, а Пашутка, завидя идущую барыню, с испуга залезла в веники и метлы, хранившиеся в чулане, да там и заснула. Прочие люди разбежались в разные стороны.

Однако Савелий видел, что барыня сошла с обрыва, что она шла нетвердо, хваталась за деревья и потом прошла в поле.

Райский бросился вслед за ней и из-за угла видел, как она медленно возвращалась по полю к дому. Она останавливалась и озиралась назад, как будто прощалась с крестьянскими избами. Райский подошел к ней, но заговорить не смел. Его поразило новое выражение ее лица. Место покорного ужаса заступило, по-видимому, безотрадное сознание. Она не замечала его и как будто смотрела в глаза своей «беде».

Ей наяву снилось, как царство ее рушилось и как на месте его легла мерзость запустения в близком будущем. После, от нее самой, он узнал страшный сон, ей снившийся.

Озираясь на деревню, она видела — не цветущий, благоустроенный порядок домов, а лишенный надзора и попечения ряд полусгнивших изб — притон пьяниц, нищих, бродяг и воров. Поля лежат пустые, поросшие полынью, лопухом и крапивой.

Она с ужасом отворотилась от деревни и вошла в сад, остановилась, озираясь вокруг, не узнавая домов, двора.

Сад, цветник, огороды — смешались в одну сплошную кучу, спутались и поросли былием. Туда не заходит человек, только коршун, утащив живую добычу, терзает ее там на просторе.

Новый дом покривился и врос в землю; людские развалились; на развалинах ползает и жалобно мяучит одичалая кошка, да беглый колодник прячется под осевшей кровлей.

Старуха вздрогнула и оглянулась на старый дом. Он перестоял все — когда все живое с ужасом ушло от этих мест — он стоит мрачный, облупившийся, с своими темно-бурыми кирпичными боками.

Стекол нет в окнах, сгнили рамы, и в обвалившихся покоях ходит ветер, срывая последние следы жизни.

В камине свил гнездо филин, не слышно живых шагов, только тень ее... кого уж нет, кто умрет тогда, ее Веры — скользит по тусклым, треснувшим паркетам, мешая свой стон с воем ветра, и вслед за ним мчится по саду с обрыва в беседку...

Райский видел, что по лицу бабушки потекла медленно слеза и остановилась, как будто застыла. Старуха зашаталась и ощупью искала опоры, готовая упасть...

Он бросился к ней и с помощью Василисы довел до дома, усадил в кресла и бросился за доктором. Она смотрела, не узнавая их. Василиса горько зарыдала и повалилась ей в ноги.

— Матушка Татьяна Марковна! — вопила она,— придите в себя, сотворите крестное знамение!

Старуха перекрестилась, вздохнула и знаком показала, что не может говорить, чтобы дали ей пить.

Она легла в постель, почти машинально, как будто не понимая, что делает. Василиса раздела ее, обложила теплыми салфетками, вытерла ей руки и ноги спиртом и, наконец, заставила проглотить рюмку теплого вина. Доктор велел ее не беспокоить, оставить спать и потом дать лекарство, которое прописал.

До Веры дошло неосторожное слово — бабушка слегла! Она сбросила с себя одеяло, оттолкнула Наталью Ивановну и хотела идти к ней. Но Райский остановил ее, сказавши, что Татьяна Марковна погрузилась в крепкий сон.

К вечеру Вера также разнемоглась. У ней появился жар и бред. Она металась всю ночь, звала бабушку во сне, плакала.

Райский совсем потерял голову и наконец решился пригласить старого доктора, Петра Петровича, и намекнуть ему о расстройстве Веры, не говоря, конечно, о причине. Он с нетерпением ждал только утра и беспрестанно ходил от Веры к Татьяне Марковне, от Татьяны Марковны к Вере.

Бабушка лежала с закрытой головой. Он боялся взглянуть, спит ли она, или все еще одолевает своей силой силу горя. Он

на цыпочках входил к Вере и спрашивал Наталью Ивановну: «Что она?»

— Беспрестанно просыпается и плачет, бредит! — говорила Наталья Ивановна, сидя у изголовья.

— Боже мой! — говорил Райский, возвращаясь к себе и бросаясь, усталый и телом и душой, в постель.— Думал ли я, что в этом углу вдруг попаду на такие драмы, на такие личности? Как громадна и страшна простая жизнь в наготе ее правды и как люди остаются целы после такой трескотни! А мы там, в куче, стряпаем свою жизнь и страсти, как повара — тонкие блюда!..

VIII

Вере к утру не было лучше. Жар продолжался, хотя она и спала. Но сон ее беспрестанно прерывался, и она лежала в забытьи.

Райский пошел к Татьяне Марковне и вместе с Василисой вошел в ее спальню.

Она лежала все в том же положении, как целый день вчера.

— Посмотри, Василиса, что она? Я боюсь подойти, чтоб не испугать,— шептал Райский.

— Не разбудить ли барыню?

— Да, надо бы, Вера больна... Я не знаю, послать ли за Петром Петровичем?..

Он не договорил, как Татьяна Марковна вдруг приподнялась и села на постели.

— Вера больна? — повторила она.

Райский вздохнул свободнее.

На лицо бабушки, вчера еще мертвое, каменное, вдруг хлынула жизнь, забота, страх. Она сделала ему знак рукой, чтоб вышел, и в полчаса кончила свой туалет.

Широкими, но поспешными шагами, с тревогой на лице, перешла она через двор и поднялась к Вере. Усталости — как не бывало. Жизнь воротилась к ней, и Райский радовался, как доброму другу, страху на ее лице.

Она осторожно вошла в комнату Веры, устремила глубокий взгляд на ее спящее, бледное лицо и шепнула Райскому послать за старым доктором. Она тут только заметила жену священника, увидела ее измученное лицо, обняла ее и сказала, чтобы она пошла и отдыхала у ней целый день.

— Теперь никто не нужен: я тут! — сказала она и устроила себе помещение подле постели Веры.

Приехал доктор. Татьяна Марковна, утаив причину, искусно объяснила ему расстройство Веры. Он нашел признаки горячки, дал лекарство и сказал, что если она успокоится, то и последствий опасных ожидать нельзя.

Вера в полусне приняла лекарство и вечером заснула крепко.

Татьяна Марковна села сзади изголовья и положила голову на те же подушки с другой стороны. Она не спала, чутко сторожа каждое движение, вслушиваясь в дыхание Веры.

Вера просыпалась, спрашивала: «Ты спишь, Наташа?» — и не получив ответа, закрывала глаза, по временам открывая их с мучительным вздохом опять, лишь только память и сознание напомнят ей ее положение.

Она спешила погрузиться в свою дремоту; ночь казалась ей черной, страшной тюрьмой.

Она ночью пошевелилась, попросила пить. Рука из-за подушки подала ей питье.

— Что бабушка? — спросила она, открыв глаза, и опять закрыла их.— Наташа, где ты? поди сюда, что ты все прячешься?

Ответа не было.

Она глубоко вздохнула и опять стала дремать.

— Бабушка нейдет! Бабушка не любит! — шептала она с тоской, отрезвившись на минуту от сна.— Бабушка не простит!

— Бабушка пришла! Бабушка любит! Бабушка простила! — произнес голос над ее головой.

Вера вскочила с постели и бросилась к Татьяне Марковне.

— Бабушка! — закричала она и спрятала голову у ней на груди, почти в обмороке.

Татьяна Марковна положила ее на постель и прилегла своей седой головой рядом с этими темными, густыми волосами, разбросанными по бледному, прекрасному, измученному лицу.

Вера, очнувшись на груди этой своей матери, в потоках слез, без слов, в судорогах рыданий, изливала свою исповедь, раскаяние, горе, всю вдруг прорвавшуюся силу страданий.

Бабушка молча слушала рыдания и платком отирала ее слезы, не мешая плакать и только прижимая ее голову к своей груди и осыпая поцелуями.

— Не ласкайте, бабушка... бросьте меня... не сто́ю я... отдайте вашу любовь и ласки сестре...

Бабушка в ответ крепче прижала ее к груди.

— Сестре не нужны больше мои ласки, а мне нужна твоя любовь — не покидай меня, Вера, не чуждайся меня больше, я сирота! — сказала она и сама заплакала.

Вера сжала ее всей своей силой.

— Мать моя, простите меня...— шептала она.

Бабушка поцелуем зажала ей рот.

— Молчи, ни слова — никогда!

— Я не слушала вас... Бог покарал меня за вас...

— Что ты говоришь, Вера? — вдруг, в ужасе бледнея, остановила ее Татьяна Марковна и опять стала похожа на дикую старуху, которая бродила по лесу и по оврагам.

— Да, я думала, что одной своей воли и ума довольно на всю жизнь, что я умнее всех вас...

Татьяна Марковна вздохнула свободно. Ее, по-видимому, встревожила какая-то другая мысль или предположение.

— Ты и умнее меня, и больше училась,— сказала она,— тебе бог дал много остроты — но ты не опытнее бабушки...

«Теперь... и опытнее!» — подумала Вера и припала лицом к ее плечу.— Возьмите меня отсюда, Веры нет. Я буду вашей Марфенькой...— шептала она.— Я хочу вон из этого старого дома, туда, к вам.

Бабушка молча ласкала ее.

Обе головы покоились рядом, и ни Вера, ни бабушка не сказали больше ни слова. Они тесно прижались друг к другу и к утру заснули в объятиях одна другой.

IX

Вера встала утром без жара и озноба, только была бледна и утомлена. Она выплакала болезнь на груди бабушки. Доктор сказал, что ничего больше и не будет, но не велел выходить несколько дней из комнаты.

Все пришло в прежний порядок. Именины Веры, по ее желанию, прошли незаметно. Ни Марфенька, ни Викентьевы не приехали с той стороны. К ним послан был нарочный сказать, что Вера Васильевна не так здорова и не выходит из комнаты.

Тушин прислал почтительную записку с поздравлением и просил позволения побывать.

Ему отвечали: «Погодите, я еще нездорова».

Приезжавшим из города всем отказывали, под предлогом болезни именинницы. Только горничные, несмотря ни на что, разрядились в свои разноцветные платья и ленты и намазались гвоздичной помадой, да кучера и лакеи опять напились пьяны.

Вера и бабушка стали в какое-то новое положение одна к другой. Бабушка не казнила Веру никаким притворным снисхождением, хотя очевидно не принимала так легко решительный опыт в жизни женщины, как Райский, и еще менее обнаруживала то безусловное презрение, каким клеймит эту «ошибку», «несчастье» или, пожалуй, «падение» старый, въевшийся в людские понятия ригоризм, не разбирающий даже строго причин «падения».

Обе смотрели друг на друга серьезно, говорили мало, больше о мелочах, ежедневных предметах, но в обменивающихся взглядах высказывался целый немой разговор.

Обе как будто наблюдали одна за другою, а заговаривать боялись. Татьяна Марковна не произносила ни одного слова, ни в защиту, ни в оправдание «падения», не напоминала ни о чем и, видимо, старалась, чтоб и Вера забыла.

Она только удвоила ласки, но не умышленно, не притворно — с целью только скрыть свой суд или свои чувства. Она

в самом деле была нежнее, будто Вера стала милее и ближе ей после своей откровенности, даже и самого проступка.

Вера видела эту безыскусственность, но ей было не легче от этого. Она ждала и хотела строгого суда, казни. Например, если б бабушка на полгода или на год отослала ее с глаз долой, в свою дальнюю деревню, а сама справилась бы как-нибудь с своими обманутыми и поруганными чувствами доверия, любви и потом простила, призвала бы ее, но долго еще не принимала бы ее в свою любовь, не дарила бы лаской и нежностью, пока Вера несколькими годами, работой всех сил ума и сердца, не воротила бы себе права на любовь этой матери — тогда только успокоилась бы она, тогда настало бы искупление или по крайней мере забвение, если правда, что «время все стирает с жизни», как утверждает Райский.

«Всё ли?» — думала она печально. Времени не стало бы стереть все ее муки, которые теперь, одна за другою, являлись по очереди, наносить каждая свои удары, взглянув сначала все вместе ей в лицо.

Она уже пережила их несколько, теперь переживает одну из самых страшных, а внутри ее еще прячется самая злая, которой никто не знает и которую едва ли сотрет время.

Она старалась не думать о ней, и в эту минуту думала только — как помирить бабушку с горем, облегчить ей удары.

Она вникала в это молчание бабушки, в эту ее новую нежность к себе, и между тем подстерегала какие-то бросаемые исподтишка взгляды на нее,— и не знала, чем их объяснить?

Что бабушка страдает невыразимо — это ясно. Она от скорби изменилась, по временам горбится, пожелтела, у ней прибавились морщины. Но тут же рядом, глядя на Веру или слушая ее, она вдруг выпрямится, взгляд ее загорится такою нежностью, что как будто она теперь только нашла в Вере не прежнюю Веру, внучку, но собственную дочь, которая стала ей еще милее.

Отчего же милее? Может быть, бабушка теперь щадит ее, думалось Вере, оттого, что ее женское, глубокое сердце открылось состраданию. Ей жаль карать бедную, больную, покаявшуюся,— и она решилась покрыть ее грех христианским милосердием.

«Да, больше нечего предположить,— смиренно думала она.— Но, боже мой, какое страдание — нести это милосердие, эту милостыню! Упасть, без надежды встать — не только в глазах других, но даже в глазах этой бабушки, своей матери!»

Она будет лелеять, ласкать ее, пожалуй, больше прежнего, но ласкать, как ласкают бедного идиота помешанного, обиженного природой или судьбой, или еще хуже — как падшего, несчастного брата, которому люди бросают милостыню сострадания!

Гордость, человеческое достоинство, права на уважение, целость самолюбия — все разбито вдребезги! Оборвите эти цветы с венка, которым украшен человек, и он сделается почти вещью.

Толпа сострадательно глядит на падшего и казнит молчанием, как бабушка — ее! Нельзя жить тому, в чьей душе когда-нибудь жила законная человеческая гордость, сознание своих прав на уважение, кто носил прямо голову,— нельзя жить!

Она слыхала несколько примеров увлечений, припомнила, какой суд изрекали люди над падшими и как эти несчастные несли казнь почти публичных ударов.

«Чем я лучше их? — думала Вера. — А Марк уверял, и Райский тоже, что за этим... «Рубиконом» начинается другая, новая, лучшая жизнь! Да, новая, но какая «лучшая»!»

Бабушка сострадательна к ней: от одного этого можно умереть! А, бывало, она уважала ее, гордилась ею, признавала за ней права на свободу мыслей и действий, давала ей волю, верила ей! И все это пропало! Она обманула ее доверие и не устояла в своей гордости!

Она — нищая в родном кругу. Ближние видели ее падшую, пришли и, отворачиваясь, накрыли одеждой из жалости, гордо думая про себя: «Ты не встанешь никогда, бедная, и не станешь с нами рядом, прими Христа ради наше прощение!»

«Что ж, и приму, ради его — и смирюсь! Но я хочу не милости, а гнева, грома... Опять гордость! где же смирение? Смирение значит — выносить взгляд укоризны чистой женщины, бледнеть под этим взглядом целые годы, всю жизнь, и не сметь роптать. И не буду! Перенесу все: сострадательное великодушие Тушина и Райского, жалость, прикрывающую, может быть, невольное презрение бабушки... Бабушка презирает меня!» — вся трясясь от тоски, думала она и пряталась от ее взгляда, сидела молча, печальная, у себя в комнате, отворачивалась или потупляла глаза, когда Татьяна Марковна смотрела на нее с глубокой нежностью... или сожалением, как казалось ей.

Тут ей, как всегда бывает, представлялась чистота, прелесть, весь аромат ее жизни — до встречи с Марком, ее спокойствие до рокового вечера... Она вздрагивала.

Оказалось, что у ней пропало и пренебрежение к чужому мнению. Ей стало больно упасть в глазах даже и «глупцов», как выражался Марк. Она вздыхала по удивлению их к себе, ей стало жаль общего поклонения, теперь утраченного!

«Ах, хоть «Кунигунда» надоумила бы меня тогда!» —думала она с трагическим юмором.

Она хотела молиться, и не могла. О чем она станет молиться? Ей остается смиренно склонить голову перед громом и нести его. Она клонила голову и несла тяжесть «презрения», как она думала.

Снаружи она казалась всем покойною, но глаза у ней впали, краски не появлялись на бледном лице, пропала грация походки, свобода движений. Она худела и видимо томилась жизнью.

Ей ни до кого и ни до чего не было дела. Она отпустила Наталью Ивановну домой, сидела у себя запершись, обедала с бабушкой, поникала головой, когда та обращала на нее пристальный взгляд или заговаривала ласково и нежно. Она делалась еще угрюмее и спешила исполнять, покорнее Пашутки, каждое желание Татьяны Марковны, выраженное словом или взглядом.

Ее как будто стало не видно и не слышно в доме. Ходила она тихо, как тень, просила, что нужно, шепотом, не глядя в глаза никому прямо. Не смела ничего приказывать. Ей казалось, что Василиса и Яков смотрели на нее сострадательно Егорка дерзко, а горничные — насмешливо.

«Вот она, «новая жизнь»!» — думала она, потупляя глаза перед взглядом Василисы и Якова и сворачивая быстро в сторону от Егорки и от горничных. А никто в доме, кроме Райского, не знал ничего. Но ей казалось, как всем кажется в ее положении, что она читала свою тайну у всех на лице.

И Татьяна Марковна, наблюдая за Верой, задумывалась и как будто заражалась ее печалью. Она тоже ни с кем почти не говорила, мало спала, мало входила в дела, не принимала ни приказчика, ни купцов, приходивших справляться о хлебе, не отдавала приказаний в доме. Она сидела, опершись рукой о стол и положив голову в ладони, оставаясь подолгу одна.

И она, и Вера, обе привязались к Райскому. Простота его души, мягкость, искренность, глядевшая из каждого слова, и откровенность, простертая до болтливости, наконец игра фантазии — все это несколько утешало и развлекало и ту, и другую.

Он иногда даже заставлял их улыбаться. Но он напрасно старался изгнать совсем печаль, тучей севшую на них обеих и на весь дом. Он и сам печалился, видя, что ни уважение его, ни нежность бабушки — не могли возвратить бедной Вере прежней бодрости, гордости, уверенности в себе, сил ума и воли.

— Бабушка презирает меня, любит из жалости! Нельзя жить, я умру! — шептала она Райскому. Тот бросался к Татьяне Марковне, передавая ей новые муки Веры. К ужасу его, бабушка, как потерянная, слушала эти тихие стоны Веры, не находя в себе сил утешить ее, бледнела и шла молиться.

— Молись и ты! — шептала она ей иногда мимоходом.

— Молитесь вы за меня— я не могу! — отвечала Вера.

— Плачь! — говорила бабушка.

— Слез нет! — отвечала Вера, и они молча расходились по своим углам.

Райский также привязался к ним обеим, стал их другом. Вера и бабушка высоко поднялись в его глазах, как святые, и

он жадно ловил каждое слово, взгляд, не зная, перед кем умиляться, плакать.

В Вере оканчивалась его статуя гармонической красоты. А тут рядом возникла другая статуя — сильной, античной женщины — в бабушке. Та огнем страсти, испытания, очистилась до самопознания и самообладания, а эта...

Откуда у ней этот источник мудрости и силы? Она — девушка! Он никак не мог добраться; бабушка была загадкой для него. Он напрасно искал ключа.

Обе упрашивали Райского остаться тут навсегда, жениться, завестись домом.

— Боюсь, не выдержу,— говорил он в ответ,— воображение опять запросит идеалов, а нервы новых ощущений, и скука съест меня заживо! Какие цели у художника? Творчество— вот его жизнь!.. Прощайте! скоро уеду,— заканчивал он обыкновенно свою речь, и еще больше печалил обеих, и сам чувствовал горе, а за горем грядущую пустоту и скуку.

Бабушка погружалась в свою угрюмость, Вера тайно убивалась печалью, и дни проходили за днями. Тоска Веры была постоянная, неутолимая, и печаль Татьяны Марковны возрастала по мере того, как она следила за Верой.

Она, пока Вера хворала, проводила ночи в старом доме, ложась на диване, против постели Веры, и караулила ее сон. Но почти всегда случалось так, что обе женщины, думая подстеречь одна другую, видели, что ни та, ни другая не спит.

— Ты не спишь, Верочка? — спросит бабушка.

— Сплю,— отвечает Вера и закрывает глаза, чтоб обмануть бабушку.

— Вы не спите, бабушка? — спросит и Вера, также поймав ее смотрящий на нее взгляд.

— Сейчас только проснулась,— говорит Татьяна Марковна и поворачивается на другой бок.

«Нельзя жить! нет покоя и не будет никогда!» — терзалась про себя Вера.

«Нет — не избудешь горя. Бог велит казнить себя, чтоб успокоить ее...» — думала бабушка с глубоким вздохом.

— Когда же вы возьмете меня к себе отсюда, бабушка?

— После свадьбы, когда Марфенька уедет...

— Я теперь хочу, мне не живется здесь, не спится...

— Погоди, оправься немного, тогда...

Вера умолкала, не смея настаивать. «Не берет! — думала она,— презирает...»

X

На другой день после такой бессонной ночи Татьяна Марковна послала с утра за Титом Никонычем. Он приехал было веселый, радуясь, что угрожавшая ей и «отменной девице»

Вере Васильевне болезнь и расстройство миновались благополучно, привез громадный арбуз и ананас в подарок, расшаркался, разлюбезничался, блистая складками белоснежной сорочки, желтыми нанковыми панталонами, синим фраком с золотыми пуговицами и сладчайшей улыбкой.

— Обновил к осени фуфайку, поздравьте — сказал он,— подарок дражайшего Бориса Павловича...

Взглянув на Татьяну Марковну, он вдруг остолбенел и испугался.

Она, накинув на себя меховую кацавейку и накрыв голову косынкой, молча сделала ему знак идти за собой и повела его в сад. Там, сидя на скамье Веры, она два часа говорила с ним и потом воротилась, глядя себе под ноги, домой, а он, не зашедши к ней, точно убитый, отправился к себе, велел камердинеру уложиться, послал за почтовыми лошадьми и уехал в свою деревню, куда несколько лет не заглядывал.

Райский зашел к нему и с удивлением услышал эту новость. Обратился к бабушке, та сказала, что у него в деревне что-то неспокойно.

Вера была грустнее, нежели когда-нибудь. Она больше лежала небрежно на диване и смотрела в пол или ходила взад и вперед по комнатам старого дома, бледная, с желтыми пятнами около глаз.

На лбу у ней в эти минуты ложилась резкая линия — намек на будущую морщину. Она грустно улыбалась, глядя на себя в зеркало. Иногда подходила к столу, где лежало нераспечатанное письмо на синей бумаге, бралась за ключ и с ужасом отходила прочь.

«Куда уйти? где спрятаться от целого мира?» — думала она.

Нынешний день протянулся до вечера, как вчерашний, как, вероятно, протянется завтрашний. Настал вечер, ночь. Вера легла и загасила свечу, глядя открытыми глазами в темноту. Ей хотелось забыться, уснуть, но сон не приходил.

В темноте рисовались ей какие-то пятна, чернее самой темноты. Пробегали, волнуясь, какие-то тени по слабому свету окон. Но она не пугалась; нервы были убиты, и она не замерла бы от ужаса, если б из угла встало перед ней привидение, или вкрался бы вор или убийца в комнату, не смутилась бы, если б ей сказали, что она не встанет более.

И она продолжала глядеть в темноту, на проносившиеся волнистые тени, на черные пятна, сгущавшиеся в темноте, на какие-то вертящиеся, как в калейдоскопе, кружки...

Вдруг ей показалось, что дверь ее начинает понемногу отворяться, вот скрипнула...

Она оперлась на локоть и устремила глаза в дверь.

Показался свет и рука, загородившая огонь. Вера перестала смотреть, положила голову на подушку и притворилась спящею.

Она видела, что это была Татьяна Марковна, входившая осторожно с ручной лампой. Она спустила с плеч на стул салоп и шла тихо к постели, в белом капоте, без чепца как привидение.

Поставив лампу на столик, за изголовьем Веры, она сама села напротив, на кушетку, так тихо, что не стукнула лампа у ней, когда она ставила ее на столик, не заскрипела кушетка, когда она садилась.

Она пристально смотрела на Веру; та лежала с закрытыми глазами. Татьяна Марковна, опершись щекой на руку, не спускала с нее глаз и изредка, удерживая вздохи, тихо облегчала ими грудь.

Прошло больше часа. Вера вдруг открыла глаза. Татьяна Марковна смотрит на нее пристально.

— Тебе не спится, Верочка?

— Не спится.

— Отчего?

Молчание. Вера глядела в лицо Татьяны Марковны и заметила, что она бледна.

«Не может перенести удара,— думала Вера,— а притворства недостает, правда рвется наружу...»

— Зачем вы казните меня и по ночам, бабушка? — сказала она тихо.

Бабушка молча смотрела на нее.

Вера отвечала ей таким же продолжительным взглядом. Обе женщины говорили глазами и, казалось, понимали друг друга.

— Не смотрите так, ваша жалость убьет меня. Лучше сгоните меня со двора, а не изливайте по капле презрение... Бабушка! мне невыносимо тяжело! простите, а если нельзя, схороните меня куда-нибудь живую! Я бы утопилась...

— Зачем, Вера, не то говорит у тебя язык, что думает голова?

— А зачем вы молчите? что у вас на уме? Я не понимаю вашего молчания и мучаюсь. Вы хотите что-то сказать и не говорите...

— Тяжело, Вера, говорить. Молись — и пойми бабушку без разговора... если можно...

— Пробовала молиться, да не могу. О чем? чтоб умереть скорей?

— О чем ты тоскуешь, когда все забыто? — сказала Татьяна Марковна, пытаясь еще раз успокоить Веру, и пересела с кушетки к ней на постель.

— Нет, не забыто! Моя вина написана у вас в глазах... Они всё говорят...

— Что они говорят?

— Что нельзя жить больше, что... все погибло.

— Не умеешь ты читать бабушкиных взглядов!

— Я умру, я знаю! только бы скорей, ах, скорей! — говорила Вера, ворочая лицо к стене.

Татьяна Марковна тихо покачала головой.

— Нельзя жить! — с унылой уверенностью повторила Вера.

— Можно! — с глубоким вздохом сказала Татьяна Марковна.

— После... того?.. — обернувшись к ней, спросила Вера.

— После того...

Теперь Вера вздохнула безнадежно.

— Вы не знаете, бабушка... вы не такая!..

— Такая!..— чуть слышно, наклоняясь к ней, прошептала Татьяна Марковна.

Вера быстро взглянула на нее с жадностью раза два, три, потом печально опустилась на подушки.

— Вы святая! Вы никогда не были в моем положении...— говорила она, как будто про себя.— Вы праведница!

— Грешница! — чуть слышно прошептала Татьяна Марковна.

— Все грешны... но не такая грешная, как я...

— Такая же...

— Что?! — вдруг приподнявшись на локоть, с ужасом в глазах и в голосе, спросила Вера.

— Такая же грешница, как и ты...

Вера обеими руками вцепилась ей в кофту и прижалась лицом к ее лицу.

— Зачем клевещешь на себя? — почти шипела она, дрожа,— чтоб успокоить, спасти бедную Веру? Бабушка, бабушка, не лги!

— Я не лгу никогда,— шептала, едва осиливая себя, старуха,— ты это знаешь. Солгу ли я теперь? Я грешница... грешница...— говорила она, сползая на колени перед Верой и клоня седую голову ей на грудь.— Прости и ты меня!..

Вера замерла от ужаса.

— Бабушка...— шептала она и в изумлении широко открыла глаза, точно воскресая,— может ли это быть?

И вдруг с силой прижала голову старухи к груди.

— Что ты делаешь? зачем говоришь мне это?.. Молчи! Возьми назад свои слова! Я не слыхала, я их забуду, сочту своим бредом... не казни себя для меня!

— Нельзя, бог велит! — говорила старуха, стоя на коленях у постели и склонив голову.

— Встань, бабушка!.. Поди ко мне сюда!..

Бабушка плакала у ней на груди.

И Вера зарыдала, как ребенок.

— Зачем сказала ты...

— Надо! *Он* велит смириться,— говорила старуха, указывая на небо,— просить у внучки прощения. Прости меня, Вера, прежде ты. Тогда и я могу простить тебя... Напрасно я хотела обойти тайну, умереть с ней... Я погубила тебя своим грехом...

— Ты спасаешь меня, бабушка... от отчаяния...

— И себя тоже, Вера. Бог простит нас, но он требует очищения! Я думала, грех мой забыт, прощен. Я молчала и казалась праведной людям: неправда! Я была — как «окрашенный гроб» среди вас, а внутри таился неомытый грех! Вот он где вышел наружу — в твоем грехе! Бог покарал меня в нем... Прости же меня от сердца...

— Бабушка! разве можно прощать свою мать? Ты святая женщина! Нет другой такой матери... Если б я тебя знала... вышла ли бы я из твоей воли?..

— Это мой другой страшный грех! — перебила ее Татьяна Марковна,— я молчала и не отвела тебя... от обрыва! Мать твоя из гроба достает меня за это; я чувствую — она все снится мне... Она теперь тут, между нас... Прости меня и ты, покойница! — говорила старуха, дико озираясь вокруг и простирая руку к небу. У Веры пробежала дрожь по телу.— Прости и ты, Вера,— простите обе!.. Будем молиться!..

Вера силилась поднять ее.

Татьяна Марковна тяжело встала на ноги и села на кушетку. Вера подала ей одеколон и воды, смочила ей виски, дала успокоительных капель и сама села на ковре, осыпая поцелуями ее руки.

— Ты знаешь, нет ничего тайного, что не вышло бы наружу! — заговорила Татьяна Марковна, оправившись.— Сорок пять лет два человека только знали: *он* да Василиса, и я думала, что мы умрем все с тайной. А вот — она вышла наружу! Боже мой! — говорила как будто в помешательстве Татьяна Марковна, вставая, складывая руки и протягивая их к образу спасителя,— если б я знала, что этот гром ударит когда-нибудь в другую... в мое дитя,— я бы тогда же на площади, перед собором, в толпе народа, исповедала свой грех!

Вера слушала в изумлении, глядя большими глазами на бабушку, боялась верить, пытливо изучала каждый ее взгляд и движение, сомневаясь, не героический ли это поступок, не великодушный ли замысел — спасти ее, падшую, поднять? Но молитва, коленопреклонение, слезы старухи, обращение к умершей матери... Нет, никакая актриса не покусилась бы играть в такую игру, а бабушка — вся правда и честность!

Вере становилось тепло в груди, легче на сердце. Она внутренно вставала на ноги, будто пробуждалась от сна, чувствуя, что в нее льется волнами опять жизнь, что тихо, как друг, стучится мир в душу, что душу эту, как темный, запущенный храм, осветили огнями и наполнили опять молитвами и надеждами. Могила обращалась в цветник.

Кровь у ней начала свободно переливаться в жилах; даль мало-помалу принимала свой утерянный ход, как испорченные и исправленные рукою мастера часы. Люди к ней дружелюбны, природа опять заблестит для нее красотой.

Завтра она встанет бодрая, живая, покойная, увидит любимые лица, уверится, что Райский не притворялся, говоря, что она стала его лучшей, поэтической мечтой.

Тушин по-прежнему будет горд и счастлив ее дружбой и станет «любить ее еще больше», он сам сказал.

С бабушкой они теперь — не бабушка с внучкой, а две подруги, близкие, равные, неразлучные.

Она даже нечаянно начала ей говорить *ты*, как и Райскому, когда заговорило прямо сердце, забывшее холодное *вы*, и она оставит за собой это право.

Она теперь только поняла эту усилившуюся к ней, после признания, нежность и ласки бабушки. Да, бабушка взяла ее неудобоносимое горе на свои старые плечи, стерла своей виной ее вину и не сочла последнюю за «потерю чести». Потеря чести! Эта справедливая, мудрая, нежнейшая женщина в мире, всех любящая, исполняющая так свято все свои обязанности, никого никогда не обидевшая, никого не обманувшая, всю жизнь отдавшая другим,— эта всеми чтимая женщина «пала, потеряла честь»!

Стало быть, ей, Вере, надо быть бабушкой в свою очередь, отдать всю жизнь другим, и путем долга, нескончаемых жертв и труда, начать «новую» жизнь, непохожую на ту, которая стащила ее на дно обрыва... любить людей, правду, добро...

Все это вихрем неслось у ней в голове и будто уносило ее самое на каких-то облаках. Ей на душе становилось свободнее, как преступнику, которому расковали руки и ноги.

Она вдруг встала...

— Бабушка,— сказала она,— ты меня простила, ты любишь меня больше всех, больше Марфеньки — я это вижу! А видишь ли, знаешь ли ты, как я тебя люблю? Я не страдала бы так сильно, если б так же сильно не любила тебя! Как долго мы не знали с тобой друг друга!..

— Сейчас узнаешь все, выслушай мою исповедь — и осуди строго, или прости — и бог простит нас...

— Я не хочу, не должна, не смею! Зачем?..

— Затем, чтоб и мне вытерпеть теперь то, что я должна была вытерпеть сорок пять лет тому назад. Я украла свой грех! Ты знаешь его, узнает и Борис. Пусть внук посмеется над сединами старой Кунигунды!..

Бабушка прошла раза два в волнении по комнате, тряся с фанатической решимостью головой.

Она опять походила на старый женский фамильный портрет в галерее, с суровой важностью, с величием и уверенностью в себе, с лицом, истерзанным пыткой, и с гордостью, осилившей пытку. Вера чувствовала себя жалкой девочкой перед ней и робко глядела ей в глаза, мысленно меряя свою молодую, только что вызванную на борьбу с жизнью силу — с этой ста-

рой, искушенной в долгой жизненной борьбе, но еще крепкой, по-видимому несокрушимой силой.

«Я не понимала ее! Где была моя хваленая «мудрость» перед этой бездной!..» — думала она и бросилась на помощь бабушке — помешать исповеди, отвести ненужные и тяжелые страдания от ее измученной души. Она стала перед ней на колени и взяла ее за обе руки.

— Ты сама чувствуешь, бабушка,— сказала она,— что ты сделала теперь для меня: всей моей жизни недостанет, чтоб заплатить тебе. Нейди далее; здесь конец твоей казни! Если ты непременно хочешь, я шепну слово брату о твоем прошлом —и пусть оно закроется навсегда! Я видела твою муку, зачем ты хочешь еще истязать себя исповедью? Суд совершился — я не приму ее. Не мне слушать и судить тебя — дай мне только обожать твои святые седины и благословлять всю жизнь! Я не стану слушать: это мое последнее слово!

Татьяна Марковна вздохнула, потом обняла ее.

— Да будет так! — сказала она,— я принимаю твое решение как божие прощение — и благодарю тебя за пощаду моей седины...

— Пойдем теперь туда, к тебе, отдохнем обе,— говорила Вера.

Татьяна Марковна почти на руках донесла ее до дому, уложила в свою постель и легла с ней рядом.

Когда Вера, согретая в ее объятиях, тихо заснула, бабушка осторожно встала и, взяв ручную лампу, загородила рукой свет от глаз Веры и несколько минут освещала ее лицо, глядя с умилением на эту бледную, чистую красоту лба, закрытых глаз и на все, точно рукой великого мастера изваянные, чистые и тонкие черты белого мрамора, с глубоким, лежащим в них миром и покоем.

Она поставила лампу, перекрестила спящую, дотронулась губами до ее лба и опустилась на колени у постели.

— Милосердуй над ней! — молилась она почти в исступлении,— и если не исполнилась еще мера гнева твоего, отведи его от нее — и ударь опять в мою седую голову!..

Долго после молитвы сидела она над спящей, потом тихо легла подле нее и окружила ее голову своими руками. Вера пробуждалась иногда, открывала глаза на бабушку, опять закрывала их и в полусне приникала все плотнее и плотнее лицом к ее груди, как будто хотела глубже зарыться в ее объятия.

XI

Проходили дни, и с ними опять тишина повисла над Малиновкой. Опять жизнь, задержанная катастрофой, как река порогами, прорвалась сквозь преграду и потекла дальше, ровнее.

Но в этой тишине отсутствовала беспечность. Как на природу внешнюю, так и на людей легла будто осень. Все были задумчивы, сосредоточены, молчаливы, от всех отдавало холодом, слетели и с людей, как листья с деревьев, улыбки, смех, радости. Мучительные скорби миновали, но колорит и тоны прежней жизни изменились.

У Веры с бабушкой установилась тесная, безмолвная связь. Они, со времени известного вечера, после взаимной исповеди, хотя и успокоили одна другую, но не вполне успокоились друг за друга, и обе вопросительно, отчасти недоверчиво, смотрели вдаль, опасаясь будущего.

Переработает ли в себе бабушка всю эту внезапную тревогу, как землетрясение, всколыхавшую ее душевный мир? — спрашивала себя Вера и читала в глазах Татьяны Марковны, привыкает ли она к другой, не прежней Вере, и к ожидающей ее новой, неизвестной, а не той судьбе, какую она ей гадала? Не сетует ли бессознательно про себя на ее своевольное ниспровержение своей счастливой, старческой дремоты? Воротится ли к ней когда-нибудь ясность и покой в душу?

А Татьяна Марковна старалась угадывать будущее Веры, боялась, вынесет ли она крест покорного смирения, какой судьба, по ее мнению, налагала, как искупление за «грех»? Не подточит ли сломленная гордость и униженное самолюбие ее нежных, молодых сил? Излечима ли ее тоска, не обратилась бы она в хроническую болезнь?

Бабушка машинально приняла опять бразды правления над своим царством. Вера усердно ушла в домашние хлопоты, особенно заботилась о приданом Марфеньки и принесла туда свой вкус и труд.

В ожидании какого-нибудь серьезного труда, какой могла дать ей жизнь со временем, по ее уму и силам, она положила не избегать никакого дела, какое представится около нее, как бы оно просто и мелко ни было — находя, что, под презрением к мелкому, обыденному делу и под мнимым ожиданием или изобретением какого-то нового, еще небывалого труда и дела, кроется у большей части просто лень или неспособность, или, наконец, больное и смешное самолюбие — ставить самих себя выше своего ума и сил.

Она решила, что «дела» изобретать нельзя, что оно само, силою обстоятельств, выдвигается на очередь в данный момент и что таким естественным путем рождающееся дело — только и важно, и нужно.

Следовательно, надо зорко смотреть около, не лежит ли праздно несделанное дело, за которым явится на очередь следующее, по порядку, и не бросаться за каким-нибудь блуждающим огнем, или «миражем», как говорит Райский.

Не надо пуще всего покладывать рук и коснеть «в блаженном успении», в постоянном «отдыхе», без всякого труда.

Она была бледнее прежнего, в глазах ее было меньше блеска, в движениях меньше живости. Все это могло быть следствием болезни, скоро захваченной горячки; так все и полагали вокруг. При всех она держала себя обыкновенно, шила, порола, толковала со швеями, писала реестры, счеты, исполняла поручения бабушки. И никто ничего не замечал.

— Поправляется барышня,— говорили люди.

Райский замечал также благоприятную перемену в ней и по временам, видя ее задумчивою, улавливая иногда блеснувшие и пропадающие слезы, догадывался, что это были только следы удаляющейся грозы, страсти. Он был доволен, и его собственные волнения умолкали все более и более, по мере того как выживались из памяти все препятствия, раздражавшие страсть, все сомнения, соперничество, ревность.

Вера, по настоянию бабушки (сама Татьяна Марковна не могла), передала Райскому только глухой намек о ее любви, предметом которой был Ватутин, не сказав ни слова о «грехе». Но этим полудоверием вовсе не решилась для Райского загадка — откуда бабушка, в его глазах старая девушка, могла почерпнуть силу, чтоб снести, не с девическою твердостью, мужественно, не только самой — тяжесть «беды», но успокоить и Веру, спасти ее окончательно от нравственной гибели, собственного отчаяния.

А она очевидно сделала это. Как она приобрела власть над умом и доверием Веры? Он недоумевал — и только больше удивлялся бабушке, и это удивление выражалось у него невольно.

Все обращение его с нею приняло характер глубокого, нежного почтения и сдержанной покорности. Возражения на ее слова, прежняя комическая война с ней — уступили место изысканному уважению к каждому ее слову, желанию и намерению. Даже в движениях его появилась сдержанность, почти до робости.

Он не забирался при ней на диван прилечь, вставал, когда она подходила к нему, шел за ней послушно в деревню и поле, когда она шла гулять, терпеливо слушал ее объяснения по хозяйству. Во все, даже мелкие отношения его к бабушке, проникло то удивление, какое вызывает невольно женщина с сильной нравственной властью.

А она, совершив подвиг, устояв там, где падают ничком мелкие натуры, вынесши и свое, и чужое бремя с разумом и величием, тут же, на его глазах, мало-помалу опять обращалась в простую женщину, уходила в мелочи жизни, как будто пряча свои силы и величие опять — до случая, даже не подозревая, как она вдруг выросла, стала героиней и какой подвиг совершила.

В дворне, после пронесшейся какой-то необъяснимой для нее тучи, было недоумение, тяжесть. Люди притихли. Не

слышно шума, брани, смеха, присмирели девки, отгоняя Егорку прочь.

В особенно затруднительном положении очутилась Василиса. Она и Яков, как сказано, дали обет, если барыня придет в себя и выздоровеет, он — поставит большую вызолоченную свечу к местной иконе в приходской церкви, а она — сходит пешком в Киев.

Яков исчез однажды рано утром со двора, взяв на свечу денег из лампадной суммы, отпускаемой ему на руки барыней. Он водрузил обещанную свечу перед иконой за ранней обедней.

Но у него оказался излишек от взятой из дома суммы. Крестясь поминутно, он вышел из церкви и прошел в слободу, где оставил и излишек, и пришел домой «веселыми ногами», с легким румянцем на щеках и на носу.

Его нечаянно встретила Татьяна Марковна. Она издали почуяла запах вина.

— Что с тобой, Яков? — спросила она с удивлением.— Ради чего ты...

— Сподобился, сударыня! — отвечал он, набожно склонив голову на сторону и сложив руки горстями на груди, одна на другую.

Он объявил и Василисе, что «сподобился» выполнить обет. Василиса поглядела на него и вдруг стала сама не своя. Она тоже «обещалась» и до этой минуты, среди хлопот около барыни, с приготовлениями к свадьбе, не вспомнила об обете.

И вдруг Яков уже исполнил, и притом в одно утро, и вон ходит, полный благочестивого веселья. А она обещалась в Киев сходить!

— Как я пойду, силы нет,— говорила она, щупая себя.— У меня и костей почти нет, всё одни мякоти! Не дойду —господи помилуй!

И точно у ней одни мякоти. Она насидела их у себя в своей комнате, сидя тридцать лет на стуле у окна, между бутылями с наливкой, не выходя на воздух, двигаясь тихо, только около барыни да в кладовые. Питалась она одним кофе да чаем, хлебом, картофелем и огурцами, иногда рыбою, даже в мясоед.

Она пошла к отцу Василью, прося решить ее сомнения. Она слыхала, что добрые «батюшки» даже разрешают от обета совсем, по немощи, или заменяют его другим. «Каким?» —спрашивала она себя на случай, если отец Василий допустит замен.

Она сказала, по какому случаю обещалась, и спросила: «Идти ли ей?»

— Коли обещалась, как же нейти? — сказал отец Василий.— Надо идти!

— Да я с испуга обещалась, думала, барыня помрет. А она через три дня встала. Так за что ж я этакую даль пойду?

— Да, это не ближний путь, в Киев! Вот то-то, обещать, а потом и назад! — журил он,— нехорошо. Не надо было обещать, коли охоты нет...

— Есть, батюшка, да сил нет, мякоти одолели, до церкви дойду — одышка мучает. Мне седьмой десяток! Другое дело, кабы барыня маялась в постели месяца три, да причастили ее и особоровали бы маслом, а бог, по моей грешной молитве, поднял бы ее на ноги, так я бы хоть ползком поползла. А то она и недели не хворала!

Отец Василий улыбнулся.

— Как же быть? — сказал он.

— Я бы другое что обещала. Нельзя ли переменить?

— На что же другое?

Василиса задумалась.

— Я пост на себя наложила бы; мяса всю жизнь в рот не стану брать, так и умру.

— А ты любишь его?

— Нет, и смотреть-то тошно! отвыкла от него...

Отец Василий опять улыбнулся.

— Как же так,— сказал он,— ведь надо заменить трудное одинаково трудным или труднейшим, а ты полегче выбрала!

Василиса вздохнула.

— Нет ли чего-нибудь такого, чего бы тебе не хотелось исполнить — подумай!

Василиса подумала и сказала, что нет.

— Ну, так надо в Киев идти! — решил он.

— Если б не мякоти, с радостью бы пошла, вот перед богом!

Отец Василий задумался.

— Как бы облегчить тебя? — думал он вслух.— Ты что любишь, какую пищу употребляешь?

— Чай, кофий — да похлебку с грибами и картофелем...

— Кофе любишь?

— Охотница.

— Ну так — воздержись от кофе, не пей!

Она вздохнула.

«Да,— подумалось ей,— и правду тяжело: это почти все равно, что в Киев идти!»

— Чем же мне питаться, батюшка? — спросила она.

— Мясом.

Она взглянула на него, не смеется ли он.

Он точно смеялся, глядя на нее.

— Ведь ты не любишь его, ну, и принеси жертву.

— Какая же польза: оно скоромное, батюшка.

— Ты в скоромные дни и питайся им! А польза та, что мякотей меньше будет. Вот тебе полгода срок: выдержи — и обет исполнишь.

Она ушла, очень озабоченная, и с другого дня послушно

начала исполнять новое обещание, со вздохом отворачивая нос от кипящего кофейника, который носила по утрам барыне.

Еще с Мариной что-то недоброе случилось. Она, еще до болезни барыни, ходила какой-то одичалой и задумчивой и валялась с неделю на лежанке, а потом слегла, объявив, что нездорова, встать не может.

— Бог карает! — говорил Савелий, кряхтя и кутая ее в теплое одеяло.

Василиса доложила барыне. Татьяна Марковна велела позвать Меланхолиху, ту самую бабу-лекарку, к которой отправляли дворовых и других простых людей на вылечку.

Меланхолиха, по тщательном освидетельствовании больной, шепотом объявила Василисе, что болезнь Марины превышает ее познания. Ее отправили в клинику, в соседний город, за двести верст.

Сам Савелий отвез ее и по возвращении, на вопросы обступившей его дворни, хотел что-то сказать, но только поглядел на всех, поднял выше обыкновенного кожу на лбу, сделав складку в палец толщиной, потом плюнул, повернулся спиной и шагнул за порог своей клетушки.

Недели через полторы Марфенька вернулась с женихом и с его матерью из-за Волги, еще веселее, счастливее и здоровее, нежели поехала. Оба успели пополнеть. Оба привезли было свой смех, живость, шум, беготню, веселые разговоры.

Но едва пробыли часа два дома, как оробели и присмирели, не найдя ни в ком и ни в чем ответа и сочувствия своим шумным излияниям. От смеха и веселого говора раздавалось около них печальное эхо, как в пустом доме.

На всем лежал какой-то туман. Даже птицы отвыкли летать к крыльцу, на котором кормила их Марфенька. Ласточки, скворцы и все летние обитатели рощи улетели, и журавлей не видно над Волгой. Котята все куда-то разбежались.

Цветы завяли, садовник выбросил их, и перед домом, вместо цветника, лежали черные круги взрытой земли с каймой бледного дерна да полосы пустых гряд. Несколько деревьев завернуты были в рогожу. Роща обнажалась все больше и больше от листьев. Сама Волга почернела, готовясь замерзнуть.

Но это природа! это само по себе не делает, а только усиливает скуку людям. А вот — что с людьми сталось, со всем домом? — спрашивала Марфенька, глядя в недоумении вокруг.

Гнездышко Марфеньки, ее комнатки наверху, потеряли свою веселость. В нем поселилось с Верой грустное молчание.

У Марфеньки на глазах были слезы. Отчего все изменилось? Отчего Верочка перешла из старого дома? Где Тит Никоныч? Отчего бабушка не бранит ее, Марфеньку: не сказала даже ни слова за то, что, вместо недели, она пробыла в гостях две? Не любит больше? Отчего Верочка не ходит по-прежнему одна по

полям и роще? Отчего все такие скучные, не говорят друг с другом, не дразнят ее женихом, как дразнили до отъезда? О чем молчат бабушка и Вера? Что сделалось со всем домом?

Марфеньку кое-как успокоили ответами на некоторые вопросы. Другие обошли молчанием.

— Вера перешла оттого,— сказали ей,— что печи в старом доме, в ее комнате, стали плохи, не держат тепла.

— Тит Никоныч уехал унимать беспорядки в деревне.

— Вера не ходит гулять, потому что простудилась и пролежала три дня в постели, почти в горячке.

Марфенька, услыхав слово «горячка», испугалась задним числом и заплакала.

На вопрос, «о чем бабушка с Верой молчат и отчего первая ее ни разу не побранила, что значило — не любит», Татьяна Марковна взяла ее за обе щеки и задумчиво, со вздохом, поцеловала в лоб. Это только больше опечалило Марфеньку.

— Мы верхом ездили, Николай Андреич дамское седло выписал. Я одна каталась в лодке, сама гребла, в рощу с бабами ходила! — затрогивала Марфенька бабушку, в надежде, не побранит ли она хоть за это.

Татьяна Марковна будто с укором покачала головой, но Марфенька видела, что это притворно, что она думает о другом или уйдет и сядет подле Веры.

Марфенька печалилась и ревновала ее к сестре, но сказать боялась и потихоньку плакала. Едва ли это была не первая серьезная печаль Марфеньки, так что и она бессознательно приняла общий серьезно-туманный тон, какой лежал над Малиновкой и ее жителями.

Она молча сидела с Викентьевым; шептать им было не о чем. Они и прежде беседовали о своих секретах во всеуслышание. И редко, редко удавалось Райскому вызвать ее на свободный лепет, или уж Викентьев так рассмешит, что терпенья никакого не станет, и она прорвется нечаянно смехом, а потом сама испугается, оглянется вокруг, замолчит и погрозит ему.

Викентьеву это молчание, сдержанность, печальный тон были не по натуре. Он стал подговаривать мать попросить у Татьяны Марковны позволения увезти невесту и уехать опять в Колчино до свадьбы, до конца октября. К удовольствию его согласие последовало легко и скоро, и молодая чета, как пара ласточек, с веселым криком улетела от осени к теплу, свету, смеху, в свое будущее гнездо.

Бабушка, однако, заметила печаль Марфеньки и — сколько могла, отвлекла ее внимание от всяких догадок и соображений, успокоила, обласкала и отпустила веселой и беззаботной, обещавши приехать за ней сама, «если она будет вести себя там умно».

Райский съездил за Титом Никонычем и привез его чуть

живого. Он похудел, пожелтел, еле двигался и, только увидев Татьяну Марковну, всю ее обстановку и себя самого среди этой картины, за столом, с заткнутой за галстук салфеткой, или у окна на табурете, подле ее кресел, с налитой ею чашкой чаю,— мало-помалу пришел в себя и стал радоваться, как ребенок, у которого отняли и вдруг опять отдали игрушки.

Он, от радости, вдруг засмеется и закроется салфеткой, потрет руки одна о другую с жаром или встанет и ни с того ни с сего поклонится всем присутствующим и отчаянно шаркнет ножкой. А когда все засмеются над ним, он засмеется пуще всех, снимет парик и погладит себе с исступлением лысину или потреплет, вместо Пашутки, Василису по щечке.

Словом, он немного одурел и пришел в себя на третий день — и тогда уже стал задумчив, как другие.

Круг семьи в Малиновке увеличился одним членом. Райский однажды вдруг явился с Козловым к обеду. Сердечнее, радушнее встречи нельзя нигде и никому оказать, какая оказана была оставленному своей Дидоной [1] супругу.

Татьяна Марковна, с женским тактом, не дала ему заметить, что знает его горе. Обыкновенно в таких случаях встречают гостя натянутым молчанием, а она встретила его шуткой, и этому тону ее последовали все.

— Что это ты (она давно говорила ему это драгоценное *ты*), Леонтий Иванович, забыл нас совсем? Борюшка говорит, что я не умею угостить тебя, что кухня моя тебе не нравится: ты говорил ему?

— Как не нравится? когда я говорил тебе? — обратился он строго к Райскому.

Все засмеялись.

— Да вы нарочно! — улыбнувшись нехотя, сказал Леонтий.

Он уж успел настолько справиться с своим горем, что стал сознавать необходимость сдерживаться при людях и прикрывать свою невзгоду условным приличием.

— Да, не был я у вас давно, у меня жена... уехала в Москву... повидаться с родными,— тихо сказал он, глядя вниз,— так я и не мог...

— Вот ты бы у нас пожил,— заметила Татьяна Марковна,— одному скучно дома...

— Я жду ее... боюсь, чтоб без меня не приехала.

— Тебе дадут знать, ведь мимо нас ей ехать. Мы сейчас остановим, как только въедет в слободу. Из окон старого дома видно, когда едут по дороге.

— В самом деле... Да, оттуда видна московская дорога,— с оживлением подняв на Татьяну Марковну глаза, сказал Козлов и почти обрадовался.

---

[1] Героиня «Энеиды» Вергилия (I в. до н. э.).

— Право, переезжай к нам...

— Да, я бы, пожалуй...

— Я просто не пущу тебя сегодня, Леонтий,— сказал Райский,— мне скучно одному; я перейду в старый дом с тобой вместе, а потом, после свадьбы Марфеньки, уеду. Ты при бабушке и при Вере будешь первым министром, другом и телохранителем.

Он посмотрел на всех.

— Да, покорно благодарю, лишь бы только не обеспокоить чем...

— Как тебе не стыдно...— начала бабушка.

— Извините, Татьяна Марковна!

— Кушай лучше, чем пустое говорить; вон у тебя стынет суп...

— А ведь мне есть хочется! — вдруг сказал он, принимаясь за ложку, и засмеялся,— я что-то давно не ел...

Он, задумчиво глядя куда-то, должно быть на московскую дорогу, съел машинально суп, потом положенный ему на другую тарелку пирог, потом мясо и молча окончил весь обед.

— У вас покойно, хорошо! — говорил он после обеда, глядя в окно.— И зелень еще есть, и воздух чистый... Послушай, Борис Павлович, я бы библиотеку опять перевез сюда...

— Хорошо, хорошо, хоть завтра, ведь она твоя, делай с ней, что хочешь...

— Нет, нет, что мне в ней теперь! Я перевезу и буду смотреть за ней, а то этот Марк опять...

Райский крякнул на всю комнату. Вера не подняла головы от шитья, Татьяна Марковна стала смотреть в окно.

Райский увел Козлова в старый дом, посмотреть его комнату, куда бабушка велела поставить ему кровать и на ночь вытопить печь и тотчас же вставить рамы.

Козлов совался к окнам, отыскивая то самое, из которого видна московская дорога.

XII

В один из туманных, осенних дней, когда Вера, после завтрака, сидела в своей комнате, за работой, прилежно собирая иглой складки кисейной шемизетки, Яков подал ей еще письмо на синей бумаге, принесенное «парнишкой», и сказал, что приказано ждать ответа.

Вера, взглянув на письмо, оцепенела, как будто от изумления, и с минуту не брала его из рук Якова, потом взяла и положила на стол, сказав коротко: «Хорошо, поди!»

Когда Яков вышел, она задумчиво подышала в наперсток и хотела продолжать работу, но руки у ней вдруг упали вместе с работой на колени.

Она оперлась локтями на стол и закрыла руками лицо,

— Какая казнь! Кончится ли это истязание? — шептала она в отчаянии.

Потом встала, вынула из комода прежнее, нераспечатанное, такое же письмо и положила рядом с этим, и села опять в своей позе, закрывая руками лицо.

— Что делать? Какого ответа может он ждать, когда мы разошлись навсегда? Ужели вызывает?.. Нет, не смеет!.. А если вызывает?..

Она вздрогнула.

Она заглянула сама себе в душу и там подслушивала, какой могла бы дать ответ на его надежду, и опять вздрогнула. «Нельзя сказать этого ответа,— думала она,— эти ответы не говорятся! Если он сам не угадал его — от меня никогда не узнает!»

Она глядела на этот синий пакет, с знакомым почерком, не торопясь сорвать печать — не от страха оглядки, не от ужаса зубов «тигра». Она как будто со стороны смотрела, как ползет теперь мимо ее этот «удав», по выражению Райского, еще недавно душивший ее страшными кольцами, и сверканье чешуи не ослепляет ее больше. Она отворачивается, вздрагивая от другого, не прежнего чувства.

Ей душно от этого письма, вдруг перенесшего ее на другую сторону бездны, когда она уже оторвалась навсегда, ослабевшая, измученная борьбой,— и сожгла за собой мост. Она не понимает, как мог он написать? Как он сам не бежал давно?

Знай он, какой переворот совершился на верху обрыва, он бы, конечно, не написал. Надо его уведомить, посланный ждет... Ужели читать письма?.. Да, надо!..

Она сорвала печать с обоих разом и стала читать первое, писанное давно:

«Ужели мы в самом деле не увидимся, Вера? Это невероятно. Несколько дней тому назад в этом был бы смысл, а *теперь* это бесполезная жертва, тяжелая для обоих. Мы больше года упорно бились, добиваясь счастья,— и когда оно настало, ты бежишь первая, а сама твердила о бессрочной любви. Логично ли это?»

— Логично ли! — повторила она шепотом и остановилась. Потом будто перемогла себя и читала дальше.

«Мне разрешено уехать, но я не могу *теперь* оставить тебя, это было бы нечестно... Можно подумать, что я торжествую и что мне уже легко уехать: я не хочу, чтобы ты так думала... Не могу оставить потому, что ты любишь меня...»

У ней рука с письмом упала на колени, через минуту она медленно читала дальше:

«...и потому еще, что я сам в горячешном положении. Будем счастливы, Вера! Убедись, что вся наша борьба, все наши нескончаемые споры были только маской страсти. Маска слетела — и нам спорить больше не о чем. Вопрос решен. Мы в

сущности согласны давно. Ты хочешь бесконечной любви: многие хотели бы того же, но этого не бывает...»

Она на минуту остановилась.

«Он разумеет бесконечную горячку!» — подумала она и с жалостью улыбнулась. Потом читала дальше.

«Моя ошибка была та, что я предсказывал тебе эту истину: жизнь привела бы к ней нас сама. Я отныне не трогаю твоих убеждений; не они нужны нам,— на очереди страсть. У нее свои законы; она смеется над твоими убеждениями,— посмеется со временем и над бесконечной любовью. Она же теперь пересиливает и меня, мои планы... Я покоряюсь ей, покорись и ты. Может быть, вдвоем, действуя заодно, мы отделаемся от нее дешево и уйдем подобру и поздорову, а в одиночку тяжело и скверно.

Убеждений мы не в силах изменить, как не в силах изменить натуру, а притворяться не сможем оба. Это не логично и не честно. Надо высказаться и согласиться во всем; мы сделали первое и не пришли к соглашению; следовательно, остается молчать и быть счастливыми помимо убеждений; страсть не требует их. Будем молчать и будем счастливы. Надеюсь, ты с этой логикой согласишься».

Что-то похожее на горькую улыбку опять показалось у ней на губах.

«Уехать тебе со мной, вероятно, не дадут, да и нельзя! Безумная страсть одна могла бы увлечь тебя к этому, но я на это не рассчитываю: ты не безголовая самка, а я не мальчишка. Или для того, чтобы решиться уехать, нужно, чтобы у тебя были другие, одинакие со мной убеждения и, следовательно, другая будущность в виду, нежели какую ты и близкие твои желают тебе, то есть такая же, как у меня: неопределенная, неизвестная, без угла, или без «гнезда», без очага, без имущества. Соглашаюсь, что отъезд невозможен. Следовательно, мне надо принести жертву, то есть мне хочется теперь принести ее, и я принесу. Если ты надеешься на успех у бабушки — обвенчаемся, и я останусь здесь до тех пор, пока... словом, на бессрочное время. Я сделал все, Вера, и исполню, что говорю. Теперь делай ты. Помни, что если мы разойдемся теперь, это будет походить на глупую комедию, где невыгодная роль достанется тебе,— и над нею первый посмеется Райский, если узнает.

Видишь, я предупреждаю тебя во всем, как предупредил и тогда...»

Она сделала движение рукой, будто нетерпения, почти отчаяния, и небрежно дочитала последние строки.

«Жду ответа на имя моей хозяйки, Секлетеи Бурдалаховой».

Вера казалась утомленной чтением письма. Она равнодушно отложила его и принялась за другое, которое только что принес ей Яков.

Оно было написано торопливою рукою, карандашом.

«Я каждый день бродил внизу обрыва, ожидая тебя по первому письму. Сию минуту случайно узнал, что в доме нездорово, тебя нигде не видать. Вера, приди или, если больна, напиши скорее два слова. Я способен прийти в старый дом...»

Вера остановилась в страхе, потом торопливо дочитала конец:

«Если сегодня не получу ответа,— сказано было дальше,— завтра в пять часов буду в беседке... Мне надо скорее решать: ехать или оставаться? Приди сказать хоть слово, проститься, если... Нет, не верю, чтобы мы разошлись теперь. Во всяком случае жду тебя или ответа. Если больна, я проберусь сам...»

«Боже мой! Он еще там, в беседке!.. грозит прийти... Посланный ждет... Еще «удав» все тянется!.. не ушло... не умерло все!..»

Она быстро откинула доску шифоньерки, вынула несколько листов бумаги, взяла перо, обмакнула, хотела написать — и не могла. У ней дрожали руки.

Она положила перо, склонила опять голову в ладони, закрыла глаза, собираясь с мыслями. Но мысли не вязались, путались, мешала тоска, биение сердца. Она прикладывала руку к груди, как будто хотела унять боль, опять бралась за перо, за бумагу и через минуту бросала.

«Не могу, сил нет, задыхаюсь!» — Она налила себе на руки одеколон, освежила лоб, виски — поглядела опять, сначала в одно письмо, потом в другое, бросила их на стол, твердя: «Не могу, не знаю, с чего начать, что писать? Я не помню, как я писала ему, что говорила прежде, каким тоном... Все забыла!»

«Какого ответа ждет посланный? У меня один ответ: не могу, сил нет, ничего нет во мне!»

Она спустилась вниз, скользнула по коридорам, отыскала Якова и велела сказать мальчику, чтобы шел, что ответ будет после.

«А когда после? — спрашивала она себя, медленно возвращаясь наверх.— Найду ли я силы написать ему сегодня до вечера? И что напишу? Все то же: «Не могу, ничего не хочу, не осталось в сердце ничего...» А завтра он будет ждать там, в беседке. Обманутое ожидание раздражит его, он повторит вызов выстрелами, наконец столкнется с людьми, с бабушкой!.. Пойти самой, сказать ему, что он поступает «нечестно и нелогично»... Про великодушие нечего ему говорить: волки не знают его!..»

Все это неслось у ней в голове, и она то хваталась опять за перо и бросала, то думала пойти сама, отыскать его, сказать ему все это, отвернуться и уйти — и она бралась за мантилью, за косынку, как бывало, когда торопилась к обрыву. И теперь, как тогда, руки напрасно искали мантилью, косынку. Все выпадало из рук, и она, обессиленная, садилась на диван и не знала, что делать.

Бабушке сказать? Бабушка сделает, что нужно, но она огорчится письмами: Вере хотелось бы избегнуть этого.

Сказать брату Борису и ему поручить положить конец надеждам Марка и покушениям на свидание. Райский — ее естественный, ближайший друг и защитник. Но прошла ли страсть в нем самом, или «ощущение», игра страсти, «отражение ее в воображении», что бы ни было? И если прошло, рассуждала Вера, может быть, основательно, то не потому ли, что прошла борьба, соперничество, все утихло вокруг? Если появление героя страсти разбудит в Райском затихнувшую досаду, напомнит оскорбление,— он не выдержит роли бескорыстного посредника, увлечется пылкостью и станет в другую, опасную роль.

Тушин! Да, этот выдержит, не сделает ошибки и наверное достигнет цели. Но ставить Тушина лицом к лицу с соперником, свести его с человеком, который исподтишка и мимоходом разгромил его надежды на счастье!

Она представила себе, что должен еще перенести этот, обожающий ее друг, при свидании с героем волчьей ямы, творцом ее падения, разрушителем ее будущности! Какой силой воли и самообладания надо обязать его, чтобы встреча их на дне обрыва не была встречей волка с медведем?

Она потрясла отрицательно головой, решив, однако же, не скрывать об этих письмах от Тушина, но устранить его от всякого участия в развязке ее драмы как из пощады его сердца, так и потому, что, прося содействия Тушина, она как будто жаловалась на Марка. «А она ни в чем его не обвиняет... Боже сохрани!»

И вот ей не к кому обратиться! Она на груди этих трех людей нашла защиту от своего отчаяния, продолжает находить мало-помалу потерянную уверенность в себе, чувствует возвращающийся в душу мир.

Еще несколько недель, месяцев покоя, забвения, дружеской ласки — и она встала бы мало-помалу на ноги и начала бы жить новой жизнью. А между тем она медлит протянуть к ним доверчиво руки — не из гордости уже, а из пощады, из любви к ним.

Но и ждать долее тоже невозможно. Завтра принесут опять письмо, она опять не ответит, он явится сам...

О, боже сохрани! Если уже зло неизбежно, думала она, то из двух зол меньшее будет — отдать письма бабушке, предоставить ей сделать, что нужно сделать. Бабушка тоже не ошибется, они теперь понимают друг друга.

Потом, подумавши, она написала записку и Тушину. Те же листки бумаги, то же перо, за полчаса отказывавшиеся служить ей,— послушно служили теперь. Пальцы быстро написали две строчки.

«Приезжайте, если можно, завтра утром! Я давно не видала вас — и хочу видеть. Мне скучно».

Она отослала записку с Прохором, чтобы он отвез ее на пристань и отдал на перевозе, для отправления в «Дымок», с людьми Тушина, которые каждый день ездили в город.

Прежде Вера прятала свои тайны, уходила в себя, царствуя безраздельно в своем внутреннем мире, чуждаясь общества, чувствуя себя сильнее всех окружающих. Теперь стало наоборот. Одиночность сил, при первом тяжелом опыте, оказалась несостоятельною.

Она поплатилась своей гордостью и вдруг почувствовала себя, в минуту бури, бессильною, а когда буря ушла — жалкой, беспомощной сиротой, и протянула, как младенец, руки к людям.

Прежде она дарила доверие, как будто из милости, только своей наперснице и подруге, жене священника. Это был ее каприз, она роняла крупицы. Теперь она шла искать помощи, с поникшей головой, с обузданной гордостью, почуя рядом силу сильнее своей и мудрость мудрее своей самолюбивой воли.

Вера сообщала, бывало, своей подруге мелочной календарь вседневной своей жизни, событий, ощущений, впечатлений, даже чувств, доверила и о своих отношениях к Марку, но скрыла от нее катастрофу, сказав только, что все кончено, что они разошлись навсегда — и только. Жена священника не знала истории обрыва до конца и приписала болезнь Веры отчаянию разлуки.

Она любила Марфеньку, так же как Наталью Ивановну, но любила обеих, как детей, иногда, пожалуй, как собеседниц. В тихую пору жизни она опять позовет Наталью Ивановну и будет передавать ей вседневные события по мелочам, в подробностях,— опять та будет шепотом поддакивать ей, разбавлять ее одинокие ощущения.

Но в решительные и роковые минуты Вера пойдет к бабушке, пошлет за Тушиным, постучится в комнату брата Бориса.

И теперь она постучалась ко всем троим.

XIII

Она положила оба письма в карман, тихо, задумчиво пошла к Татьяне Марковне и села подле нее.

Бабушка только что осмотрела свадебную постель и смеряла с швеею, сколько пойдет кисеи, кружев на подушки, и уселась в свои кресла.

Она бегло взглянула на Веру, потом опять вдруг взглянула и остановила на ней беспокойный взгляд.

— Что случилось, Вера, ты расстроена?

— Не расстроена, а устала. Я получила письма оттуда, от...

— Оттуда? — повторила бабушка, меняясь в лице.

— Одно давно; я не распечатывала до сих пор, а другое сегодня. Вот они, прочти, бабушка.

Она положила оба письма на стол.

— Зачем мне читать, Верочка? — говорила Татьяна Марковна, едва преодолевая себя и стараясь не глядеть на письма.

Вера молчала. Бабушка заметила у ней выражение тоски.

— Разве тебе нужно, чтоб я знала, что там?..

— Нужно, бабушка, прочти.

Бабушка надела очки и стала было читать.

— Не разберу, душенька,— сказала она, с тоской отодвинув письмо.— Ты скажи лучше коротко, зачем мне нужно знать.

— Не могу рассказать, сил нет, дух захватывает... Я лучше прочту.

Она, шепотом, скрадывая некоторые слова и выражения, прочла письма и, скомкав оба, спрятала в карман. Татьяна Марковна выпрямилась в кресле и опять сгорбилась, подавляя страдание. Потом пристально посмотрела в глаза Вере.

— Что же ты, Верочка, думаешь? — спросила она нетвердым голосом.

— Ты спрашиваешь, что я думаю! — сказала Вера с упреком,— то же, что ты, бабушка!

— Это я знаю. Но он предлагает... венчаться, хочет остаться здесь. Может быть... если будет человеком, как все... если любит тебя...— говорила Татьяна Марковна боязливо,— если ты... надеешься на счастье...

— Да, он называет венчанье «комедией» и предлагает венчаться! Он думает, что мне только этого недоставало для счастья... Бабушка! ведь ты понимаешь, что со мной,— зачем же спрашиваешь?

— Ты пришла ко мне спросить, на что тебе решиться...

Бабушка говорила робко, потому что все еще не знала, для чего прочла ей письма Вера. Она была взволнована дерзостью Марка и дрожала в беспокойстве за Веру, боясь опасного поворота страсти, но скрывала свое волнение и беспокойство.

— Я не за тем пришла к тебе, бабушка,— сказала Вера. — Разве ты не знаешь, что тут все решено давно? Я ничего не хочу, я едва хожу — и если дышу свободно и надеюсь ожить, так это при одном условии — чтоб мне ничего не знать, не слыхать, забыть навсегда... А он напомнил! зовет туда, манит счастьем, хочет венчаться!.. Боже мой!..

Она с отчаянием пожала плечами.

У Татьяны Марковны отходило беспокойство от сердца. Она пошевелилась свободно в кресле, поправила складку у себя на платье, смахнула рукой какие-то крошки со стола. Словом — отошла, ожила, задвигалась, как внезапно оцепеневший от испуга и тотчас опять очнувшийся человек.

— Бабушка! — заключила Вера, собравшись опять с силами.— Я ничего не хочу! Пойми одно: если б он каким-нибудь

чудом переродился теперь, стал тем, чем я хотела прежде чтоб он был,— если б стал верить во все, во что я верю,— полюбил меня, как я... хотела любить его,— и тогда я не обернулась бы на его зов...

Она замолчала. Бабушка слушала, притаив дыхание, как пение райской птицы.

— Я бы не была с ним счастлива: я не забыла бы прежнего человека никогда и никогда не поверила бы новому человеку. Я слишком тяжело страдала,— шептала она, кладя щеку свою на руку бабушки,— но ты видела меня, поняла и спасла... ты — моя мать!.. Зачем же спрашиваешь и сомневаешься? Какая страсть устоит перед этими страданиями? Разве возможно повторять такую ошибку!.. Во мне ничего больше нет... Пустота — холод, и если б не ты — отчаяние...

У Веры закапали слезы. Она прижалась головой к плечу бабушки.

— Не поминай этого и не тревожь себя напрасно! — говорила бабушка, едва сдерживаясь сама и отирая ей слезы рукой,— ведь мы положили никогда не говорить об этом...

— Я и не говорила бы, если б не письма. Мне нужен покой... Бабушка! увези, спрячь меня... или я умру! Я устала... силы нет... дай отдохнуть... А он зовет туда... хочет прийти сам...

Она заплакала сильнее.

Бабушка тихо встала, посадила ее на свое место, а сама выпрямилась во весь рост.

— А! если так, если он еще,— заговорила она с дрожью в голосе,— достает тебя, мучает, он рассчитается со мной за эти слезы!.. Бабушка укроет, защитит тебя,— успокойся, дитя мое: ты не услышишь о нем больше ничего...

Бабушка дрожала, говоря это.

— Что ты хочешь делать? — с удивлением спросила Вера, вдруг вставая и подходя к Татьяне Марковне.

— Он зовет тебя; я сойду к нему с обрыва вместо тебя на любовное свидание — и потом посмотрим, напишет ли он тебе еще, придет ли сюда, позовет ли...

Бабушка ходила по кабинету, сама не своя от гнева.

— В котором часу он завтра придет в беседку, кажется в пять? — спросила она отрывисто.

Вера все глядела на нее с изумлением.

— Бабушка! ты не поняла меня,— сказала она кротко, взяв ее за руки,— успокойся, я не жалуюсь тебе на него. Никогда не забывай, что я одна виновата — во всем... Он не знает, что произошло со мной, и оттого пишет. Ему надо только дать знать, объяснить, как я больна, упала духом,— а ты собираешься, кажется, воевать! Я не того хочу. Я хотела написать ему сама и не могла,— видеться недостает сил, если б я и хотела...

Татьяна Марковна присмирела и задумалась.

— Я хотела просить Ивана Иваныча,— продолжала Вера,— но ты знаешь сама, как он любит меня, какие надежды были у него... Сводить его с человеком, который все это уничтожил,— нельзя!

— Нельзя! — подтвердила Татьяна Марковна, тряся головой.— Зачем его трогать? Бог знает, что между ними случится... Нельзя! У тебя есть близкий человек, он знает все, он любит тебя, как сестру: Борюшка...

Вера молчала.

«Да, если б как сестру только!» — думала она и не хотела открывать бабушке о страсти Райского к ней; это был не ее секрет.

— Хочешь, я поговорю с ним...

— Погоди, бабушка, я сама скажу ему,— отвечала Вера, опасаясь вмешивать брата.

Она надеялась на его сердце, доверяла его уму, чувствам, но не доверяла его неуловимо-капризной фантазии и способности увлекаться.

— Я как-нибудь, через брата, или соберусь с силами и сама отвечу на эти письма, дам понять, в каком я положении, отниму всякие надежды на свидание. А теперь мне нужно пока дать ему знать только, чтоб он не ходил в беседку и не ждал напрасно...

— Это я сделаю! — вдруг сказала бабушка.

— Но ты не пойдешь сама, не увидишься с ним? — говорила Вера, пытливо глядя в глаза бабушке.— Помни, я не жалуюсь на него, не хочу ему зла...

— И я не хочу! — шептала бабушка, глядя в сторону.— Успокойся, я не пойду, я сделаю только, что он не будет ждать в беседке...

— Прости меня, бабушка, еще за это новое огорчение!

Татьяна Марковна вздохнула и поцеловала ее.

XIV

Вера пошла полууспокоенная, стараясь угадать, какую меру могла бы принять бабушка, чтоб помешать Марку ждать ее завтра в беседке. Она опасалась, чтобы Татьяна Марковна, не знающая ничего о страсти Райского, не поручила ему пойти, не предварив ее о том, а он, не приготовленный, мог поступить, как внушало ему его еще не вполне угасшее корыстное чувство и фантазия.

Вера, узнав, что Райский не выходил со двора, пошла к нему в старый дом, куда он перешел с тех пор, как Козлов поселился у них, с тем чтобы сказать ему о новых письмах, узнать, как он примет это, и, смотря по этому, дать ему понять, какова должна быть его роль, если бабушка возложит на него видеться с Марком.

Она шла, как тень, по анфиладе старого дома, минуя свои бывшие комнаты, по потускневшему от времени паркету, мимо занавешанных зеркал, закутанных тумб с старыми часами, старой, тяжелой мебели, и вступила в маленькие, уютные комнаты, выходившие окнами на слободу и на поле. Она неслышно отворила дверь в комнату, где поселился Райский, и остановилась на пороге.

Райский сидел за столом, зарывшись в свой артистический портфель, разбирая эскизы разных местностей, акварельные портреты, набросанные очерки неисполненных картин, миниатюрные копии с известных произведений и между прочим отбирая, кучей втиснутые в портфель, черновые листы литературных воспоминаний, заметок, очерков, начатых и брошенных стихов и повестей.

Отобрав тщательно всю кучу накопившегося материала для романа, он сильно призадумался. Взгляд у него потуск; разбирая листы за листами, он то покачивал головой и вздыхал тяжело, то зевал до слез.

«Вот этак же, лет шесть назад,— печально размышлял он,— затеял я писать большую, сложную картину для выставки... А оказалось, что в нее надо положить целые годы... И теперь такую же обузу беру на себя: роман писать!! Одних материалов с пуд наберется... Сколько соображений, заметок, справок!..» «Дело ли я затеял, роман? Куча характеров, положений, сцен! А вся сила, весь интерес и твой собственный роман —в Вере: одну ее и пиши! Да, вот что!.. Прочь все лишнее, постороннее, напишу одну ее... Облегчу себя, а этот весь балласт в сторону. Чего, чего тут нет!»

Он начал живо отбирать все постороннее Вере, оставив листков десяток, где набросаны были характеристические заметки о ней, сцены, разговоры с нею, и с любовью перечитывал их.

Вдруг он оставил листки — и поразился новою мыслью.

«А отчего у меня до сих пор нет ее портрета кистью?» — вдруг спросил он себя, тогда как он, с первой же встречи с Марфенькой, передал полотну ее черты, под влиянием первых впечатлений, и черты эти вышли говорящи, «в портрете есть правда, жизнь, верность во всем... кроме плеча и рук»,— думал он. А портрета Веры нет; ужели он уедет без него?.. Теперь ничто не мешает; страсти у него нет, она его не убегает... Имея портрет, легче писать и роман: перед глазами будет она, как живая...

Он поднял глаза от портфеля... Перед ним стоит — живая Вера! Он испугался.

— Это бабушкина «судьба» посылает тебя ко мне!..— сказал он.

У Веры, заметившей его испуг, задрожал подбородок от улыбки. А он не спускал с нее глаз.

Его опять охватила красота сестры — не прежняя, с блес-

ком, с теплым колоритом жизни, с бархатным, гордым и горячим взглядом, с мерцанием «ночи», как он назвал ее за эти неуловимые искры, тогда еще таинственной, неразгаданной прелести.

Бессознательное блистанье молодости и красоты, разливающей яркие и горячие лучи вокруг себя — исчезло.

Томная печаль, глубокая усталость смотрела теперь из ее глаз. Горячие, живые тоны в лице заменились прозрачной бледностью. В улыбке не было гордости, нетерпеливых, едва сдерживаемых молодых сил. Кротость и грусть тихо покоились на ее лице, и вся стройная фигура ее была полна задумчивой, нежной грации и унылого покоя.

«Это — лилия! Где прежняя Вера? Которая лучше: та или эта?» — думал он, протягивая ей в умилении руки.

Она подошла к нему, не прежним ползучим шагом, не с волнующимся при походке станом, а тихой, ровной поступью. Шаги издавали легкий, сухой стук.

— Я тебе помешала,— сказала она.— Что ты делаешь? Мне хотелось поговорить с тобой...

Он не сводил с нее глаз.

— Что ты так смотришь?..

— Погоди, Вера! — шептал он, не слыхав ее вопроса и не спуская с нее широкого, изумленного взгляда.— Сядь вот здесь,— так! — говорил он, усаживая ее на маленький диван.

А сам торопливо сунулся в угол комнаты, порылся там и достал рамку с натянутым холстом, выдвинул мольберт и начал шарить по углам, отыскивая ящик с красками.

— Что ты хочешь делать? — спросила она.

— Молчи, молчи, Вера, я давно не видал твоей красоты, как будто ослеп на время! Сию минуту ты вошла, лучи ее ударили меня по нервам, художник проснулся! Не бойся этих восторгов. Скорей, скорей, дай мне этой красоты, пока не прошла минута... У меня нет твоего портрета...

— Что за мысль, Борис! какая теперь красота! на что я стала похожа? Василиса говорит, что в гроб краше кладут... Оставь до другого раза..

— Ты ничего не понимаешь в своей красоте: ты — chef-d'oeuvre! Нельзя откладывать до другого раза. Смотри, у меня волосы поднимаются, мурашки бегают... сейчас слезы брызнут... Садись,— пройдет, и все пропало!

— Я устала, брат... я не в силах, едва хожу... И холодно мне; у тебя здесь свежо...

— Я тебя прикрою, посажу в покойную позу, ты не гляди на меня, будь свободна, как будто бы меня не было тут!

Он положил ей за спину и под руки подушки, на плечи и грудь накинул ей свой шотландский плед и усадил ее с книгой на диван.

— А голову держи как хочешь,— сказал он,— как тебе удобнее, покойнее. Делай какие хочешь движения, гляди куда хочешь или не гляди вовсе — и забудь, что я тут!

Она покорилась равнодушно, усевшись в усталой позе, и задумалась.

— А я хотела поговорить с тобой, показать тебе... письма...— сказала она.

Он молчал, вглядываясь в нее и чертя мелом на полотне.

Прошло минут десять.

— Я получила письма... от Марка...— тихо повторила она.

Он молчит и чертит мелом.

Прошло четверть часа. Он, схватив палитру, покрыл ее красками и, взглядывая горячо на Веру, торопливо, как будто воруя, переносил черты ее лица на полотно.

Она повторила ему о письмах. Он молчит и глядит на нее, будто в первый раз ее видит.

— Брат, ты не слушаешь?

— Да... да... слышу... «письма от Марка»... Ну что он, здоров, как поживает?..— скороговоркой сказал он.

Она с удивлением глядела на него. Она едва решалась назвать Марка, думая, что дотронется до него этим именем, как каленым железом,— а он о здоровье его спрашивает!

Поглядев еще на него, она перестала удивляться. Если б вместо имени Марка она назвала Карпа, Сидора — действие было бы одно и то же. Райский машинально слушал и не слыхал.

Он слышал только звук ее голоса,— погруженный в работу, видел только ее, не вникал в ее слова и машинально повторял имя.

— Что ж ты ничего мне не отвечаешь? — спросила она.

— После, после, Вера, ради бога! Теперь не говори со мной — думай что-нибудь про себя. Меня здесь нет...

Вера пробовала опять заговорить, но он уже не слыхал и только торопливо подмалевывал лицо.

Вскоре она погрузилась — не в печаль, не в беспокойство о письмах и о том, придет ли Марк, что сделает бабушка,— а в какой-то хаос смутных чувств, воспоминаний, напрасно стараясь сосредоточить мысли на одном чувстве, на одном моменте.

Она куталась в плед, чтоб согреться, и взглядывала по временам на Райского, почти не замечая, что он делает, и все задумывалась, задумывалась, и казалось, будто в глазах ее отражалось течение всей ее молодой, но уже глубоко взволнованной и еще не успокоенной жизни, жажда покоя, тайные муки и робкое ожидание будущего,— все мелькало во взгляде.

А Райский, молча, сосредоточенно, бледный от артистического раздражения, работал над ее глазами, по временам взглядывая на Веру, или глядел мысленно в воспоминание о пер-

вой встрече своей с нею и о тогдашнем страстном впечатлении. В комнате была могильная тишина.

Вдруг он остановился, стараясь уловить и определить тайну ее задумчивого, ни на что не смотревшего, но глубокого, как бездна, говорящего взгляда.

Он касался кистью зрачка на полотне, думал поймать правду — и ловил правду чувства, а там, в живом взгляде Веры, сквозит еще что-то, какая-то спящая сила. Он клал другую краску, делал тень — и как ни бился — но у него выходили ее глаза и не выходило ее взгляда.

Напрасно он звал на помощь две волшебные учительские точки, те две искры, которыми вдруг засветились глаза Софьи под его кистью.

— Нет, здесь точек мало! — сказал он после новых усилий передать этот взгляд.

Он задумался, мешал краски, отходил от портрета, смотрел опять.

— Надо подождать! — решил он и начал подмалевывать щеки, нос, волосы.

Поработав с полчаса, он принялся опять за глаза.

— Еще раз... последний! — сказал он, — и если не удастся — не стану: нельзя!

— Теперь, Вера, погляди минут пять сюда, вот на эту точку, — обратился к ней Райский, указывая, куда глядеть, и сам поглядел на нее...

Она спала. Он замер в молчании и смотрел на нее, боясь дохнуть.

— О, какая красота! — шептал он в умилении. — Она кстати заснула. Да, это была дерзость рисовать ее взгляд, в котором улеглась вся ее драма и роман. Здесь сам Грёз положил бы кисть.

Он нарисовал глаза закрытыми, глядя на нее и наслаждаясь живым образом спящего покоя мысли, чувства и красоты.

Потом, положив палитру и кисть, тихо наклонился к ней, еще тише коснулся губами ее бледной руки и неслышными шагами вышел из комнаты.

XV

На другой день в полдень Вера, услыхав шум лошадиных копыт в воротах, взглянула в окно, и глаза у ней на минуту блеснули удовольствием, увидев рослую и стройную фигуру Тушина, верхом на вороном коне, въехавшего во двор.

Вера машинально оправилась перед зеркалом, со вздохом глядела на себя и думала: «Что брат Борис нашел списывать во мне!»

Она сошла вниз, прошла все комнаты и взялась за ручку двери из залы в переднюю. А с той стороны Тушин взялся за

ту же ручку. Они отворили дверь, столкнулись и улыбнулись друг другу.

— Я сверху увидала вас и пошла навстречу... Вы здоровы? — вдруг спросила она, взглянув на него пристально.

— Что мне делается! — конфузливо сказал он, ворочая лицо в сторону, чтоб не дать заметить ей перемены в себе. — А вы?

— Ничего, так. Была больна, чуть не слегла. Теперь прошло... Где бабушка? — обратилась она к Василисе.

Та сказала, что барыня после чаю ушла куда-то, взяв с собой Савелья.

Вера пригласила Тушина к себе наверх.

Они, сидя на концах дивана, молчали, глядя украдкой друг на друга.

«Бледен,— думала она,— похудел; оскорбленное чувство, обманутые надежды гнетут его...»

Тушин был точно непокоен, но не столько от «оскорбленных чувств», сколько от заботы о том, что было с нею после: кончена ли ее драма, или нет?

Вопрос о собственном беспокойстве, об «оскорбленном чувстве и обманутых надеждах» в первые дни ломал его, и, чтобы вынести эту ломку, нужна была медвежья крепость его организма и вся данная ему и сбереженная им сила души. И он вынес борьбу благодаря этой силе, благодаря своей прямой, чистой натуре, чуждой зависти, злости, мелкого самолюбия,— всех этих стихий, из которых слагаются дурные страсти.

Он верил в непогрешимость Веры, и эта вера, которою держалась его чистая, глубоко нравственная страсть к ней, да прелесть ее обаятельной красоты и доверие к ее уму, сердечной честности — заглушали животный эгоизм страсти и спасали его не только от отчаяния в горе, но и от охлаждения к Вере.

С первой минуты ее откровенности, несмотря на свою жестокую муку, он беспристрастно сознавал и верил, и тогда же выразил ей, что она не виновна, а «несчастлива»: так думал и теперь. Виноватым во всем, и еще более несчастным слепотой — считал он Марка.

От этого у Тушина, тихо, пока украдкой от него самого, теплился, сквозь горе, сквозь этот хаос чувств, тоски, оскорблений — слабый луч надежды, не на прежнее, конечно, полное, громадное счастье взаимности, но на счастье не совсем терять Веру из виду, удержать за собой навсегда ее дружбу и вдалеке когда-нибудь, со временем, усилить ее покойную, прочную симпатию к себе и... и...

Тут кончались его мечты, не смея идти далее, потому что за этими *и* следовал естественный вопрос о том, что теперь будет с нею? Действительно ли кончилась ее драма? Не опомнился ли Марк, что́ он теряет, и не бросился ли догонять уходящее

счастье? Не карабкается ли за нею со дна обрыва на высоту? Не оглянулась ли и она опять назад? Не подали ли они друг другу руки навсегда, чтоб быть счастливыми, как он, Тушин, и как сама Вера понимают счастье?

Стало быть, он мучился теми же сомнениями и тем же вопросом, который точно укусил Татьяну Марковну прямо в сердце, когда Вера показала ей письма. Вопрос этот не переставал грызть Тушина. Ему казалось невероятно, чтобы Марк устоял в своих понятиях и остался только на дне обрыва. «Не дурак же он, не слепой!..» «За что-нибудь любила она его... Нет — любить его нельзя,— а влюбилась, увлеклась фальшиво... — думал он,— он опомнится, воротится, и она будет счастлива... Дай бог! Дай бог!» — молился он за счастье Веры и в эти минуты бледнел и худел — от безнадежности за свое погибающее будущее, без симпатии, без счастья, без Веры, без всех этих *и... и... и...*

«Какая же это жизнь?— думал он.— Той жизнью, какою я жил прежде, когда не знал, есть ли на свете Вера Васильевна, жить дальше нельзя. Без нее — дело станет, жизнь станет!»

Он принимался чуть не сам рубить мачтовые деревья, следил прилежнее за работами на пильном заводе, сам, вместо приказчиков, вел книги в конторе или садился на коня и упаривал его, скача верст по двадцати взад и вперед по лесу, заглушая свое горе и все эти вопросы, скача от них дальше,— но с ним неутомимо, как свистящий осенний ветер, скакал вопрос: что делается на той стороне Волги?

Сколько раз он подъезжал к берегу, глядя на противоположную сторону! Как хотелось ему вскочить на этом коне на отваливающий паром и взобраться на гору, узнать, спросить...

Но она сказала: «погодите» — и это «погодите» было для него свято.

Теперь он ехал с ее запиской в кармане. Она его вызвала, но он не скакал на гору, а ехал тихо, неторопливо слез с коня, терпеливо ожидая, чтоб из людской заметили кучера́ и взяли его у него, и робко брался за ручку двери. Даже придя в ее комнату, он боязливо и украдкой глядел на нее, не зная, что с нею, зачем она его вызвала, чего ему ждать.

Сначала неловко было обоим. Ей — оттого, что «тайна» известна была ему, хотя он и друг, но все же посторонний ей человек. Открыла она ему тайну внезапно, в горячке, в нервном раздражении, когда она, из некоторых его слов, заподозрила, что он уже знает все.

И нельзя было не открыть: она дорожила прелестью его дружбы и не хотела красть уважения. Притом он сделал ей предложение. Но все же он знает ее «грех»,— а это тяжело. Она стыдливо клонила голову и избегала глядеть ему прямо в глаза.

Ему было неловко оттого, что он так не в пору и некстати открыл ей свои надежды, на которые она ответила ему страшной откровенностью — неловко и за нее, и за себя.

Они угадывали друг друга и молчали.

— Вы меня простили? — сказала она наконец грудным шепотом, стараясь не глядеть на него.

— Я, вас? за что?

— За все, что вы перенесли, Иван Иванович. Вы изменились, похудели, вам тяжело,— я это вижу. Горе ваше и бабушки — тяжелое наказание!

— Мое горе не должно беспокоить вас, Вера Васильевна. Оно — мое. Я сам напросился на него, а вы только смягчили его. Вон вы вспомнили обо мне и писали, что вам хочется видеть меня: ужели это правда?

— Правда, Иван Иванович. Если у меня отнимут вас троих, бабушку, вас и брата Бориса,— я не переживу своего одиночества.

— Ну, вот, а вы говорите — горе! Посмотрите мне в глаза. Я думаю, я в эту минуту и пополнел опять.

У него показался румянец, какой бросается в лицо вдруг обрадованному человеку.

— Вижу,— сказала она,— и от этого мне больнее становится за все то, что я сделала со всеми вами. Что было с бабушкой!

— А что? я боялся спросить...

Она рассказала ему все, что было в эти две недели, кроме признания Татьяны Марковны.

Он напряженно ждал, не упомянет ли она о Марке. Но она не сказала ни слова.

— Если б вы сами скорей успокоились! — сказал он задумчиво,— все пройдет и забудется...

— Забудется, но не простится...

— Некому и нечего прощать...

— Если б и забылось, и простилось другими, мне самой нельзя забыть и простить себе...— шепнула она и остановилась. Боль отразилась у ней на лице.

— Я начала немного отдыхать, забывать...— продолжала она.— Теперь скоро свадьба, было много дела, я отвлеклась было...

— И что же, помешало разве что-нибудь?

— Да... я вчера была сильно встревожена; и теперь еще не совсем покойна. Боюсь, чтобы как-нибудь... Да, вы правы, мне надо скорее успокоиться... Я думала, все кончилось... Уехала бы я отсюда!

Он молчал, потупив глаза. Румянец и минутная радость сбежали с лица.

— Случилось что-нибудь?— спросил он.— Не нужно ли вам... какой-нибудь услуги, Вера Васильевна?

— Да, случилось. Но на эту услугу я не вызову вас, Иван Иванович.

— Не сумею, может быть?

— Нет, не то! Вы знаете все, вот прочтите, что я получила...

Она вынула из ящика оба письма и подала ему. Тушин прочитал и совсем похудел, стал опять бледен, как был, когда приехал.

— Да, тут, конечно, я лишний: вы одна можете...

— Не могу, Иван Иванович...

Он вопросительно глядел на нее.

— Не могу ни написать ему двух слов, ни видеть его...

Он стал оправляться и поднял голову, глядя на нее.

— А мне надо дать ответ; он ждет там, в беседке, или придет сюда, если не дам... а я не могу...

— Какой ответ? — спросил Тушин, наклоняясь и рассматривая свои сапоги.

— И вы, как бабушка, спрашиваете, какой! Разве вы не читали? Он манит счастьем, предлагает венчаться...

— Что же?

— Что же! — повторила она с примесью легкого раздражения,— я пробовала вчера написать ему всего две строки: «Я не была — и не буду счастлива с вами и после венчанья, я не увижу вас никогда. Прощайте!» — и не могла. Хотела пойти, сказать это сама и уйти — ноги не шли: я падала. Он не знает ничего, что со мной произошло, и думает, что я все еще в жару страсти, оттого и надеется, пишет... Надо ему сказать все, а я не могу! Поручить некому: бабушка вспыхнула, как порох, прочитавши эти письма. Я боюсь, что она не выдержит... и я...

Тушин вдруг встал и подошел к ней.

— И вы подумали обо мне: «Тушин — выдержит и послужит мне...» и позвали меня... так?

Он весь просиял.

— Нет, Иван Иванович, не так. Я позвала вас, чтоб... видеть вас в этой тревоге. Когда вы тут — я будто покойнее...

— Вера Васильевна! — сказал он — и румянец опять хлынул ему в щеки.

Он был почти счастлив.

— А посылать вас туда,— продолжала она,— нет, я не нанесу вам этого нового оскорбления, не поставлю лицом к лицу с человеком, которого вы... не можете видеть равнодушно... Нет, нет!

Она качала головой.

— Оскорбления! Вера Васильевна!..

Он хотел говорить, но сложил только руки, как будто с мольбой, перед ней. Глаза блистали, глядя на нее.

Она с изумлением благодарности смотрела на него, видя, как одно внимание, одно чувство приличия,— такая малость — делали его счастливым. И это после всего!..

«Как он любит меня! Зачем!..» — подумала она с грустью.

— Оскорбления! — повторил он.— Да, мне тяжело бы было, если б вы послали меня с масличной ветвью к нему, помочь ему выбраться из обрыва сюда... Эта голубиная роль мне была бы точно не к лицу — но я пошел бы мирить вас, если б знал, что вы будете счастливы...

«И бабушка пошла бы, и мать моя, если б была жива... И этот человек готов идти — искать мое счастье — и терять свое!» — подумалось ей опять.

— Иван Иванович! — сказала она почти в слезах,— я вам верю, вы сделали бы и это! Но я не послала бы вас...

— Знаю, что не послали бы, и дурно сделали бы. А теперь мне не надо и выходить из роли медведя. Видеть его — чтобы передать ему эти две строки, которых вы не могли написать: ведь это — счастье, Вера Васильевна!

Она потупила глаза.

«Я только и могу дать ему это счастье в ответ... на все!..»— думала она.

Заметив ее печаль, он вдруг упал, смирился; гордость осанки, блеск взгляда, румянец — пропали. Он раскаялся в своей неосторожной радости, в неосторожном слове: «счастье».

«Опять глупость сделал!» — терзался он про себя, приняв простое, дружеское поручение, с которым она обратилась к нему, потому что некому было поручить, как она сказала,— за какое-то косвенное поощрение его надежд!

Он — этой внезапной радостью и этим словом: «счастье» — будто повторил свое признание в любви и предложение руки и, кроме того, показал ей, что эгоистически радуется разрыву ее с Марком.

Вера, глядя на него, угадала, что он во второй раз скатился с своего обрыва счастливых надежд. Ее сердце, женский инстинкт, дружба — все бросилось на помощь бедному Тушину, и она не дала рухнуть окончательно всем его надеждам, удержав одну, какую только могла дать ему в своем положении,— это безграничное доверие и уважение.

— Да, Иван Иванович, я теперь вижу, что я надеялась на вас и в этом, только не признавалась сама себе, и никогда не решилась бы требовать от вас этой помощи. Но если вы великодушно предлагаете, то я рада и благодарю. Никто не поможет мне так, как вы поможете, потому что никто так, как вы, не любит меня...

— Вы балуете меня, Вера Васильевна, говоря это: но это правда! Вы насквозь видите меня...

— И если,— продолжала она,— вам не тяжело видеть его...

— Нет... я не упаду в обморок.

— Так подите сегодня в пять часов в беседку и скажите...

Она задумалась, что сказать. Потом взяла карандаш и на-

писала те же две строки, которые сказала ему на словах, не прибавив ничего к прежде сказанным словам.

— Вот мой ответ! — заключила она, передавая ему незапечатанный листок,— отдайте ему и прибавьте, что хотите, если нужно будет; вы знаете все...

Он спрятал листок в карман.

— Помните одно,— прибавила она поспешно,— что я не обвиняю его ни в чем... ни на что не жалуюсь... следовательно...

Она остановилась. Он ждал.

— Вашего бича с собой не берите!..— договорила она тихо, почти в сторону.

— Поделом мне,— сказал он, сильно вздохнув.

— Виновата,— перебила она, подавая ему руку,— это не упрек,— боже сохрани! Память подсказала мне кстати. Мне легче этим одним словом выразить, а вам понять, чего я желаю и чего не желала бы в этом свидании...

— Тут обидно одно, вы думали, что я без этого слова не понял бы...

— Простите меня, больную...

Он пожал поданную ему руку.

XVI

Немного погодя воротилась Татьяна Марковна, пришел Райский. Татьяна Марковна и Тушин не без смущения встретились друг с другом. И им было неловко: он знал, что ей известно его объяснение с Верой,— а ей мучительно было, что он знает роман и «грех» Веры.

Из глаз его выглядывало уныние, в ее разговорах сквозило смущение за Веру и участие к нему самому. Они говорили, даже о простых предметах, как-то натянуто, но к обеду взаимная симпатия превозмогла, они оправились и глядели прямо друг другу в глаза, доверяя взаимным чувствам и характерам. Они даже будто сблизились между собой, и в минуты молчания высказывали один другому глазами то, что могли бы сказать о происшедшем словами, если б это было нужно.

До обеда Вера оставалась с Татьяной Марковной, стараясь или скорее опасаясь узнать о мере, какую она могла принять, чтоб Марк не ожидал ее в беседке. Она решилась не отходить от нее и после обеда, чтоб она не поддалась желанию сама сойти с обрыва на свидание.

Но Татьяна Марковна до обеда не упомянула о вчерашнем разговоре, а после обеда, когда Райский ушел к себе, а Тушин, надев пальто, пошел куда-то «по делу», она заняла всю девичью чисткою серебряных чайников, кофейников, подносов и т. д., назначаемых в приданое Марфеньке.

Вера успокоилась с этой стороны и мысленно перенеслась

с Тушиным в беседку, думая с тоской и замиранием сердца от страха о том: «Не вышло бы чего-нибудь! Если б этим кончилось! Что там теперь делается!»

А там, без четверти в пять часов, пробирался к беседке Тушин. Он знал местность, но, видно, давно не был и забыл, потому что глядел направо, налево, брал то в ту, то в другую сторону, по едва заметной тропинке, и никак не мог найти беседки. Он остановился там, где кусты были чаще и гуще, припоминая, что беседка была где-то около этого места.

Он стоял, оглядываясь во все стороны, и с беспокойством смотрел на часы. Стрелка подвигалась к пяти часам, а он не видал ни беседки, ни Марка.

Вдруг издали до него дошел шум торопливых шагов, и между кустами сосняка и ельника являлась и пропадала фигура.

«Кажется, он!..» — думал Тушин и раза два дохнул всей грудью, как усталый конь, покачал взад и вперед стоящую рядом молодую ель, потом опустил обе руки в карманы пальто и стал как вкопанный.

Марк точно выпрыгнул из засады на это самое место, где был Тушин, и, оглядываясь с изумлением вокруг, заметил его и окаменел.

Они поглядели друг на друга с минуту, потом дотронулись до фуражек. Волохов все озирался с недоумением вокруг.

— Где же беседка? — спросил он наконец вслух.

— Я тоже ее ищу и не знаю, в которой она стороне!

— Как «в какой стороне»! Мы стоим на ее месте: она еще вчера утром тут была...

Оба молчали, не зная, что сталось с беседкой. А с ней сталось вот что. Татьяна Марковна обещала Вере, что Марк не будет «ждать ее в беседке», и буквально исполнила обещание. Через час после разговора ее с Верой Савелий, взяв человек пять мужиков, с топорами, спустился с обрыва, и они разнесли беседку часа в два, унеся с собой бревна и доски на плечах. А бабы и ребятишки, по ее же приказанию, растаскали и щепы.

На другой день утром сама барыня взяла садовника да опять Савелья и еще двоих людей и велела место, где была беседка, поскорее сровнять, утоптать, закрыть дерном и пересадить туда несколько молодых сосен и елей.

«Задним умом крепка! — упрекала она мысленно себя.— Если б я сломала беседку тотчас, когда Верочка сказала мне все... тогда, может быть, злодей догадался бы и не писал ей проклятых писем!»

Злодей действительно догадался.

«Старуха узнала — это она! — подумал он.— Вера поступила благонравно: все открыла ей!»

Он обернулся к Тушину, кивнул ему и хотел идти, но заметил его пристальный, точно железный взгляд.

— Вы что тут делали, гуляли, что ли? — спросил он.— Что вы так смотрите на меня? Вы здесь в гостях наверху?

— Да, я в гостях. Я не гулять пришел, а видеться с вами,— сказал Тушин сухо, но учтиво.

— Со мной! — оборотясь живо к нему, отозвался Волохов и вопросительно глядел на него. «Что это, не узнал ли и он? Он, кажется, претендент на Веру. Не драму ли затевает этот лесной Отелло: «крови», «крови», что ли, ему надо!» — успел подумать Марк.

— С вами,— повторил Тушин,— у меня есть поручение к вам.

— От кого? От старухи?

— От какой старухи?

— От Бережковой! От какой!

— Нет.

— Так от Веры?— почти с испугом спросил он.

— От Веры Васильевны, хотите вы сказать?

— Ну, пожалуй — Васильевны. Что она, здорова ли? — что велела передать мне?..

Тушин молча подал ему записку. Марк пробежал ее глазами, сунул небрежно в карман пальто, потом снял фуражку и начал пальцами драть голову, одолевая не то неловкость своего положения перед Тушиным, не то ощущение боли, огорчения или злой досады.

— Вы... всё знаете? — спросил он.

— Позвольте не отвечать на этот вопрос, а спросить вас: скажете вы что-нибудь в ответ?

«Стану я тебе давать ответ! — подумал Марк,— не дам!»

— Ничего не скажу,— холодно отвечал он вслух.

— Но исполните, конечно, ее просьбу: не тревожить ее больше, не напоминать о себе... не писать, не посещать этих мест...

— Вам что за дело? Вы объявлены ее женихом, что спрашиваете?..

— Для этого не нужно быть женихом, а просто другом, чтоб исполнить поручение.

— Если буду писать и посещать — тогда что? — запальчиво заговорил Волохов, как будто напрашиваясь на дерзость.

— Не знаю, как примет это Вера Васильевна. Если опять даст мне новое поручение, я опять сделаю, что ей будет нужно.

— Какой вы послушный и почтительный друг! — сказал с злой иронией Марк.

Тушин поглядел на него с минуту серьезно.

— Да, вы правы, я такой друг ей... Не забывайте, господин Волохов,— прибавил он,— что вы говорите не с Тушиным теперь, а с женщиной. Я стал в ее положение и не выйду из него, что бы вы ни сказали. Я думал, что и для вас довольно ее жела-

ния, чтобы вы не беспокоили ее больше. Она только что поправляется от серьезной болезни...

Марк молча ходил взад и вперед по лужайке и, при последних словах, подошел к Тушину.

— Что с ней было? — спросил он почти мягко.

Тушин молчал.

— Извините меня, я горячусь, знаю, что это глупо! Но ведь вы видите, что и я — как в горячке.

— Очень жалею; стало быть, вам самим нужен покой... Вы дадите какой-нибудь ответ на эту записку?

Марку не хотелось отвечать ему.

— Я сам отвечу, напишу...

— Она положительно отказывается от этого — и я могу дать вам слово, что она не может поступить иначе... Она больна — и ее здоровье требует покоя, а покой явится, когда вы не будете напоминать о себе. Я передаю, что мне сказано, и говорю то, что видел сам...

— Послушайте, вы ей желаете добра? — начал Волохов.

— Конечно.

— Вы видите, что она меня любит, она вам сказала...

— Нет, этого я не вижу, и она мне не говорила о любви, а дала вот эту записку и просила подтвердить, что она не может и не желает более видеться с вами и получать писем.

— Какая нелепость — мучаться и мучать другого! — сказал Марк, вскапывая ногой свежую, нанесенную только утром землю около дерева.— Вы могли бы избавить ее от этой пытки, от нездоровья, от упадка сил... от всего — если вы... друг ей! Старуха сломала беседку, но не страсть: страсть сломает Веру... Вы же сами говорите, что она больна...

— Я не говорил, что она больна от страсти...

— От чего же расстроена?

— От того, что вы пишете к ней, ждете в беседке, грозите прийти сами. Она не переносит этого — и только это поручила передать.

— Она только говорит так, а сама...

— Она говорит всегда правду.

— Почему она дала это поручение вам? — вдруг спросил Марк.

Тушин молчал.

— Она вам доверяет, стало быть вы можете объяснить ей, как дико противиться счастью. Ведь она не найдет его там, у себя... Вы посоветовали бы ей не мучать себя и другого и постарались бы поколебать эту бабушкину мораль... Притом я предлагаю ей...

— Если б вы умели понять ее,— остановил его Тушин,— то давно бы знали, что она из тех, кому «объяснять» нечего и «советовать» нельзя. А колебать «бабушкину мораль» я не нахожу нужным, потому что разделяю эту мораль.

— Вот как! Вы удивительный дипломат, отлично исполняете поручения! — раздражительно сказал Марк.

Тушин молчал, наблюдая за ним и покойно ожидая, что он, волей или неволей, а даст ответ.

Это молчаливое спокойствие бесило Марка. Сломанная беседка и появление Тушина в роли посредника показали ему, что надежды его кончаются, что Вера не колеблется больше, что она установилась на своем намерении не видеться с ним никогда.

В него тихо проникло ядовитое сознание, что Вера страдает действительно не от страсти к нему,— иначе она не открылась бы бабушке, и еще менее Тушину. Он знал и прежде ее упрямство, которого не могла сломать даже страсть, и потому почти с отчаянием сделал последнюю уступку, решаясь жениться и остаться еще на неопределенное время, но отнюдь не навсегда, тут в этом городе, а пока длится его страсть. Он верил в непогрешимость своих понятий о любви и предвидел, что рано или поздно она кончится для обоих одинаково, что они будут «виснуть один другому на шею, пока виснется», а потом...

Он отдалялся от этого «потом», надеясь, что со временем Вера не устоит и сама на морали бабушки, когда настанет охлаждение.

Теперь и эта его жертва — предложение жениться — оказалась напрасною. Ее не приняли. Он не опасен, и даже не нужен больше. Его отсылают. Он терпел в эту минуту от тех самых мучений, над которыми издевался еще недавно, не веря им. «Нелогично!» — думал он.

— Я не знаю, что я сделаю,— сказал он все еще гордо,— и не могу дать ответа на ваше дипломатическое поручение. В беседку, конечно, не приду, потому что ее нет...

— И писем не будете писать,— давал за него ответ Тушин,— потому что их не передадут. В дом тоже не придете — вас не примут...

— Кто: вы? — злобно отозвался Марк,— что же вы, стеречь станете?

— Стану, если Вера Васильевна захочет. Впрочем, здесь есть хозяйка дома и... люди. Но я полагаю, что вы сами не нарушите приличий и спокойствия женщины...

— Черт знает, что за нелепость! — рычал Марк,— выдумали люди себе кандалы... лезут в мученики...

Ему все еще хотелось удержаться в позиции и удалиться с некоторым достоинством, сохраняя за собой право не давать ответа. Но Тушин уже знал, что другого ответа быть не может. Марк чувствовал это и стал отступать постепенно.

— Я еду скоро,— сказал он,— через неделю... Не может ли Вера... Васильевна видеться со мной на одну минуту?..

— Не может положительно: она больна.

— Лечат, что ли, ее?

— Ей одно лекарство: чтоб вы не напоминали о себе...

— Я ведь не совсем доверяю вам,— едко перебил Марк,— вы, кажется... неравнодушны к ней — и...

Тушин опять покачал ель, но молчал. Он входил в положение Марка и понимал, какое чувство горечи или бешенства должно волновать его, и потому не отвечал злым чувством на злобные выходки, сдерживая себя, а только тревожился тем, что Марк, из гордого упрямства, чтоб не быть принуждену уйти, или по остатку раздраженной страсти, еще сделает попытку написать или видеться и встревожит Веру. Ему хотелось положить совсем конец этим покушениям.

— Если мне не верите — то у вас есть доказательство,— сказал он.

— Расписка — да. Это ничего не значит. Страсть — это море. Сегодня буря, завтра штиль... Может быть, уж она теперь жалеет, что послала вас...

— Не думаю; она бы предвидела это и не послала бы. Вы, как я вижу, вовсе не знаете ее. Впрочем, я передал вам все — и вы, конечно, уважите ее желания... Я не настаиваю более на ответе...

— Ответа никакого! Я уеду...

— Это именно тот ответ, который нужен ей...

— Не ей, а вам, да, может быть, романтику Райскому и старухе...

— Да, пожалуй, и нам, и — может быть — целому городу! Я позволю себе только поручиться Вере Васильевне, что ответ ваш будет вами буквально исполнен. Прощайте.

— Прощайте... рыцарь...

— Что? — спросил, немного нахмурившись, Тушин.

Марк, бледный, смотрел в сторону. Тушин дотронулся до фуражки и ушел, а Марк все еще стоял на месте.

XVII

Он злился, что уходит неловко, неблаговидно, хуже, чем он пророчил когда-то Райскому, что весь роман его кончается обрывом, из которого ему надо уходить не оглядываясь, что вслед ему не послано не только сожаления, прощального слова, но его будто выпроваживают, как врага, притом слабого, от которого избавит неделя-другая разлуки, да соседняя гора, за которую он перевалится.

Отчего все это? «Он ни в чем не виноват!» А ему отказывают в последнем свидании,— очевидно, не из боязни страстного искушения, а как будто грубой обиды, выбирают посредником другого!

И этот другой командует властью Веры, не выходя из границ приличий, выпроваживает его осторожно, как выпроваживают буйного гостя или вора, запирая двери, окна и спу-

ская собаку. Он намекнул ему о хозяйке дома, о людях... чуть не о полиции.

В этом, пожалуй, он был сам виноват (снисходительно обвинял Марк себя), усвоив условия и формы общежития, которые он называл свободными и разумными, презирая всяким принятым порядком, и которые город этот не признавал такими.

Не оттого ли Вера теперь будто стыдится своей страсти, отчаявшись перевоспитать его, и отделывается от него заочно, через других, как отделываются от дурного знакомства, сделанного случайно или нечаянно?

И этот посредник, несмотря на резкие вызовы, очевидно сдерживался, боясь, не опасности конечно, а тоже скандальной, для Веры и для него самого, сцены — с неприличным человеком. И ко всему этому нужно было еще дать ответ! А ответ один: другого ответа и нет и нельзя дать, кроме того, какой диктовал ему этот «рыцарь» и «дипломат», унизивший его холодной вежливостью на все его задиранья. Марк, как ни ускользал, а дал ответ!

Но как бы Вера ни решила, все же, в память прошлого, она должна была... хоть написать к нему свое решительное письмо — если больна и вынести свидания не может. Пусть охладился пыл страсти, но она дружески могла проститься с ним, подтвердила бы ему, что не мирится с бездной неизвестности впереди, с его миросозерцанием,— и они разошлись бы, уважая друг друга. А она отсылает его — не с уважением, а как будто не удостоивает досказать последние слова, как будто он сделал что-нибудь такое... В чем он виноват? Он стал припоминать последнее свидание — и не нашел за собой ничего...

Он прав, во всем прав: за что же эта немая и глухая разлука? Она не может обвинить его в своем «падении», как «отжившие люди» называют это... Нет! А теперь он пошел на жертвы до самоотвержения, бросает свои дела, соглашается... венчаться! За что же этот нож, лаконическая записка, вместо дружеского письма, посредник — вместо самой себя?

Да — это нож, ему больно. Холод от мозга до пят охватил его. Но какая рука вонзила нож? Старуха научила? нет — Вера не такая, ее не научишь! Стало быть, сама. Но за что, что он сделал?

Марк медленно шел к плетню, вяло влез на него и сел, спустив ноги, и не прыгал на дорогу, стараясь ответить себе на вопрос: «Что он сделал?»

Он припомнил, как в последнем свидании «честно» предупредил ее. Смысл его слов был тот: «Помни, я все сказал тебе вперед, и если ты, после сказанного, протянешь руку ко мне — ты моя: но ты и будешь виновата, а не я...»

— Это логично! — сказал он почти вслух — и вдруг будто около него поднялся из земли смрад и чад. Он соскочил с плетня на дорогу, не оглядываясь, как тогда...

Далее, он припомнил, как он, на этом самом месте, покидал ее одну, повисшую над обрывом в опасную минуту. «Я уйду»,— говорил он ей («честно») и уходил, но оборотился, принял ее отчаянный нервный крик *прощай* за призыв — и поспешил на зов...

Этот первый ответ на вопрос: «что он сделал», как молот, ударил его в голову.

Он пошел с горы, а нож делал свое дело и вонзался все глубже и глубже. Память беспощадно проводила перед ним ряд недавних явлений.

«Нечестно венчаться, когда не веришь!»— гордо сказал он ей, отвергая обряд и «бессрочную любовь» и надеясь достичь победы без этой жертвы, а теперь предлагает тот же обряд! Не предвидел! Не оценил вовремя Веру, отвергнул, гордо ушел... и оценил через несколько дней!

«Вот что ты сделал!» — опять стукнул молот ему в голову.

«Из логики и честности,— говорило ему отрезвившееся от пьяного самолюбия сознание,— ты сделал две ширмы, чтоб укрываться за них с своей «новой силой», оставив бессильную женщину разделываться за свое и за твое увлечение, обещав ей только одно: «Уйти, не унося с собой никаких «долгов», «правил» и «обязанностей»... оставляя ее нести их одну...»

«Ты не пощадил ее «честно», когда она падала в бессилии, не сладил потом «логично» с страстью, а пошел искать удовлетворения ей, поддаваясь «нечестно» отвергаемому твоим «разумом» обряду, и впереди заботливо сулил — одну разлуку! Манил за собой и... договаривался! Вот что ты сделал!»— стукнул молот ему в голову еще раз.

«Волком» звала она тебя в глаза, «шутя»,— стучал молот дальше,— теперь, не шутя, заочно, к хищничеству волка — в памяти у ней останется ловкость лисы, злость на все лающей собаки, и не останется никакого следа — о человеке! Она вынесла из обрыва — одну казнь, одно неизлечимое терзание на всю жизнь: как могла она ослепнуть, не угадать тебя давно, увлечься, забыться!.. Торжествуй, она никогда не забудет тебя!»

Он понял все: ее лаконическую записку, ее болезнь — и появление Тушина на дне обрыва, вместо ее самой.

Козлов видел его и сказал Райскому, что теперь он едет на время в Новгородскую губернию, к старой тетке, а потом намерен проситься опять в юнкера, с переводом на Кавказ.

XVIII

Райский проговорил целый вечер с Тушиным. Они только теперь начали вглядываться друг в друга пристальнее и разошлись оба с желанием познакомиться короче, следовательно сделали друг на друга благоприятное впечатление.

Вечером Тушин звал Райского к себе на неделю погостить, посмотреть его лес, как работает у него машина на паровом пильном заводе, его рабочую артель, вообще все лесное хозяйство.

Райскому хотелось докончить портрет Веры, и он отклонил было приглашение. Но на другой день, проснувшись рано, он услыхал конский топот на дворе, взглянул в окно и увидел, что Тушин уезжал со двора на своем вороном коне. Райского вдруг потянуло за ним.

— Иван Иванович! — закричал он в форточку,— и я с вами! Можете подождать четверть часа, пока я оденусь?

— Очень рад! — отозвался Тушин, слезая с лошади,— не торопитесь, я подожду хоть час!

Он пошел к Райскому. Татьяна Марковна и Вера услыхали их разговор, поспешили одеться и позвали обоих пить чай, причем, конечно, Татьяна Марковна успела задержать их еще на час и предложила проект такого завтрака, что они погрозили уехать в ту же минуту, если она не ограничится одним бифштексом. Бифштексу предшествовала обильная закуска, а вслед за бифштексом явилась рыба, за рыбою жареная дичь. Дело доходило до пирожного, но они встали из-за стола и простились — ненадолго.

Райскому оседлали лошадь, а сзади их Татьяна Марковна отправила целую тележку с гостинцами Анне Ивановне. И оба, вместо осьми часов, как хотели, едва выбрались из дома в десять и в половине одиннадцатого сели на паром Тушина.

Иван Иванович в разговорах с Татьяной Марковной, с Райским и потом по приезде домой — был тих, сосредоточен, часто молчалив.

О Вере не произнесли ни слова, ни тот, ни другой. Каждый знал, что тайна Веры была известна обоим, и от этого им было неловко даже произносить ее имя. Кроме того, Райский знал о предложении Тушина и о том, как он вел себя и какая страдательная роль выпала ему на долю во всей этой драме.

С этой минуты, как он узнал это, все ревнивые его предубеждения к Тушину исчезли, уступив место, сначала любопытному наблюдению, а потом, когда Вера рассказала ему все, и участию, уважению, даже удивлению к нему.

Удивление это росло по мере того, как Райский пристальнее изучал личность этого друга Веры. И в этом случае фантазия сослужила ему обычную службу, осветив Тушина ярко, не делая из него, впрочем, никакого романтического идеала: личность была слишком проста для этого, открыта и не романтична.

Пробыв неделю у Тушина в Дымке, видя его у него, дома, в поле, в лесу, в артели, на заводе, беседуя с ним по ночам до света у камина, в его кабинете — Райский понял вполне Тушина, многому дивился в нем, а еще более дивился глазу и чув-

ству Веры, угадавшей эту простую, цельную фигуру и давшей ему в своих симпатиях место рядом с бабушкой и с сестрой.

Симпатия эта устояла даже в разгаре посторонней страсти, болезни-страсти, которая обыкновенно самовластно поглощает все другие пристрастия и даже привязанности. А в ней дружба к Тушину и тогда сохранила свою свежесть и силу. Это одно много говорило в его пользу.

Она инстинктивно чувствовала, что его сила, которую она отличила и полюбила в нем,— есть общечеловеческая сила, как и любовь ее к нему была — не исключительное, не узкое пристрастие, а тоже общечеловеческое чувство.

Не полюбила она его страстью,— то есть физически: это зависит не от сознания, не от воли, а от какого-то нерва (должно быть, самого глупого, думал Райский, отправляющего какую-то низкую функцию, между прочим влюблять), и не как друга только любила она его, хотя и называла другом, но никаких последствий от дружбы его для себя не ждала, отвергая, по своей теории, всякую корыстную дружбу, а полюбила только как «человека» и так выразила Райскому свое влечение к Тушину в первом свидании с ним, то есть как к «человеку» вообще.

Райский поверял наблюдением над ним все, что слышал от Веры — и все оправдывалось, подтверждалось — и анализ Райского, так услужливо разоблачавший ему всякие загадочные или прикрытые лоском и краской стороны, должен был уступить место естественному влечению к этой простой, открытой личности, где не было почти никакого «лоска» и никакой «краски».

Это был чистый самородок, как слиток благородного металла, и полюбить его действительно можно было, кроме корыстной или обязательной любви, то есть какою могли любить его жена, мать, сестра, брат,— еще как человека.

Глядя на него, слушая его, видя его деятельность, распоряжения по хозяйству, отношения к окружающим его людям, к приказчикам, крестьянам — ко всем, кто около него был, с кем он соприкасался, с кем работал или просто говорил, жил вместе, Райский удивлялся до наивности каким-то наружно будто противоположностям, гармонически уживавшимся в нем: мягкости речи, обращения — с твердостью, почти методическою, намерений и поступков, ненарушимой правильности взгляда, строгой справедливости — с добротой, тонкой, природной, а не выработанной гуманностью, снисхождением,— далее, смеси какого-то трогательного недоверия к своим личным качествам, робких и стыдливых сомнений в себе — с смелостью и настойчивостью в распоряжениях, работах, поступках, делах.

В нем крылась бессознательная, природная, почти непогрешительная система жизни и деятельности. Он как будто не знал, что делал, а выходило как следует, как сделали бы десятки приготовленных умов путем размышления, науки, труда.

Райский вспомнил первые впечатления, какие произвел на него Тушин, как он счел его даже немного ограниченным, каким сочли бы, может быть, его, при первом взгляде, и другие, особенно так называемые «умники», требующие прежде всего внешних признаков ума, его «лоска», «красок», «острия», обладающие этим сами, не обладая часто тем существенным материалом, который должен крыться под лоском и краской.

Теперь, наблюдая Тушина ближе и совершенно бескорыстно, Райский решил, что эта мнимая «ограниченность» есть не что иное, как равновесие силы ума с суммою тех качеств, которые составляют силу души и воли, что и то, и другое, и третье слито у него тесно одно с другим и ничто не выдается, не просится вперед, не сверкает, не ослепляет, а тянет к себе медленно, но прочно.

С умом у него дружно шло рядом и билось сердце — и все это уходило в жизнь, в дело, следовательно и воля у него была послушным орудием умственной и нравственной сил.

Жизнь его совершала свой гармонический ход, как будто разыгрывалось стройное музыкальное произведение, под управлением данных ему природою сил.

Заслуги мучительного труда над обработкой данного ему, почти готового материала — у него не было и нет, это правда. Он не был сам творцом своего пути, своей судьбы; ему, как планете, очерчена орбита, по которой она должна вращаться; природа снабдила ее потребным количеством тепла и света, дала нужные свойства для этого течения — и она идет неуклонно по начертанному пути.

Так. Но ведь не планета же он в самом деле — и мог бы уклониться далеко в сторону. Стройно действующий механизм природных сил мог бы расстроиться — и от внешних притоков разных противных ветров, толчков, остановок, и от дурной, избалованной воли.

А у него этого разлада не было. Внутреннею силою он отражал внешние враждебные притоки, а свой огонь горел у него неугасимо, и он не уклоняется, не изменяет гармонии ума с сердцем и с волей — и совершает свой путь безупречно, все стоит на той высоте умственного и нравственного развития, на которую, пожалуй, поставили его природа и судьба, следовательно, стоит почти бессознательно.

Но ведь сознательное достижение этой высоты — путем мук, жертв, страшного труда всей жизни над собой — безусловно, без помощи посторонних, выгодных обстоятельств, дается так немногим, что — можно сказать — почти никому не дается, а между тем как многие, утомясь, отчаявшись или наскучив битвами жизни, останавливаются на полдороге, сворачивают в сторону и, наконец, совсем теряют из вида задачу нравственного развития и перестают верить в нее.

А Тушин держится на своей высоте и не сходит с нее. Дан-

ный ему талант — быть человеком — он не закапывает, а пускает в оборот, не теряя, а только выигрывая от того, что создан природою, а не сам сделал себя таким, каким он есть.

«Нет, это не ограниченность в Тушине,— решал Райский,— это — красота души, ясная, великая! — Это само благодушие природы, ее лучшие силы, положенные прямо в готовые, прочные формы. Заслуга человека тут — почувствовать и удержать в себе эту красоту природной простоты и уметь достойно носить ее, то есть ценить ее, верить в нее, быть искренним, понимать прелесть правды и жить ею — следовательно, ни больше, ни меньше, как иметь сердце и дорожить этой силой, если не выше силы ума, то хоть наравне с нею.

А пока люди стыдятся этой силы, дорожа «змеиной мудростью» и краснея «голубиной простоты», отсылая последнюю к наивным натурам, пока умственную высоту будут предпочитать нравственной, до тех пор и достижение этой высоты немыслимо, следовательно немыслим и истинный, прочный, человеческий прогресс.

Послушать, так нужная степень нравственного развития у всех уже есть, как будто каждый уже достиг его и носит у себя в кармане, как табакерку, что это «само собой разумеется», что об этом и толковать нечего. Все соглашаются, что общество существовать без этого не может, что гуманность, честность, справедливость — суть основные законы и частной, и общественной жизни, что «честность, честности, честностью» и т. д.

— И все ложь! — говорил Райский.— В большинстве нет даже и почина нравственного развития, не исключая иногда и высокоразвитые умы, а есть несколько захваченных, как будто на дорогу в обрез денег — правил (а не принципов) и внешних приличий, для руководства,— таких правил, за несоблюдение которых выводят вон или запирают куда-нибудь.

У большинства есть decorum [1] принципов, а сами принципы шатки и редки, и украшают, как ордена, только привилегированные, отдельные личности. «У него есть правила!» — отзываются таким голосом о ком-нибудь, как будто говорят: «У него есть шишка на лбу!»

И — пожалуй — засмеялись бы над тем, кто вздумал бы серьезно настаивать на необходимости развития и разлития правил в общественной массе и обращении их в принципы — так же настоятельно и неотложно, как, например, на необходимости неотложного построения железных дорог. И тут же не простили бы ему малейшего упущения в умственном развитии: если б он осмелился не прочесть последнего французского или английского наделавшего шуму увража, не знал бы какой-нибудь новейшей политико-экономической аксиомы, последнего фазиса в политике или важного открытия в физике!

---

[1] Видимость (*лат.*).

«Уменье жить» ставят в великую заслугу друг другу, то есть уменье «казаться», с правом в действительности «не быть» тем, чем надо быть. А уменьем жить называют уменье — ладить со всеми, чтоб было хорошо и другим, и самому себе, уметь таить дурное и выставлять, что годится,— то есть приводить в данный момент нужные для этого свойства в движение, как трогать клавиши, большей частию не обладая самой музыкой.

Тушин жил, не подозревая, что умеет жить, как мольеровский bourgeois-gentilhomme [1] не подозревал, что «говорит прозой», и жил одинаково, бывало ли ему от того хорошо или нехорошо. Он был «человек», как коротко и верно определила его умная и проницательная Вера.

Все это думал Райский, едучи с Тушиным в коляске обратно домой, после шестидневного пребывания в его лесной усадьбе. «Тушины — наша истинная «партия действия», наше прочное «будущее», которое выступит в данный момент, особенно когда все это,— оглядываясь кругом на поля, на дальние деревни, решал Райский,— когда все это будет *свободно*, когда все миражи, лень и баловство исчезнут, уступив место настоящему «делу», множеству «дела» у всех,— когда с миражами исчезнут и добровольные «мученики», тогда явятся, на смену им, «работники», «Тушины» на всей лестнице общества...»

По впечатлительной натуре своей он пристрастился к этой новой, простой, мягкой и вместе сильной личности. Он располагал пробыть в «Дымке» и долее. Ему хотелось вникнуть в порядок хозяйственного механизма Тушина. Он едва успел заметить только наружный порядок, видеть бросающиеся в глаза результаты этого хозяйства, не успев вникнуть в самый процесс его отправления.

В деревне он не заметил пока обыкновенных и повсюдных явлений: беспорядка, следов бедного крестьянского хозяйства, изб на курьих ножках, куч навоза, грязных луж, сгнивших колодцев и мостиков, нищих, больных, пьяных, никакой распущенности.

Когда Райский выразил Тушину удивление и удовольствие, что все строения глядят, как новые, свежо, чисто, даже ни одной соломенной кровли нет, Тушин, в свою очередь, удивился этому удивлению.

— И видно, что вы не деревенский житель, не хозяин,— заметил он,— лесная усадьба и село, а крыши соломенные — это даже невыгодно! Лес свой, как же избам разваливаться!

Нехозяйский глаз Райского не мог оценить вполне всей хозяйственности, водворенной в имении Тушина. Он заметил мимоходом, что там было что-то вроде исправительной полиции для разбора мелких дел у мужиков да заведения вроде банка, больницы, школы.

[1] Мещанин во дворянстве (*франц.*).

Тушин многое скрадывал, совестясь «докучать» гостю своими делами, и спешил показать ему, как артисту, лес, гордясь им, как любимым делом.

Вид леса в самом деле поразил Райского. Он содержался, как парк, где на каждом шагу видны следы движения, работ, ухода и науки. Артель смотрела какой-то дружиной. Мужики походили сами на хозяев, как будто занимались своим хозяйством.

— Ведь они у меня, и свои и чужие, на жалованье,— отвечал Тушин на вопрос Райского: «Отчего это?» Пильный завод показался Райскому чем-то небывалым, по обширности, почти по роскоши строений, где удобство и изящество делали его похожим на образцовое английское заведение. Машины из блестящей стали и меди были в своем роде образцовыми произведениями.

Сам Тушин там показался первым работником, когда вошел в свою технику, во все мелочи, подробности, лазил в машину, осматривая ее, трогая рукой колеса.

Райский с удивлением глядел, особенно когда они пришли в контору на заводе и когда с полсотни рабочих ввалились в комнату, с просьбами, объяснениями обступили Тушина.

Он, пробившись с ними около часа, вдруг сконфузился, что бросил гостя, и вывел его из толпы, извиняясь за эти дрязги, и повез показывать красивые места.

Райский так увлекся всей этой новостью дела, личностей, этим заводом, этими массами лесного материала, отправлявшегося по водам до Петербурга и за границу, что решил остаться еще неделю, чтобы изучить и смысл, и механизм этого большого дела.

Однако ему не удалось остаться долее. Татьяна Марковна вызвала его письмом, в котором звала немедленно приехать, написав коротко, что «дело есть».

Тушин напросился ехать с ним, «проводить его», как говорил он, а в самом деле узнать, зачем вызвала Татьяна Марковна Райского: не случилось ли чего-нибудь нового с Верой и не нужен ли он ей опять? Он с тревогой припоминал свидание свое с Волоховым и то, как тот невольно и неохотно дал ответ, что уедет.

«Уехал ли? не написал ли опять к ней? не встревожил ли?»— мучился Тушин, едучи в город.

Райский, воротясь домой, прежде всего побежал к Вере и, под влиянием свежего впечатления, яркими красками начертил ей портрет Тушина во весь рост и значение его в той сфере, где он живет и действует, и вместе свое удивление и рождающуюся симпатию.

В этой простой русской, практической натуре, исполняющей призвание хозяина земли и леса, первого, самого дюжего работника между своими работниками, и вместе распорядителя

и руководителя их судеб и благосостояния, он видел какого-то заволжского Роберта Овена! [1]

— А ты мне так мало говорила о его деятельности!..— заключил он.

Вера с радостью слушала Райского; у ней появился даже румянец. Самая торопливость его передать ей счастливое впечатление, какое сделал на него «медведь» и его берлога, теплый колорит, в который Райский окрасил фигуру Тушина, осмыслив его своим метким анализом, яркая картина быта, хозяйства, нравов лесного угла, всей местности — все это почти увлекло и Веру.

Она не без гордости видела в этом очерке Райского косвенную похвалу и себе, за то, что тонко оценила и умела полюбить в Тушине — правду простой натуры.

— Брат,— сказала она,— ты рисуешь мне не Ивана Ивановича: я знаю его давно,— а самого себя. Лучше всего то, что сам не подозреваешь, что выходит недурно и твой собственный портрет. И меня тут же хвалишь, что угадала в Тушине человека! Но это нетрудно! Бабушка его тоже понимает и любит, и все здесь...

Она вздохнула, сокрушаясь, кажется, про себя, что не любит его больше, иначе...

Он хотел сказать что-то в ответ, но за ним прислала бабушка и немедленно потребовала его к себе.

— Скажи, пожалуйста, Вера,— спохватился вдруг Райский,— зачем она вызвала меня?..

— Не знаю, что-то есть. Она мне не говорит, а я не спрашиваю, но вижу. Боюсь, не опять ли там что-нибудь!..— прибавила Вера, внезапно охлаждаясь и переходя от дружеского тона к своей грустной задумчивости.

В то время как Райский уходил от нее, Тушин прислал спросить ее, может ли он ее видеть. Она велела просить.

XIX

Бабушка выслала Пашутку и заперла дверь кабинета, когда пришел Райский. Сама она была очевидно расстроена. Райский испугался.

— Не случилось ли чего-нибудь неприятного, бабушка? — спросил он, садясь против нее.

— Что должно было случиться, то и случилось,— печально сказала она, глядя в сторону.

— Скажите скорей, я — как на иголках!

— Старый вор Тычков отмстил нам с тобой! Даже и обо мне где-то у помешанной женщины откопал историю... Да

---

[1] Роберт Оуэн (1771—1858) — английский социалист-утопист.

ничего не вышло из того... Люди к прошлому равнодушны,— а я сама одной ногой в гробу и о себе не забочусь. Но Вера...

Она вздохнула.

— Что такое?

— Ее история перестает быть тайной... В городе ходят слухи...— шептала Татьяна Марковна с горечью.— Я сначала не поняла, отчего в воскресенье, в церкви, вице-губернаторша два раза спросила у меня о Вере — здорова ли она — и две барыни сунулись слушать, что я скажу. Я взглянула кругом — у всех на лицах одно: «Что Вера?» Была, говорю, больна, теперь здорова. Пошли расспросы, что с ней? Каково мне было отделываться, заминать! Все заметили...

— Ужели что-нибудь вышло наружу?

— Настоящая беда, слава богу, скрыта. Я вчера через Тита Никоныча узнала кое-что. Сплетня попадает не в того...

Бабушка отвернулась.

— В кого же?

— В Ивана Ивановича — это хуже всего. Он тут ни сном, ни духом не виноват... Помнишь, в день рождения Марфеньки,— он приезжал, сидел тут молча, ни с кем ни слова не сказал, как мертвый, и ожил, когда показалась Вера? Гости видели все это. И без того давно не тайна, что он любит Веру; он не мастер таиться. А тут заметили, что он ушел с ней в сад, потом она скрылась к себе, а он уехал... Знаешь ли, зачем он приезжал?

Райский сделал утвердительный знак головой.

— Знаешь? Ну,— вот теперь Вера да Тушин у всех на языке.

— Как же я тут попал? Вы говорите, что Тычков и меня припутал?

— А тебя приплела Полина Карповна! В тот вечер, как ты гулял поздно с Верой, она пошла искать тебя. Ты что-то ей наговорил — должно быть, на смех поднял — а она поняла по-своему и припутала и тебя! Говорит, что ты влюблен был в Веру, а она будто отбила, «извлекла» тебя из какой-то «пропасти», из обрыва, что ли! Только это и ладит. Что у вас там такое с ней было и о чем ты секретничал с Верой? Ты, должно быть, знал ее тайны и прежде, давно, а от бабушки прятал «ключи»! Вот что и вышло от этой вашей «свободы»!

Она вздохнула на всю комнату.

Райский сжал кулаки.

— Мало было этой старой чучеле! Завтра я ей дам такой сеанс...— сказал он с угрозой.

— Нашел на ком спрашивать! На нее нечего пенять, она смешна, и ей не поверили. А тот старый сплетник узнал, что Вера уходила, в рожденье Марфеньки, с Тушиным в аллею, долго говорила там, а накануне пропадала до ночи и после слегла,— и переделал рассказ Полины Карповны по-своему. «Не с Райским, говорит, она гуляла ночью и накануне, а с Ту-

шиным!..» От него и пошло по городу! Да еще там пьяная баба про меня наплела... Тычков все разведал...

Татьяна Марковна потупила взгляд в землю; у ней в лице показалась на минуту краска.

— А, это другое дело! — серьезно сказал Райский и начал в волнении ходить по комнате.— Ваш урок не подействовал на Тычкова, так я повторю его иначе...

— Что ты затеваешь? Боже тебя сохрани! Лучше не трогай! Ты станешь доказывать, что это неправда, и, пожалуй, докажешь. Оно и не мудрено, стоит только справиться, где был Иван Иванович накануне рожденья Марфеньки. Если он был за Волгой, у себя, тогда люди спросят, где же правда?.. с кем она в роще была? Тебя Крицкая видела на горе одного, а Вера была...

Татьяна Марковна опустила голову.

Райский бросился на кресло.

— Что же делать? — сказал он в тоске за Веру.

— Что бог даст! — в глубокой печали шептала Татьяна Марковна.— Бог судит людей через людей — и пренебрегать их судом нельзя! Надо смириться! Видно, мера еще не исполнилась!..

Опять глубокий вздох.

Райский ходил по кабинету. Оба молчали, сознавая каждый про себя затруднительное положение дела. Общество заметило только внешние признаки какой-то драмы в одном углу. Отчуждение Веры, постоянное поклонение Тушина, независимость ее от авторитета бабушки — оно знало все это и привыкло.

Но к этому прибавилось какое-то туманное пятно; суетливость Райского около Веры замечена уже была давно и даже дошла до слуха Ульяны Андреевны, которая и намекнула ему об этом в свидании. Крицкая тоже заметила и, конечно, не была скромна на этот счет. Почтительное поклонение Тушина замечали все, и не одна Татьяна Марковна прочила его в женихи Вере.

В городе вообще ожидали двух событий: свадьбы Марфеньки с Викентьевым, что и сбылось,— и в перспективе свадьбы Веры с Тушиным. А тут вдруг, против ожидания, произошло что-то непонятное. Вера явилась на минуту в день рождения сестры, не сказала ни с кем почти слова и скрылась с Тушиным в сад, откуда ушла к себе, а он уехал, не повидавшись с хозяйкой дома.

От Крицкой узнали о продолжительной прогулке Райского с Верой накануне семейного праздника. После этого Вера объявлена была больною, заболела и сама Татьяна Марковна, дом был назаперти, никого не принимали. Райский ходил, как угорелый, бегая от всех; доктора́ неопределенно говорили о болезни...

О свадьбе ни слуху ни духу. Отчего Тушин не делает предложения, или если сделал, отчего оно не принято? Падало подозрение на Райского, что он увлек Веру: тогда — отчего он не женится на ней? Общественное мнение неумолимо требовало на суд — кто прав, кто виноват — чтобы произнести свой приговор.

И Татьяна Марковна, и Райский — чувствовали тяжесть положения и боялись этого суда — конечно, за Веру. Вера не боялась, да и не знала ничего. Не до того ей было. Ее поглощала своя внутренняя тревога, ее язва — и она все силы свои устремила на ее утоление, и пока напрасно.

— Бабушка! — вдруг сказал Райский после долгого молчания,— прежде всего надо вам самим все сказать Ивану Ивановичу. Как он примет эту сплетню: он ее герой — он и судья, как решит — так и поступите. А его суда не бойтесь. Я теперь знаю его — он решит правильно. Вере он зла не пожелает; он ее любит — я видел это, хотя мы о ней ни слова не сказали. Он мучается ее участью больше, нежели своей. В нем разыгрывается двойная трагедия. Он и сюда приехал со мной, потому что растревожился вашим письмом ко мне... конечно, за нее. А потом уж я побываю у Полины Карповны, а может быть, повидаюсь и с Тычковым...

— Я не хочу, чтоб ты виделся с Тычковым!

— Бабушка, нельзя оставить!..

— Я не хочу, Борис! — сказала она так решительно и строго, что он наклонил голову и не возразил более ни слова.— Ничего хорошего из этого не выйдет. Ты сейчас придумал, что нужно сделать: да, сказать прежде всего Ивану Ивановичу, а потом увидим, надо ли тебе идти к Крицкой, чтобы узнать от нее об этих слухах и дать им другой толк или... сказать правду!— прибавила она со вздохом.— Посмотрим, как примет это Иван Иванович.— Попроси его ко мне, а Вере не говори ни слова. Она ничего не знает — и дай бог, чтоб не узнала!

Райский ушел к Вере, а к Татьяне Марковне, на смену ему, явился Тушин.

XX

Татьяна Марковна внутренно смутилась, когда Тушин переступил порог ее комнаты. Он, молча, с опущенными глазами, поздоровался с ней, тоже перемогая свою тревогу,— и оба в первую минуту не глядели друг на друга.

Им приходилось коснуться взаимной раны, о которой до сих пор не было намека между ними, хотя они взаимно обменивались знаменательными взглядами и понимали друг друга из грустного молчания. Теперь предстояло стать открыто лицом к лицу и говорить.

Оба молчали. Она пока украдкой взглядывала на него и замечала перемены, какие произошли в нем в эти две-три недели: как осанка у него стала не так горда и бодра, как тускло смотрит он в иные минуты, как стали медленны его движения. И похудел он, и побледнел.

— Вы от Веры теперь? — спросила она наконец.— Как вы нашли ее?

— Ничего... она, кажется, здорова... покойна...

Татьяна Марковна вздохнула.

— Какой покой! Ну, пусть уж она, а вам сколько беспокойства, Иван Иванович!— тихо проговорила она, стараясь не глядеть на него.

— Что мои беспокойства! Надо успокоить Веру Васильевну.

— Бог не дает, не судьба! Только стала оправляться она, и я было отдохнула от домашнего горя, пока оно крылось за стенами, а теперь перешло и за стены...

Тушин вдруг навострил уши, как будто услышал выстрел.

— Иван Иванович,— решительно заговорила Татьяна Марковна,— по городу сплетня ходит. Мы с Борюшкой погорячились и сорвали маску с лицемера Тычкова, вы знаете. Мне бы и не под лета, да он уж очень зазнался. Терпенья не было! Теперь он срывает маску с нас...

— С вас? С кого — с вас?

— Обо мне он что-то молол — его не слушали, я мертвая... а о Вере...

— О Вере Васильевне?

Тушин привстал.

— Садитесь, Иван Иваныч,— сказала Татьяна Марковна,— да, о ней. Может быть, так и надо... может быть, это — возмездие. Но тут припутали и вас...

— Меня, рядом с Верой Васильевной?

— Да, Иван Иванович,— и вот где истинное наказание!

— Позвольте же узнать, что говорят?

Татьяна Марковна передала ему слух.

— В городе заметили, что у меня в доме неладно; видели, что вы ходили с Верой в саду, уходили к обрыву, сидели там на скамье, горячо говорили и уехали, а мы с ней были больны, никого не принимали... вот откуда вышла сплетня!

Он молча слушал и хотел что-то сказать, она остановила его.

— Позвольте, Иван Иванович, кончить, это не все. Борис Павлыч... вечером, накануне дня рождения Марфеньки... пошел искать Веру...

Она остановилась.

— Что же дальше? — спросил Тушин нетерпеливо.

— За ним потащилась Крицкая; она заметила, что Борюшка взволнован... У него вырвались какие-то слова о Верочке... Полина Карповна приняла их на свой счет. Ей, конечно, не

поверили — знают ее — и теперь добираются правды, с кем была Вера, накануне рождения, в роще... Со дна этого проклятого обрыва поднялась туча и покрыла всех нас... и вас тоже.

— Что же про меня говорят?

— Что и в тот вечер, накануне, Вера была там, в роще, внизу, с кем-то... говорят — с вами.

Она замолчала.

— Что же вам угодно, чтоб я сделал? — спросил он покорно.

— Надо сказать, что было: правду. Вам теперь,— решительно заключила Татьяна Марковна,— надо прежде всего выгородить себя: вы были чисты всю жизнь, таким должны и остаться... А мы с Верой, после свадьбы Марфеньки, тотчас уедем в Новоселово, ко мне, навсегда... Спешите же к Тычкову и скажите, что вас не было в городе накануне и, следовательно, вы и в обрыве быть не могли...

Она замолчала и грустно задумалась. Тушин, сидя, согнулся корпусом вперед и, наклонив голову, смотрел себе на ноги.

— А если б я не так сказал?..— вдруг подняв голову, отозвался он.

— Как знаете, Иван Иванович, так и решайте. Что другое могли бы вы сказать?

— Я сказал бы Тычкову,— да не ему, я с ним и говорить не хочу, а другим,— что я был в городе, потому что это — правда: я не за Волгой был, а дня два пробыл у приятеля здесь — и сказал бы, что я был накануне... в обрыве — хоть это и неправда,— с Верой Васильевной... Прибавил бы, что... делал предложение и получил отказ, что это огорчило меня и вас, так как вы были — за меня, и что Вера Васильевна сама огорчилась, но что дружба наша от этого не расстроилась... Пожалуй, можно намекнуть на какую-нибудь отдаленную надежду... обещание подумать...

— То есть,— сказала Татьяна Марковна задумчиво,— сказать, что было сватовство, не сладилось... Да! если вы так добры... можно и так. Но ведь не отстанут после, будут ждать, спрашивать: скоро ли, когда? Обещание не век будет обещанием...

— Забудут, Татьяна Марковна, особенно если вы уедете, как говорите... А если не забудут... и вы с Верой Васильевной будете все тревожиться... то и принять предложение...— тихо досказал Тушин.

Татьяна Марковна изменилась в лице.

— Иван Иванович! — сказала она с упреком,— за кого вы нас считаете с Верой? Чтобы заставить молчать злые языки, заглушить не сплетню, а горькую правду,— для этого воспользоваться вашей прежней слабостью к ней и великодушием?

И потом, чтоб всю жизнь — ни вам, ни ей, не было покоя! Я не ожидала этого от вас!..

— Напрасно! никакого великодушия тут нет! А я думал, когда вы рассказывали эту сплетню, что вы затем меня и позвали, чтоб коротко и ясно сказать: «Иван Иванович, и ты тут запутан: выгороди же и себя и ее вместе!» Вот тогда я прямо, как Викентьев, назвал бы вас бабушкой и стал бы на колени перед вами. Да оно бы так и должно быть! — сказал он уныло.— Простите, Татьяна Марковна, а у вас дело обыкновенно начинается с старого обычая, с старых правил, да с справки о том, как было, да что скажут, а собственный ум и сердце придут после. Вот если б с них начать, тогда бы у вас этой печали не было, а у меня было бы меньше седых волос, и Вера Васильевна...

Он остановился, как будто опомнившись.

— Виноват! — вдруг понизив тон, перешедший в робость, сказал он.— Я взялся не за свое дело. Решаю и за Веру Васильевну,— а вся сила в ней!

— Вот видите, без моего «ума и сердца», сами договорились до правды, Иван Иванович! Мой «ум и сердце» говорили давно за вас, да не судьба! Стало быть, вы из жалости взяли бы ее теперь, а она вышла бы за вас — опять скажу — ради вашего... великодушия... Того ли вы хотите? Честно ли и правильно ли это и способны ли мы с ней на такой поступок? Вы знаете нас...

— И честно, и правильно, если она чувствует ко мне, что говорит. Она любит меня, как «человека», как друга: это ее слова,— ценит, конечно, больше, нежели я стою... Это большое счастье! Это ведь значит, что со временем... полюбила бы — как доброго мужа...

— Иван Иванович, вам-то что этот брак принес бы!.. сколько горя!.. Подумайте! Боже мой!

— Я не мешаюсь ни в чьи дела, Татьяна Марковна, вижу, что вы убиваетесь горем,— и не мешаю вам: зачем же вы хотите думать и чувствовать за меня? Позвольте мне самому знать, что мне принесет этот брак! — вдруг сказал Тушин резко.— Счастье на всю жизнь — вот что он принесет! А я, может быть, проживу еще лет пятьдесят! Если не пятьдесят, хоть десять, двадцать лет счастья!

Он почесал голову почти с отчаянием, что эти две женщины не понимают его и не соглашаются отдать ему в руки то счастье, которое ходит около него, ускользает, не дается и в которое бы он вцепился своими медвежьими когтями и никогда бы не выпустил вон.

А они не видят, не понимают, все еще громоздят горы, которые вдруг выросли на его дороге и пропали — их нет больше, он одолел их страшною силою любви и муки!

Ужели даром бился он в этой битве и устоял на ногах, не добыв погибшего счастья. Была одна только неодолимая гора: Вера любила другого, надеялась быть счастлива с этим дру-

гим — вот где настоящий обрыв! Теперь надежда ее умерла, умирает, по словам ее («а она никогда не лжет и знает себя», подумал он) — следовательно, ничего нет больше, никаких гор! А они не понимают, выдумывают препятствия!

«А их нет, нет, нет!» — с бешенством про себя шептал Тушин — и почти злобно смотрел на Татьяну Марковну.

— Татьяна Марковна! — заговорил он, вдруг опять взяв высокую ноту, горячо и сильно.— Ведь если лес мешает идти вперед, его вырубают, море переплывают, а теперь вон прорывают и горы насквозь, и все идут смелые люди вперед! А здесь ни леса, ни моря, ни гор — ничего нет: были стены и упали, был обрыв и нет его! Я бросаю мост чрез него и иду, ноги у меня не трясутся... Дайте же мне Веру Васильевну, дайте мне ее! — почти кричал он,— я перенесу ее через этот обрыв и мост — и никакой черт не помешает моему счастью и ее покою — хоть живи она сто лет! Она будет моей царицей и укроется в моих лесах, под моей защитой, от всяких гроз и забудет всякие обрывы, хоть бы их были тысячи!! Что это вы не можете понять меня!

Он встал, вдруг зажал глаза платком и в отчаянии начал ходить по комнате.

— Я-то понимаю, Иван Иванович,— тихо, сквозь слезы, сказала Татьяна Марковна, помолчав,— но дело не во мне...

Он вдруг остановился, отер глаза, провел рукой по своей густой гриве и взял обе руки Татьяны Марковны.

— Простите меня, Татьяна Марковна, я все забываю главное: ни горы, ни леса, ни пропасти не мешают — есть одно препятствие неодолимое: Вера Васильевна не хочет, стало быть — видит впереди жизнь счастливее, нежели со мной...

Изумленная, тронутая Татьяна Марковна хотела что-то возразить, он остановил ее.

— Виноват опять! — сказал он,— я не в ту силу поворотил. Оставим речь обо мне, я удалился от предмета. Вы звали меня, чтоб сообщить мне о сплетне, и думали, что это обеспокоит меня,— так? Успокойтесь же и успокойте Веру Васильевну, увезите ее,— да чтоб она не слыхала об этих толках! А меня это не обеспокоит!

Он усмехнулся.

— Эта нежность мне не к лицу. На сплетню я плюю, а в городе мимоходом скажу, как мы говорили сейчас, что я сватался и получил отказ, что это огорчило вас, меня и весь дом... так как я давно надеялся... *Тот* уезжает завтра или послезавтра навсегда (я уж справился) — и все забудется. Я и прежде ничего не боялся, а теперь мне нечем дорожить. Я все равно, что живу, что нет, с тех пор, как решено, что Вера Васильевна не будет никогда моей женой...

— Будет вашей женой, Иван Иванович,— сказала Татьяна Марковна, бледная от волнения,— если... то забудется, отой-

дет... (Он сделал нетерпеливый, отчаянный жест...) если этот обрыв вы не считаете бездной... Я поняла теперь только, как вы ее любите...

Она еще боялась верить слезам, стоявшим в глазах Тушина, его этим простым словам, которые возвращали ей всю будущность, спасали погибшую судьбу Веры.

— Будет? — повторил и он, подступив к ней широкими шагами, и чувствовал, что волосы у него поднимаются на голове и дрожь бежит по телу.— Татьяна Марковна! Не маните меня напрасной надеждой, я не мальчик! Что я говорю — то верно, но хочу, чтоб и то, что сказано мне — было верно, чтобы не отняли у меня потом! Кто мне поручится, что это будет, что Вера Васильевна... когда-нибудь...

— Бабушка поручится: теперь — это все равно, что она сама...

Тушин блеснул на нее благодарным взглядом и взял ее руку.

— Но погодите, Иван Иванович! — торопливо, почти с испугом, прибавила она и отняла руку, видя, как Тушин вдруг точно вырос, помолодел, стал, чем был прежде.— Теперь я — уж не как бабушка, а как женщина, скажу: погодите, рано, не до того ей! Она еще убита, дайте ей самой оправиться! Не тревожьте, оставьте ее надолго! Она расстроена, не перенесет... Да и не поймет вас, не поверит теперь вам, подумает, что вы в горячке, хотите не выпустить ее из рук, а потом одумаетесь. Дайте ей покой. Вы давеча помянули про мой ум и сердце; вот они мне и говорят: погоди! Да, я бабушка ей, а не затрону теперь этого дела, а вы и подавно... Помните же, что я вам говорю...

— Я буду помнить одно слово: «*будет*», и им пока буду жить. Видите ли, Татьяна Марковна, что сделало оно со мной, это ваше слово?..

— Вижу, Иван Иванович, и верю, что вы говорите не на ветер. Оттого и вырвалось у меня это слово; не принимайте его слишком горячо к сердцу — я сама боюсь...

— Я буду надеяться...— сказал он тише и смотрел на нее молящими глазами.— Ах, если б и я, как Викентьев, мог когда-нибудь сказать: «бабушка»!

Она сделала ему знак, чтоб он оставил ее, и когда он вышел, она опустилась в кресла, закрыв лицо платком.

XXI

На другой день Райский утром рано предупредил Крицкую запиской, что он просит позволения прийти к ней в половине первого часа, и получил ответ: «Charmée, j'attends» [1] и т. д.

[1] Очень рада, жду (*франц.*).

Шторы у ней были опущены, комнаты накурены. Она в белой кисейной блузе, перехваченной поясом, с широкими кружевными рукавами, с желтой далией на груди, слегка подрумяненная, встретила его в своем будуаре. Там, у дивана, накрыт был стол, и рядом стояли два прибора.

— Мой прощальный визит! — сказал он, кланяясь ей и останавливая на ней сладкий взгляд.

— Как прощальный! — с испугом перебила она,— я слушать не хочу! Вы едете теперь, когда мы... Не может быть! Вы пошутили: жестокая шутка! Нет, нет, скорей засмейтесь, возьмите назад ужасные слова!..

— Что это у вас? — радостно произнес он, вдруг уставив глаза на стол,— свежая икра!

Она сунула свою руку ему под руку и подвела к столу, на котором стоял полный, обильный завтрак. Он оглядывал одно блюдо за другим. В двух хрустальных тарелках была икра.

— Я знаю, что вы любите... да, любите...

— Икру? Даже затрясся весь, как увидал! А это что? — с новым удовольствием заговорил он, приподнимая крышки серебряных блюд, одну за другой.— Какая вы кокетка, Полина Карповна: даже котлетки без папильоток не можете кушать! Ах, и трюфли — *роскошь юных лет!* [1]— petit-fours, bouchées de dames! Ах! что вы хотите со мной делать? — обратился он к ней, потирая от удовольствия руки.— Какие замыслы у вас?

— Вот, вот чего я жду: этой улыбки, шутки, смеха — да! Не поминайте об отъезде. Прочь печаль! Vive l'amour et la joie [2].

«Эге! какой «abandon»! [3] — даже страшновато...» — подумал он опасливо.

— Садитесь, сядем рядом, сюда! — пригласила она и, взяв его за руку, усадила рядом с собой, шаловливо завесив его салфеткой, как делают с детьми и стариками.

Он машинально повиновался, с вожделением поглядывая на икру. Она подвинула ему тарелку, и он принялся удовлетворять утренний, свежий аппетит. Она сама положила ему котлетку и налила шампанского в граненый стакан, а себе в бокал, и кокетливо брала в рот маленькие кусочки пирожного, любуясь им.

После жареной дичи и двух стаканов шампанского, причем они чокались, глядя близко друг другу в глаза,— она лукаво и нежно, он — вопросительно и отчасти боязливо,— они наконец прервали молчание.

— Что вы скажете? — спросила она выразительно, будто ожидая чего-то особенного.

---

[1] Строка из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. 1, строфа XVI).
[2] Да здравствует любовь и веселье (*франц.*).
[3] Непринужденность! (*франц.*)

— Ах, какая икра! Я еще опомниться не могу!

— Вижу... вижу,— сказала она лукаво.— Снимите маску, полноте притворяться...

— Ах! — вздохнул он, отпивая из стакана.

— Enfin la glace est rompue? [1] На чьей стороне победа? Кто предвидел, кто предсказывал? A votre santé! [2]

— A la vôtre! [3]

Они чокнулись.

— Помните... тот вечер, когда «природа, говорили вы, празднует любовь...»

— Помню! — шепнул он мрачно,— он решил все!..

— Да, не правда ли? я знала! Могла ли удержать в своих слабых сетях бедная девочка... une nullité, cette pauvre petite fille, qui n'a que sa figure?.. [4] Ни опытности, ни блеска, дикая!..

— Нет, не могла! Я вырвался...

— И нашли то..., что давно искали: признайтесь!

Он медлил.

— Buvez — et du courage! [5]

Она придвинула ему стакан. Он допил его, она сейчас наполнила его опять.

— Признайтесь...

— Признаюсь.

— Что тогда случилось там... в роще?.. Вы были так взволнованы. Скажите... удар?..

— Да, удар и... разочарование.

— Могло ли быть иначе: вы — и она, деревенская девочка!

Она гордо оправилась, взглянула на себя в зеркало и выправила кружево на рукавах.

— Что же там было? — спросила она, стараясь придать небрежность тону.

— Это не моя тайна! — сказал он, будто опомнившись.

— Oh, je respecte les secrets de famille... [6] Пейте же!

Она придвинула стакан. Он отпил глотка два.

— Ах!— вздохнул он на всю комнату.— Нельзя ли отворить форточку?.. Мне тяжело, больно!

— Oh, je vous comprends! — Она бросилась отворять форточку.— Voilà des sels, du vinaigre de toilette... [7]

— Нет, благодарю! — говорил он, махая платком себе в лицо.

---

[1] Итак, лед сломан? (*франц.*)
[2] За ваше здоровье! (*франц.*)
[3] За ваше!
[4] Ничтожество, жалкая девочка, у которой нет ничего, кроме хорошенькой внешности? (*франц.*)
[5] Пейте — и смелей! (*франц.*)
[6] О, я уважаю семейные тайны (*франц.*).
[7] О, я вас понимаю! Вот соль, вот туалетный уксус (*франц.*).

— Как вы были тогда страшны! Я кстати подоспела, не правда ли? Может быть, без меня вы воротились бы в пропасть, на дно обрыва! Что там было, в роще?.. а?

— Ах, не спрашивайте!

— Buvez donc! [1]

Он лениво отпил глоток.

— Там, где я думал...— говорил он, будто про себя,— найти счастье... я услыхал...

— Что? — шепотом спросила она, притаив дыхание.

— Ах! — шумно вздохнул он,— отворить бы двери!

— Там был... Тушин — да?

Он молча кивнул головой и выпил глоток вина.

Злая радость наполнила черты ее лица.

— Dites tout [2].

— Она гуляла задумчиво одна...— тихо говорил он, а Полина Карповна, играя цепочкой его часов, подставляла свое ухо к его губам.— Я шел по ее следам, хотел наконец допроситься у ней ответа... она сошла несколько шагов с обрыва, как вдруг навстречу ей вышел...

— Он?

— Он.

— Я это знала, оттого и пошла в сад... О, я знала, qu'il y a du louche! [3] Что же он?

— Здравствуйте, говорит, Вера Васильевна! здоровы ли вы?..

— Лицемер! — сказала Крицкая.

— Она испугалась...

— Притворно!

— Нет, испугалась непритворно, а я спрятался — и слушаю. «Откуда вы? — спрашивает она,— как сюда попали?» — «Я, говорит, сегодня приехал на два дня, чтобы завтра, в день рожденья вашей сестры... Я выбрал этот день...»

— Eh bien? [4]

— Eh bien! «решите, говорит, Вера Васильевна: жить мне или нет!»

— Ou le sentiment va-t-il se nicher! [5] — в этом дубе! — заметила Полина Карповна.

— «Иван Иванович!» — сказала Вера умоляющим голосом. «Вера Васильевна! — перебил он,— решите, идти мне завтра к Татьяне Марковне и просить вашей руки или кинуться в Волгу?..»

— Так и сказал?

---

[1] Пейте же! (*франц.*)
[2] Говорите все (*франц.*).
[3] О, я знала, что здесь что-то кроется! (*франц.*)
[4] И что же? (*франц.*)
[5] И вот где прячется чувство! (*франц.*)

— Как напечатал!

— Mais il est ridicule! [1] что же она: «Ах, ох!»?

— «Нет, Иван Иванович, дайте мне (это она говорит) самой решить, могу ли я отвечать вам таким же полным, глубоким чувством, какое питаете вы ко мне. Дайте полгода, год срока, и тогда я скажу — или *нет*, или то *да*, какое...» Ах! какая духота у вас здесь! нельзя ли сквозного ветра? («не будет ли сочинять? кажется, довольно?» — подумал Райский и взглянул на Полину Карповну).

На лице у ней было полнейшее разочарование.

— C'est tout? [2] — спросила она.

— Oui! [3] — сказал он со свистом.— Тушин, однако, не потерял надежду, сказал, что на другой день, в рожденье Марфеньки, приедет узнать ее последнее слово, и пошел опять с обрыва через рощу, а она проводила его... Кажется, на другой день надежды его подогрелись, а мои исчезли навсегда...

— И все! А тут, бог знает, что наговорили... и про нее, и про вас! Не пощадили даже и Татьяну Марковну, эту почтенную, можно сказать, святую!.. Какие есть на свете ядовитые языки!.. Этот отвратительный Тычков...

— Что такое про бабушку? — спросил тихо Райский в свою очередь, притаив дыхание и навострив ухо.

Он слышал от Веры намек на любовь, слышал кое-что от Василисы, но у какой женщины не было своего романа? Что могли воскресить из праха за сорок лет? какую-нибудь ложь, сплетню? Надо узнать — и так или иначе — зажать рот Тычкову.

— Что такое про бабушку? — тихо и вкрадчиво повторил он.

— Ah, c'est dégoutant [4]. Никто не верит, все смеются над Тычковым, что он унизился расспрашивать помешавшуюся от пьянства нищую... Я не стану повторять...

— Я вас прошу...— нежно шептал он.

— Вы хотите? — шептала и она, склонясь к нему, — я все сделаю — все...

— Ну, ну?.. — торопил он.

— Эта баба — вон она тут на паперти у Успенья всегда стоит — рассказывала, что будто Тит Никоныч любил Татьяну Марковну, а она его...

— Я это знаю, слышал...— нетерпеливо перебил он,— тут еще беды нет...

— А за нее сватался покойный граф Сергей Иваныч...

— Знаю и это, она не хотела — он женился на другой, а ей не позволили выйти за Тита Никоныча. Вот и вся история. Ее Василиса знает...

---

[1] Но он смешон! (*франц.*)
[2] Это все? (*франц.*)
[3] Да! (*франц.*)
[4] Ах, гадость (*франц.*).

— Mais non![1] не все тут... Конечно, я не верю... это быть не может! Татьяна Марковна!

— Что же пьяная баба еще рассказывает? — допытывался Райский.

— Что... в одну ночь граф подстерег rendez-vous[2] Татьяны Марковны с Ватутиным в оранжерее... Но такое решительное rendez-vous... Нет, нет...— Она закатилась смехом.— Татьяна Марковна! Кто поверит!

Райский вдруг стал серьезно слушать. У него проснулись какие-то соображения в голове и захватило дух от этой сплетни.

— Дальше? — тихо спросил он.

— Граф дал пощечину Титу Никонычу...

— Это ложь! — вскочив с места, перебил Райский.— Тит Никоныч джентльмен... Он не вынес бы этого...

— И я говорю «ложь»! — проворно согласилась Крицкая.— Он и не вынес...— продолжала она,— он сбил с ног графа, душил его за горло, схватил откуда-то между цветами кривой, садовничий нож и чуть не зарезал его...

Райский изменился в лице.

— Ну? — спросил он, едва дыша от нетерпения.

— Татьяна Марковна остановила его за руку: «Ты, говорит, дворянин, а не разбойник — у тебя есть шпага!» и развела их. Драться было нельзя, чтоб не огласить ее. Соперники дали друг другу слово: граф — молчать обо всем, а тот — не жениться... Вот отчего Татьяна Марковна осталась в девушках... Не подло ли распускать такую... гнусную клевету!

Райский от волнения вздохнул всей грудью.

— Видите, что это... ложь! — сказал он,— кто мог видеть и слышать их?

— Садовник спал там где-то в углу и будто все видел и слышал. Он молчал, боялся, был крепостной... А эта пьяная баба, его вдова, от него слышала — и болтает... Разумеется, вздор — кто поверит! я первая говорю: ложь, ложь! эта святая, почтенная Татьяна Марковна!..— Крицкая закатилась опять смехом и вдруг сдержалась.— Но что с вами? Allons donc, oubliez tout! Vive la joie![3] — сказала она.— Что вы нахмурились? перестаньте. Я велю еще подать вина!

— Нет, нет, я боюсь...

— Чего, скажите!..— томно спросила она.

— Дурно сделается... я не привык пить! — сказал он и встал с места. И она встала.

— Прощайте, навсегда...

— Куда! Нет, нет!

— Я бегу от этих опасных мест, от обрывов, от пропастей!.. Прощайте, прощайте!..

---

[1] Да нет же! (*франц.*)

[2] Свидание (*франц.*).

[3] Забудьте все! Да здравствует веселье! (*франц.*)

Он схватил шляпу и быстро ушел. Она осталась, как окаменелая, потом проворно позвонила.

— Коляску мне! — сказала она вошедшей девушке,— и одеваться — я еду с визитами!

Райский вышел от нее, и все вылетело у него из головы: осталась — одна «сплетня»! Он чувствовал в рассказе пьяной бабы — в этой сплетне — истину...

У него в руках был ключ от прошлого, от всей жизни бабушки.

Ему ясно все: отчего она такая? откуда эта нравственная сила, практическая мудрость, знание жизни, сердца? отчего она так скоро овладела доверием Веры и успокоила ее, а сама так взволновалась? И Вера, должно быть, знает все...

Образ старухи стал перед ним во всей полноте.

Думая только дать другое направление слухам о Вере, о себе и о Тушине, он нечаянно наткнулся на забытую, но живую страницу своей фамильной хроники, другую драму, не опасную для ее героев — ей минула сорокалетняя давность, но глубоко поглотившую его самого.

Он понял теперь бабушку. Он вошел к ней с замирающим от волнения сердцем, забыл отдать отчет о том, как он передал Крицкой рассказ о прогулке Веры в обрыве, и впился в нее жадными глазами.

— Борюшка! — с изумлением сказала она, отступая от него,— что это, друг мой,— от тебя, как из бочки, вином разит...

Она посмотрела на него с минуту пристально, увидела этот его, вонзившийся в нее, глубоко выразительный взгляд, сама взглянула было вопросительно — и вдруг отвернулась к нему спиной.

Она поняла, что он узнал «сплетню» о ней самой.

XXII

Наконец совершилась и свадьба Марфеньки с Викентьевым, против общего ожидания, очень скромно. Приглашено было на нее только высшее общество города и несколько окрестных помещиков, что, однако, составило человек пятьдесят.

Венчали их в сельской церкви, после обедни в воскресенье, и потом гостям предложен был парадный завтрак в большой зале старого дома, которую перед тем за неделю мыли, чистили, скребли, чтоб отпировать в ней в последний раз.

Ни разливанного моря, ни разгоряченных лиц и развязных языков, ни радостных кликов не было. Пуще всего разочарована была дворня этой скромностью, хотя люди и успели напиться, но не до потери смысла, и по этой причине признали свадьбу невеселою.

Барыня обнаружила тут свою обычную предусмотрительность, чтобы не перепились ни кучера, ни повара, ни лакеи. Все они были нужны: одни готовить завтрак, другие служить при столе, а третьи — отвезти парадным поездом молодых и всю свиту до переправы через реку. Перед тем тоже было работы немало. Целую неделю возили приданое за Волгу: гардероб, вещи, множество ценных предметов из старого дома — словом, целое имущество.

Марфенька сияла, как херувим,— красотой, всей прелестью расцветшей розы, и в этот день явилась в ней новая черта, новый смысл в лице, новое чувство, выражавшееся в задумчивой улыбке и в висевших иногда на ресницах слезах.

Сознание новой жизни, даль будущего, строгость долга, момент торжества и счастья — все придавало лицу и красоте ее нежную, трогательную тень. Жених был скромен, почти робок; пропала его резвость, умолкли шутки, он был растроган. Бабушка задумчиво счастлива, Вера непроницаема и бледна.

Райский, с умилением брата, смотрел на невесту, и когда она вышла из своей комнаты, совсем одетая, он сначала ахнул от восторга, потом испугался, заметив в ее свадебном, померанцевом букете несколько сухих, увядших цветков.

— Что это? — спросил он торопливо, сам уже догадываясь.

— Это из Верочкина букета, который она мне подарила в день моего рождения,— сказала она наивно.

Райский уговорил ее вынуть их и сам проворно помогал вытаскивать, сославшись на какую-то, тут же изобретенную им, дурную примету.

Затем все прошло благополучно, включая и рыдания молодой, которую буквально оторвали от груди бабушки,— но это были тоже благополучные рыдания.

И сама бабушка едва выдержала себя. Она была бледна; видно было, что ей стоило необычайных усилий устоять на ногах, глядя с берега на уплывающую буквально — от нее дочь, так долго покоившуюся на ее груди, руках и коленях.

Она залилась только слезами дома, когда почувствовала, что объятия ее не опустели, что в них страстно бросилась Вера и что вся ее любовь почти безраздельно принадлежит этой другой, сознательной, созрелой дочери — ставшей такою путем горького опыта.

Тушин не уехал к себе после свадьбы. Он остался у приятеля в городе. На другой же день он явился к Татьяне Марковне с архитектором. И всякий день они рассматривали планы, потом осматривали оба дома, сад, все службы, совещались, чертили, высчитывали, соображая радикальные переделки на будущую весну.

Из старого дома было вынесено все ценное, мебель, картины, даже более уцелевшие паркеты, и помещено частью в новом доме, частью в обширных кладовых и даже на чердаках.

Татьяна Марковна с Верой собирались уехать в Новоселово, потом гостить к Викентьевым. Весну и лето приглашал их обеих Тушин провести у Анны Ивановны, своей сестры, в его «Дымке».

На это Татьяна Марковна со вздохом отвечала: «Не знаю, Иван Иванович! Обещать наверное боюсь, но и не отказываю: что бог даст! Как Вера!..»

Тушин все-таки, на всякий случай, с тем же архитектором, немедленно занялся соображениями об отделке дома для приема и помещения дорогих гостей.

Райский перешел из старого дома опять в новый, в свои комнаты. Козлов переехал к себе, с тем, однако, чтоб после отъезда Татьяны Марковны с Верой поселиться опять у нее в доме. Тушин звал его к себе, просвещать свою колонию, начиная с него самого. Козлов почесал голову, подумал и вздохнул, глядя — на московскую дорогу.

— После, зимой...— говорил он,— а теперь я жду...

Он не договорил и задумался. А он ждал ответа на свое письмо к жене. Ульяна Андреевна недавно написала к хозяйке квартиры, чтобы ей прислали... теплый салоп, оставшийся дома, и дала свой адрес, а о муже не упомянула. Козлов сам отправил салоп и написал ей горячее письмо — с призывом, говорил о своей дружбе, даже о любви...

Бедный! Ответа не было. Он начал понемногу посещать гимназию, но на уроках впадал в уныние, был рассеян, не замечал шуток, шалостей своих учеников, не знавших жалости и пощады к его горю и видевших в нем только «смешного».

За отсутствием Татьяны Марковны Тушин вызвался быть хозяином Малиновки. Он называл ее своей зимней квартирой, предполагая ездить каждую неделю, заведовать домом, деревней и прислугой, из которой только Василиса, Егор, повар и кучер уезжали с барыней в Новоселово. Прочие все оставались на месте, на своем положении. Якову и Савелью поручено было состоять в распоряжении Тушина.

Райский докончил портреты бабушки и Веры, а Крицкой, на неоконченном портрете, приделал только желтую далию на груди. Через неделю после свадьбы он объявил, что едет через два дня.

— Егор, принеси чемодан с чердака, готовь платье и белье: я еду.

На этот раз поверил и Егор. Собирая платье, белье и обувь, он нашел, что три, четыре тонких рубашки уж не очень новы, и потому конфисковал их в свою пользу, так же как и лишние, по его мнению, панталоны, жилет и пару ботинок с стоптанным каблуком.

Всех печальнее был Тит Никоныч. Прежде он последовал бы за Татьяной Марковной на край света, но после «сплетни», по крайней мере вскоре, было бы не совсем ловко ехать с нею.

Это могло подтвердить старую историю, хотя ей частию не поверили, а частию забыли о ней, потому что живых свидетелей, кроме полупомешанной бабы, никого не было.

Татьяна Марковна, однако, разрешила ему приехать к ней на праздник рождества, и там, смотря по обстоятельствам, пожалуй, и остаться. Он вздохнул немного отраднее и обрадовался предложению Тушина погостить до тех пор у него.

Сплетня о Вере вдруг смолкла или перешла опять в ожидание о том, что она будет объявлена невестой Тушина, на которого все и обрушилось, после завтрака Райского у Крицкой, между прочим и догадка о ее прогулке с ним на дне обрыва.

Но ни Тушин, ни Вера, ни сама Татьяна Марковна, после ее разговора с первым, не обменялись ни одним словом об этом. Туманное пятно оставалось пятном, не только для общества, но для самих действующих лиц, то есть для Тушина и бабушки.

Как ни велика была надежда Татьяны Марковны на дружбу Веры к нему и на свое влияние на нее, но втайне у ней возникали некоторые опасения. Она рассчитывала на послушание Веры — это правда, но не на слепое повиновение своей воле. Этого она и не хотела и не взялась бы действовать на волю.

Она рассчитывала на покорность самого сердца: ей казалось невозможным, любя Ивана Ивановича как человека, как друга, не полюбить его как мужа, но чтоб полюбить так, надо прежде выйти замуж, то есть начать прямо с цели.

Она угадывала состояние Веры и решила, что теперь рано, нельзя. Но придет ли когда-нибудь пора, что Вера успокоится? Она слишком своеобразна, судить ее по другим нельзя.

От этого Татьяна Марковна втайне немного боялась и хмурилась, когда до нее доходили слишком определенные городские слухи и предположения о браке Веры с Тушиным как о деле решенном.

Одна Вера ничего этого не знала, не подозревала и продолжала видеть в Тушине прежнего друга, оценив его еще больше с тех пор, как он явился во весь рост над обрывом и мужественно перенес свое горе, с прежним уважением и симпатией протянул ей руку, показавшись в один и тот же момент и добрым, и справедливым, и великодушным — по своей природе, чего брат Райский, более его развитой и образованный, достигал таким мучительным путем.

XXIII

Накануне отъезда, в комнате у Райского, развешано и разложено было платье, белье, обувь и другие вещи, а стол загроможден был портфелями, рисунками, тетрадями, которые он готовился взять с собой. В два-три последние дня перед отъездом он собрал и пересмотрел опять все свои литературные ма-

териалы и, между прочим, отобранные им из программы романа те листки, где набросаны были заметки о Вере.

— Попробую, начну здесь, на месте действия! — сказал он себе ночью, которую в последний раз проводил под родным кровом,— и сел за письменный стол.— Хоть одну главу напишу! А потом, вдалеке, когда отодвинусь от этих лиц, от своей страсти, от всех этих драм и комедий,— картина их виднее будет издалека. Даль оденет их в лучи поэзии; я буду видеть одно чистое создание творчества, одну свою статую, без примеси реальных мелочей... Попробую!..

ВЕРА

Роман...

Он остановился над вопросом: во скольких частях? «Один том — это не роман, а повесть,— думал он.— В двух или трех: в трех — пожалуй, года три пропишешь! Нет, довольно двух!» И он написал: «*Роман в двух частях*».

— Теперь эпиграф: он давно готов! — шепнул он и написал прямо из памяти следующее стихотворение Гейне, и под ним перевод, сделанный недавно: [1]

Nun ist es Zeit, dass, ich mit Verstand
Mich aller Thorheit entled'ge,
Ich hab'so lang, als ein Komödiant
Mit dir gespielt die Komödie.

Die prächt'gen Coulissen, sie waren bemalt
Im hoch romantischen Stile,
Mein Rittermantel hat goldig gestrahlt,
Ich fühlte die feinsten Gefühle.

Und nun ich mich gar säuberlich
Des tollen Tands entled'ge:
Noch immer elend fühle ich mich,
Als spielt'ich noch immer Komödie.

Ach, Gott! im Scherz und unbewusst
Sprach ich, was ich gefühlet;
Ich hab, mit dem Tod in der eignen Brust
Den sterbenden Fechter gespielet!

Довольно! Пора мне забыть этот вздор!
Пора воротиться к рассудку!
Довольно с тобой, как искусный актер,
Я драму разыгрывал в шутку.

Расписаны были кулисы пестро,
Я так декламировал страстно;
И мантии блеск, и на шляпе перо,
И чувство — все было прекрасно!

---

[1] Перевод сделан специально для «Обрыва» поэтом А. К. Толстым (1817—1875).

Теперь же, хоть бросил я это тряпье,
Хоть нет театрального хламу,
Все так же болит еще сердце мое,
Как будто играю я драму.

И что за поддельную боль я считал,
То боль оказалась живая —
О боже, я раненный насмерть — играл,
Гладиатора смерть представляя!

Он перечитал, потом вздохнул и, положив локти на стол, подпер руками щеки и смотрел на себя в зеркало. Он с грустью видел, что сильно похудел, что прежних живых красок, подвижности в чертах не было. Следы молодости и свежести стерлись до конца. Не даром ему обошлись эти полгода. Вон и седые волосы сильно серебрятся. Он приподнял рукой густые пряди черных волос и тоже не без грусти видел, что они редеют, что их темный колорит мешается с белым.

— Да: *раненный насмерть — играл гладиатора смерть!..*— шепнул он со вздохом и, взяв перо, хотел писать.

В это время вошел Егор спросить, в котором часу будить его. Райский махнул ему рукой, чтоб оставил его, сказав, что будить не надо, что он встанет сам, а может быть, и вовсе не ляжет, потому что у него много «дела».

Егор за ужином пересказал это девушкам, прибавив, что барин собирается, должно быть, опять «чудить» ночью, как бывало в начале осени.

— Это очень занятно,— заключил он,— жалко, а иной раз и страшно станет!

Райский написал под эпиграфом:

ПОСВЯЩЕНИЕ

Потом подумал, прошелся раза три по комнате и вдруг сел и начал писать.

«Женщины! вами вдохновлен этот труд,— проворно писал он,— вам и посвящается! Примите благосклонно. Если его встретит вражда, лукавые толки, недоразумения — вы поймете и оцените, что водило моими чувствами, моей фантазией и пером! Отдаю и свое создание, и себя самого под вашу могущественную защиту и покровительство! От вас только и ожидаю... «наград»,— написал он и, зачеркнув, поставил: «снисхождения».

«Долго ходил я, как юродивый, между вами, с диогеновским фонарем,— писал он дальше,— отыскивая в вас черты нетленной красоты для своего идеала, для своей статуи! Я одолевал все преграды, переносил все муки (ведь непременно будут преграды и муки — без этого нельзя: «*в болезнях имаши родити чадо*, сказано»,— подумал он) — и все шел своим путем, к своему созданию. Рядом с красотой — видел ваши заблуждения,

страсти, падения, падал сам, увлекаясь вами, и вставал опять и все звал вас, на высокую гору, искушая — не дьявольской заманкой, не царством суеты, звал именем другой силы на путь совершенствования самих себя, а с собой и нас: детей, отцов, братьев, мужей и... друзей ваших!

Вдохновляясь вашей лучшей красотой, вашей неодолимой силой — женской любовью — я слабой рукой писал женщину, с надеждой, что вы узнаете в ней хоть бледное отражение — не одних ваших взглядов, улыбок, красоты форм, грации, но и вашей души, ума, сердца — всей прелести ваших лучших сил!

Не манил я вас в глубокую бездну учености, ни на грубый, неженский труд, не входил с вами в споры о правах, отдавая вам первенство без спора. Мы не равны: вы выше нас, вы сила, мы ваше орудие. Не отнимайте у нас, говорил я вам, ни сохи, ни заступа, ни меча из рук. Мы взроем вам землю, украсим ее, спустимся в ее бездны, переплывем моря, пересчитаем звезды,— а вы, рождая нас, берегите, как провидение, наше детство и юность, воспитывайте нас честными, учите труду, человечности, добру и той любви, какую творец вложил в ваши сердца,— и мы твердо вынесем битвы жизни и пойдем за вами вслед туда, где все совершенно, где — вечная красота!

Время сняло с вас много оков, наложенных лукавой и грубой тиранией: снимет и остальные, даст простор и свободу вашим великим, соединенным силам ума и сердца — и вы открыто пойдете своим путем и употребите эту свободу лучше, нежели мы употребляем свою!

Отбросьте же хитрость — это орудие слабости — и все ее темные, ползучие ходы и цели...»

Он остановился, подумал, подумал — и зачеркнул последние две строки. «Кажется, я грубости начал говорить! — шептал он.— А Тит Никоныч учит делать дамам только одни «приятности». После посвящения он крупными буквами написал:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

Он встал и, потирая руки, начал скоро ходить по комнате, вдумываясь в первую главу, как, с чего начать, что в ней сказать.

Походив полчаса, он умерил шаг, будто боролся мысленно с трудностями. Шаг становился все тише, медленнее. Наконец он остановился посреди комнаты, как растерянный, точно наткнулся на какой-то камень и почувствовал толчок.

— Да,— шептал он в страхе,— чего доброго, пожалуй, вместо «высокой горы», да вдруг... Что это мне пришло в голову! — Он глубоко задумался.

«Ну, как я напишу драму Веры, да не сумею обставить пропастями ее падение,— думал он,— а русские девы примут ошибку за образец, да как козы — одна за другой — пойдут скакать с обрывов!.. А обрывов много в русской земле! Что скажут маменьки и папеньки!..»

Он минут пять постоял на месте, потом вдруг захохотал — и опять скорыми шагами заходил по комнате.

«Как побледнели бы русские Веры и как покраснели бы все Марфеньки, если б узнали, что я принял их... за коз!»

— Не это помешает мне писать роман,— сказал он, вздохнув печально,— а другое... например... цензура! Да, цензура помешает! — почти с радостью произнес он, как будто нашел счастливую находку.— А еще что?

И задумался... «Кажется, больше ничего, следовательно, остается писать...»

Он умерил шаг, вдумываясь в ткань романа, в фабулу, в постановку характера Веры, в психологическую, еще пока закрытую задачу... в обстановку, в аксессуары; задумчиво сел и положил руки с локтями на стол и на них голову. Потом поцарапал сухим пером по бумаге, лениво обмакнул его в чернила и еще ленивее написал в новую строку, после слов «Глава I»:

«*Однажды...*»

Подумал, подумал и лег головой на руки, обдумывая продолжение. Прошло с четверть часа, глаза у него стали мигать чаще. Его клонил сон.

Ему показалось неловко дремать сидя, он перешел на диван, положил голову на мягкую обивку дивана, а ноги вытянул. «Освежусь немного, потом примусь...» — решил он... и вскоре заснул. В комнате раздавалось ровное, мерное храпенье.

Когда он проснулся, уже рассветало. Он вскочил и посмотрел вокруг удивленными, почти испуганными глазами, как будто увидел во сне что-то новое, неожиданное, точно Америку открыл.

— И во сне статуя! — произнес он,— все статуя да статуя! Что это, намеки? указания?

Он подошел к столу, пристально поглядел в листки, в написанное им предисловие, вздохнул, покачал головой и погрузился в какое-то, должно быть, тяжелое раздумье. «Что я делаю! На что трачу время и силы? Еще год пропал! Роман!» — шептал он с озлоблением.

Он отодвинул рукопись в сторону, живо порылся в ящике между письмами и достал оттуда полученное за месяц письмо от художника Кирилова, пробежал его глазами, взял лист почтовой бумаги и сел за стол.

«Спешу — в здравом уме и твердой памяти,— писал он,— уведомить вас первого, любезный Кирилов, о новой и неожиданной, только что открывшейся для меня перспективе искусства и деятельности... Прежде всего тороплюсь кинуть вам эти две

строки, в ответ на ваше письмо, где вы пишете, что собираетесь в Италию, в Рим, — на случай, если я замедлю в дороге. Я сам еду в Петербург. Погодите — ради бога — и я с вами! Возьмите меня с собой! Пожалейте слепца, безумца, только сегодня прозревшего, угадавшего свое призвание! Долго блуждал я в темноте и чуть не сделался самоубийцей, то есть чуть не сгубил своего дарования, ставши на ложный путь! Вы находили в моих картинах признаки таланта: мне держаться бы кисти, а я бросался к музыке и наконец бросился к литературе — и буквально разбросался! Затеял писать роман! И вы, и никто — не остановили меня, не сказали мне, что я — пластик, язычник, древний грек в искусстве! Выдумал какую-то «осмысленную и одухотворенную Венеру»! Мое ли дело чертить картины нравов, быта, осмысливать и освещать основы жизни! Психология, анализ!

Мое дело — формы, внешняя, ударяющая на нервы красота!

Для романа — нужно... другое, а главное — годы времени! Я не пожалел бы трудов; и на время не поскупился бы, если б был уверен, что моя сила — в пере!

Я сохраню, впрочем, эти листки: может быть... Нет, не хочу обольщать себя неверной надеждой! Творчество мое не ладит с пером. Не по натуре мне вдумываться в сложный механизм жизни! Я пластик, повторяю: мое дело только видеть красоту — и простодушно,«не мудрствуя лукаво», отражать ее в создании...

Сохраню эти листки затем разве, чтобы когда-нибудь вспоминать, чему я был свидетелем, как жили другие, как жил я сам, что чувствовал (или, вернее, ощущал), что перенес—и...

И после моей смерти — другой найдет мои бумаги:

Засветит он, как я, свою лампаду —

И — может быть — напишет...

Теперь, хотите ли знать, кто я, что я?.. Скульптор!

Да, скульптор — не ахайте и не бранитесь! Я только сейчас убедился в этом, долго не понимая намеков, призывов: отчего мне и Вера, и Софья, и многие, многие — прежде всего являлись статуями! Теперь мне ясно!

Я пластик — вы знаете это, вы находите во мне талант. Стало быть, нужно мне только отыскать свое орудие и прием! У кого пальцы сложились, как орудие фантазии, в прием для кисти, у кого для струн или клавишей, у меня — как я теперь догадываюсь — для лепки, для резца... Глаз у меня есть, вкус тоже — и feu sacré [1] — да? вы этого не отвергаете! Не спорьте же, не послушаю, а лучше спасите меня, увезите с собой и помогите стать на новый путь, на путь Фидиасов, Праксителей, Кановы— и еще очень немногих!

---

[1] Священный огонь (*франц.*).

Никто не может сказать — что я не буду один из этих немногих... Во мне слишком богата фантазия. Искры ее, как вы сами говорите, разбросаны в портретах, сверкают даже в моих скудных музыкальных опытах!.. И если не сверкнули в создании поэмы, романа, драмы или комедии, так это потому...»

Он чихнул.

«Вот, значит — правда!» — подумал он,— «...что я пластик — и только пластик. Я отрекаюсь от музыки — она далась мне в придачу к прочему. Я кляну потраченное на нее и на роман время и силы.— До свидания, Кирилов — не противоречьте: убьете меня, если будете разрушать мой новый идеал искусства и деятельности. Пожалуй, вы поколеблете меня вашими сомнениями — и тогда я утону безвозвратно в волнах миражей и неисходной скуки! Если скульптура изменит мне (боже сохрани! я не хочу верить: слишком много говорит *за*), я сам казню себя, сам отыщу того, где бы он ни был — кто первый усомнился в успехе моего романа (это — Марк Волохов), и торжественно скажу ему: да, ты прав: я — *неудачник!* А до тех пор дайте жить и уповать!

В Рим! в Рим! — туда, где искусство — не роскошь, не забава — а труд, наслаждение, сама жизнь! Прощайте! до скорого свидания!»

Он с живостью собрал все бумаги, кучей, в беспорядке сунул их в большой старый портфель — сделал «ух», как будто горбатый вдруг сбросил горб, и весело потер рука об руку.

XXIV

На другой день, с раннего утра, весь дом поднялся на ноги — провожать гостя. Приехал и Тушин, приехали и молодые Викентьевы. Марфенька была — чудо красоты, неги, стыдливости. На каждый взгляд, на каждый вопрос, обращенный к ней, лицо ее вспыхивало и отвечало неуловимой, нервной игрой ощущений, нежных тонов, оттенков чутких мыслей — всего, объяснившегося ей в эту неделю смысла новой, полной жизни. Викентьев ходил за ней, как паж, глядя ей в глаза, не нужно ли, не желает ли она чего-нибудь, не беспокоит ли ее что-нибудь?

Счастье их слишком молодо и эгоистически захватывало все вокруг. Они никого и ничего почти не замечали, кроме себя. А вокруг были грустные или задумчивые лица. С полудня наконец и молодая чета оглянулась на других и отрезвилась от эгоизма. Марфенька хмурилась и все льнула к брату. За завтраком никто ничего не ел, кроме Козлова, который задумчиво и грустно один съел машинально блюдо майонеза, вздыхая, глядя куда-то в неопределенное пространство.

Татьяна Марковна пробовала заговаривать об имении, об отчете, до передачи Райским усадьбы сестрам, но он взглянул на нее такими усталыми глазами, что она отложила счеты и отдала ему только хранившиеся у ней рублей шестьсот его денег. Он триста рублей при ней же отдал Василисе и Якову, чтоб они роздали дворне и поблагодарили ее за «дружбу, баловство и услужливость».

— Много — урод! пропьют...— шептала Татьяна Марковна.

— Пусть их, бабушка, да отпустите их на волю...

— Рада бы, хоть сейчас со двора! — Нам с Верой теперь вдвоем нужно девушку да человека. Да не пойдут! Куда они денутся? Избалованы, век — на готовом хлебе!

После завтрака все окружили Райского. Марфенька заливалась слезами: она смочила три-четыре платка. Вера оперлась ему рукой на плечо и глядела на него с томной улыбкой, Тушин серьезно. У Викентьева лицо дружески улыбалось ему, а по носу из глаз катилась слеза «с вишню», как заметила Марфенька и стыдливо сняла ее своим платком.

Бабушка хмурилась, но крепилась, боясь расчувствоваться.

— Оставайся с нами! — говорила она ему с упреком.— Куда едешь? сам не знаешь...

— В Рим, бабушка...

— Зачем? Папы не видал?

— Лепить...

— Что?

Долго бы было объяснять ей новые планы — и он только махнул рукой.

— Останьтесь, останьтесь! — пристала и Марфенька, вцепившись ему в плечо. Вера ничего не говорила, зная, что он не останется, и думала только, не без грусти, узнав его характер, о том, куда он теперь денется и куда денет свои досуги, «таланты», которые вечно будет только чувствовать в себе и не сумеет ни угадать своего собственного таланта, ни остановиться на нем и приспособить его к делу.

— Брат!— шепнула она,— если скука опять будет одолевать тебя, заглянешь ли ты сюда, в этот уголок, где тебя теперь понимают и любят?..

— Непременно, Вера! Сердце мое приютилось здесь: я люблю всех вас — вы моя единственная, неизменная семья, другой не будет! Бабушка, ты и Марфенька — я унесу вас везде с собой — а теперь не держите меня! Фантазия тянет меня туда, где... меня нет! У меня закипело в голове...— шепнул он ей,— через какой-нибудь год я сделаю... твою статую — из мрамора...

У ней задрожал подбородок от улыбки.

— А роман? — спросила она.

Он махнул рукой.

— Как умру, пусть возится, кто хочет, с моими бумага-

ми: материала много... А мне написано на роду создать твой бюст...

— Не пройдет и года, ты опять влюбишься и не будешь знать, чью статую лепить...

— Может быть, и влюблюсь, но никогда никого не полюблю, кроме тебя, и иссеку из мрамора твою статую... Вот она, как живая, передо мной!..

Она все с улыбкой глядела на него.

— Непременно, непременно! — горячо уверял он ее.

— Опять ты — «непременно»! — вмешалась Татьяна Марковна,— не знаю, что ты там затеваешь, а если сказал «непременно», то ничего и не выйдет!

Райский подошел к Тушину, задумчиво сидевшему в углу и молча наблюдавшему сцену прощания.

— Если когда-нибудь исполнится... то, чего мы все желаем, Иван Иванович...— шепнул он, наклонясь к нему, и пристально взглянул ему в глаза. Тушин понял его.

— Все ли, Борис Павлович? И случится ли это?

— Я верю, что случится, иначе быть не может. Уж если бабушка и ее «судьба» захотят...

— Надо, чтоб захотела и другая,— моя «судьба»...

— Захочет! — договорил Райский с уверенностью,— и если это случится, дайте мне слово, что вы уведомите меня по телеграфу, где бы я ни был: я хочу держать венец над Верой...

— Да, если случится... даю слово...

— А я даю слово приехать.

Козлов, в свою очередь, отвел Райского в сторону. Долго шептал он ему, прося отыскать жену, дал письмо к ней и адрес ее, и успокоился, когда Райский тщательно положил письмо в бумажник.— Поговори ей... и напиши мне...— с мольбой заключил он,— а если она соберется... сюда... ты по телеграфу дай мне знать: я бы поехал до Москвы, навстречу ей...

Райский обещал все и с тяжелым сердцем отвернулся от него, посоветовав ему пока отдохнуть, погостить зимние каникулы у Тушина.

Тихо вышли все на крыльцо, к экипажу, в грустном молчании Марфенька продолжала плакать. Викентьев подал ей уже пятый носовой платок.

В последнее мгновение, когда Райский готовился сесть, он оборотился, взглянул еще раз на провожавшую его группу. Он, Татьяна Марковна, Вера и Тушин обменялись взглядом — и в этом взгляде, в одном мгновении, вдруг мелькнул как будто всем им приснившийся, тяжелый полугодовой сон, все вытерпенные ими муки... Никто не сказал ни слова. Ни Марфенька, ни муж ее не поняли этого взгляда,— не заметила ничего и толпившаяся невдалеке дворня.

С этим взглядом и с этим сном в голове скрылся Райский у них из вида.

XXV

В Петербурге он прежде всего бросился к Кирилову. Он чуть не ощупывал его, он ли это, тут ли, не уехал ли без него, и повторил ему свои новые артистические упования на скульптуру. Кирилов сморщился, так что нос ушел совсем в бороду,— и отвернулся с неудовольствием.

— Что это за новость! По вашему письму я подумал, не рехнулись ли вы? Ведь у вас есть один талант, отчего бросились опять в сторону? Возьмите карандаш да опять в академию — да вот купите это.— Он показал на толстую тетрадь литографированных анатомических рисунков. — Выдумали скульптуру! Поздно... С чего вы это взяли?..

— Да мне кажется, у меня — вот в пальцах (он сложил пять пальцев вместе и потирал ими) есть именно этот прием — для лепки...

— Когда вздумали! Если б и был прием, так поздно!

— Что за поздно! у меня есть знакомый прапорщик — как лепит!..

— Прапорщик — так, а вы... с седыми волосами!

Он энергически потряс головой. Райский не стал спорить с ним, а пошел к профессору скульптуры, познакомился с его учениками и недели три ходил в мастерскую. Дома у себя он натаскал глины, накупил моделей голов, рук, ног, торсов, надел фартук и начал лепить с жаром, не спал, никуда не ходил, видясь только с профессором скульптуры, с учениками, ходил с ними в Исакиевский собор, замирая от удивления перед работами Витали, вглядываясь в приемы, в детали, в эту новую сферу нового искусства. Словом, им овладела горячка: он ничего не видал нигде, кроме статуй, не выходил из Эрмитажа и все торопил Кирилова ехать скорей в Италию, в Рим.

Он не забыл поручения Козлова и пошел отыскивать по адресу его жену, где-то в Гороховой, в chambres garnies[1]. Войдя в коридор номера, он услыхал звуки вальса и — говор. Ему послышался голос Ульяны Андреевны. Он дал отворившей ему дверь девушке карточку и письмо от Козлова. Немного погодя девушка воротилась, несколько смущенная, и сказала, что Ульяны Андреевны нет, что она поехала в Царское Село, к знакомым, а оттуда отправится прямо в Москву. Райский вышел в сени: навстречу ему попалась женщина и спросила, кого ему надо. Он назвал жену Козлова.

— Они больны, лежат в постели, никого не принимают!— солгала и она.

Райский ничего не написал к Козлову.

Он едва повидался с Аяновым, перетащил к нему вещи с своей квартиры, а последнюю сдал. Получив от опекуна —

---

[1] Меблированных комнатах (*франц.*).

за заложенную землю — порядочный куш денег, он в январе уехал с Кириловым, сначала в Дрезден, на поклон «Сикстинской мадонне»;[1] «Ночи» Корреджио, Тициану, Поль Веронезу и прочим, и прочим.

В Дрездене он с Кириловым все утра проводил в галерее — да изредка бывал в театре. Райский торопил Кирилова ехать дальше, в Голландию, потом в Англию и в Париж. Но Кирилов уперся и в Англию не поехал.

— Зачем мне в Англию? Я туда не хочу,— говорил он.— Там все чудеса в частных галереях: туда не пустят. А общественная галерея — небогата. Из Голландии вы поезжайте одни в Англию, а я в Париж, в Лувр. Там я вас подожду.

Так они и сделали. Впрочем, и Райский пробыл в Англии всего две недели — и не успел даже ахнуть от изумления — подавленный грандиозным оборотом общественного механизма жизни — и поспешил в веселый Париж. Он видел по утрам Лувр, а вечером мышиную беготню, веселые визги, вечную оргию, хмель крутящейся вихрем жизни, и унес оттуда только чад этой оргии, не давшей уложиться поглубже наскоро захваченным из этого омута мыслям, наблюдениям и впечатлениям.

Едва первые лучи полуденной весны сверкнули из-за Альп, оба артиста бросились через Швейцарию в Италию.

Райский, живо принимая впечатления, меняя одно на другое, бросаясь от искусства к природе, к новым людям, новым встречам,— чувствовал, что три самые глубокие его впечатления, самые дорогие воспоминания, бабушка, Вера, Марфенька— сопутствуют ему всюду, вторгаются во всякое новое ощущение, наполняют собой его досуги, что с ними тремя — он связан и той крепкой связью, от которой только человеку и бывает хорошо — как ни от чего не бывает, и от нее же бывает иногда больно, как ни от чего, когда судьба неласково дотронется до такой связи.

Эти три фигуры являлись ему, и как артисту, всюду. Плеснет седой вал на море, мелькнет снежная вершина горы в Альпах — ему видится в них седая голова бабушки. Она выглядывала из портретов старух Веласкеза, Жерар-Дова,— как Вера из фигур Мурильо, Марфенька из головок Грёза, иногда Рафаэля...

На дне швейцарских обрывов мелькал образ Веры, над скалами снилась ему его отчаянная борьба с ней... Далее — брошенный букет, ее страдания, искупление... все!

Он вздрагивал и отрезвлялся, потом видел их опять, с улыбкой и любовью протягивающими руки к нему.

Три фигуры следовали за ним и по ту сторону Альп, когда перед ним встали другие три величавые фигуры: природа, искусство, история...

---

[1] Знаменитая картина итальянского художника Рафаэля (1453—1520).

Он страстно отдался им, испытывая новые ощущения, почти болезненно потрясавшие его организм.

В Риме, устроив с Кириловым мастерскую, он делил время между музеями, дворцами, руинами, едва чувствуя красоту природы, запирался, работал, потом терялся в новой толпе, казавшейся ему какой-то громадной, яркой, подвижной картиной, отражавшей в себе тысячелетия — во всем блеске величия и в поразительной наготе всей мерзости — отжившего и живущего человечества.

И везде, среди этой горячей артистической жизни, он не изменял своей семье, своей группе, не врастал в чужую почву, все чувствовал себя гостем и пришельцем там. Часто, в часы досуга от работ и отрезвления от новых и сильных впечатлений раздражительных красок юга — его тянуло назад, домой. Ему хотелось бы набраться этой вечной красоты природы и искусства, пропитаться насквозь духом окаменелых преданий и унести все с собой туда, в свою Малиновку...

За ним всё стояли и горячо звали к себе— его три фигуры: его Вера, его Марфенька, бабушка. А за ними стояла и сильнее их влекла его к себе — еще другая, исполинская фигура, другая великая «бабушка» — Россия.

МИЛЬОН ТЕРЗАНИЙ

Критический этюд

Горе от ума, *Грибоедова.*— Бенефис Монахова, ноябрь, 1871 г.

Комедия «Горе от ума» держится каким-то особняком в литературе и отличается моложавостью, свежестью и более крепкой живучестью от других произведений слова. Она, как столетний старик, около которого все, отжив по очереди свою пору, умирают и валятся, а он ходит, бодрый и свежий, между могилами старых и колыбелями новых людей. И никому в голову не приходит, что настанет когда-нибудь и его черед.

Все знаменитости первой величины, конечно, недаром поступили в так называемый «храм бессмертия». У всех у них много, а у иных, как, например, у Пушкина, гораздо более прав на долговечность, нежели у Грибоедова. Их нельзя близко и ставить одного с другим. Пушкин громаден, плодотворен, силен, богат. Он для русского искусства то же, что Ломоносов для русского просвещения вообще. Пушкин занял собою всю свою эпоху, сам создал другую, породил школы художников,— взял себе в эпохе все, кроме того, что успел взять Грибоедов и до чего не договорился Пушкин.

Несмотря на гений Пушкина, передовые его герои, как герои его века, уже бледнеют и уходят в прошлое. Гениальные создания его, продолжая служить образцами и источником искусству,— сами становятся историей. Мы изучили «Онегина», его время и его среду, взвесили, определили значение этого типа, но не находим уже живых следов этой личности в современном веке, хотя создание этого типа останется неизгладимым в литературе. Даже позднейшие герои века, например, лермонтовский Печорин, представляя, как и Онегин, свою эпоху, каменеют, однако, в неподвижности, как статуи на могилах. Не говорим о явившихся позднее их более или менее ярких типах, которые при жизни авторов успели сойти в могилу, оставив по себе некоторые права на литературную память.

Называли *бессмертною* комедию «Недоросль» Фонвизина, и основательно,— ее живая, горячая пора продолжалась около полувека: это громадно для произведения слова. Но теперь нет ни одного намека в «Недоросле» на живую жизнь, и комедия, отслужив свою службу, обратилась в исторический памятник.

«Горе от ума» появилось раньше Онегина, Печорина, пережило их, прошло невредимо чрез гоголевский период, прожило эти полвека со времени своего появления и все живет своею нетленною жизнью, переживет и еще много эпох и все не утратит своей жизненности.

Отчего же это, и что такое вообще это «Горе от ума»?

Критика не трогала комедию с однажды занятого ею места, как будто затрудняясь, куда ее поместить. Изустная оценка опередила печатную, как сама пьеса задолго опередила печать. Но грамотная масса оценила ее фактически. Сразу поняв ее красоты и не найдя недостатков, она разнесла рукопись на клочья, на стихи, полустишия, развела всю соль и мудрость пьесы в разговорной речи, точно обратила мильон в гривенники, и до того испестрила грибоедовскими поговорками разговор, что буквально истаскала комедию до пресыщения.

Но пьеса выдержала и это испытание — и не только не опошлилась, но сделалась как будто дороже для читателей, нашла себе в каждом из них покровителя, критика и друга, как басни Крылова, не утратившие своей литературной силы, перейдя из книги в живую речь.

Печатная критика всегда относилась с большею или меньшею строгостью только к сценическому исполнению пьесы, мало касаясь самой комедии или высказываясь в отрывочных, неполных и разноречивых отзывах. Решено раз всеми навсегда, что комедия образцовое произведение,— и на том все помирились.

И мы здесь не претендуем произнести критический приговор в качестве присяжного критика: решительно уклоняясь от этого,— мы, в качестве любителя, только высказываем свои размышления тоже по поводу одного из последних представлений «Горя от ума» на сцене. Мы хотим поделиться с читателем этими своими мнениями, или, лучше сказать, сомнениями о том, так ли играется пьеса, то есть с той ли точки зрения смотрят обыкновенно на ее исполнение и сами артисты, и зрители? А заговорив об этом, нельзя не высказать мнений и сомнений и о том, так ли должно понимать самую пьесу, как ее понимают некоторые исполнители, и может быть, и зрители. Не хотим опять сказать, что мы считаем наш способ понимания непогрешимым — мы предлагаем его только как один из способов понимания или как одну из точек зрения.

Что делать актеру, вдумывающемуся в свою роль в этой пьесе? Положиться на один собственный суд — недостанет никакого самолюбия, а прислушаться за сорок лет к говору общественного мнения — нет возможности, не затерявшись

в мелком анализе. Остается, из бесчисленного хора высказанных и высказывающихся мнений, остановиться на некоторых общих выводах, наичаще повторяемых,— и на них уже строить собственный план оценки.

Одни ценят в комедии картину московских нравов известной эпохи, создание живых типов и их искусную группировку. Вся пьеса представляется каким-то кругом знакомых читателю лиц, и притом таким определенным и замкнутым, как колода карт. Лица Фамусова, Молчалина, Скалозуба и другие врезались в память так же твердо, как короли, валеты и дамы в картах, и у всех сложилось более или менее согласное понятие о всех лицах, кроме одного — Чацкого. Так все они начертаны верно и строго и так примелькались всем. Только о Чацком многие недоумевают: что он такое? Он как будто пятьдесят третья какая-то загадочная карта в колоде. Если было мало разногласия в понимании других лиц, то о Чацком, напротив, разноречия не кончились до сих пор и, может быть, не кончатся еще долго.

Другие, отдавая справедливость картине нравов, верности типов, дорожат более эпиграмматической солью языка, живой сатирой — моралью, которую пьеса до сих пор, как неистощимый колодезь, снабжает всякого на каждый обиходный шаг жизни.

Но и те и другие ценители почти обходят молчанием самую «комедию», действие, и многие даже отказывают ей в условном сценическом движении.

Несмотря на то, всякий раз, однако, когда меняется персонал в ролях, и те и другие судьи идут в театр, и снова поднимаются оживленные толки об исполнении той или другой роли и о самых ролях, как будто в новой пьесе.

Все эти разнообразные впечатления и на них основанная своя точка зрения у всех и у каждого служат лучшим определением пьесы, то есть что комедия «Горе от ума» есть и картина нравов, и галерея живых типов, и вечно острая, жгучая сатира, и вместе с тем и комедия, и скажем сами за себя — больше всего комедия — какая едва ли найдется в других литературах, если принять совокупность всех прочих высказанных условий. Как картина, она, без сомнения, громадна. Полотно ее захватывает длинный период русской жизни — от Екатерины до императора Николая. В группе двадцати лиц отразилась, как луч света в капле воды, вся прежняя Москва, ее рисунок, тогдашний ее дух, исторический момент и нравы. И это с такою художественною, объективною законченностью и определенностью, какая далась у нас только Пушкину и Гоголю.

В картине, где нет ни одного бледного пятна, ни одного постороннего, лишнего штриха и звука,— зритель и читатель чувствуют себя и теперь, в нашу эпоху, среди живых людей. И общее и детали, все это не сочинено, а так целиком взято из

московских гостиных и перенесено в книгу и на сцену, со всей теплотой и со всем «особым отпечатком» Москвы,— от Фамусова до мелких штрихов, до князя Тугоуховского и до лакея Петрушки, без которых картина была бы неполна.

Однако для нас она еще не вполне законченная историческая картина: мы не отодвинулись от эпохи на достаточное расстояние, чтоб между ею и нашим временем легла непроходимая бездна. Колорит не сгладился совсем; век не отделился от нашего, как отрезанный ломоть: мы кое-что оттуда унаследовали, хотя Фамусовы, Молчалины, Загорецкие и прочие видоизменились так, что не влезут уже в кожу грибоедовских типов. Резкие черты отжили, конечно: никакой Фамусов не станет теперь приглашать в шуты и ставить в пример Максима Петровича, по крайней мере так положительно и явно. Молчалин, даже перед горничной, втихомолку, не сознается теперь в тех заповедях, которые завещал ему отец; такой Скалозуб, такой Загорецкий невозможны даже в далеком захолустье. Но пока будет существовать стремление к почестям помимо заслуги, пока будут водиться мастера и охотники угодничать и «награжденья брать и весело пожить», пока сплетни, безделье, пустота будут господствовать не как пороки, а как стихии общественной жизни,— до тех пор, конечно, будут мелькать и в современном обществе черты Фамусовых, Молчалиных и других, нужды нет, что с самой Москвы стерся тот «особый отпечаток», которым гордился Фамусов.

Общечеловеческие образцы, конечно, остаются всегда, хотя и те превращаются в неузнаваемые от временных перемен типы, так что, на смену старому, художникам иногда приходится обновлять, по прошествии долгих периодов, являвшиеся уже когда-то в образах основные черты нравов и вообще людской натуры, облекая их в новую плоть и кровь в духе своего времени. Тартюф[1], конечно,— вечный тип, Фальстаф[2] — вечный характер, но и тот и другой и многие еще знаменитые подобные им первообразы страстей, пороков и прочее, исчезая сами в тумане старины, почти утратили живой образ и обратились в идею, в условное понятие, в нарицательное имя порока, и для нас служат уже не живым уроком, а портретом исторической галереи.

Это особенно можно отнести к грибоедовской комедии. В ней местный колорит слишком ярок, и обозначение самых характеров так строго очерчено и обставлено такою реальностью деталей, что общечеловеческие черты едва выделяются из-под общественных положений, рангов, костюмов и т. п.

---

[1] Сатирический образ лицемера в одноименной комедии Мольера (1622—1673).

[2] Комический образ хвастуна, обжоры и лентяя в пьесах Шекспира «Генрих IV» и «Виндзорские кумушки».

Как картина современных нравов комедия «Горе от ума» была отчасти анахронизмом и тогда, когда в 30-х годах появилась на московской сцене. Уже Щепкин, Мочалов, Львова-Синецкая, Ленский, Орлов и Сабуров играли не с натуры, а по свежему преданию. И тогда стали исчезать резкие штрихи. Сам Чацкий гремит против «века минувшего», когда писалась комедия, а она писалась между 1815 и 1820 годами[1].

Как посмотреть да посмотреть (говорит он),
Век нынешний и век *минувший*,
Свежо предание, а верится с трудом,—

а про свое время выражается так:

Теперь вольнее всякий дышит,—

или:

Бранил *ваш* век я беспощадно,—

говорит он Фамусову.

Следовательно, теперь остается только немногое от местного колорита: страсть к чинам, низкопоклонничество, пустота. Но с какими-нибудь реформами чины могут отойти, низкопоклонничество до степени лакейства молчалинского уже прячется и теперь в темноту, а поэзия фрунта уступила место строгому и рациональному направлению в военном деле.

Но все же еще кое-какие живые следы есть, и они пока мешают обратиться картине в законченный исторический барельеф. Эта будущность еще пока у ней далеко впереди.

Соль, эпиграмма, сатира, этот разговорный стих, кажется, никогда не умрут, как и сам рассыпанный в них острый и едкий, живой русский ум, который Грибоедов заключил, как волшебник духа какого-нибудь в свой замок, и он рассыпается там злобным смехом. Нельзя представить себе, чтоб могла явиться когда-нибудь другая, более естественная, простая, более взятая из жизни речь. Проза и стих слились здесь во что-то нераздельное, затем, кажется, чтобы их легче было удержать в памяти и пустить опять в оборот весь собранный автором ум, юмор, шутку и злость русского ума и языка. Этот язык так же дался автору, как далась группа этих лиц, как дался главный смысл комедии, как далось все вместе, будто вылилось разом, и все образовало необыкновенную комедию — и в тесном смысле как сценическую пьесу, и в обширном — как комедию жизни. Другим ничем, как комедией, она и не могла бы быть.

Оставя две капитальные стороны пьесе, которые так явно говорят за себя и потому имеют большинство почитателей,— то есть картину эпохи, с группой живых портретов, и соль языка,— обратимся сначала к комедии как к сценической пьесе, потом как к комедии вообще, к ее общему смыслу, к главному

---

[1] Комедия была написана между 1821—1824 годами.

разуму ее в общественном и литературном значении, наконец скажем и об исполнении ее на сцене.

Давно привыкли говорить, что нет движения, то есть нет действия в пьесе. Как нет движения? Есть — живое, непрерывное, от первого появления Чацкого на сцене до последнего его слова: «Карету мне, карету!»

Это — тонкая, умная, изящная и страстная комедия в тесном, техническом смысле,— верная в мелких психологических деталях,— но для зрителя почти неуловимая, потому что она замаскирована типичными лицами героев, гениальной рисовкой, колоритом места, эпохи, прелестью языка, всеми поэтическими силами, так обильно разлитыми в пьесе. Действие, то есть собственно интрига в ней, перед этими капитальными сторонами кажется бледным, лишним, почти ненужным.

Только при разъезде в сенях зритель точно пробуждается при неожиданной катастрофе, разразившейся между главными лицами, и вдруг припоминает комедию-интригу. Но и то ненадолго. Перед ним уже вырастает громадный, настоящий смысл комедии.

Главная роль, конечно,— роль Чацкого, без которой не было бы комедии, а была бы, пожалуй, картина нравов.

Сам Грибоедов приписал горе Чацкого его уму, а Пушкин отказал ему вовсе в уме.

Можно бы было подумать, что Грибоедов, из отеческой любви к своему герою, польстил ему в заглавии, как будто предупредив читателя, что герой его умен, а все прочие около него не умны.

Но Чацкий не только умнее всех прочих лиц, но и положительно умен. Речь его кипит умом, остроумием. У него есть и сердце, и притом он безукоризненно честен. Словом — это человек не только умный, но и развитой, с чувством, или, как рекомендует его горничная Лиза, он «чувствителен, и весел, и остер». Только личное его горе произошло не от одного ума, а более от других причин, где ум его играл страдательную роль, и это подало Пушкину повод отказать ему в уме. Между тем Чацкий, как личность, несравненно выше и умнее Онегина и лермонтовского Печорина. Он искренний и горячий деятель, а те — паразиты, изумительно начертанные великими талантами, как болезненные порождения отжившего века. Ими заканчивается их время, а Чацкий начинает новый век — и в этом все его значение и весь «ум».

И Онегин и Печорин оказались не способны к делу, к активной роли, хотя оба смутно понимали, что около них все истлело. Они были даже «озлоблены», носили в себе и «недовольство» и бродили как тени с «тоскующею ленью». Но, презирая пустоту жизни, праздное барство, они поддавались ему и не подумали ни бороться с ним, ни бежать окончательно. Недовольство и озлобление не мешали Онегину франтить, «блестеть» и в театре, и на бале, и в модном ресторане, кокетничать с девицами и

серьезно ухаживать за ними в замужестве, а Печорину блестеть интересной скукой и мыкать свою лень и озлобление между княжной Мери и Бэлой, а потом рисоваться равнодушием к ним перед тупым Максимом Максимычем: это равнодушие считалось квинтэссенцией донжуанства. Оба томились, задыхались в своей среде и не знали, чего хотеть. Онегин пробовал читать, но зевнул и бросил, потому что ему и Печорину была знакома одна наука «страсти нежной», а прочему всему они учились «чему-нибудь и как-нибудь» — и им нечего было делать.

Чацкий, как видно, напротив, готовился серьезно к деятельности. Он «славно пишет, переводит», говорит о нем Фамусов, и все твердят о его высоком уме. Он, конечно, путешествовал недаром, учился, читал, принимался, как видно, за труд, был в сношениях с министрами и разошелся — не трудно догадаться почему.

Служить бы рад,— прислуживаться тошно,—

намекает он сам. О «тоскующей лени, о праздной скуке» и помину нет, а еще менее о «страсти нежной» как о науке и о занятии. Он любит серьезно, видя в Софье будущую жену.

Между тем Чацкому досталось выпить до дна горькую чашу — не найдя ни в ком «сочувствия живого», и уехать, увозя с собой только «мильон терзаний».

Ни Онегин, ни Печорин не поступили бы так неумно вообще, в деле любви и сватовства особенно. Но зато они уже побледнели и обратились для нас в каменные статуи, а Чацкий остается и останется всегда в живых за эту свою «глупость».

Читатель помнит, конечно, все, что проделал Чацкий. Проследим слегка ход пьесы и постараемся выделить из нее драматический интерес комедии, то движение, которое идет через всю пьесу, как невидимая, но живая нить, связующая все части и лица комедии между собою.

Чацкий вбегает к Софье, прямо из дорожного экипажа, не заезжая к себе, горячо целует у нее руку, глядит ей в глаза, радуется свиданию, в надежде найти ответ прежнему чувству — и не находит. Его поразили две перемены: она необыкновенно похорошела и охладела к нему — тоже необыкновенно.

Это его и озадачило, и огорчило, и немного раздражило. Напрасно он старается посыпа́ть солью юмора свой разговор, частию играя этой своей силой, чем, конечно, прежде нравился Софье, когда она его любила,— частию под влиянием досады и разочарования. Всем достается, всех перебрал он — от отца Софьи до Молчалина — и какими меткими чертами рисует он Москву — и сколько из этих стихов ушло в живую речь! Но все напрасно: нежные воспоминания, остроты — ничто не помогает. Он *терпит от нее одни холодности*, пока, едко задев Молчалина, он не задел за живое и ее. Она уже с скрытой злостью спрашивает его, случилось ли ему хоть нечаянно «добро

о ком-нибудь сказать», и исчезает при входе отца, выдав последнему почти головой Чацкого, то есть объявив его героем рассказанного перед тем отцу сна.

С этой минуты между ею и Чацким завязался горячий поединок, самое живое действие, комедия в тесном смысле, в которой принимают близкое участие два лица, Молчалин и Лиза.

Всякий шаг Чацкого, почти всякое слово в пьесе тесно связаны с игрой чувства его к Софье, раздраженного какою-то ложью в ее поступках, которую он и бьется разгадать до самого конца. Весь ум его и все силы уходят в эту борьбу: она и послужила мотивом, поводом к раздражениям, к тому «мильону терзаний», под влиянием которых он только и мог сыграть указанную ему Грибоедовым роль, роль гораздо большего, высшего значения, нежели неудачная любовь, словом, роль, для которой и родилась вся комедия.

Чацкий почти не замечает Фамусова, холодно и рассеянно отвечает на его вопрос, где был? «Теперь мне до того ли?» — говорит он и, обещая приехать опять, уходит, проговаривая из того, что его поглощает:

Как Софья Павловна у вас похорошела!

Во втором посещении он начинает разговор опять о Софье Павловне: «Не больна ли она? не приключилось ли ей печали?» — и до такой степени охвачен и подогретым ее расцветшей красотой чувством и ее холодностью к нему, что на вопрос отца, не хочет ли он на ней жениться, в рассеянности спрашивает: «А вам на что?» И потом равнодушно, только из приличия дополняет:

Пусть я посватаюсь, вы что бы мне сказали?

И, почти не слушая ответа, вяло замечает на совет «послужить»:

Служить бы рад,— прислуживаться тошно!

Он и в Москву, и к Фамусову приехал, очевидно, для Софьи и к одной Софье. До других ему дела нет; ему и теперь досадно, что он вместо нее нашел одного Фамусова. «Как здесь бы ей не быть?» — задается он вопросом, припоминая прежнюю юношескую свою любовь, которую в нем «ни даль не охладила, ни развлечение, ни перемена мест»,— и мучается ее холодностью.

Ему скучно и говорить с Фамусовым — и только положительный вызов Фамусова на спор выводит Чацкого из его сосредоточенности.

Вот то-то, все вы гордецы:
Смотрели бы, как делали отцы,
Учились бы, на старших глядя! —

говорит Фамусов и затем чертит такой грубый и уродливый рисунок раболепства, что Чацкий не вытерпел и в свою очередь сделал параллель века «минувшего» с веком «нынешним».

Но все еще раздражение его сдержанно: он как будто совестится за себя, что вздумал отрезвлять Фамусова от его понятий; он спешит вставить, что «не о дядюшке его говорит», которого привел в пример Фамусов, и даже предлагает последнему побранить и свой век, наконец, всячески старается замять разговор, видя, как Фамусов заткнул уши,— успокаивает его, почти извиняется.

Длить споры не мое желанье,—

говорит он. Он готов опять войти в себя. Но его будит неожиданный намек Фамусова на слух о сватовстве Скалозуба.

Вот будто женится на Софьюшке... и т. д.

Чацкий навострил уши.

Как суетится, что за прыть!

«А Софья? Нет ли впрямь тут жениха какого?» — говорит он, и хотя потом прибавляет:

Ах — тот скажи любви конец,
Кто на три года вдаль уедет! —

но сам еще не верит этому, по примеру всех влюбленных, пока эта любовная аксиома не разыгралась над ним до конца.

Фамусов подтверждает свой намек о женитьбе Скалозуба, навязывая последнему мысль «о генеральше», и почти явно вызывает на сватовство.

Эти намеки на женитьбу возбудили подозрения Чацкого о причинах перемены к нему Софьи. Он даже согласился было на просьбу Фамусова бросить «завиральные идеи» и помолчать при госте. Но раздражение уже шло crescendo[1], и он вмешался в разговор, пока небрежно, а потом, раздосадованный неловкой похвалой Фамусова его уму и прочее, возвышает тон и разрешается резким монологом:

«А судьи кто?» и т. д. Тут уже завязывается другая борьба, важная и серьезная, целая битва. Здесь в нескольких словах раздается, как в увертюре опер, главный мотив, намекается на истинный смысл и цель комедии. Оба, Фамусов и Чацкий, бросили друг другу перчатку:

Смотрели бы, как делали отцы,
Учились бы, на старших глядя! —

раздался военный клик Фамусова. А кто эти старшие и «судьи»?

...За дряхлостию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,—

отвечает Чацкий и казнит —

Прошедшего житья подлейшие черты.

---

[1] Нарастая (*итал.*).

Образовались два лагеря, или, с одной стороны, целый лагерь Фамусовых и всей братии «отцов и старших», с другой — один пылкий и отважный боец, «враг исканий». Это борьба на жизнь и смерть, борьба за существование, как новейшие натуралисты определяют естественную смену поколений в животном мире. Фамусов хочет быть «тузом» — «есть на серебре и на золоте, ездить цугом, весь в орденах, быть богатым и видеть детей богатыми, в чинах, в орденах и с ключом» — и так без конца, и все это только за то, что он подписывает бумаги, не читая и боясь одного, «чтоб множество не накопилось их».

Чацкий рвется к «свободной жизни», «к занятиям» наукой и искусством и требует «службы делу, а не лицам» и т. д. На чьей стороне победа? Комедия дает Чацкому только *«мильон терзаний»* и оставляет, по-видимому, в том же положении Фамусова и его братию, в каком они были, ничего не говоря о последствиях борьбы.

Теперь нам известны эти последствия. Они обнаружились с появлением комедии, еще в рукописи, в свет — и как эпидемия охватили всю Россию!

Между тем интрига любви идет своим чередом, правильно, с тонкою психологическою верностью, которая во всякой другой пьесе, лишенной прочих колоссальных грибоедовских красот, могла бы сделать автору имя.

Обморок Софьи при падении с лошади Молчалина, ее участье к нему, так неосторожно высказавшееся, новые сарказмы Чацкого на Молчалина — все это усложнило действие и образовало тот главный пункт, который назывался в пиитиках завязкою. Тут сосредоточился драматический интерес. Чацкий почти угадал истину.

Смятенье, обморок, поспешность, гнев испуга!

(по случаю паденья с лошади Молчалина)—

Все это можно ощущать,
Когда лишаешься единственного друга,—

говорит он и уезжает в сильном волнении, в муках подозрений на двух соперников.

В третьем акте он раньше всех забирается на бал, с целью «вынудить признанье» у Софьи — и с дрожью нетерпенья приступает к делу прямо с вопросом: «Кого она любит?»

После уклончивого ответа она признается, что ей милее его «иные». Кажется, ясно. Он и сам видит это и даже говорит:

И я чего хочу, когда все решено?
Мне в петлю лезть, а ей смешно!

Однако лезет, как все влюбленные, несмотря на свой «ум», и уже слабеет перед ее равнодушием. Он бросает никуда не год-

ное против счастливого соперника оружие — прямое нападение на него, и снисходит до притворства.

Раз в жизни притворюсь,—

решает он, чтоб «разгадать загадку», а собственно, чтоб удержать Софью, когда она рванулась прочь при новой стреле, пущенной в Молчалина. Это не притворство, а уступка, которою он хочет выпросить то, чего нельзя выпросить,— любви, когда ее нет. В его речи уже слышится молящий тон, нежные упреки, жалобы:

Но есть ли в нем та страсть, то чувство, пылкость та...
Чтоб, кроме вас, ему мир целый
Казался прах и суета?
Чтоб сердца каждое биенье
Любовью ускорялось к вам...—

говорит он — и наконец:

Чтоб равнодушнее мне понести утрату,
Как человеку — вы, который с вами взрос,
Как другу вашему, как брату,
Мне дайте убедиться в том...

Это уже слезы. Он трогает серьезные струны чувства —

От сумасшествия могу я остеречься,
Пущусь подалее простыть, охолодеть...—

заключает он. Затем оставалось только упасть на колени и зарыдать. Остатки ума спасают его от бесполезного унижения.

Такую мастерскую сцену, высказанную такими стихами, едва ли представляет какое-нибудь другое драматическое произведение. Нельзя благороднее и трезвее высказать чувство, как оно высказалось у Чацкого, нельзя тоньше и грациознее выпутаться из ловушки, как выпутывается Софья Павловна. Только пушкинские сцены Онегина с Татьяной напоминают эти тонкие черты умных натур.

Софье удалось было совершенно отделаться от новой подозрительности Чацкого, но она сама увлеклась своей любовью к Молчалину и чуть не испортила все дело, высказавшись почти открыто в любви. На вопрос Чацкого:

Зачем же вы его (Молчалина) так коротко узнали?—

она отвечает:

Я не старалась! Бог нас свел.

Этого довольно, чтоб открыть глаза слепому. Но ее спас сам Молчалин, то есть его ничтожество. Она в увлечении поспешила нарисовать его портрет во весь рост, может быть в надежде примирить с этой любовью не только себя, но и других, даже Чацкого, не замечая, как портрет выходит пошл.

Смотрите, дружбу всех он в доме приобрел.
При батюшке три года служит;
Тот часто без толку сердит,

А он безмолвием его обезоружит,
От доброты души простит.
А между прочим,
Веселостей искать бы мог,—
Ничуть, от старичков не ступит за порог!
Мы резвимся, хохочем;
Он с ними целый день засядет, рад не рад,
Играет...

Далее:

Чудеснейшего свойства...
Он наконец: уступчив, скромен, тих,
И на душе проступков никаких;
Чужих и вкривь и вкось не рубит...
Вот я за что его люблю!

У Чацкого рассеялись все сомнения:

Она его не уважает!
Шалит, она его не любит.
Она не ставит в грош его! —

утешает он себя при каждой ее похвале Молчалину и потом хватается за Скалозуба. Но ответ ее — что он «герой не ее романа»— уничтожил и эти сомнения. Он оставляет ее без ревности, но в раздумье, сказав:

Кто разгадает вас!

Он и сам не верил в возможность таких соперников, а теперь убедился в этом. Но и его надежды на взаимность, до сих пор горячо волновавшие его, совершенно поколебались, особенно когда она не согласилась остаться с ним под предлогом, что «щипцы остынут», и потом, на просьбу его позволить зайти к ней в комнату, при новой колкости на Молчалина, она ускользнула от него и заперлась.

Он почувствовал, что главная цель возвращения в Москву ему изменила, и он отходит от Софьи с грустью. Он, как потом сознается в сенях, с этой минуты подозревает в ней только холодность ко всему — и после этой сцены самый обморок отнес не «к признакам живых страстей», как прежде, а «к причуде избалованных нерв».

Следующая сцена его с Молчалиным, вполне обрисовывающая характер последнего, утверждает Чацкого окончательно, что Софья не любит этого соперника.

Обманщица смеялась надо мною!—

замечает он и идет навстречу новым лицам.

Комедия между ним и Софьей оборвалась; жгучее раздражение ревности унялось, и холод безнадежности пахнул ему в душу.

Ему оставалось уехать; но на сцену вторгается другая, живая, бойкая комедия, открывается разом несколько новых перспектив московской жизни, которые не только вытесняют из памяти зрителя интригу Чацкого, но и сам Чацкий как

будто забывает о ней и мешается в толпу. Около него группируются и играют, каждое свою роль, новые лица. Это бал, со всей московской обстановкой, с рядом живых сценических очерков, в которых каждая группа образует свою отдельную комедию, с полною обрисовкою характеров, успевших в нескольких словах разыграться в законченное действие.

Разве не полную комедию разыгрывают Горичевы? Этот муж, недавно еще бодрый и живой человек, теперь опустившийся, облекшийся, как в халат, в московскую жизнь, барин, «муж-мальчик, муж-слуга, идеал московских мужей», по меткому определению Чацкого,— под башмаком приторной, жеманной, светской супруги, московской дамы?

А эти шесть княжен и графиня-внучка,— весь этот контингент невест, «умеющих, по словам Фамусова, принарядить себя тафтицей, бархатцем и дымкой», «поющих верхние нотки и льнущих к военным людям»?

Эта Хлестова, остаток екатерининского века, с моськой, с арапкой-девочкой,— эта княгиня и князь Петр Ильич —без слова, но такая говорящая руина прошлого; Загорецкий, явный мошенник, спасающийся от тюрьмы в лучших гостиных и откупающийся угодливостью, вроде собачьих поносок — и эти N. N.,— и все толки их, и все занимающее их содержание!

Наплыв этих лиц так обилен, портреты их так рельефны, что зритель хладеет к интриге, не успевая ловить эти быстрые очерки новых лиц и вслушиваться в их оригинальный говор.

Чацкого уже нет на сцене. Но он до ухода дал обильную пищу той главной комедии, которая началась у него с Фамусовым, в первом акте, потом с Молчалиным,— той битве со всей Москвой, куда он, по целям автора, затем и приехал.

В кратких, даже мгновенных встречах с старыми знакомыми он успел всех вооружить против себя едкими репликами и сарказмами. Его уже живо затрогивают всякие пустяки — и он дает волю языку. Рассердил старуху Хлестову, дал невпопад несколько советов Горичеву, резко оборвал графиню-внучку и опять задел Молчалина.

Но чаша переполнилась. Он выходит из задних комнат уже окончательно расстроенный и, по старой дружбе, в толпе опять идет к Софье, надеясь хоть на простое сочувствие. Он поверяет ей свое душевное состояние:

Мильон терзаний! —
Груди от дружеских тисков,

говорит он.

Ногам от шарканья, ушам от восклицаний,
А пуще голове от всяких пустяков!
Здесь у меня душа каким-то горем сжата! —

жалуется он ей, не подозревая, какой заговор созрел против него в неприятельском лагере.

«Мильон терзаний» и «горе!» — вот что он пожал за все, что успел посеять. До сих пор он был непобедим: ум его беспощадно поражал больные места врагов. Фамусов ничего не находит, как только зажать уши против его логики, и отстреливается общими местами старой морали. Молчалин смолкает, княжны, графини — пятятся прочь от него, обожженные крапивой его смеха, и прежний друг его, Софья, которую одну он щадит, лукавит, скользит и наносит ему главный удар втихомолку, объявив его, под рукой, вскользь, сумасшедшим.

Он чувствовал свою силу и говорил уверенно. Но борьба его истомила. Он, очевидно, ослабел от этого «мильона терзаний», и расстройство обнаружилось в нем так заметно, что около него группируются все гости, как собирается толпа около всякого явления, выходящего из обыкновенного порядка вещей.

Он не только грустен, но и желчен, придирчив. Он, как раненый, собирает все силы, делает вызов толпе — и наносит удар всем,— но не хватило у него мощи против соединенного врага.

Он впадает в преувеличения, почти в нетрезвость речи, и подтверждает во мнении гостей распущенный Софьей слух о его сумасшествии. Слышится уже не острый, ядовитый сарказм, в который вставлена верная, определенная идея, правда, а какая-то горькая жалоба, как будто на личную обиду, на пустую, или, по его же словам, «незначащую встречу с французиком из Бордо», которую он, в нормальном состоянии духа, едва ли бы заметил.

Он перестал владеть собой и даже не замечает, что он сам составляет спектакль на бале. Он ударяется и в патриотический пафос, договаривается до того, что находит фрак противным «рассудку и стихиям», сердится, что madame и mademoiselle не переведены на русский язык,— словом, «il divague!»[1]— заключили, вероятно, о нем все шесть княжен и графиня-внучка. Он чувствует это и сам, говоря, что «в многолюдстве он растерян, сам не свой!»

Он точно «сам не свой», начиная с монолога «о французике из Бордо» — и таким остается до конца пьесы. Впереди пополняется только «мильон терзаний».

Пушкин, отказывая Чацкому в уме, вероятно, всего более имел в виду последнюю сцену 4-го акта, в сенях, при разъезде. Конечно, ни Онегин, ни Печорин, эти франты, не сделали бы того, что проделал в сенях Чацкий. Те были слишком дрессированы «в науке страсти нежной», а Чацкий отличается и, между прочим, искренностью и простотой, и не умеет и не хочет рисоваться. Он не франт, не лев. Здесь изменяет ему

---

[1] Он мелет чушь! (*франц.*)

не только ум, но и здравый смысл, даже простое приличие. Таких пустяков наделал он!

Отделавшись от болтовни Репетилова и спрятавшись в швейцарскую в ожидании кареты, он подглядел свидание Софьи с Молчалиным и разыграл роль Отелло, не имея на то никаких прав. Он упрекает ее, зачем она его «надеждой завлекла», зачем прямо не сказала, что прошлое забыто. Тут что ни слово — то неправда. Никакой надеждой она его не завлекала. Она только и делала, что уходила от него, едва говорила с ним, призналась в равнодушии, назвала какой-то старый детский роман и прятанье по углам «ребячеством» и даже намекнула, что «бог ее свел с Молчалиным».

А он, потому только, что —

...так страстно и так низко
Был расточитель нежных слов,—

в ярости за собственное свое бесполезное унижение, за напущенный на себя добровольно самим собой обман, казнит всех, а ей бросает жестокое и несправедливое слово:

С вами я горжусь моим разрывом,—

когда нечего было и разрывать! Наконец просто доходит до брани, изливая желчь:

На дочь, и на отца,
И на любовника *глупца*,—

и кипит бешеством на всех, «на мучителей толпу, предателей, нескладных умников, лукавых простаков, старух зловещих» и т. д. И уезжает из Москвы искать «уголка оскорбленному чувству», произнося всему беспощадный суд и приговор!

Если б у него явилась одна здоровая минута, если б не жег его «мильон терзаний», он бы, конечно, сам сделал себе вопрос: «Зачем и за что наделал я всю эту кутерьму?» И, конечно, не нашел бы ответа.

За него отвечает Грибоедов, который неспроста кончил пьесу этой катастрофой. В ней, не только для Софьи, но и для Фамусова и всех его гостей, «ум» Чацкого, сверкавший, как луч света в целой пьесе, разразился в конце в тот гром, при котором крестятся, по пословице, мужики.

От грома первая перекрестилась Софья, остававшаяся до самого появления Чацкого, когда Молчалин уже ползал у ног ее, все тою же бессознательною Софьей Павловною, с тою же ложью, в какой ее воспитал отец, в какой он прожил сам, весь его дом и весь круг. Еще не опомнившись от стыда и ужаса, когда маска упала с Молчалина, она прежде всего радуется, что «ночью все узнала, что нет укоряющих свидетелей в глазах!»

А нет свидетелей, следовательно, все шито да крыто, можно забыть, выйти замуж, пожалуй, за Скалозуба, а на прошлое смотреть...

Да никак не смотреть. Свое нравственное чувство стерпит, Лиза не проговорится, Молчалин пикнуть не смеет. А муж? Но какой же московский муж, «из жениных пажей», станет озираться на прошлое!

Это и ее мораль, и мораль отца, и всего круга. А между тем Софья Павловна индивидуально не безнравственна: она грешит грехом неведения, слепоты, в которой жили все,—

Свет не карает заблуждений,
Но тайны требует для них!

В этом двустишии Пушкина выражается общий смысл условной морали. Софья никогда не прозревала от нее и не прозрела бы без Чацкого никогда, за неимением случая. После катастрофы, с минуты появления Чацкого оставаться слепой уже невозможно. Его суда ни обойти забвением, ни подкупить ложью, ни успокоить — нельзя. Она не может не уважать его, и он будет вечным ее «укоряющим свидетелем», судьей ее прошлого. Он открыл ей глаза.

До него она не сознавала слепоты своего чувства к Молчалину и даже, разбирая последнего, в сцене с Чацким, по ниточке, сама собою не прозрела на него. Она не замечала, что сама вызвала его на эту любовь, о которой он, дрожа от страха, и подумать не смел. Ее не смущали свидания наедине ночью, и она даже проговорилась в благодарности к нему в последней сцене за то, что «в ночной тиши он держался больше робости во нраве!» Следовательно и тем, что она не увлечена окончательно и безвозвратно, она обязана не себе самой, а ему!

Наконец, в самом начале, она проговаривается еще наивнее перед горничной.

Подумаешь, как счастье своенравно,—

говорит она, когда отец застал Молчалина рано утром у ней в комнате,—

Бывает хуже — с рук сойдет!

А Молчалин просидел у нее в комнате целую ночь. Что же разумела она под этим «хуже»? Можно подумать бог знает что: но honny soit qui mal y pense![1] Софья Павловна вовсе не так виновна, как кажется.

Это — смесь хороших инстинктов с ложью, живого ума с отсутствием всякого намека на идеи и убеждения, путаница понятий, умственная и нравственная слепота — все это не имеет в ней характера личных пороков, а является как общие

---

[1] Пусть будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает! (*франц.*)

черты ее круга. В собственной, личной ее физиономии прячется в тени что-то свое, горячее, нежное, даже мечтательное. Остальное принадлежит воспитанию.

Французские книжки, на которые сетует Фамусов, фортепиано (еще с аккомпанементом флейты), стихи, французский язык и танцы — вот что считалось классическим образованием барышни. А потом «Кузнецкий мост и вечные обновы», балы, такие, как этот бал у ее отца, и это общество — вот тот круг, где была заключена жизнь «барышни». Женщины учились только воображать и чувствовать и не учились мыслить и знать. Мысль безмолвствовала, говорили одни инстинкты. Житейскую мудрость почерпали они из романов, повестей — и оттуда инстинкты развивались в уродливые, жалкие или глупые свойства: мечтательность, сентиментальность, искание идеала в любви, а иногда и хуже.

В снотворном застое, в безвыходном море лжи, у большинства женщин снаружи господствовала условная мораль — а втихомолку жизнь кишела, за отсутствием здоровых и серьезных интересов, вообще всякого содержания, теми романами, из которых и создалась «наука страсти нежной». Онегины и Печорины — вот представители целого класса, почти породы ловких кавалеров, jeunes premiers[1]. Эти передовые личности в high life[2] — такими являлись и в произведениях литературы, где и занимали почетное место со времен рыцарства и до нашего времени, до Гоголя. Сам Пушкин, не говоря о Лермонтове, дорожил этим внешним блеском, этою представительностью du bon ton[3], манерами высшего света, под которою крылось и «озлобление», и «тоскующая лень», и «интересная скука». Пушкин щадил Онегина, хотя касается легкой иронией его праздности и пустоты, но до мелочи и с удовольствием описывает модный костюм, безделки туалета, франтовство — и ту напущенную на себя небрежность и невнимание ни к чему, эту fatuité[4], позированье, которым щеголяли денди. Дух позднейшего времени снял заманчивую драпировку с его героя и всех подобных ему «кавалеров» и определил истинное значение таких господ, согнав их с первого плана.

Они и были героями и руководителями этих романов, и обе стороны дрессировались до брака, который поглощал все романы почти бесследно, разве попадалась и оглашалась какая-нибудь слабонервная, сентиментальная — словом, дурочка, или героем оказывался такой искренний «сумасшедший», как Чацкий.

Но в Софье Павловне, спешим оговориться, то есть в чувстве ее к Молчалину, есть много искренности, сильно напоми-

---

[1] Первых любовников (*франц.*).
[2] В высшем свете (*англ.*).
[3] Хорошего тона (*франц.*).
[4] Фатовство (*франц.*).

нающей Татьяну Пушкина. Разницу между ними кладет «московский отпечаток», потом бойкость, уменье владеть собой, которое явилось в Татьяне при встрече с Онегиным уже после замужества, а до тех пор она не сумела солгать о любви даже няне. Но Татьяна — деревенская девушка, а Софья Павловна — московская, по-тогдашнему, развитая.

Между тем она в любви своей точно так же готова выдать себя, как Татьяна: обе, как в лунатизме, бродят в увлечении с детской простотой. И Софья, как Татьяна же, сама начинает роман, не находя в этом ничего предосудительного, даже не догадывается о том. Софья удивляется хохоту горничной при рассказе, как она с Молчалиным проводит всю ночь: «Ни слова вольного! — и так вся ночь проходит!» «Враг дерзости, всегда застенчивый, стыдливый!» Вот чем она восхищается в нем! Это смешно, но тут есть какая-то почти грация — и куда далеко до безнравственности, нужды нет, что она проговорилась словом: хуже — это тоже наивность. Громадная разница не между ею и Татьяной, а между Онегиным и Молчалиным. Выбор Софьи, конечно, не рекомендует ее, но и выбор Татьяны тоже был случайный, даже едва ли ей и было из кого выбирать.

Вглядываясь глубже в характер и в обстановку Софьи, видишь, что не безнравственность (но и не «бог», конечно) «свели ее» с Молчалиным. Прежде всего, влечение покровительствовать любимому человеку, бедному, скромному, не смеющему поднять на нее глаз,— возвысить его до себя, до своего круга, дать ему семейные права. Без сомнения, ей в этом улыбалась роль властвовать над покорным созданием, сделать его счастье и иметь в нем вечного раба. Не ее вина, что из этого выходил будущий «муж-мальчик, муж-слуга — идеал московских мужей!» На другие идеалы негде было наткнуться в доме Фамусова.

Вообще к Софье Павловне трудно отнестись не симпатично: в ней есть сильные задатки недюжинной натуры, живого ума, страстности и женской мягкости. Она загублена в духоте, куда не проникал ни один луч света, ни одна струя свежего воздуха. Недаром любил ее и Чацкий. После него она одна из всей этой толпы напрашивается на какое-то грустное чувство, и в душе читателя против нее нет того безучастного смеха, с каким он расстается с прочими лицами.

Ей, конечно, тяжелее всех, тяжелее даже Чацкого, и ей достается свой «мильон терзаний».

Чацкого роль — роль страдательная: оно иначе и быть не может. Такова роль всех Чацких, хотя она в то же время и всегда победительная. Но они не знают о своей победе, они сеют только, а пожинают другие — и в этом их главное страдание, то есть в безнадежности успеха.

Конечно, Павла Афанасьевича Фамусова он не образумил, не отрезвил и не исправил. Если б у Фамусова при разъезде не

было «укоряющих свидетелей», то есть толпы лакеев и швейцара, — он легко справился бы с своим горем: дал бы головомойку дочери, выдрал бы за ухо Лизу и поторопился бы свадьбой Софьи с Скалозубом. Но теперь нельзя: наутро, благодаря сцене с Чацким, вся Москва узнает — и пуще всех «княгиня Марья Алексеевна». Покой его возмутится со всех сторон — и поневоле заставит кое о чем подумать, что ему в голову не приходило. Он едва ли даже кончит свою жизнь таким «тузом», как прежние. Толки, порожденные Чацким, не могли не всколыхать всего круга его родных и знакомых. Он уже и сам против горячих монологов Чацкого не находил оружия. Все слова Чацкого разнесутся, повторятся всюду и произведут свою бурю.

Молчалин, после сцены в сенях — не может оставаться прежним Молчалиным. Маска сдернута, его узнали, и ему, как пойманному вору, надо прятаться в угол. Горичевы, Загорецкий, княжны — все попали под град его выстрелов, и эти выстрелы не останутся бесследны. В этом до сих пор согласном хоре иные голоса, еще смелые вчера, смолкнут или раздадутся другие и за и против. Битва только разгоралась. Чацкого авторитет известен был и прежде, как авторитет ума, остроумия, конечно, знаний и прочего. У него есть уже и единомышленники. Скалозуб жалуется, что брат его оставил службу, не дождавшись чина, и стал книги читать. Одна из старух ропщет, что племянник ее, князь Федор, занимается химией и ботаникой. Нужен был только взрыв, бой, и он завязался, упорный и горячий — в один день в одном доме, но последствия его, как мы выше сказали, отразились на всей Москве и России. Чацкий породил раскол, и если обманулся в своих личных целях, не нашел «прелести встреч, живого участья», то брызнул сам на заглохшую почву живой водой — увезя с собой «мильон терзаний», этот терновый венец Чацких — терзаний от всего: от «ума», а еще более от «оскорбленного чувства».

На эту роль не годились ни Онегин, ни Печорин, ни другие франты. Они и новизной идей умели блистать, как новизной костюма, новых духов и прочее. Заехав в глушь, Онегин поражал всех тем, что к дамам «к ручке не подходит, стаканами, а не рюмками пил красное вино», говорил просто: «да и нет» вместо «да-с и нет-с». Он морщится от «брусничной воды», в разочаровании бранит луну «глупой» — и небосклон тоже. Он привез на гривенник нового и, вмешавшись «умно», а не как Чацкий «глупо», в любовь Ленского и Ольги и убив Ленского, увез с собой не «мильон», а на «гривенник» же и терзаний!

Теперь, в наше время, конечно, сделали бы Чацкому упрек, зачем он поставил свое «оскорбленное чувство» выше общественных вопросов, общего блага и т. д. и не остался в Москве продолжать свою роль бойца с ложью и предрассудками, роль — выше и важнее роли отвергнутого жениха?

Да, теперь! А в то время, для большинства, понятия об общественных вопросах были бы то же, что для Репетилова толки «о камере и о присяжных». Критика много погрешила тем, что в суде своем над знаменитыми покойниками сходила с исторической точки, забегала вперед и поражала их современным оружием. Не будем повторять ее ошибок — и не обвиним Чацкого за то, что в его горячих речах, обращенных к фамусовским гостям, нет помина об общем благе, когда уже и такой раскол от «исканий мест, от чинов», как «занятие науками и искусствами», считался «разбоем и пожаром».

Живучесть роли Чацкого состоит не в новизне неизвестных идей, блестящих гипотез, горячих и дерзких утопий или даже истин en herbe:[1] у него нет отвлеченностей. Провозвестники новой зари, или фанатики, или просто вестовщики — все эти передовые курьеры неизвестного будущего являются и — по естественному ходу общественного развития — должны являться, но их роли и физиономии до бесконечности разнообразны.

Роль и физиономия Чацких неизменна. Чацкий больше всего обличитель лжи и всего, что отжило, что заглушает новую жизнь, «жизнь свободную». Он знает, за что он воюет и что должна принести ему эта жизнь. Он не теряет земли из-под ног и не верит в призрак, пока он не облекся в плоть и кровь, не осмыслился разумом, правдой,— словом, не очеловечился.

Перед увлечением неизвестным идеалом, перед обольщением мечты, он трезво остановится, как остановился перед бессмысленным отрицанием «законов, совести и веры» в болтовне Репетилова, и скажет свое:

Послушай, ври, да знай же меру!

Он очень положителен в своих требованиях и заявляет их в готовой программе, выработанной не им, а уже начатым веком. Он не гонит с юношескою запальчивостью со сцены всего, что уцелело, что, по законам разума и справедливости, как по естественным законам в природе физической, осталось доживать свой срок, что может и должно быть терпимо. Он требует места и свободы своему веку: просит дела, но не хочет прислуживаться и клеймит позором низкопоклонство и шутовство. Он требует «службы делу, а не лицам», не смешивает «веселья или дурачества с делом», как Молчалин,— он тяготится среди пустой, праздной толпы «мучителей, предателей, зловещих старух, вздорных стариков», отказываясь преклоняться перед их авторитетом дряхлости, чинолюбия и прочего. Его возмущают безобразные проявления крепостного права, безумная роскошь и отвратительные нравы «разливанья в пи-

---

[1] В зародыше (*франц.*).

рах и мотовстве» — явления умственной и нравственной слепоты и растления.

Его идеал «свободной жизни» определителен: это — свобода от всех этих исчисленных цепей рабства, которыми оковано общество, а потом свобода — «вперить в науки ум, алчущий познаний», или беспрепятственно предаваться «искусствам творческим, высоким и прекрасным»,— свобода «служить или не служить», «жить в деревне или путешествовать», не слывя за то ни разбойником, ни зажигателем, и — ряд дальнейших очередных подобных шагов к свободе — от несвободы.

И Фамусов и другие знают это и, конечно, про себя все согласны с ним, но борьба за существование мешает им уступить.

От страха за себя, за свое безмятежно-праздное существование Фамусов затыкает уши и клевещет на Чацкого, когда тот заявляет ему свою скромную программу «свободной жизни». Между прочим —

Кто путешествует, в деревне кто живет,—

говорит он, а тот с ужасом возражает:

Да он властей не признает!

Итак, лжет и он, потому что ему нечего сказать, и лжет все то, что жило ложью в прошлом. Старая правда никогда не смутится перед новой — она возьмет это новое, правдивое и разумное бремя на свои плечи. Только больное, ненужное боится ступить очередной шаг вперед.

Чацкий сломлен количеством старой силы, нанеся ей в свою очередь смертельный удар качеством силы свежей.

Он вечный обличитель лжи, запрятавшейся в пословицу: «один в поле не воин». Нет, воин, если он Чацкий, и притом победитель, но передовой воин, застрельщик и — всегда жертва.

Чацкий неизбежен при каждой смене одного века другим. Положение Чацких на общественной лестнице разнообразно, но роль и участь все одна, от крупных государственных и политических личностей, управляющих судьбами масс, до скромной доли в тесном кругу.

Всеми ими управляет одно: раздражение при различных мотивах. У кого, как у грибоедовского Чацкого, любовь, у других самолюбие или славолюбие — но всем им достается в удел свой «мильон терзаний», и никакая высота положения не спасает от него. Очень немногим, просветленным Чацким, дается утешительное сознание, что они недаром бились — хотя и бескорыстно, не для себя и не за себя, а для будущего, и за всех, и успели.

Кроме крупных и видных личностей, при резких переходах из одного века в другой — Чацкие живут и не переводятся

в обществе, повторяясь на каждом шагу, в каждом доме, где под одной кровлей уживается старое с молодым, где два века сходятся лицом к лицу в тесноте семейств,— все длится борьба свежего с отжившим, больного с здоровым, и все бьются в поединках, как Горации и Куриации,— миниатюрные Фамусовы и Чацкие.

Каждое дело, требующее обновления, вызывает тень Чацкого — и кто бы ни были деятели, около какого бы человеческого дела — будет ли то новая идея, шаг в науке, в политике, в войне — ни группировались люди, им никуда не уйти от двух главных мотивов борьбы: от совета «учиться, на старших глядя», с одной стороны, и от жажды стремиться от рутины к «свободной жизни», вперед и вперед — с другой.

Вот отчего не состарелся до сих пор и едва ли состареется когда-нибудь грибоедовский Чацкий, а с ним и вся комедия. И литература не выбьется из магического круга, начертанного Грибоедовым, как только художник коснется борьбы понятий, смены поколений. Он или даст тип крайних, несозревших передовых личностей, едва намекающих на будущее, и потому недолговечных, каких мы уже пережили немало в жизни и в искусстве, или создаст видоизмененный образ Чацкого, как после сервантесовского Дон-Кихота и шекспировского Гамлета являлись и являются бесконечные их подобия.

В честных, горячих речах этих позднейших Чацких будут вечно слышаться грибоедовские мотивы и слова — и если не слова, то смысл и тон раздражительных монологов его Чацкого. От этой музыки здоровые герои в борьбе со старым не уйдут никогда.

И в этом бессмертие стихов Грибоедова! Много можно бы привести Чацких — являвшихся на очередной смене эпох и поколений — в борьбах за идею, за дело, за правду, за успех, за новый порядок, на всех ступенях, во всех слоях русской жизни и труда — громких, великих дел и скромных кабинетных подвигов. О многих из них хранится свежее предание, других мы видели и знали, а иные еще продолжают борьбу. Обратимся к литературе. Вспомним не повесть, не комедию, не художественное явление, а возьмем одного из позднейших бойцов с старым веком, например Белинского. Многие из нас знали его лично, а теперь знают его все. Прислушайтесь к его горячим импровизациям — и в них звучат те же мотивы — и тот же тон, как у грибоедовского Чацкого. И так же он умер, уничтоженный «мильоном терзаний», убитый лихорадкой ожидания и не дождавшийся исполнения своих грез, которые теперь — уже не грезы больше.

Оставя политические заблуждения Герцена, где он вышел из роли нормального героя, из роли Чацкого, этого с головы до ног русского человека,— вспомним его стрелы, бросаемые в разные темные, отдаленные углы России, где они находили

виноватого. В его сарказмах слышится эхо грибоедовского смеха и бесконечное развитие острот Чацкого.

И Герцен страдал от «мильона терзаний», может быть всего более от терзаний Репетиловых его же лагеря, которым у него при жизни недостало духа сказать: «Ври, да знай же меру!»

Но он не унес этого слова в могилу, сознавшись по смерти в «ложном стыде», помешавшем сказать его.

Наконец — последнее замечание о Чацком. Делают упрек Грибоедову в том, что будто Чацкий — не облечен так художественно, как другие лица комедии, в плоть и кровь, что в нем мало жизненности. Иные даже говорят, что это не живой человек, а абстракт, идея, ходячая мораль комедии, а не такое полное и законченное создание, как, например, фигура Онегина и других, выхваченных из жизни типов.

Это несправедливо. Ставить рядом с Онегиным Чацкого нельзя: строгая объективность драматической формы не допускает той широты и полноты кисти, как эпическая. Если другие лица комедии являются строже и резче очерченными, то этим они обязаны пошлости и мелочи своих натур, легко исчерпываемых художником в легких очерках. Тогда как в личности Чацкого, богатой и разносторонней, могла быть в комедии рельефно взята одна господствующая сторона — а Грибоедов успел намекнуть и на многие другие.

Потом — если приглядеться вернее к людским типам в толпе — то едва ли не чаще других встречаются эти честные, горячие, иногда желчные личности, которые не прячутся покорно в сторону от встречной уродливости, а смело идут навстречу ей и вступают в борьбу, часто неравную, всегда со вредом себе и без видимой пользы делу. Кто не знал или не знает, каждый в своем кругу, таких умных, горячих, благородных сумасбродов, которые производят своего рода кутерьму в тех кругах, куда их занесет судьба, за правду, за честное убеждение?!

Нет, Чацкий, по нашему мнению, из всех наиболее живая личность и как человек и как исполнитель указанной ему Грибоедовым роли. Но, повторяем, натура его сильнее и глубже прочих лиц и потому не могла быть исчерпана в комедии.

Наконец, позволим себе высказать несколько замечаний об исполнении комедии на сцене в недавнее время, а именно в бенефис Монахова, и о том, чего бы мог зритель пожелать от исполнителей.

Если читатель согласится, что в комедии, как мы сказали, движение горячо и непрерывно поддерживается от начала до конца, то из этого само собою должно следовать, что пьеса в высшей степени сценична. Она такова и есть. Две комедии

как будто вложены одна в другую: одна, так сказать, частная, мелкая, домашняя, между Чацким, Софьей, Молчалиным и Лизой: это интрига любви, вседневный мотив всех комедий. Когда первая прерывается, в промежутке является неожиданно другая, и действие завязывается снова, частная комедия разыгрывается в общую битву и связывается в один узел.

Артисты, вдумывающиеся в общий смысл и ход пьесы и каждый в свою роль, найдут широкое поле для действия. Труда к одолению всякой, даже незначительной роли, немало,— тем более, чем добросовестнее и тоньше будет относиться к искусству артист.

Некоторые критики возлагают на обязанность артистов исполнять и историческую верность лиц, с колоритом времени во всех деталях, даже до костюмов, то есть до фасона платьев, причесок включительно.

Это трудно, если не совсем невозможно. Как исторические типы, эти лица, как сказано выше, еще бледны, а живых оригиналов теперь не найдешь: штудировать не с чего. Точно так же и с костюмами. Старомодные фраки, с очень высокой или очень низкой талией, женские платья с высоким лифом, высокие прически, старые чепцы — во всем этом действующие лица покажутся беглецами с толкучего рынка. Другое дело, костюмы прошлого столетия, совершенно отжившие: камзолы, роброны, мушки, пудра и пр.

Но при исполнении «Горя от ума» дело не в костюмах.

Мы повторяем, что в игре вообще нельзя претендовать на историческую верность, так как живой след почти пропал, а историческая даль еще близка. Поэтому необходимо артисту прибегать к творчеству, к созданию идеалов, по степени своего понимания эпохи и произведения Грибоедова.

Это первое, то есть главное сценическое условие.

Второе — это язык, то есть такое художественное исполнение языка, как и исполнение действия: без этого второго, конечно, невозможно и первое.

В таких высоких литературных произведениях, как «Горе от ума», как «Борис Годунов» Пушкина и некоторых других, исполнение должно быть не только сценическое, но наиболее литературное, как исполнение отличным оркестром образцовой музыки, где безошибочно должна быть сыграна каждая музыкальная фраза и в ней каждая нота. Актер, как музыкант, обязан доиграться, то есть додуматься до того звука голоса и до той интонации, какими должен быть произнесен каждый стих: это значит додуматься до тонкого критического понимания всей поэзии пушкинского и грибоедовского языка. У Пушкина, например, в «Борисе Годунове», где нет почти действия, или по крайней мере единства, где действие распадается на отдельные, не связанные друг с другом сцены, иное исполнение, как строго и художественно-литературное, и невозможно.

В ней всякое прочее действие, всякая сценичность, мимика должны служить только легкой приправой литературного исполнения, действия в слове.

За исключением некоторых ролей в значительной степени можно сказать то же и о «Горе от ума». И там больше всего игры в языке: можно снести неловкость мимическую, но каждое слово с неверной интонацией будет резать ухо, как фальшивая нота.

Не надо забывать, что такие пьесы, как «Горе от ума», «Борис Годунов», публика знает наизусть и не только следит мыслью за каждым словом, но чует, так сказать, нервами каждую ошибку в произношении. Ими можно наслаждаться, не видя, а только слыша их. Эти пьесы исполнялись и исполняются нередко в частном быту, просто чтением между любителями литературы, когда в кругу найдется хороший чтец, умеющий тонко передавать эту своего рода литературную музыку.

Несколько лет тому назад, говорят, эта пьеса была представлена в лучшем петербургском кругу с образцовым искусством, которому, конечно, кроме тонкого критического понимания пьесы, много помогал и ансамбль в тоне, манерах, и особенно — уменье отлично читать.

Исполняли ее в Москве в 30-х годах с полным успехом. До сих пор мы сохранили впечатление о той игре: Щепкина (Фамусова), Мочалова (Чацкого), Ленского (Молчалина), Орлова (Скалозуба), Сабурова (Репетилова).

Конечно, этому успеху много содействовало поражавшее тогда новизною и смелостью открытое нападение со сцены на многое, что еще не успело отойти, до чего боялись дотрогиваться даже в печати. Потом Щепкин, Орлов, Сабуров выражали типично еще живые подобия запоздавших Фамусовых, кое-где уцелевших Молчалиных или прятавшихся в партере за спину соседа Загорецких.

Все это бесспорно придавало огромный интерес пьесе, но и помимо этого, помимо даже высоких талантов этих артистов и истекавшей оттуда типичности исполнения каждым из них своей роли, в их игре, как в отличном хоре певцов, поражал необыкновенный ансамбль всего персонала лиц, до малейших ролей, а главное, они тонко понимали и превосходно читали эти необыкновенные стихи, именно с тем «толком, чувством и расстановкой», какая для них необходима. Мочалов, Щепкин! Последнего, конечно, знает и теперь почти весь партер и помнит, как он, уже и в старости, читал свои роли и на сцене и в салонах!

Постановка была тоже образцовая — и должна была бы и теперь, и всегда превосходить тщательностью постановку всякого балета, потому что комедии этой век не сойти со сцены, даже и тогда, когда сойдут позднейшие образцовые пьесы.

Каждая из ролей, даже второстепенных в ней, сыгранная тонко и добросовестно, будет служить артисту дипломом на обширное амплуа.

К сожалению, давно уже исполнение пьесы на сцене далеко не соответствует ее высоким достоинствам, особенно не блестит оно ни гармоничностью в игре, ни тщательностью в постановке, хотя отдельно, в игре некоторых артистов, есть счастливые намеки или обещания на возможность более тонкого и тщательного исполнения. Но общее впечатление таково, что зритель, вместе с немногим хорошим, выносит из театра свой «мильон терзаний».

В постановке нельзя не замечать небрежности и скудости, которые как будто предупреждают зрителя, что будут играть слабо и небрежно, следовательно, не стоит и хлопотать о свежести и верности аксессуаров. Например, освещение на бале так слабо, что едва различаешь лица и костюмы, толпа гостей так жидка, что Загорецкому, вместо того чтоб «пропасть», по тексту комедии, то есть уклониться куда-нибудь в толпу, от брани Хлестовой, приходится бежать через всю пустую залу, из углов которой, как будто из любопытства, выглядывают какие-то два-три лица. Вообще все смотрит как-то тускло, несвежо, бесцветно.

В игре вместо ансамбля господствует разладица, точно в хоре, не успевшем спеться. В новой пьесе и можно бы было предположить эту причину, но нельзя же допустить, чтобы эта комедия была для кого-нибудь нова в труппе.

Половина пьесы проходит неслышно. Вырвутся два-три стиха явственно, другие два произносятся актером как будто только для себя — в сторону от зрителя. Действующие лица хотят играть грибоедовские стихи, как текст водевиля. В мимике у некоторых много лишней суеты, этой мнимой, фальшивой игры. Даже и те, кому приходится сказать два-три слова, сопровождают их или усиленными, ненужными на них ударениями, или лишними жестами, не то так какой-то игрой в походке, чтобы дать заметить о себе на сцене, хотя эти два-три слова, сказанные умно, с тактом, были бы замечены гораздо больше, нежели все телесные упражнения.

Иные из артистов как будто забывают, что действие происходит в большом московском доме. Например, Молчалин, хотя и бедный маленький чиновник, но он живет в лучшем обществе, принят в первых домах, играет с знатными старухами в карты, следовательно, не лишен в манерах и тоне известных приличий. Он «вкрадчив, тих», говорится о нем в пьесе. Это домашний кот, мягкий, ласковый, который бродит везде по дому, и если блудит, то втихомолку и прилично. У него не может быть таких диких ухваток, даже когда он бросается к Лизе, оставшись с ней наедине, какие усвоил ему актер, играющий его роль.

Большинство артистов не может также похвастаться исполнением того важного условия, о котором сказано выше, именно верным, художественным чтением. Давно жалуются, что будто бы с русской сцены все более и более удаляется это капитальное условие. Ужели вместе с декламацией старой школы изгнано и вообще уменье читать, произносить художественную речь, как будто это уменье стало лишнее или ненужно? Слышатся даже частые жалобы на некоторых корифеев драмы и комедии, что они не дают себе труда учить ролей!

Что же затем осталось делать артистам? Что они разумеют под исполнением ролей? Гримировку? Мимику?

С которых же пор явилось это небрежение к искусству? Мы помним и петербургскую, и московскую сцены в блестящем периоде их деятельности, начиная со Щепкина, Каратыгиных до Самойлова, Садовского. Здесь держатся еще немногие ветераны старой петербургской сцены и между ними имена Самойлова, Каратыгина напоминают золотое время, когда на сцене являлись Шекспир, Мольер, Шиллер — и тот же Грибоедов, которого мы приводим теперь, и все это давалось вместе с роем разных водевилей, переделок с французского и т. п. Но ни эти переделки, ни водевили не мешали отличному исполнению ни «Гамлета», ни «Лира», ни «Скупого»[1].

В ответ на это слышишь с одной стороны, что будто вкус публики испортился (какой публики?), обратился к фарсу и что последствием этого была и есть отвычка артистов от серьезной сцены и серьезных, художественных ролей; а с другой, что и самые условия искусства изменились: от исторического рода, от трагедии, высокой комедии — общество ушло, как из-под тяжелой тучи, и обратилось к буржуазной, так называемой драме и комедии, наконец к жанру.

Разбор этой «порчи вкуса» или видоизменения старых условий искусства в новые отвлек бы нас от «Горя от ума» и, пожалуй, привел бы к какому-нибудь другому, более безвыходному горю. Лучше примем второе возражение (о первом не стоит говорить, так как оно говорит само за себя) за совершившийся факт, и допустим эти видоизменения, хотя заметим мимоходом, что на сцене появляются еще Шекспир и новые исторические драмы, как «Смерть Иоанна Грозного»[2], «Василиса Мелентьева»[3], «Шуйский»[4] и др., требующие того самого уменья читать, о котором мы говорим. Но ведь кроме этих драм, есть на сцене другие произведения нового времени, писанные прозой, и проза эта почти так же, как пушкинские и грибоедовские стихи, имеет свое типичное достоинство и тре-

---

[1] «Гамлет», «Король Лир» — трагедии Шекспира; «Скупой» — пьеса Мольера.

[2] Историческая драма А. К. Толстого.

[3] Историческая драма А. Н. Островского.

[4] Пьеса А. Н. Островского «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский».

бует такого же ясного и отчетливого исполнения, как и чтение стихов. Каждая фраза Гоголя так же типична и так же заключает в себе свою особую комедию, независимо от общей фабулы, как и каждый грибоедовский стих. И только глубоко верное, во всей зале слышимое, отчетливое исполнение, то есть сценическое произношение этих фраз, и может выразить то значение, какое дал им автор. Многие пьесы Островского тоже в значительной степени имеют эту типичную сторону языка, и часто фразы из его комедий слышатся в разговорной речи, в разных применениях к жизни.

Публика помнит, что Сосницкий, Щепкин, Мартынов, Максимов, Самойлов в ролях этих авторов не только создавали типы на сцене,— что, конечно, зависит от степени таланта,— но и умным и рельефным произношением сохраняли всю силу и образцового языка, давая вес каждой фразе, каждому слову. Откуда же, как не со сцены, можно желать слышать и образцовое чтение образцовых произведений?

Вот на утрату этого литературного, так сказать, исполнения художественных произведений, кажется, справедливо жалуются в последнее время в публике.

Кроме слабости исполнения в общем ходе, относительно верности понимания пьесы, недостатка в искусстве чтения и т. д., можно бы остановиться еще над некоторыми неверностями в деталях, но мы не хотим показаться придирчивыми, тем более что мелкие или частные неверности, происходящие от небрежности, исчезнут, если артисты отнесутся с более тщательным критическим анализом к пьесе.

Пожелаем же, чтобы артисты наши, из всей массы пьес, которыми они завалены по своим обязанностям, с любовью к искусству выделили художественные произведения, а их так немного у нас — и, между прочим, особенно «Горе от ума» — и, составив из них сами для себя избранный репертуар, исполняли бы их иначе, нежели как исполняется ими все прочее, что им приходится играть ежедневно,— и они непременно будут исполнять как следует.

ПРИМЕЧАНИЯ

ОБРЫВ

«Обрыв» Гончарова — один из лучших русских реалистических романов, отобразивших жизнь дореформенной России. В нем писатель продолжал разрабатывать основную тему своего творчества — тему «борьбы с всероссийским застоем», обломовщиной в различных ее видах.

В своих трех романах Гончаров видел как бы один большой роман — своеобразную трилогию, одно зеркало, где «отразились три эпохи старой жизни» («Предисловие к роману «Обрыв», И. А. Гончаров, Собр. соч., т. 8, М. 1955, стр. 162). В своих статьях автокритического характера Гончаров настойчиво говорил: «...вижу *не три романа, а один*. Все они связаны одною общею нитью, одною последовательною идеею — перехода от одной эпохи русской жизни, которую я переживал, к другой...» («Лучше поздно, чем никогда», там же, стр. 72).

Сила реализма Гончарова в этом романе выразилась в том, что он сумел показать существенные явления русской жизни 1840—1850 годов, глубокий кризис крепостнического общества, распад патриархальных основ жизни, «состояние брожения», полную драматизма «борьбу старого с новым». Именно в этой борьбе старого и нового состоит основной жизненный конфликт и пафос романа.

Роман «Обрыв» был опубликован впервые в журнале умеренно-либерального направления «Вестник Европы» (1869, кн. 1—5).

«Двадцать лет тянулось писание этого романа»,— свидетельствовал Гончаров (см. статью «Лучше поздно, чем никогда», И. А. Гончаров, Собр. соч., т. 8, М. 1955, стр. 88).

Первоначальный замысел его возник у Гончарова еще в конце сороковых годов. «План романа «Обрыв»,— писал он,— родился у меня в 1849 году на Волге, когда я, после четырнадцатилетнего отсутствия, в первый раз посетил Симбирск, свою родину. Старые воспоминания ранней молодости, новые встречи, картины берегов Волги, сцены и нравы провинциальной жизни — все это расшевелило мою фантазию,— и я тогда уже начертил программу всего романа, когда в то же время оканчивался

обработкой у меня в голове другой роман — «Обломов» («Намерения, задачи и идеи романа «Обрыв» — там же, стр. 208).

Но осуществление этого замысла отодвинулось на долгое время. В 1852 году Гончаров отправился в кругосветное плавание и «унес роман, возил его вокруг света в голове и программе» вместе с «Обломовым», а по возвращении в Петербург в 1854 году готовил к печати «Очерки путешествия» — «Фрегат «Паллада». В 1857—1858 годах он закончил и издал роман «Обломов», после чего приступил к обработке «Обрыва», образы, сцены, картины которого годами, по словам самого романиста, «теснились в воображении» и требовали «только сосредоточенности, уединения и покоя, чтобы отлиться в форму романа».

В 1859—1860 годах Гончаров напряженно работал над «Обрывом», который тогда еще был «далек до конца»: к началу шестидесятых годов вчерне были написаны три части. Ряд глав из первой части Гончаров опубликовал в журналах: в «Современнике» (1860, № 2) был напечатан отрывок «София Николаевна Беловодова», в «Отечественных записках» (1861, №№ 1 и 2) — отрывки «Бабушка» и «Портрет».

Но в дальнейшем работа над романом почти приостановилась вследствие того, что перед Гончаровым в ту пору встали новые творческие задачи.

Гончаров видел, что к началу шестидесятых годов в русской общественной жизни произошли большие изменения. Однако, исходя из либеральных убеждений, он полагал, что преобразование общества произойдет «путем реформ», что старое отомрет, а новое будет возникать и упрочиваться «без насилия, боя и крови». В шестидесятые годы, не отказываясь от борьбы с крепостническими пережитками, он вместе с тем отрицательно относился к программе «новых людей», русских революционных демократов.

Все это, естественно, привело к значительной идейной и художественной ломке первоначального замысла произведения и надолго задержало его окончание.

В «Обрыве» Гончаров ставил перед собою задачу нарисовать картину не только «сна и застоя», но и «пробуждения» русской жизни. Наиболее ярко и полно этот мотив в романе выражен в образе Веры. Ее стремление к «новой жизни» и «новой правде», ее живой и независимый ум, гордый и сильный характер, нравственная чистота — все эти черты сближают и роднят Веру с передовой молодежью 60-х годов. В. Г. Короленко в своей статье «И. А. Гончаров и «молодое поколение» (1912) писал, что в образе Веры ярко выражено то, что «переживало тогдашнее «молодое» поколение... когда перед ним впервые сверкнул опьяняющий зов новой, совершенно новой правды, идущей на смену основам бабушкиной мудрости» (В. Г. Короленко, Собр. соч., т. 8, М. 1955, стр. 260).

Создав этот образ, Гончаров осуществил свою заветную и давнюю мечту о «светлом и прекрасном человеческом образе», который, по его признанию в одном из писем (к И. И. Льховскому, июль 1853 г.), вечно снился ему и казался недостижимым. Следует, однако, заметить, что в первоначальной «программе» романа (40—50-е годы) Вера представляла собою более цельный характер, чем тот, который обрисован в романе. В

первоначальной «программе» романа Вера по своим убеждениям не расходилась с любимым ею человеком (на место которого впоследствии стал Марк Волохов) и даже отправлялась за ним в ссылку в Сибирь. В писавшемся уже в шестидесятые годы романе отношения между ней и Волоховым основаны не на сходстве, а на глубоком различии их убеждений. «Я хотела,— говорит Вера Волохову,— сделать из тебя друга себе и обществу, от которого отвела тебя праздность, твой отважный, пытливый ум и самолюбие».

В статье «Намерения, задачи и идеи романа «Обрыв» Гончаров писал: «В первоначальном плане романа на месте Волохова у меня предполагалась другая личность — также сильная, почти дерзкая волей, не ужившаяся, по своим новым и либеральным идеям, в службе и в петербургском обществе и посланная на жительство в провинцию, но более сдержанная и воспитанная, нежели Волохов... Но, посетив в 1862 году провинцию, я встретил и там и в Москве несколько экземпляров типа, подобного Волохову. Тогда уже признаки отрицания или нигилизма стали являться чаще и чаще...

Тогда под пером моим прежний, частью забытый, герой преобразился в современное лицо...» (И. А. Гончаров, Собр. соч., т. 8, М. 1955, стр. 218—219).

Гончарову казалось, что в Волохове он разоблачил всю несостоятельность новых революционных учений и новой морали или, как он говорил, «новой лжи». В действительности же, даже тогда, когда писатель и пытался коснуться характеристики мировоззрения этого типичного, по мнению Гончарова, представителя «новых людей», он приписывал ему, в весьма упрощенном виде, те «крайности отрицания» и вульгарно-материалистический подход к явлениям природы и общественной жизни, тот бытовой и этический анархизм, которые не были присущи революционной демократии.

Гончаров показал в романе «ум», «волю» и «какую-то силу» Волохова, но вместе с тем отказался от серьезной характеристики его политических убеждений. Не исключено, что люди, подобные Волохову, встречались тогда в жизни, но ошибка Гончарова состояла в том, что он пытался обрисовать Волохова типичным представителем «новых людей».

Именно об этом писал Салтыков-Щедрин в своей статье «Уличная философия», явившейся как бы откликом на пятую часть романа, на «философию» автора.

В Волохове, как справедливо замечал Щедрин, в извращенном духе истолкована идея революционного «отрицания», принципы новой общественной морали, идея стремления к «познанию истины».

Спор между Верой и Марком Волоховым романист рассматривал как конфликт двух лагерей русского общества. В «Предисловии» к «Обрыву» он писал: «...спор остался нерешенным, как он остается во многом нерешенным — и не между Верой и Волоховым, а между двумя аренами и двумя лагерями» (там же, стр. 144).

Образ Веры в финале романа противоречив. Гончаров заставил ее примириться с «старой мудростью» бабушки, олицетворявшей консервативную мораль дворянского общества. Пережив «обрыв», Вера обретает

«силу страдать и терпеть». Это было, конечно, нарушением внутренней логики образа, отступлением от правды жизни. Но в этом примирении с окружающим она не находит избавления от тревожных вопросов жизни. Несомненно, она не найдет подлинного счастья и с Тушиным — этим, с точки зрения романиста, героем современности.

Сам Гончаров признавался, что Тушин — это лицо целиком вымышленное и притом мало удавшееся ему. «Нарисовав фигуру Тушина,— писал он в статье «Лучше поздно, чем никогда»,— насколько я мог наблюсти новых серьезных людей, я сознаюсь, что я недокончил как художник этот образ и остальное (именно в XVIII главе II тома) договорил о нем в намеках, как о представителе настоящей *новой силы и нового дела* уже обновленной тогда (в 1867 и 1868 годах, когда дописывались последние главы) России» (И. А. Гончаров, Собр. соч., т. 8, М. 1955, стр. 101).

Указывая, что в Тушине он имел в виду и намекнул «на идею, на будущий характер новых людей» и что «все Тушины сослужат службу России, разработав, довершив и упрочив ее преобразование и обновление», Гончаров тем самым, в силу ограниченности своих взглядов, идеализировал этого буржуазного дельца, его роль в общественной жизни.

Ни бабушка, ни Ватутин, ни Райский, которые в романе противопоставлены Волохову как спасители Веры, конечно, как замечает Щедрин, не годились для этой роли, так как нет в жизни «ничего более пораженного мертвенностью, более неверного, нежели их жизнь» (Н. Щедрин, Полн. собр. соч., т. VIII, М. 1937, стр. 146).

«Райский,—писал Гончаров в статье «Лучше поздно, чем никогда»,— натура артистическая: он восприимчив, впечатлителен, с сильными задатками дарований, но он все-таки сын Обломова... Райский мечется и наконец благодаря природному таланту или талантам бросается к искусству: к живописи, к поэзии, к скульптуре. Но и тут, как гири на ногах, его тянет назад та же «обломовщина» (И. А. Гончаров, Собр. соч., т. 8, М. 1955, стр. 83).

В известной мере сочувствуя Райскому в его духовных исканиях и даже несколько идеализируя его отношение к «драме» Веры (чтобы подчеркнуть «безнравственность» Волохова), Гончаров, однако, ставит перед собою задачу разоблачения в Райском барски-дворянской романтики, дилетантской сущности всех его порывов к общественно-полезному делу. В статье «Лучше поздно, чем никогда» Гончаров дал четкую общественную характеристику этого типа людей. «Сам он,— говорит Гончаров о Райском,— живет под игом еще не отмененного крепостного права и сложившихся при нем нравов и оттого воюет только на словах, а не на деле: советует бабушке отпустить мужиков на все четыре стороны и предоставить им делать, что они хотят; а сам в дело не вмешивается, хотя именье — его» (там же, стр. 88).

Гончаров критикует фальшивую, оторванную от жизни романтику Райского, его либеральное фразерство, осуждает его за бездеятельное существование: «Новые идеи кипят в нем: он предчувствует грядущие реформы, сознает правду нового и порывается ратовать за все те большие и малые свободы, приближение которых чуялось в воздухе. Но только порывается» (там же, стр. 85).

В образе Райского Гончаров несомненно сумел очень верно показать эволюцию так называемых «лишних людей» в послереформенную пору жизни, их духовное и идейное измельчание по сравнению с «лишними людьми», дворянскими интеллигентами типа Печорина, Бельтова, Рудина, выступавшими с прогрессивной для своего времени критикой существовавших тогда общественных условий. Добролюбов в статье «Что такое обломовщина?», подчеркивая историческую обусловленность и реальность этих образов, указывал, что в обстановке, когда появилась возможность борьбы за интересы народа и когда от слов надо было переходить к делу, так называемые «лишние люди» остались в стороне от общественной борьбы и кончали обломовщиной. В «Обрыве» Гончаров как бы шел вслед за Добролюбовым. Он показал родство «лишнего человека» Райского с Обломовым, показал, что и Райского «тянет назад» и губит «та же обломовщина».

Предубежденное отношение Гончарова к революционно-демократическому движению шестидесятых годов, оценка ряда явлений русской общественной жизни того времени с ограниченных и порою консервативных позиций — все это повредило, конечно, «Обрыву».

Однако в «Обрыве» Гончаров в основном остался верен себе как истинный художник-реалист.

Созданные им образы и картины свидетельствуют о критическом взгляде художника на действительность, о стремлении подчинить свое творчество «интересам жизни». Как ни мал и узок сам по себе мир «бытия» дворянско-поместной усадьбы Малиновки, в нем, этом мирке, широко и во многом объективно отображен ряд существенных черт и тенденций русского общественного развития. В самых обычных фактах и явлениях быта и нравов, в переживаниях своих героев Гончаров умел находить глубокие конфликты и противоречия, драматизм жизни. «Думал ли я,— говорит в романе Райский,— что в этом углу вдруг попаду на такие драмы, на такие личности? Как громадна и страшна простая жизнь в наготе ее правды...»

Как художник Гончаров достигал высокой и вдохновенной поэтичности в своих изображениях. Образ подлинной героини романа Веры воплощает в себе благородную нравственную красоту и силу души русской женщины. Исполнен естественности, теплоты, безыскусственной жажды жизни и счастья образ Марфеньки, облик которой, по словам романиста, дышит «поэзией чистой, свежей, природной». Много жизненной правды запечатлено в образе бабушки, переживаниях учителя Козлова.

Острым обличением звучат страницы романа, рисующие самодурство реакционера Тычкова и паразитическое существование высшей петербургской аристократии и бюрократии, мир Пахотиных и Аяновых.

Подлинного мастерства достигал Гончаров в изображении человеческих характеров, в раскрытии сложной психологии своих героев. А. М. Горький причислял Гончарова к «великанам литературы нашей», которые «писали пластически... богоподобно лепили фигуры и образы людей, живые до обмана...» (М. Горький, Собр. соч. в 30 томах, т. 24, стр. 235). Гончаров был глубоко русским писателем: в «Обрыв» он вложил

«много тепла, любви... к людям и своей стране» (из письма к М. М. Стасюлевичу от 19 июня 1868 года).

Правдивые, реалистические образы, тонкий юмор, превосходный язык объясняют, почему этот роман Гончарова высоко ценится нашей современностью.

А. Рыбасов

МИЛЬОН ТЕРЗАНИЙ

Статья И. А. Гончарова «Мильон терзаний» принадлежит к числу лучших критических статей о комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

Комедию Грибоедова писатель любил с юношеских лет. Студент Московского университета, Гончаров смотрел «Горе от ума» в исполнении превосходной труппы Малого театра, со Щепкиным в роли Фамусова. Его, как и других зрителей, поражала реалистическая сатира Грибоедова — «открытое нападение со сцены на многое, что не успело отойти, до чего боялись дотрогиваться даже в печати».

История создания этой статьи несколько необычна. В ноябре 1871 года, вернувшись со спектакля Александринского театра, в котором главную роль в «Горе от ума» исполнял известный актер И. И. Монахов, Гончаров — вспоминал редактор-издатель «Вестника Европы» М. М. Стасюлевич—«в кругу близких ему людей долго и много говорил о самой комедии Грибоедова и говорил так, что один из присутствовавших, увлеченный его прекрасной речью, заметил ему: «А вы бы, Иван Александрович, набросали все это на бумагу—ведь это все очень интересно» (см. И. А. Г о н ч а р о в, Собр. соч., т. 8, М. 1955, стр. 504). Уже в начале 1872 года Гончаров писал Ф. И. Тютчеву о том, что «набросал заметки об этой комедии и об игре актеров, хотел оставить так, но актер Монахов (Чацкий) упросил меня сделать из этого фельетон. Фельетон не вышел, а вышла целая тетрадь» (т а м ж е, стр. 504—505).

В мартовском, третьем, номере «Вестника Европы» за 1872 год была опубликована статья Гончарова «Мильон терзаний».

До статьи Гончарова «Горе от ума» не получило еще всесторонней оценки и характеристики.

Автор статьи «Мильон терзаний» подходит к «Горю от ума» не как к «картине московских нравов известной эпохи» и не как к «сатире», содержащей в себе «мораль», поучение, но как к реалистической, общественной и вместе с тем интимной комедии. «Горе от ума»,— заявляет Гончаров,— есть и картина нравов, и галерея живых типов, и вечно острая, жгучая сатира, и вместе с тем и комедия, и скажем сами за себя — больше всего комедия — какая едва ли найдется в других литературах...» Это — «сценическая пьеса»,— обладающая присущим ей «действием», «движением» и в то же время «комедия жизни», комедия русской действительности, с «такою художественною, объективною законченностью и определенностью, какая далась у нас только Пушкину и Гоголю».

Подчеркивая всю остроту конфликта, возникшего между многочисленными фамусовыми и «одиноким», но «пылким и отважным» Чацким,

Гончаров вместе с тем тонко характеризует действующих лиц грибоедовской комедии.

Глубоко и разносторонне дана Гончаровым характеристика Чацкого. Писатель решительно противопоставил его как «искреннего и горячего деятеля» Онегину и Печорину, этим «паразитам», «болезненным порождениям отжившего века». Гончаров справедливо подчеркнул, что Чацкий «начинает новый век», моральная победа на его стороне. Критик рассматривал Чацкого как обличителя обветшалой жизни, как провозвестника нового: «Чацкий неизбежен при каждой смене одного века другим», «каждое дело, требующее обновления, вызывает тень Чацкого». Отсюда бессмертие и самого этого образа и всей грибоедовской комедии. Гончаров остроумно сближает с Чацким Белинского и Герцена, хотя и допускает при этом либеральное истолкование деятельности этих великих русских людей.

Образ Чацкого рассматривается Гончаровым во всей сложности его общественных и интимных конфликтов. Автор «Мильона терзаний» блестяще прослеживает непоследовательность поведения Чацкого, которая всецело объясняется его любовью к Софье. Очень интересно трактует Гончаров и Софью, справедливо и — едва ли не впервые — отмечая в ней «сильные задатки недюжинной натуры, живого ума, страстности и женской мягкости. Она загублена в духоте, куда не проникал ни один луч света, ни одна струя свежего воздуха». Этот взгляд на Софью утвердился в позднейшей литературе о Грибоедове.

Проницательна и остроумна характеристика языка «Горя от ума», его юмора, неувядаемой типичности образов и сценических положений. Замечательно, например, сравнение «Горя от ума» со столетним старпком, который «ходит, бодрый и свежий, между могилами старых и колыбелями новых людей».

Писатель прослеживает лежащую в основе «Горя от ума» «интригу любви», в детальном анализе устанавливая «тонкую психологическую верность» переживания и действия. Этот мастерский анализ сюжета и композиции грибоедовской комедии на много десятилетий предвосхитил то, что в наши дни привыкли делать во время своей работы над спектаклем советские режиссеры.

А. Цейтлин

СОДЕРЖАНИЕ

Иван Александрович Гончаров
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, ТОМ 6

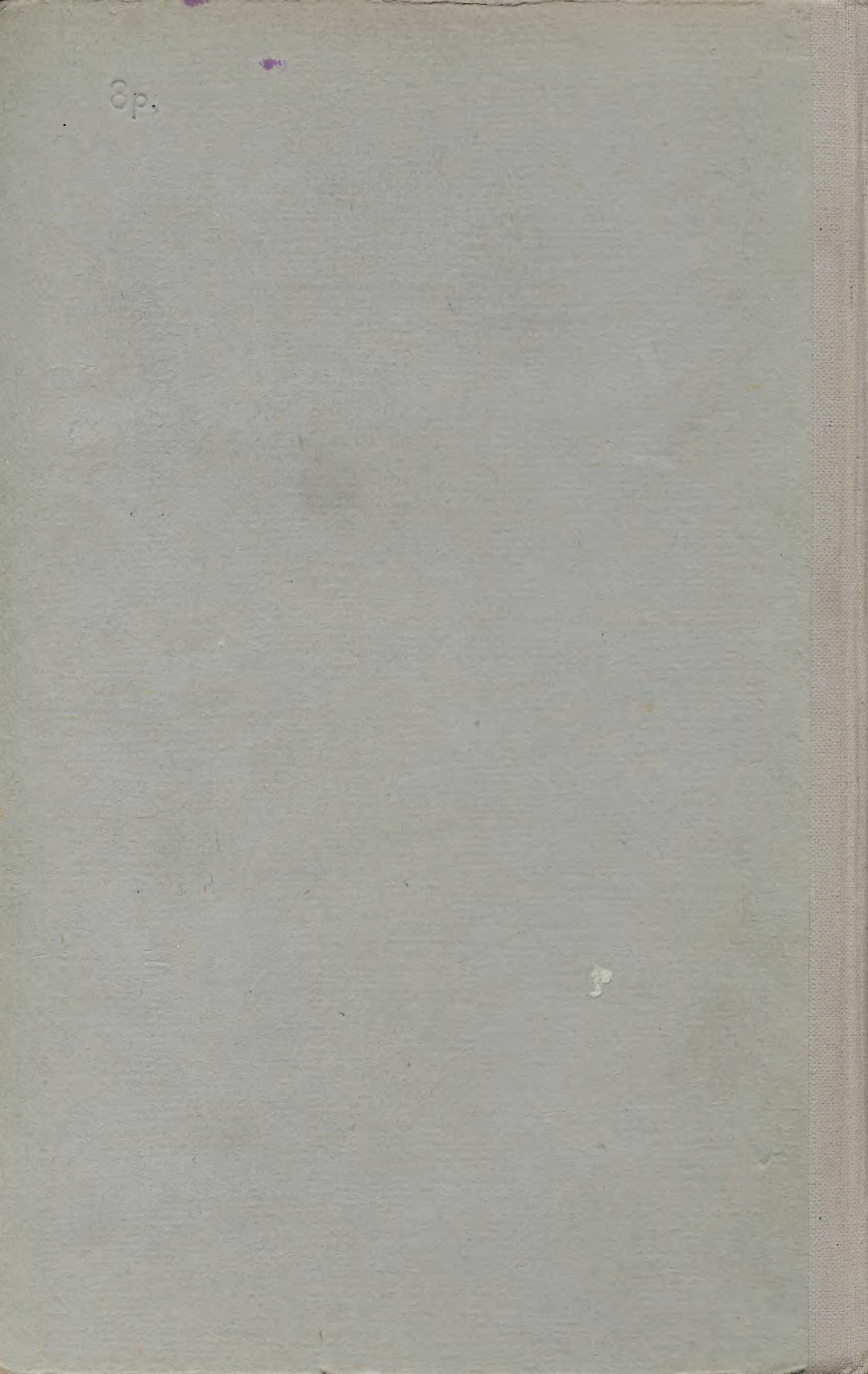
Редактор М. Бличевская
Художественный редактор И. Жихарев
Технический редактор В. Овсеенко

Корректор К. Полетика

Сдано в набор 19/VIII 1959 г. Подписано в печать 29/X 1959 г.
Бумага 60 × 92^1/$_{16}$ — 24,5 печ. л. 25,46 уч.-изд. л.
Тираж 250 000 экз. Заказ № 3492. Цена 8 р.

Гослитиздат. Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Московского городского Совнархоза.
Москва, Ж-54, Валовая, 28.


8p.